НАЧАТКИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
34

А. БРЭМ

ЖИЗНЬ НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ

(от северного полюса до экватора)

Перевод Д. КОРОПЧЕВСКОГО

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
под редакцией и с примечаниями
проф. Д. Н. АНУЧИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

НАЧАТКИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
№ 34.

А. БРЭМ

ЖИЗНЬ НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ

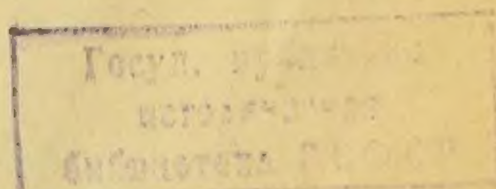
(от северного полюса до экватора)

Перевод Д. КОРОПЧЕВСКОГО

Второе издание под редакцией и с примечаниями
проф. Д. Н. АНУЧИНА







ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ▫▫▫▫ 1923 ▫▫▫▫ ПЕТРОГРАД

ГОСУД. ТРЕСТ
«ПЕТРОПЕЧАТЬ»
Тип. «КРАСНЫЙ АГИТАТОР»
ПТГ., 7-Я РОТА 26

Гиз. № 2808. Тираж 7.000.



А. БРЭМ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ко второму русскому изданию.

Настоящее издание книги Брэма выпускается в несколько измененном виде. С целью придания сборнику бо́льшей целостности очерки в нем переставлены в определенном порядке. Первыми помещены очерки, рисующие жизнь на севере, далее — жизнь в умеренных странах и затем — жизнь на тропиках. Совсем опущен очерк о ссыльных в Сибири, как написанный давно и теперь совершенно устаревший.

Кратковременность пребывания Брэма среди туземцев Азии (остяков и киргизов) и незнакомство с их языком дали ему возможность получить лишь приблизительное понятие об их религиозных верованиях, обрядах; с другой стороны, читатель должен помнить, что описываемые в книге путешествия были совершены автором в 70-х годах прошлого века и за полстолетия многое изменилось в быту и жизни туземцев.

Редакция.

Тундра и мир ее животных.

Вокруг северного полюса идет широкая полоса негостеприимных земель, пустыня, которая тем, что она есть, обязана не солнцу, а воде. В направлении к полюсу эта пустыня постепенно переходит в ледяные поля, к югу—в заморенную лесную растительность; но она вся обращается в снеговые и ледяные пространства, когда в нее вторгается длинная зима, и уродливые деревца могут поддерживать свое существование только в глубоких долинах и на солнечных склонах. Эта область называется тундрой.

Однообразна картина, которую я хочу нарисовать, потому что в тундре только серые цвета выступают на сером фоне, и все-таки она не лишена своей красоты; это—пустыня, но такая, в которой, несмотря на долгую дремоту, почти полную смерть, жизнь временно развертывается с удивительной роскошью.

Европейские языки не имеют слов для обозначения тундры, потому что в Западной Европе нет таких областей. Тундра—не мелкий кустарник, не торфяник, не болото, не топь, не песчаное место, не моховая поросль, хотя во многих местах она и напоминает ту или другую из названных местностей. Ее пытались определить словом «моховая степь», но это выражение удовлетворит только того, кто может представить себе понятие степи в самом обширном смысле. По моему мнению, тундра более всего походит на те болота, какие можно встретить в широких впадинах наших гористых стран, и в то же время она отличается от этих болотистых низин многими существенными сторонами, сохраняя во всем вполне своеобразный характер. Пожалуй, ее можно разделить на низменную и на высокую тундру, однако, различие между местностями ниже и выше пятидесяти сажен в тундре более кажущееся, чем действительное.

Низменная тундра расстилается перед глазами, ограниченная плоскими волнистыми линиями; по ней проходят долины в виде плоских впадин; плоские холмы издали кажутся горами, даже настоящими горными высотами, если подойти ближе к их подошве. Плоский, однообразный, безличный характер преобладает повсюду; но известной смены пейзажей, чередования отдельных частей здесь все-таки нельзя отрицать. Проезжая по тундре в течение целых дней, иногда увлекаешься изящными и даже приятными картинками; но лишь в виде исключения такая картина запечатлевается в памяти, так как вскоре убеждаешься, что она слишком часто повторяется во всех существенных подробностях, во всех очертаниях и красках, даже во всем, что ее окружает, и настолько напоминает виденное раньше, что впечатление

ее не может удержаться. Несмотря на такое однообразие, характер тундры не имеет цельности, а тем менее величественности, и вследствие того, не может ни воодушевить, ни поднять дух, как другие пейзажи, и даже не может дать полного наслаждения действительными красотами, в которых и этой пустыне отказать нельзя.

Лучшим украшением тундры служит небо, величайшею прелестью ее является вода. Небо в ней редко бывает вполне ясным и чистым, хотя и здесь солнце светит непрерывно в течение месяцев, бросая горячие лучи на плоские холмы и мелкие долины. Обыкновенно синева небесного свода проглядывает лишь в некоторых местах через ярко-белые редкие облака; последние, однако, часто собираются в кучевые облака, которые постепенно выступают кругом, по всем сторонам неизмеримо далекого горизонта, постоянно меняются, передвигаются, образуются вновь, появляются и исчезают, до того очаровывая глаз своим изменчивым освещением, что он почти забывает о лежащем под ними ландшафте. Когда после жарких дней надвигается гроза, небо темнеет местами до густого аспидного цвета, тяжелые, сырые облака спускаются низко, а солнце все-таки светит между ними чистым, ярким блеском,—пустынный, однообразный пейзаж тогда является в волшебном украшении. Свет и тени живописно выделяют гребни холмов и долины, и всегда утомительная одинаковость их красок приобретает теперь разнообразие и жизненность. А когда, в средине летней полярной ночи, стоит на небе большое темно-красное солнце, когда все облака снизу окаймлены пурпуром, когда хребты возвышенностей, закрывающие яркое светило, выступают в широком, пламенном венце лучей, когда розовый отлив ложится на буровато-зеленый пейзаж, когда, одним словом, неописуемое очарование полуночного солнца охватывает душу,—тогда эта пустыня превращается в чудную картину, и радостный трепет проникает зрителя до глубины души.

Разнообразие и жизнь вносят в тундру также и драгоценные ее украшения—бесчисленные озера. Разбросанные одиноко или группами, лежащие рядом или одно над другим, простираясь на целые мили или сжимаясь в маленькие пруды, они наполняют средину каждой котловины, украшают каждую главную и почти каждую боковую долину, оживляются, отражая в себе радостное сияние солнца, и, как бы они ни были серы и бесцветны сами по себе, с вершины холма кажутся иногда голубыми, глубокими, горными озерами. И когда их волны отражают блеск и сверкание солнца, или когда в полночь они подернуты розовым отливом, они выступают так жизненно и светло на своем сумрачном фоне, что глаз с удовольствием останавливается на них.

Более величественные, но все-таки мрачные и однообразные пейзажи развертывает перед глазами путника высокая тундра. Каждая сколько-нибудь значительная возвышенность и здесь выказывает свойственную ей прелесть. Горы почти всегда подымаются круто, и цепи, которые они образуют, представляют разнообразные линии; лежащий на них снежный покров превращается всюду, где позволяют условия, в ледники. Настоящая тундра образуется здесь лишь в том случае, когда вода не находит для себя быстрого стока; вся прочая местность заметно отличается от низменности. Валуны, покрытые толстыми слоями растительных остатков, превратившихся в торф, лежащие глубоко в низине, здесь почти всюду выступают на поверхность; бесконечные скопления исполинских глыб лежат по склонам и наполняют до-

лины. Валуны образуют дно обширных, почти ровных плоскостей, по которым нога путника ступает нерешительно, так как здесь и проницательному исследователю представляются загадочными силы, разбросавшие глыбы на обширных поверхностях с неизменной правильностью. Между ними сочится и скатывается, струится и льется, несется и шумит, ревет и грохочет вода. Она сбегает со скатов струящимися нитями, сливающимися потоками, журчащими ручейками; из ледниковых расселин выступает она молочно-белыми ручьями и стремится в водоемы мутными речками; из очищающих ее озер вытекает она в виде хрустально-светлых рек,—и крутясь и пенясь, с шипением и ревем спешит вниз по долине, образуя водопад за водопадом, пока не достигнет низменной тундры, большой реки или моря. А солнце, когда оно прорывается через облака, обливает и этот своеобразный горный мир своими волшебными красками, озаряет каждое место, покрытое снегом, выделяет каждый глетчер и каждую лощину, заставляет отчетливо выступать каждую вершину, каждый хребет, каждую отвесную скалу, вызывает блеск каждого озера, точно ясного, дружески глядящего горного глаза, набрасывает в утренние и вечерние часы далекую голубую дымку, как нежное покрывало, на задний план картины и все обливает в полночь своими низкими лучами, пока не засияет розовым светом. Очевидно, и тундра далеко не лишена своей прелести.

В отдельных, хотя и немногих местах, растительный мир также украшает тундру. Сосны и ели, растущие южнее, встречаются здесь только в защищенных долинах. Кое-где появляющиеся сосны имеют такой вид, как будто исполинская рука притиснула их и изогнула в спиральном направлении, и они совсем не могут расти в северных местах тундры. И березы, проникающие дальше сосен, становятся малорослыми и уродливыми, походя на состарившихся карликов. Одна только лиственница удерживает за собою поле битвы и выростает в настоящие деревья, но и ее нельзя назвать характерным растением тундры. Эта роль всего более подходит к низкорослой березе. Достигая, и то лишь на благоприятной почве, высоты полутора аршина, она господствует в большей части тундры так безусловно, что прочие кусты и кустики кажутся по отношению к ней простою порослью. Она занимает все пространства, на которых только может укорениться, от берегов озер или рек до горных вершин, в виде более или менее густого покрова такой однообразной высоты, что обширные местности получают вид, как будто они острижены под гребенку. Она отступает только там, где почва настолько пропитана водою, что превращается в топь, трясину или водяное болото. Искалеченная и одинокая береза растет даже там, где жирный, легко твердеющий на солнце ил или неплодородный хрящ покрывают высоты; она борется с мхом, занимающим низины, и с лишайником, вскрывающим возвышенности. Множество десятин земли одна за другою так плотно усеяны ею, точно тканью или войлоком, что только неискоренимый лиственный мох решается оспаривать у нее право на обладание почвой, между тем как на других, менее сырых местах, низкорослая береза образует смешанное насаждение вместе с ивой и диким розмарином; к ним присоединяются иногда различные ягодные кусты, в особенности черника, брусника и др.

Когда почва в низменностях становится более и более сырою, мох постепенно берет верх, понемногу вытесняет низкорослую березу и

образует большие вздутые кочки, которые, вследствие быстрого превращения корневых частей в торф, становятся все выше и распространяются все дальше, пока вода не преградит их дальнейшего движения или не размоет их на отдельные холмики. Когда впадина мелка, притекающая к нему вода только в виде исключения образует озеро или пруд; по большей же части она проникает почву до неопределенной глубины и создает болото, топкая и вязкая поверхность которого, состоящая из переплетшихся корней осоки, безопасна лишь для оленя с его широкими копытами, хотя и под его ногами она колеблется и дрожит, как студень, или глубоко вдается под полозьями саней, в которые запрягают оленей.

Если впадина не длинна и не имеет истока, и к ней медленно притекает вода, то болото переходит в топь и трясину. В первом случае осока, а во втором пушистый ивняк, другое характерное растение тундры, достигают роскошного развития. Впрочем, это растение, достигая высоты человеческого роста, лишь в исключительных случаях образует заросли, которые могут быть непроницаемы в буквальном смысле слова. Еще более, чем у горных сосен, их ветки и корни переплетаются в одно целое, которое вернее всего можно назвать войлоком, скатанным из всех составных частей ивы. Он не поддается самой сильной руке, пытающейся раздвинуть его на ширину прохода, и так затрудняет ходьбу, что самый настойчивый человек вскоре отказывается от попытки проникнуть через него, и возвращается назад даже и тогда, когда почва, против обыкновения, не болотиста. Иногда приходится встречать почти непрерывный ряд болотистых, илистых луж, находящихся во впадинах между кустами и не располагающих к тому, чтобы испробовать их глубину.

Проезжая по тундре, скоро убеждаешься, что вся область ее представляет постоянное повторение одних и тех же отдельных пейзажей. Условия изменяются только там, где по низменной тундре протекает большая, многоводная река. Такая река отлагает иногда приносимые ею массы песку на отмели. Почти постоянный и по большей части сильный ветер нагромождает их постепенно на берегу в форме дюн; таким образом, создается почва, чуждая тундре. На вершинах дюн, даже в сибирских тундрах, лиственница становится высоким деревом и составляет, в соединении с кустарной ивой и ольхой, красу тамошнего ландшафта. По близости небольших озер лиственница встречается даже группами и вместе с названными кустарниками образует естественные парки, которые бросились бы в глаза и в более богатых и оживленных местностях, а здесь производят сильное впечатление.

Под покровом лиственниц, всюду, где они растут на дюнах, ютятся и другие высокоствольные растения—остролистные ивы, рябины, кусты жимолости и т. п., и на песке пробиваются многие цветы, которые, казалось, могли бы встречаться только южнее. Здесь ожидает удивленного южанина красный роскошный цветок кипрея; здесь, украшая родную землю цветами, прижимает к ней свои тонкие ветки и посылает свою нежную улыбку миловидная незабудка; здесь нашли для себя приют в пустыне чемерица и порей, валерьяна и тимиан, гвоздика и колокольчик, вика, лютик и многие другие. На таких местах произрастает растений гораздо более, чем их можно было ожидать; но невольно становишься скромнее в своих требованиях, когда в течение целых дней и недель приходится видеть вокруг себя все те же низкорослые березы и пушистые ивы, дикий розмарин и осоку, лишайник

и мох; тогда оживляешься даже при виде, на половину спрятанного во мху, на половину стелющегося по земле брусничника и украшающих моховые кочки веток черники или морошки; любуешься ягодами вместо цветов, когда целые дни приходится итти по тундре, надеясь на какую-либо перемену и все разочаровываясь. Каждое знакомое более южное растение напоминает о более счастливых странах; его приветствуешь, как дорогого друга, достоинства которого оцениваются только тогда, когда является опасение потерять его.

Явление, кажущееся загадочным, почему все названные и другие растения произрастают только на сухом песке дюн, разрешается, как скоро окажется, что лишь скученный в дюнах песок может настолько прогреваться солнцем, непрерывно посылающим свои лучи в течение месяцев, чтобы давать возможность развиваться этим растениям. Для всей остальной тундры это невозможно. Болота, топи и трясины, даже озера, наполненные водою на несколько аршин глубины, образуют только тонкий летний покров вечной зимы, обнаруживающей в тундре свою убийственную и задерживающую силу. Где бы мы ни пытались проникнуть в глубину почвы, повсюду, опустившись не более как аршина на два от поверхности, приходится наталкиваться на лед или замерзшую почву, и нужно рыть еще около 50 сажен, прежде чем кончится ледяная кора земли. Она-то и мешает развиваться высшим растениям и позволяет жить только таким, которые могут довольствоваться сухим, оттаивающим в летнее время почвенным слоем. Лишь вскапывая почву тундры, можно узнать настоящее значение последней, как неизмеримого и неизменного ледяного погреба, который держится в этом виде сотни тысяч лет и продержится еще столько же времени. Неоспоримость, по крайней мере, первого из этих положений доказывают нам остатки животных прежних эпох, погребенных и сохранившихся в тундре. Из ледяной почвы тундры Адамс в 1807 г. вырыл исполинского мамонта, мясом которого насытились собаки якутов, хотя он жил много тысячелетий тому назад и перестал существовать уже с неопределенно долгого времени. Ледяная тундра приняла в себя труп этого допотопного слона и сохранила его в неизменном виде в течение тысячелетий.

Во льдах тундры погребены и многие другие животные, принадлежащие к более позднему времени. Тундра никогда не была в силах прокармливать более разнообразное животное население, чем то, какое держится в ней в настоящее время. Животный мир ее так же беден и однообразен, как и мир растительный, как и она сама. Впрочем, это можно сказать лишь по отношению к видам, а не отдельным особям. И тундра, по крайней мере, летом, населяется многочисленными животными.

Лишь в позднюю пору года тундра заметно оживляется. Из тех видов животных, которые не оставляют ее и зимой, только немногие заявляют свое присутствие. Рыбы, поднимающиеся из моря в реки, скрыты подо льдом; зимующие млекопитающие и птицы прячутся в снегу, под которым они живут и окраску которого носят. Животная жизнь пробуждается с началом таяния снега на южных склонах. Тогда медленно проникают в тундру ее летние гости. За диким северным оленем следует волк, за входящей в реки камбалой стаи летних птиц. Некоторые из последних остаются еще в нерешительности в более южных местностях, намереваются, повидимому, приступать к насиживанию, затем исчезают вдруг из своих пристаниц, поспешно летят к

тундре, тотчас же после прилета свивают себе гнездо, кладут яйца и спешно выводят птенцов, как будто хотят наверстать время, на какое отстали от своих сородичей, живущих и плодящихся в более южных странах. Их летняя жизнь ограничивается лишь несколькими неделями. Они прилетают уже четами, спарившись на всю жизнь или только на одно лето; с сердцем, возбужденным всемогущею любовью, с пеньем или ликованьем приступают они к постройке гнезд, неусыпно отдаются своим родительским обязанностям, выводят, воспитывают, учат детей, линяют и улетают опять на чужбину.

Число видов, родиною которых является тундра, невелико; еще более это можно сказать о тех, которых следует назвать характерными животными этой области. Среди них на первом месте я ставлю песца (полярную лисицу). Тундра служит ему местопребыванием во всей области его распространения; она доставляет ему приют и пропитание и в южной области, на-ряду с нашей лисицей и другими однородными видами. Песец носит цвета тундры, походя летом на скалы, зимой—на снег: шерсть его густого меха бывает летом каменисто-серого или серовато-голубого, а зимою снежно-белого цвета. Правдой и неправдой, подобно другим лисицам, проводит она свою жизнь, хотя и отличается по характеру и привычкам от нашей лисы и других своих родственников. Ему оказывают большую несправедливость, когда считают его выродившимся членом достойного, способного и остроумного семейства. Изобретательного ума и рассчетливой хитрости своих сородичей песец имеет разве только зачатки. Неповоротливый, докучливый, неразумный, он кажется скорее смелой попрошайкой, чем хитрым, взвешивающим все обстоятельства и пользующимся всеми возможными средствами вором или разбойником. Беззаботно смотрит он в самое дуло ружья охотника; его не пугает даже направленная в него, просвистевшая над самым его телом пуля, и он все-таки идет за своим страшным врагом; необдуманно проникает в берестяной шалаш оленевода, спокойно приближается к человеку, спящему ночью на открытом воздухе, чтобы похитить убитую им дичь, или схватить его за какую-либо обнажившуюся часть тела. Со мной самим случилось, что песец, по которому я в сумерки сделал несколько неудачных выстрелов, как собака, шел по моим следам; мой старый охотничий товарищ Эрик Свенсон из Доврефиельда испытал на себе, как однажды ночью песец утащил у него дичь, на которой он спал; а старик Штеллер сообщает о таких проделках этого животного, которые каждый счел бы невозможными, если бы они не подтверждались согласными наблюдениями многих. Быть может, недостаточное знакомство с человеком, редко появляющимся в тундре, составляет существенную причину странного поведения песца, но эту причину нельзя считать единственной. Ни красная лисица, ни какой-либо другой зверь тундры не держит себя так неразумно, как он; в этом отношении даже пеструшка стоит выше его.

Этот последний обитатель нашей области—странное существо, с каким бы из сродных видов мы его ни сравнивали. Он сам или его следы виднеются в тундре повсюду. Эти следы перекрещивают во всех направлениях места, заросшие низкорослой березой, в виде узких, протоптанных во мху, гладких и опрятных тропинок, тянущихся на несколько десятков сажен в одном и том же направлении, уклоняющихся вправо и влево и, после многих изгибов, опять возвращающихся к главной дорожке. На них от времени до времени, а в сухое время в

громадных количествах можно видеть маленьких короткохвостых зверьков, похожих на сусликов, проворно мелькающих и быстро исчезающих перед глазами. Это—пеструшка или лемминг, величиною поменьше крысы и побольше мыши, с неправильно испещренной шкуркой по большей части бурого, желтого и черного цвета. Если вскрыть это животное, то с удивлением приходится убеждаться, что оно состоит почти только из шкурки и внутренностей. Его кости и мускулы очень тонки и нежны, а внутренности, в особенности органы пищеварения и размножения, сравнительно, чрезвычайно развиты. Это обстоятельство объясняет многие явления его жизни, долгое время остававшиеся зага-



Высокая тундра.

дочными: крайне быстрое и почти неограниченное размножение и, повидимому, правильные, совершающиеся в огромных размерах, переселения этого животного. При обыкновенных условиях пеструшка ведет вполне спокойную жизнь. Ни летом, ни зимой она не терпит недостатка в корме. Всевозможные растительные вещества, зимою—мох, лишайники и кора составляют ее пищу; ямки—летом, теплое, с толстыми стенками, мягко устланное гнездо в снегу—зимою—служат для нее жилищем. Правда, со всех сторон ей угрожают опасности: не только четвероногие и крылатые хищники, но и северные олени глотают их сотнями и тысячами; тем не менее пеструшка размножается непрерывно, пока какие-нибудь особенные условия не уничтожат миллиарды ее особей в течение нескольких дней. Быстро проходит весна и наступает лето, которое иногда бывает суше обыкновенного. Все дете-

ныши первого помета всех самок пеструшки выростают и, не позже как через шесть недель, уже сами готовы производить потомство. Тем временем родители производят второе, третье поколение, и дети следуют их примеру. В течение трех месяцев высоты и низменности тундры кишат пеструшками. В какую сторону ни повернешься, везде встречаешь этих суетливых животных; десятки их можно охватить одним взглядом, тысячи их встречаются в течение одного часа. Они перебегают все тропинки и дорожки; забившись в чащу, они сидят, ворча и скаля зубы, даже при встрече человека, как будто бесконечное их множество делает каждого в отдельности более задорным. Но бесконечное, все возрастающее количество их становится гибельным для них самих. Вскоре их прожорливым зубам тундра перестает давать достаточно работы. Голод приближается и наконец действительно наступает. Тогда встревоженные животные скучиваются и приступают к переселению. К сотням присоединяются другие сотни, к тысячам собираются другие тысячи; группы выростают в отряды, отряды— в армии. Они двигаются в определенном направлении, сперва следуя своим прежде проторенным тропинкам, а потом прокладывая новые; бесконечными, неподдающимися никакому счислению рядами они спешат далее и далее; дойдя до скал, они низвергаются в воду. Тысячи погибают от лишений, от голода, и через их трупы пробегает следующий отряд; сотни тысяч тонут в водах, разбиваются у подножия скал; другие сотни и тысячи находят себе могилу в желудках следующих за ними полярных и красных лисиц, волков и россомах, воронов, сов и хищных чаек; остальные продолжают свой путь. Куда они идут и где останавливаются, никто сказать не может; известно только, что после их ухода тундра кажется вымершей, что иногда проходит ряд годов, прежде чем немногие оставшиеся на месте, постепенно размножаясь, опять заметно населят свои родные местности.

Третьим характерным животным тундры должен быть назван северный олень. Тот, кто видел этого некрасивого оленя лишь в неволе, не может составить себе понятия о том, каков он на свободе. Здесь, в тундре, можно научиться ценить его и убедиться, что он не приносит бесчестья другим членам своей семьи. Он принадлежит тундре душою и телом. Своими ширококопытными, лопатообразными, необыкновенно подвижными ногами, служащими ему при нужде вместо весел, он преодолевает все препятствия тундры: необозримые глетчеры, зыбкие поверхности бездонных трясин, покатости, усеянные валунами, низкорослые березы, реки и озера; ногами же он отрывает себе пищу из-под самого глубокого снега. От лютых холодов длинной полярной ночи его защищает плотная, непроницаемая для морозов шкура, от мучений голода—неразборчивость в выборе корма, которым он пользуется, от волка, неотступно следующего по его пятам—по крайней мере, до известной степени, острота чувств и бдительность, быстрота и выносливость. Лето проводит он на возвышенностях тундры, там, где склоны в непосредственной близости глетчеров, на-ряду с оленьим лишайником, покрыты сочными и вкусными альпийскими растениями; зимою переходит он в низменной тундре с одной гряды холмов на другую, отыскивая обнаженные ветром, бесснежные места. Незадолго перед тем, вместе с развитием своих рогов, достиг он полной силы, вместе с сознанием ее почувствовал любовь и боролся на жизнь и смерть с соперниками, обладающими такою же силой и таким же настроением, и стук их сталкивающихся рогов оглашал собою молчаливую тундру;

теперь, утомленный борьбою и любовью, мирно соединившись с подобными себе в большие стаи, он проходит по своей области, выдерживая борьбу с зимою. Правда, по красоте и осанке северный олень уступает благородному оленю; но кто видит его не стесняемого неволей, в родной тундре, в больших сомкнутых стаях, на гористых местах, где он эффектно выделяется на голубом небе или на белом снегу, тот должен сознаться, что и северный олень принадлежит к горделивым диким



Северный олень.

животным и может заставить забиться сердце охотника сильнее, чем тот мог предположить.

Класс птиц также доставляет тундре некоторых ее характерных представителей. Из птиц, водящихся там, по крайней мере одна встречалась каждому, проезжавшему по северной пустыне, а именно белая куропатка, о которой немецкий поэт говорит:

Im Sommer bunt vom Kopf zur Zeh',
Im Winter weisser als qer Schnee *).

*) Летом пестрая с головы до ног, зимою белая, как снег.

Это—не белая куропатка южных горных местностей, но похожая на нее и живущая в области глетчеров. Ее можно найти повсюду, где растет низкорослая береза; она выдает себя в особенности тогда, когда наступает в тундре ночная тишина, хотя бы солнце и светило еще на небе. Она никогда вполне не покидает своей родины; зима может вытеснить ее с высокой тундры, но не далее, как в низменную область. Она весела и подвижна, отважна и самостоятельна, ревнива и задорна с соперником, нежна и предана в своей семье. Ее образ жизни сходен с жизнью нашей куропатки, но, по своему характеру и поступкам, она гораздо привлекательнее ее. В ней олицетворяется жизнь пустыни. Ее вызывающий крик оглашает тихую летнюю ночь; вереницы ее оживляют зимнюю тундру, избегаемую почти всеми другими птицами; ее появление радует и восхищает и естествоиспытателя, и охотника.

В летнее время к ней почти повсюду присоединяется золотистая ржанка. И она в своем роде верное дитя тундры; она составляет такую же принадлежность тундры, как жаворонок—хлебного поля. В ее одежде, при всей пестроте, соединяются только цвета тундры; ее унылый крик самый подходящий звук для этой пустыни. Если ее приятно видеть у нас, то нельзя того же сказать про тундру: ее крик, слышный и днем и ночью, наводит такую же грусть, как и сама тундра.

Большое удовольствие доставляют звуки другого летнего гостя этой области. Я говорю не о нежных мелодиях варакушки, принадлежащей к птицам, всего чаще прилетающим сюда для высиживания яиц и справедливо называемой «стоязычным певцом»,—не о громких песнях проникающего сюда дрозда-рябинника, не о коротком напеве белого подорожника, не о резком крике сапсана и канюка, не о пронзительном клохтанье морского орла или сходном крике белой совы, не о громком трубном звуке певчего лебедя или жалобном звуке полярной утки, а о любовном призыве той или другой из гагар: это дикая, неправильная и необузданная, но все-таки звучная и полная, громкая мелодия полярной страны, которую можно сравнить с громким шумом прибоя, с шумным грохотом низвергающегося в глубину водопада. Везде, где расстилается рыбное озеро, поросшее осокой, достаточно плотной, чтобы укрыть плавающее гнездо, можно найти это дитя тундры и моря, сумрачного и в то же время веселого рыболова тихих пресных вод и бесстрашного водолаза северного моря. Оттуда эти птицы и прилетают в тундру, чтобы выводить там птенцов, и уводят их к морю, как скоро они могут совладать с морскими волнами. На всем пространстве тундры эти птицы следуют за ее водами; но для них еще приятнее, чем большие озера, небольшие водоемы на береговых горах тундры, откуда они ежедневно могут бросаться в волнующееся, питающее их море.

Море посылает тундре и других характерных для нее птиц. Поморник, хищная чайка, замечательна своими красивыми движениями, но еще более удовольствия доставляет плавунчик или водоход. Обе эти породы выводятся в тундре: одна на открытых моховых болотах, другая на берегах скрытых в пушистом ивняке прудков и луж. Если другим чайкам дают название «морских воронов», то поморников можно назвать «морскими соколами». Они справедливо носят наименование «хищных». Подобно соколам, носятся они летом над тундрой, зимою над берегами северных морей; они парят зигзагами над сушей или над водой, ловко и красиво бросаются на намеченную жертву и проворно схватывают ее; но эти сильные хищники не стыдятся при

других обстоятельствах быть назойливыми попрошайками. Горе чайке и всякой другой морской птице, поймавшей добычу на глазах хищной чайки! С быстротой стрелы и с пронзительным криком нагоняет она счастливого хищника, точно играя, кружится около него, преграждает ему бегство, храбро отражает всякую защиту и неотступно мучит его до тех пор, пока он не бросит ей свою добычу, хотя бы и успел уже почти проглотить ее. Все ее приемы, ее ловкость и проворство, смелость и нахальство, неутомимая бдительность и неотразимая назойливость невольно заставляют удивляться; даже ее попрошайничество заставляет извинять его; так много в нем своего рода грации. Но плавунчик еще привлекательнее. Плавунчик—береговая птица, соединяющая в себе свойства своего семейства и плавающих птиц и живущая частью на суше, частью на воде и даже на море. Легко и красиво, превосходя изяществом движений всех других водяных птиц, плавает она по волнам; проворно и ловко бегает вдоль берега и с быстротою болотного кулика носится зигзагами по воздуху. Доверчиво и безмятежно позволяет плавунчик наблюдать себя на самом близком расстоянии; тревожно заботясь о своем гнезде с четырьмя грушеобразными яичками, он по большей части сам выдает его присутствие: так хлопочет он о том, чтобы скрыть его в осоке. Пожалуй, его можно назвать самою миловидною из всех птиц, водящихся в тундре.

Для тундры характерны также и хищные птицы, по крайней мере, по тому образу жизни, какой они там ведут. Так как лишь в южной окраине этой области или в высокой тундре встречаются деревья и скалы, на которых они могут свивать себе гнезда, то в других местностях ее им приходится, волей или неволей, класть и высиживать яйца на земле. Между сплетающимися ветвями низкорослых берез устраивает свое гнездо болотная сова, а на верхушках—канюк; на голой земле кладут яйца полярная сова и сапсан, при чем последний избирает места по возможности ближе к краю оврага, как будто хочет себя обмануть, стремясь заменить недостающую ему возвышенность. Насколько все они сознают небезопасность таких мест для своих гнезд, доказывается их образом действий, когда к ним приближается человек. Уже издали они смотрят на путника с недоверием и встречают его громкими криками; чем ближе он подходит, тем более растет тревога озабоченных родителей. До того времени они кружились на двойном расстоянии выстрела над этим столь редко показывающимся опасным врагом; теперь они смело опускаются к нему, летают так близко над его головой, что можно ясно слышать резкий свист их крыльев и даже опасаться быть задетым ими. Птенцы, заметные издали в виде белых комочков, боязливо припадают к земле и остаются перед приближающимся незнакомым, но очевидным врагом без движения, в описываемом положении или в другом избранном случайно, так что их можно срисовать, не опасаясь, что они пошевелятся,—чрезвычайно милая картина!

Я бы мог перечислить и многих других животных, если бы считал их необходимыми для характеристики тундры. Но эта роль может принадлежать еще только одним существам—комарам. Тому, кто признал бы за ними наибольшее значение из всех животных тундры, трудно было бы возразить. Они дают жить только немногим высшим животным, всего более птицам и рыбам; других, так же, как и человека, они гонят с места на место; они составляют единственную причину, почему тундра летом необитаема для цивилизованного человека. Их множество превосходит всякое представление; их сила одолевает человека и

животных; причиняемое ими мучение не поддается никакому описанию.

Известно, что они кладут яйца в воду, где и живут их личинки до своего превращения. Этим объясняется, почему тундра более всякой другой местности благоприятствует их развитию и их громадному размножению. Как скоро вновь восходящее солнце растопит снег и замерзшую поверхность земли, пробуждается и жизнь комаров, задержанная, но не уничтоженная зимней стужей. Из яичек, оставшихся в обледенелом иле, выползают личинки; они превращаются через несколько дней в куколок, куколки—в крылатые особи, и поколение быстро следует за поколением. Время наибольшего обилия этих ужасных животных начинается перед летним поворотом солнца и продолжается до половины августа.

В течение всего этого времени они встречаются всюду, в высоких и низких местах, на горах и долинах, между низкорослыми березами или ивовыми зарослями, и на берегах рек или озер. Каждый травяной стебель, каждая веточка моха, каждый сучек, каждый листок высылает в любое время дня сотни, тысячи их. Москиты экваториальных стран первобытных лесов и болот Южной Америки, Средней Африки, Индии, Зондских островов и др. мест, устрашавшие многих путешественников, но не более, чем наши комары, появляются во множестве только ночью: комары тундры летают в течение десяти недель, и из них в течение шести недель буквально без перерыва. Они образуют тучи, имеющие вид плотного черноватого дыма; они окружают каждое существо, попадающее в их область, точно туманом; они наполняют воздух в таком количестве, что едва возможно дышать; они уничтожают всякое старание их отогнать; они превращают самого сильного человека в слабое существо, лишенное воли, гнев его—в страх, проклятие—в стоны.

При первом вступлении в область тундры раздается их гудение, кажущееся то кипением металлического чайника, то звуком колеблющейся металлической пластинки, и через несколько минут они окружают уже тысячами и тысячами. Состоящий из них лучистый венец облекает голову и плечи, туловище и конечности, следуя за всеми движениями, как бы они ни были быстры, и не может быть удален никакими средствами. Если остановиться, он становится плотнее; если итти дальше, он вытягивается в длину; если бежать возможно скорее, он распространяется в виде длинного хвоста, все-таки не отставая. Если на встречу веет умеренный ветер, он только способствует их полету, так как они стараются преодолеть воздушное течение; если ветер усиливается, все члены этой стаи напрягают свои силы до крайнего предела и падают, как колючий град, на голову и затылок. Прежде чем это можно заметить, все тело от шеи до пяток уже покрыто комарами. Плотными стаями, в виде темных пятен на сером платье и сероватых пятен на темном, они усаживаются, медленно перебегают взад и вперед и ищут непокрытого места, где можно было бы сосать кровь. Они бесшумно, нечувствительно вползают на незащищенное лицо, на шею и затылок, на обнаженные руки и ноги в открытой обуви, и затем, через минуту, уже медленно запускают свои жала в глубину кожи и вливают капельку жгучего яда в ранку. С раздражением убиваешь кровожадное животное, но пока поднимается карающая его рука, три, четыре, десять других комаров уже усаживаются на нее, на затылок, на ноги, с тою же целью, как и убитые. Дело в том, что там, где пролилась кровь, там, где уже многие комары нашли свою гибель, прочие стараются усесться с особенным предпочтением, хотя бы поле покрывалось постепенно ты-

сячами трупов. Самыми любимыми местами для нападения их служат виски, лоб под краем шляпы, затылок и сгиб руки, вообще такие места, где они по возможности защищены от мести.

Если заставить себя наблюдать за ними во время их кровавой работы, т.-е. не сгонять и не тревожить их, то прежде всего можно заметить, что их усаживание и движение нечувствительны для нас. Непосредственно затем как они уселись, они начинают свою работу. Они спокойно бродят по коже и тщательно ощупывают ее своим хоботком, затем вдруг останавливаются и с поразительною легкостью прокалывают кожу. Пока они сосут, они приподымают, с видимым удовольствием, даже сладострастием, то одну, то другую заднюю ножку и медленно двигают ею взад и вперед, тем решительнее, чем более их прозрачное тельце наполняется кровью. После того как они попробовали крови, они уже ни о чем более не заботятся и повидимому почти не чувствуют, если их тревожат или мучат. Если с помощью тонкого пинцета вытащить хоботок из раны, они с минуту щупают кожу и опять вонзают ее в старое или другое место; если хоботок быстро перерезать острыми ножницами, они по большей части остаются в прежнем положении, как будто должны еще опомниться, потом проводят передними ножками по остатку хобота и долго еще не убеждаются в том, что этот орган уже более не существует; если у них внезапно перерезать заднюю ножку, они продолжают сосать, как будто ничего не случилось, и шевелят ее остатком; если отделить наполненную кровью, заднюю половину тельца от другой половины, то они вытаскивают еще хоботок из раны, улетают, раскачиваясь на воздухе, и через несколько минут умирают.

Тщательные наблюдения за их действиями устанавливают несомненно, что они при отыскивании своей жертвы руководствуются не столько зрением, сколько обонянием. Можно сказать вполне определенно, что с приближением человека на 7-8 шагов они поднимаются с места отдыха и затем без промедления и без ошибки летят к намеченной жертве. Проходя по обнаженной песчаной отмели, наиболее свободной от них, легко наблюдать, как они собираются около своей жертвы. Повидимому, на половину переносимые ветром, на половину двигаясь собственной силой, во всяком случае летая без цели, они даже и над таким счастливым местом постоянно носятся в некотором количестве и иные оказываются по близости наблюдателя. В тот же момент оканчивается их видимая бездеятельность. Направление их полета разом изменяется, и они бросаются прямо на предмет их желания, извещая его об этом. Один присоединяется к другому, и не успеет еще пройти пяти минут, как они уже в виде лучистого венца окружают страдальца. Не так легко скопляются они в различных слоях воздуха. Когда я, наблюдая их на высоколежащей дюне, долгое время был преследуем и мучим ими, я привлек окружавшую меня тучу постепенно к краю крутого обрыва дюны, дал ей сгуститься и разом спрыгнул в глубину. С искренним облегчением я увидел, что я стряхнул с себя, по крайней мере, большую часть моих мучителей. Они продолжали кишеть на верху дюны, над тем местом, с которого я спрыгнул, еще долгое время, образуя густое облако. Впрочем, несколько сот их последовали за мной в глубину.

Даже естествоиспытатель, знающий, что кровь сосут только самки комаров и что эта работа связана у них, несомненно, с размножением, вероятно, обусловливая созревание оплодотворенных яичек, даже и естествоиспытатель не в силах вынести мучений, доставляемых ему этими демонами тундры, хотя бы он был самый невозмутимый мудрец

в подлунной. Страдание причиняется не только болью, вызываемой уколом, и образующеюся вслед затем опухолью, но постоянным беспокойством, непрерывной назойливостью насекомых. Боль, причиняемая уколами комаров, можно переносить без жалоб даже в начале пытки и тем более впоследствии, когда кожа притупится к яду, постепенно изливаемому в нее; поэтому сопротивление здесь возможно довольно продолжительное время, но под конец все-таки приходится сознать себя побежденным ужасными мучителями тундры. Их неисчислимые, вездесущие, всегда готовые к битве легионы могут сломить всякое сопротивление. Преследуя беспрерывно, мешая каждому занятию, отравляя каждое удовольствие, препятствуя развитию каждой мысли, они утомляют не только физически, но под конец ослабляют и умственно. Ноги, после недолгого пути, отказываются служить, ум отказывается воспринимать впечатления; тундра становится адом, и ее пытка—мучением, не имеющим названия. Не зима с ее вьюгами, не ледяной покров и его холод, не скудость, не бесприютность, а комары составляют проклятие тундры!

Комары во время своего наибольшего скопления летают почти беспрерывно, при солнечном сиянии и спокойной погоде с видимым наслаждением, при умеренном ветре еще с достаточным удовольствием, при меньшем тепле еще довольно весело, перед наступлением дождя всего свободнее, при более свежей погоде менее, а в холодную почти не замечаются. Сильная буря загоняет их в кустарник и мох; но как только она прекращается, они опять становятся подвижны и деятельны и готовы к нападению во всех местах, лежащих за ветром, хотя бы буря и продолжала свирепствовать. Ночь с заморозком, образующая иней, прерывает их деятельность, но не устраняет ее; сырые и холодные дни уничтожают их тучи, но наступающее затем тепло способствует появлению новых масс. Только осенние туманы освобождают от них до следующего года.

Насколько медленно подвигается весна, настолько быстро наступает в тундре осень. Одна холодная ночь, по большей части в августе и самое позднее в сентябре, заканчивает ее летнюю жизнь. Ягоды, которые еще в половине августа заставляют отчаиваться, чтобы они могли созреть, к концу месяца становятся настолько сочны и сладки, насколько это возможно для них; немногие сырые и холодные ночи, уже покрывающие горы мелким снегом, ускоряют их созревание более чем солнце, которое по целым дням скрывается за облаками. Листья низкорослых берез окрашиваются с верхней стороны бросающимся в глаза сургучно-красным, а с нижней—ярко-желтым цветом; такое же превращение испытывают и прочие крупные и мелкие кусты, и мрачное, буровато-зеленое окрашивание тундры переходит в такой оживленный красновато-бурый цвет, что даже желтовато-зеленые олени, лишайники уже не выделяются более. Крылатые летние гости летят на юг или к морю; рыбы двигаются вниз по рекам тундры. С гор спускается олень в низину и следом за ним волк; на горы переселяется собирающаяся громадными стаями белая куропатка, находя себе там приют, пока зима опять не вытеснит ее в низменную тундру.

Еще несколько дней, и зима, страшная для нас и для перелетных птиц, и желательная для местных жителей, вступает в неприветливую страну, чтобы владычествовать дольше, много дольше весны, лета и осени. Дни за днями и недели за неделями падает снег, то тихо шелестя острыми кристаллами, то, гонимый бешеной вьюгой,—большими хлопьями. Горы и долины, реки и озера постепенно скрываются под общей для всех зимней одеждой. От времени до времени появляется

еще в полуденное время продолжительный солнечный свет над снежными полями; но вскоре, даже в ясную погоду, только бледное сияние на южной стороне неба возвещает, что половина солнечного дня уже прошла. Начинается длинная зимняя ночь. Затем, в течение целых месяцев, мерцает только слабое отражение звезд на снегу, и одна лишь луна напоминает о всеоживляющем светиле нашего мира. Но когда солнце совершенно исчезает из тундры, ярко и лучисто встает для нее другое: высоко на севере сверкает и переливается «Совейдут», величественный огонь, пламенное северное сияние!

Путешествие по Сибири.

Оживленные улицы Петербурга и сверкающие золотом куполы Москвы остались позади нас; перед нами башни Нижнего-Новгорода на другом берегу Оки. До Нижнего мы пользовались современными путями сообщения; далее мы должны были испытать, каким образом в русском царстве проезжают расстояния в тысячи километров или верст, проезжают зимою и летом, ночью и днем, в суровую непогоду и при веселом солнечном освещении, под хлещущим дождем, в леденящую вьюгу и при пыльной засухе, в санях и в колесных экипажах. Перед нами стояла огромная, массивная кибитка, с кузовом, защищающим от снега и дождя, и колокольчик побрякивал под дугою тройки *).

19 марта начали мы, по хрустальному покрову Волги, нашу поездку, очень быструю, но не всегда беспрепятственную. Оттепель сопровождала нас из Германии в Россию, оттепель выгнала нас из Петербурга и Москвы и не переставала быть нашим спутником, как будто мы были вестниками весны. Проруби во льду, наполненные водою, грозно напоминающие о зияющей под нами бездне, обрызгивали лошадей, сани и нас или вынуждали к утомительным объездам. Объезды, благодаря шуму и треску льда, казались опаснее, чем были в действительности, и настолько озабочивали ямщика и станционного смотрителя, что мы, после недолгого пути, должны были променять гладкую ледяную поверхность на неукатанную еще летнюю дорогу. На несколько аршин в глубину лежал на ней рыхлый, уже пропитанный водою снег; справа и слева бежали и шумели ручейки. Лошади, запряженные гуськом, одна перед другой, страшно измучивались, отыскивая твердую почву: они беспрестанно подпрыгивали, чтобы ступать в следы предшествовавших им лошадей и, при каждом неверном прыжке, погружались по грудь в снег или ледяную воду. Сзади с шумом катились сани, треща во всех скреплениях, когда круто ныряли в ухабы; иногда они застревали в яме по целым часам, несмотря на невероятные усилия лошадей, и только уныло позвякивал «дар Валдая», колокольчик. Напрасно ямщик ободрял, проклинал, кричал, выходил из себя и хлестал лошадей; в большинстве случаев высвободиться удавалось лишь с чужой помощью.

Мучительно тянулись часы; расстояния как будто увеличивались в четыре и в пять раз. Смотреть из саней направо и налево почти не

*) Путешествие Брэма по Сибири относится к 1870-м годам, когда железнодорожный путь по направлению на Восток заканчивался в Нижнем-Новгороде.

Прим. ред.

стоит труда, так как равнина, лежащая перед нами, пустынна и непривлекательна; только в деревнях представляется много поучительного и достойного внимания, но лишь тому, кто хочет и умеет наблюдать. Зима еще удерживает население в его маленьких, красиво отделанных снаружи, но по большей части худо сплоченных бревенчатых домах; только мальчики, одетые в шубы, бегают босиком по мокрому снегу и грязи, смешанной с навозом, а более взрослые мальчики и девочки переходят улицу на ходулях. Одни лишь старые белобородые нищие окружали почтовые станции и кабаки; эти нищие столько же восхитили бы каждого живописца, сколько они восхищали меня: выпрашивая подаяние, они обнажали голову, выказывая почтенную лысину и длинную ниспадавшую бороду; поражала грязь их тела и лохмотья их одежды; но в то же время они казались такими избранными типами презирающих мир праведников, что я не мог не подавать им, чтобы заставлять их, в виде благодарности, перекреститься от трех до девяти раз с такою выразительностью и убежденностью, как могут креститься только настоящие праведники.

И животный мир виднее выступал в деревнях, чем на полях и даже в лесах, через которые мы проезжали. В полях зима сковывала еще животную жизнь, все еще было тихо и мертво; кроме вороны и подорожника, мы не видали там почти ни одной птицы и даже не замечали на снегу следов млекопитающих; в деревнях, по крайней мере, нас встречали красивые галки, привлекательное украшение крыш крестьянских домов, черные во́роны—у нас пугливые горные и лесные обитатели, а здесь доверчивые сожители поселянина, сороки и другие птицы, не говоря уже о домашних животных, из числа которых всего более обращали на себя внимание свободно бегающие свиньи.

После четырехдневной непрерывной езды, без освежающего сна, без укрепляющего отдыха, без достаточного питания, чувствуя себя разбитыми во всем теле, перейдя пешком уже треснувший во многих местах ледяной покров Волги, мы достигли наконец Казани, старинной татарской столицы, шестьдесят башен которой еще накануне приветливо блестели перед нами. Мне показалось, что я перенесся на Восток. С минаретов и выступающих местами островерхих деревянных башен слышался на арабском языке призыв к молитве, как этого требует Ислам от своих последователей; между мужчинами в чалмах шмыгали, боязливо закрываясь перед ними и с любопытством открываясь перед нами, черноглазые женщины, пробираясь в изящных, открытых желтых башмаках по оттаявшим тропинкам вдоль домов; в суете базара непринужденно двигались старый и малый: одним словом, все так же, как и на Востоке. Только многочисленные, великолепные церкви, между которыми особенно выдается местоположением и архитектурой монастырь Казанской Божией Матери, не подходили к картине Востока, хотя они и показывали, что здесь христиане и магометане уживаются в полном согласии.

В еще более легких санях, по еще менее проезжим дорогам, подвигались мы дальше по направлению к Перми и Уралу. Наш путь шел через татарские и русские деревни, через окружающие их луга и через простирающиеся на далекие пространства леса. Татарские деревни, по большей части, выгодно отличаются от русских, и не одним только отсутствием неопрятных свиней, но хорошо содержимыми, обсаженными высокими деревьями, кладбищами. Леса, хотя и разделенные

на участки, представляют собою вполне первобытный лес, который вырастает и развивается, стареется и погибает без вмешательства человека; они лежат слишком далеко от судоходных рек, чтобы иметь ценность в настоящее время.

Две большие реки, Вятка и Кама, пересекают наш путь. Зима еще держит их в крепких оковах, но веяние весны начинает уже разрушать ледяной покров. Вода заливает края берегов и заставляет лошадей обозных извозчиков, избегающих наведенных на таких местах временных мостов, переправляться по воде вплавь, причем сани плывут за ними, как лодки.

Еще не доезжая до Перми, мы должны были переменить сани на колесную повозку и в ней переехали через Урал, отделяющий Европу от Азии. Дорога идет здесь через ряды вытянутых, пологих, постепенно возвышающихся холмов. Характер пейзажа изменяется; если не величественные, то во всяком случае красивые горные картины представляются взору. Маленькие лески, вперемежку с полями и лугами, напоминают предгорья Штирийских Альпов. Большая часть здешних лесов бедны и однообразны; другие, более богатые и разнообразные, считаются заповедными на больших пространствах. В одних местах они состоят из низких сосен и берез; в других—обе эти породы перемешиваются с липами, осинами, черными и белыми тополями, над круглыми шапками которых поднимаются, как свечи, кипарисообразные вершины величественных пихт. Деревни здесь вообще больше и даже лучше, чем виденные нами раньше, но дороги так плохи, как нельзя и представить себе. С томительной мукой тянутся тысячи возов по глубоким, грязным колеям; так же медленно и досадливо движемся и мы, пока наконец после трех дней пути не достигаем водораздела двух больших бассейнов Волги и Оби. Каменный столб, на западной стороне которого написано «Европа», а на восточной—«Азия», извещает нас, что мы переступили через границу родной части света. Со звоном стаканов вспоминаем мы о милых средцу, которые теперь от нас далеко.

Красивый Екатеринбург, со своими золотыми плавильнями и гранильнями, несмотря на гостеприимство его обитателей, удерживает нас лишь короткое время; все могущественнее и настоятельнее приближается весна, и все мягче и рыхлее становится на реках и речках лед, который до самого отдаленного Омска должен служить нам мостом. Без отдыха спешим мы через равнины азиатской части Пермской губернии, пока не достигаем ее границы, за которой начинается Западная Сибирь.

Здесь на первой почтовой станции нас встречает начальник Тюменского уезда, чтобы приветствовать нас от имени генерал-губернатора и сопровождать в пределах своего уезда; в уездном городе мы находим дом одного состоятельного человека приготовленным для нашего помещения. Здесь начинается наше знакомство с русским гостеприимством. И до того времени нас везде приветливо принимали и угощали, но далее уже все высшие чины уездов и областей заботятся о наших удобствах, и для нашего приема открываются дома самых знатных лиц. С нами обращаются, как с принцами, только потому, что мы преследуем научные цели. Как бы мы ни были признательны, мы не могли бы выразить нашу благодарность вполне достойным образом: для этого недостало бы слов.

По ту сторону Тюмени, где мы оставались три дня, чтобы осмотреть пересыльные тюрьмы, кожевенные заводы и другие достопримечательности первого сибирского города, крестьяне показали нам, как

они умеют справляться с реками. Наступающая весна раздробила лед Пижмы, и льдины начали приходить в движение, а нам нужно было переправиться через реку. В ожидании нас население деревни Романовское стояло с открытыми головами перед Пижмой; в ожидании нас и эта последняя должна была помедлить освобождением от своих кристальных оков. Столько же ловко, сколько и смело был переброшен временный мост через реку, уже отчасти освободившуюся от льда, причем большая лодка служила средним мостовым устоем, а грозившие своим напором льдины выше и около моста были прикреплены к берегу крепкими веревками и канатами. Деятельные руки распрягли приготовленную для нынешнего переезда упряжку в пять лошадей, крепко ухватились за оси и спицы и перекатили один экипаж за другим по колеблющемуся, волнообразно изгибающемуся, скрипящему и стонущему мосту. Он исполнил свое назначение: на другой стороне мы весело двинулись дальше по воде и снегу, илу и грязи, по гатям и льду.

Менее податливым оказался Тобол, когда мы, в страстную пятницу, 14 апреля, в первый настоящий весенний день, хотели переправиться через эту реку. И здесь мы нашли все необходимые приготовления для нашей переправы; один из наших экипажей был уже выпряжен и вывезен на лед, когда этот последний с треском расступился и вынудил к самому поспешному отступлению. Весело позвякивали колокольчики под дугою, когда мы выезжали из Ялуторовска, и печально звенели они, когда мы возвращались опять в этот город; только в первый день Пасхи могли мы переправиться через широкую реку с помощью парома.

Так дело шло и дальше; перед нами или позади нас реки сбрасывали свой зимний покров; только страшный Иртыш был неподвижен и прочен, когда мы переезжали через него. Таким образом, без дальнейших приключений, пробыв более месяца в пути, мы достигли Омска, главного города Западной Сибири.

Осмотрев в Омске все, что стоило осмотра,—улицы и дома, кадетский корпус, музей, больницу, тюрьму и мн. др., мы отправились дальше в Семипалатинск, вдоль правого берега Иртыша, по дороге, соединяющей деревни так называемой Казачьей линии. Уже между Ялуторовском и Омском мы ехали по Ишимской степи; теперь степь окружала нас со всех сторон, и почти каждую ночь небо окрашивалось в красный цвет от пламени зажженной прошлогодней травы. Вдоль Иртыша летели перелетные птицы, непосредственно за льдом, подвигающимся к северу; водяные птицы наполняли в громадном количестве все заводи и степные озера; различные виды жаворонков большими стаями встречались около дороги; изящные степные соколы появились на своих летних местопребываниях; весна становилась действительностью.

В Семипалатинске мы имели счастье найти в губернаторе, генерале Полторацком, человека дружественно расположенного к нашим намерениям, а в его супруге—самую любезную хозяйку, какую только возможно себе представить. Не довольствуясь приготовленной для нас в Семипалатинске гостеприимной встречей, генерал пожелал показать нам с выгодной стороны главную часть населения управляемой им области—киргизов, и с этою целью устроил величественную охоту на архаров, диких баранов, которые по величине почти вдвое превосходят наших овец.

3-го мая отправились мы на охоту, перебрались через Иртыш и поехали по ташкентской почтовой дороге в киргизскую степь. Через

шестнадцать часов езды достигли мы места охоты—скалистых степных возвышенностей; вскоре мы остановились перед воздвигнутым для нас аулом или лагерем из юрт, были дружелюбно встречены выехавшей накануне супругой генерала и тепло приветствованы, по крайней мере, двадцатью киргизскими султанами, старшинами общин и их многочисленной свитой.

Три следующие дня прошли на вершинах Аркатских гор. Для киргизов, всегда жаждущих празднеств, наступили веселые дни, так же, как и для нас. По долине и по горам громко раздавался топот лошадей восьмидесяти или более всадников, в оба следующие дни выезжавших на охоту; солнце, как только показывалось, ярко освещало пестрые, оригинальные одежды, которые до тех пор были скрыты под шубами; оживленный шум наполнял горы и ущелья. Со своими лучшими скакунами, самыми искусными проводниками, ручными орлами, борзыми собаками и верблюдами, с музыкантами и импровизаторами, борцами и другими витязями, появились некогда столь страшные киргизы, в настоящее время покорные подданные русского государства. Группами и кучками сидели они по одиночке и по нескольку вместе, показывались то там, то здесь, весело и гордо носясь на своих конях; с живым вниманием следили они за борьбой, с одушевлением—за скачкой мальчиков; с искусством и пониманием распоряжались охотой; с восторгом слушали слова импровизатора, который воспевал охоту. Один киргиз убил архара еще до нашего приезда; охотничье счастье поставило другого архара перед моим метким ружьем. Эта удачная охота воодушевила импровизатора. Его стихи не были богаты содержанием и глубоки по замыслу, но были все-таки настолько своеобразны, что я записал их, чтобы сохранить для себя этот опыт кригизской поэзии. Между тем, как певец пел, толмач переводил его песню по-русски, генерал—по-немецки, и, когда пение окончилось, у меня оказались записанные наскоро следующие слова:

«Говори теперь, красный язык, говори, пока есть в тебе жизнь; после смерти ты будешь нем.

«Говори теперь, красный язык, данный мне богом: после смерти ты будешь молчать.

«Слова, которые теперь звучат на тебе, не сойдут уже с тебя после смерти.

«Людей, возвышающихся, как горы, вижу я перед собой; и им хочу я сказать правду.

«Мне кажется, я вижу перед собой горы и скалы; я бы мог сравнить их с скакуном.

«Они—более всяких судов, они, как пароход на волнах Иртыша.

«Я вижу в тебе, о, повелитель, после государя, того, кто возвышается над всеми, кто—подобен горе, равен по достоинству скаковой лошади, идущей иноходью.

«Мать родила меня, но язык дал мне бог.

«Если я не буду теперь говорить перед тобой, к кому же я обращусь с речью?

«С полною свободой говорю я, как будто говорю моему народу.

«Да будет счастье тебе, господин, и благо твоим гостям, между которыми есть знатные люди.

«Каждый гость генерала—и наш гость; он может быть уверен в нашей дружбе.

«Бог дал мне язык—пусть он говорит далее.

«В горах видели мы охотников, стрелков, загонщиков, но одному только послужило счастие.

«Как вершина высочайшей горы возвышается над другими, так оно подняло его над всеми; он метко застрелил архара двумя пулями и принес его в юрту.

«У всех охотников было желание вернуться с добычей; но один только видел исполненным свое желание—на радость нам, на радость и тебе, о, знатная женщина, к которой я обращаюсь теперь.

«Весь народ, не одни только мужчины, видя тебя здесь, приветствуют тебя; весь народ желает тебе радости, тысячу лет жизни и здоровья.

«Если оно тебе угодно, прими выражение нашей преданности! Хотя ты видала народ лучший, чем мы, но никто с большей искренностью не приветствовал и не принимал тебя

«Да благословит тебя бог, да благословит он твой дом и твоих детей! Слишком мало у меня слов, чтобы прославлять тебя, но бог дал мне язык, и этот красный язык сказал, что таилось у меня в сердце».

Мы оставили Аркатские горы, а вскоре после того—и область, находившуюся под управлением нашего гостеприимного хозяина, с которым мы расстались на месте охоты. В Сергиополе, первом туркестанском городе, мы были встречены полковником Фридрихсом и приветствованы им от имени генерал-губернатора этой обширной области; дальнейший путь мы продолжали уже в обществе полковника. Киргизы давали нам почетную свиту и выставляли для нас лошадей, которые раньше никогда не употреблялись для упряжи и в начале неслись с тяжелой повозкой, как бешеные. Киргизские султаны оказывали нам гостеприимство, заботились о нашем крове и продовольствии во время пути, ставили юрты повсюду, где мы хотели или должны были отдыхать. Киргизы ловили для наших коллекций змей и других пресмыкающихся, забрасывали для той же цели сети в степных озерах и, как верные собаки, следовали за нами в охотничьих экспедициях. Так ехали мы степью, красовавшеюся теперь в полном весеннем уборе; останавливались для охоты и собирания коллекций у Алакуля или «пестрого озера», проезжали через цветущие долины и прелестные горы казачьей станицы Лепсы, расположенной в Алатау, одной из величественнейших степных горных цепей, перерезали окрестности этого поселения; взбирались на горы, наслаждались шумящими здесь горными потоками, зелеными горными озерами и прекрасными видами, и повернули затем, продолжая путь в северо-восточном направлении, к китайской границе, чтобы самой краткой и удобной дорогой проехать частью Небесной империи на Алтай.

В последнем русском пограничном пункте до нас дошла весть, что его неизреченность Джандсун Дьюн, главный наместник Тарабагатайской области, желает приветствовать нас от имени Китая и приглашает к торжественному обеду. Чтобы исполнить желание высокого китайского сановника, 21 мая мы направились в главный город названной провинции, в Чугучак.

Мы ехали верхом степью, раскаленной по-летнему, в многочисленном и блестящем составе. Отчасти для того, чтобы иметь достаточную охрану в стране, где восстания весьма часты, отчасти для того, чтобы появиться перед его неизреченностью в достойном, чтобы не сказать торжественном виде, лица, назначенные нас сопровождать, кроме три-

дцати казаков, находившихся под начальством майора Тихонова, и наших старых друзей киргизов, вытребовали еще полсотни казаков; таким образом пустынная до тех пор степь громко оглашалась топотом нашего маленького отряда. Все наши киргизы были в праздничных одеждах, и их черные, голубые, желтые и красные кафтаны, обшитые серебряным и золотым галуном, состязались в блеске и сиянии с мундирами сопровождавших нас русских офицеров. На недавно установленной границе находился китайский военный сановник, посланный приветствовать нас; но он тотчас же повернул лошадь и поскакал назад во всю прыть, чтобы известить своего повелителя о нашем прибытии. Наши лошади спотыкались о кучи развалин и шли между полуразрушенными и недостроенными зданиями и между цветущими садами, когда мы достигли города; карикатурные монгольские физиономии осклаблялись при виде нас, женщины ужасающего безобразия оскорбляли самым чувствительным образом мое эстетическое чувство. Наш отряд остановился перед жилищем наместника; мы ожидали перед широкими воротами дома разрешения войти туда. Напротив него возвышалась искусно сложенная стена с причудливой фигурой животного по средине на земле, направо и налево от нее, лежали китайские орудия пытки. Чиновник, состоявший при доме, попросил нас войти, но казакам и киргизам велел остаться за воротами. Наместник принял нас в своем помещении, служившем ему жилищем, приемным кабинетом и судилищем, с величайшей торжественностью. Сохраняя достоинство высокопоставленного мандарина, без лишних слов, издавая лишь отдельные, неясные звуки, которые, однако, сопровождались веселым, резким смехом, он протянул нам руку и пригласил сесть за стол, уставленный чаем и бесчисленными маленькими блюдами с странными кушаньями, и «мы протянули руки ко вкусно приготовленной трапезе». Рис, маринованные в масле и сушеные плоды, тонкие, как пергамент, пластинки свиного мяса, вяленые шейки кревет и множество неизвестных или неопределенных деликатесов и лакомств составляли блюда этого стола, а превосходный чай и рисовая водка с отвратительным сивушным запахом, крепкая, как спирт, служили напитками. После завтрака, который, благодаря предварительно съеденной мною обильной и безопасной закуске, не причинил мне, по крайней мере, никакого вреда, были поданы кальяны, и затем нам показывались различные предметы, какие можно и какие нельзя было представить себе: картины, изображавшие пейзажи и животных, одобрительные отзывы, присланные правительством, большую государственную печать, обернутую с забавной заботливостью в пестрые шелковые материи, странного вида стрелы, имевшие такое значение, какое может быть измышлено только китайским умом, произведения европейской промышленности и т. п. Беседа происходила с крайней сдержанностью и невыразимым достоинством. Наши слова переводились с французского на русский, с русского на киргизский, с киргизского на китайский язык, и ответы передавались нам тем же путем; неудивительно, что разговор сохранял тон величайшей торжественности. После завтрака появились китайские стрелки из лука, чтобы показать нам свою военную доблесть и ловкость; Джандсун милостиво сам повел нас в свой сад и угощал нас его произведениями. Наконец он отпустил нас, и мы проехали теперь по улицам и базарам города и нашли гостеприимство в доме одного татарина, предложившего нам превосходный обед, скрашенный присутствием очаровательно-прекрасной молодой жены его, призванной для оказания нам почета на мужскую половину. Затем, почти перед

солнечным закатом, мы оставили этот город, замечательный и в историческом отношении.

Чугучак—тот самый город, который в 1867 году, после продолжительной осады, достался в руки дунган, монгольского племени, исповедующего Ислам и постоянно возмущавшегося против китайского владычества. Все население города было истреблено поголовно, и он был сравнен с землей.

Из тридцати тысяч жителей, незадолго перед тем числившихся в Чугучаке, около одной трети спаслось бегством; остальная же часть, успокоенная безуспешностью приступов, осталась на свою гибель. Когда дунганам последний приступ удался, они стали хозяйничать в городе с тою же жестокостью и бесчеловечностью, с какою обращались с ними китайцы. Все, что не погибло от меча, было истреблено огнем. Когда наш спутник, полковник Фридрихс, через две недели после того приехал на место, где стоял Чугучак, обугленное пожарище уже совершенно остыло. Часть волков и собак, раздувшихся от пожирания человеческих тел, уходили оттуда вполне довольные, другая часть не прекращала своего отвратительного пиршества и продолжала глодать кости своих прежних хозяев; орлы, коршуны, вороны и вóроны разделяли с ними трапезу. Там, где пришлось расчистить место, трупы были набросаны друг на друга кучами, дюжинами, сотнями; в других частях города, на улицах, на дворах, в домах, они лежали по одному, по два, по десяти: муж и жена, дед, бабка, мать и дитя, целые семьи, их друзья и соседи, искавшие спасения—со лбами, рассеченными ударом меча, с изрубленными и обожженными лицами, с членами, разорванными и изгрызенными зубами волков и собак. Все самое ужасное, что только может представить себе расстроенное воображение, пораженный страшным зрелищем взор находил здесь в действительности.

В настоящее время в Чугучаке никак не более тысячи жителей; выстроенное вновь, увенчанное зубцами укрепление фактически находится теперь под охраною небольшого русского пограничного пикета. В том, что дунганы до сих пор не положили оружия и все еще не вынуждены к покорности, убедило нас совершившееся за несколько дней перед тем выступление китайского отряда в долину Эмиля, в которую те опять грозили ворваться.

Под защитой маиора Тихонова и его тридцати казаков мы проехали эту долину, не видав в лицо ни одного дунгана, не встретив ни одного человека в течение нескольких дней нашего странствования. Эмиль вьется, вытекая из Саура, между Тарабагатаем и Семистау, двумя высокими горными цепями, сходящимися под острым углом, и с обеих сторон принимает бесчисленное множество ручьев. Искуснейшие в деле орошения китайцы превратили долину в плодородный сад, но дунганы вторглись, опустошили этот сад и вновь превратили его в степь, у которой он был отвоеван. Вблизи города мы еще проезжали небольшими деревнями и видели один калмыцкий аул, но потом наталкивались только на развалины прежнего благосостояния, прежней деятельности человека. На поля сама природа мягкой рукой набросила покров; но развалины деревень, еще не разрушенные бурей и непогодой, взывали к небу. При посещении таких деревень ужас прошлых дней рисуется перед глазами с подавляющей ясностью. Между опустелыми стенами, кровли которых сожжены и верхние части обвалились, на истлевающем мусоре, из которого поднимаются жирные, ядовитые грибы и на котором валяются осколки китайского фар-

фора и полуобугленная, еще сохранившаяся домашняя утварь, повсюду наталкиваешься на человеческие скелеты, расколотые черепа, кости, раздробленные зубами хищных животных, перемешанные с отдельными частями скелетов домашних животных, в особенности собак. Черепа еще и теперь выказывают следы острых клинков, которые раскололи их. Люди падали жертвами ярости врага-истребителя, и собаки разделили участь своих хозяев, которых, быть может, пытались защитить; прочие домашние животные были уведены, похищены, как и всякое ценное имущество убитых, а предметы, не имевшие цены, разбиты и сожжены. Только два полудикйх домашних животных остались на этих обломках—ласточка и воробей; на месте прочих поселились и свили гнезда птицы, избирающие своими жилищами развалины.

Мы ехали беспрепятственно по опасной долине. Не показывался ни один дунган: за нашими тридцатью казаками стояла великая Россия. Когда мы опять встретили людей, мы узнали в них русских киргизов, которые здесь, в Китае, пасли свои стада, обрабатывали поля и воздвигали памятники своим умершим.

Из долины Эмиля мы перевалили через Тарабагатай в одном из самых низких мест хребта и спустились на ровное плоскогорье Чиликти, лежащее на высоте 5600 футов над уровнем моря и окруженное названным хребтом Сауром, Манраком, Терсериком, Мустау и Уркашаром; мы перерезали это плоскогорье, причем проходили мимо громадных курганов или могильных насыпей туземцев и чрез змееобразно извивающиеся долины крайне изрезанного хребта Манрак направились к равнине Зайсана и к основанному четыре года тому назад пограничному пункту этого имени, весьма приветливому городку. Здесь, у самой русско-китайской границы, мы, после Лепсы, очутились вновь среди европейских удобств. В обществах, в каких нам приходилось бывать, обращались так же, как в Петербурге или в Берлине: там разговаривали, играли, пели и танцовали в тесном семейном кругу, точно в общественном саду. Прекрасные соловьиные песни сопровождали танцы и пение: невольно забывалось о том, где находишься теперь.

Я воспользовался временем моего пребывания там для охоты на уларов, горных индеек, похожих на куропаток, но величиною с глухаря, и при этом ознакомился с дикостью Манракского хребта, узнал новые для меня стороны в жизни кочевых киргизов и возвратился из моей успешной поездки в высшей степени довольным.

31 мая, после полудня, мы опять сели в наши повозки и поехали по направлению к Черному Иртышу, чтобы не пропустить встречи с генералом Полторацким, назначенной нам в Алтайских горах. Мы подвигались быстро по богатой степной местности, с землей черною, как уголь, и далее по более сухим, возвышенным степям, до самой реки; высоко вздымающиеся волны ее на следующий день доставили нас к озеру Зайсану. Все большие и малые реки Сибири, виденные нами до тех пор, казались скучными, но о Черном Иртыше этого нельзя было сказать; красивые виды на две громадные горные цепи Саур и Алтай и другие, примыкавшие к ним, хребты приводили в восторг: свежая, зеленая береговая заросль с пением птиц и их веселою жизнью радовали взор. Быстро заброшенная сеть вынесла на свет изобильное количество ценных рыб, и мы могли убедиться, что богатство этой реки не уступает ее красоте. 2 июня мы переехали через

спокойное и мутное озеро, весьма богатое рыбой и привлекательное открывающимися с него видами. На следующий день мы проехали самою пустынною степью, какую видели до тех пор, но именно здесь ознакомились с тремя наиболее замечательными степными животными—куланом или дикой лошадью, степной антилопой и степной курочкой. Жеребенок кулана был пойман нашими киргизами, и одна курочка была убита. Вечером мы остановились в предгорьях Алтая; на другой день мы встретились в назначенном месте с нашими прежними гостеприимными друзьями и поехали далее уже в их сопровождении.

Это было весьма интересное путешествие, хотя буря, снег и дождь слишком часто шумели около нас, и уютная юрта, которую здесь возили за нами, теряла тогда значительную часть своих удобств, хотя бушующие горные потоки заграждали нам дорогу и приходилось следовать по крутым, обрывистым склонам, по каким у нас поднимаются охотники на диких коз, а не всадники. Русский губернатор ездит не так, как другие смертные, по крайней мере тогда, когда путь его лежит через необитаемые страны. Вместе с ним едут начальники округов и подчиненные им начальники различных управлений, волостные старшины и волостные писаря, почетные жители всей местности, какую он собирается посетить, отряд казаков с их офицерами до полковника включительно, личная прислуга, прислуга свиты и проч. Если же, как в нашем случае, путешествие отчасти захватывает чуждую страну, когда приходится вступать в совещания с киргизскими общинами,—поезд увеличивается до бесконечности. Тогда приходится везти с собой не только юрты и палатки, как во всяком путешествии по степи, но и гнать впереди отряда целые стада овец, чтобы иметь возможность прокормить сотни людей в пустынной местности. После того, как мы покинули озеро Зайсан, мы опять находились в Китае, и нам предстояло несколько дней пути, прежде чем мы могли надеяться опять встретиться с людьми, обитающими здесь лишь в самых глубоких горных долинах.

Сперва вместе с нами ехало больше двухсот человек, по большей части киргизов, которые были вызваны, чтобы выслушать указ о прекращении пастьбы их скота в казенном имении в Алтае и сговориться относительно передвижений, которые, вследствие того, они должны были предпринять; но даже и по окончании этих совещаний, в нашем поезде было больше ста лошадей и шестидесяти всадников. Ранним утром юрты складывались над самыми нашими головами и отправлялись вперед; затем следовали мы—большими или малыми группами, подвигаясь медленно, пока дамы, любезная супруга и прелестная дочь генерала, не догоняли нас: мы завтракали там, где это казалось удобным, пропускали мимо себя последних вьючных лошадей, ехали вслед за ними, перегоняли их опять, встречали отправляемых впереди отряда овец, ежедневно уменьшавшихся в своем числе, и таким образом имели случай каждый вечер видеть перед собою пеструю картину лагерной жизни. Мы вступили в великолепные, покрытые свежей зеленью, дышащие весенним ароматом долины; высокие, крутые, еще в значительной степени покрытые снегом горы вверху открывали нам виды на горные хребты, а внизу—на пройденные степи до Саура и Тарабагатая, пока мы не увидели наконец Маркакуль, эту жемчужину между горными озерами Алтая, и не очутились уже в области высоких гор. Три дня, борясь с дорогами и погодой, за-

держанные китайским посольством, прибывшим к губернатору, подвигались мы вдоль озера, затем проезжали в настоящем смысле слова заповедными лесами, с величайшим трудом карабкались по горным тропинкам то вверх, то вниз, направляясь к русской границе и спускаясь по головоломным дорогам в цветущую долину Бухтармы, пока нам удалось в Алтайской станице, недавно основанном казачьем поселении, опять воспользоваться русским гостеприимством и возможностью отдыха.

Получив в дар от офицеров станицы множество произведений окружающей местности, 12 июня мы отправились в дальнейший путь. С чистого неба светло и радостно смотрело солнце на величественный, в первый раз освободившийся от окружающей его дымки пейзаж. Необозримые долины, похожие на парки, обрамленные круто нагроможденными, покрытыми снегом, игравшими сегодня волшебными красками, высокими горами, великолепные деревья на лугах, цветущие кустарники на горных склонах, бесконечно разнообразный, неописуемо прекрасный убор долго лишенных солнечного света, сияющих теперь цветов, только-что распустившиеся горные розы всех оттенков, призыв кукушки и пение птиц, раздававшееся из множества гортаней, киргизские аулы в широких долинах у подножия гор и русские, опушенные зеленью деревни, пасущиеся стада, плодородные поля, шумящие ручьи и зубчатые скалистые массы, мягкий воздух и ароматное благоухание весны услаждали нас во время всей поездки. После одного дня пути мы приехали в горный городок Зыряновск с его серебряными рудниками. Дружественно принятые здесь, как везде и всегда, осмотрев рудники, мы опять направились к Иртышу, по его высоким волнам, быстро текущим между возвышенными и живописными, утесистыми горами,—мимо Бухтарминска к Усть-Каменогорску и отсюда опять поехали на колесах. К красивым местностям предгорий примыкали степные равнины; с населенными участками земли чередовались тянущиеся на большие пространства широкие леса. Большие, богатые деревни, превосходные, плодородные, расположенные на черноземной почве поля, сильные и рослые мужчины, сознающие свое благосостояние, красивые женщины в живописном наряде, все эти детски любопытные и детски добродушные люди, крепкие, неутомимые лошади, крупный, сытый скот, окружающий деревни большими стадами, бесконечные обозы, везущие руду и уголья по хорошим дорогам, сурки на горных скатах, суслики на равнинах, орлы на пограничных столбах, прелестные чайки мелкой породы на водах—все это придает оживление стране, через которую проходит дорога. Точно на крыльях, пролетели мы через эту местность, точно на лету, остановились мы в горном городке Змеиногорске, по праву называющемся этим именем; коротким отдыхом воспользовались мы только в главном городе округа, в Барнауле; затем двинулись дальше к горному городку Салаиру и большому губернскому городу Томску.

Еще не доезжая Барнаула, мы приблизились к Оби, а в Барнауле переехали через нее; из Томска мы уже поехали водою, чтобы познакомиться с Обью. Достигнув ее по реке Томи, мы плыли 2600 верст вниз по течению исполинской реки, бассейн которой более всех речных бассейнов Западной Европы взятых вместе, и все более и более приближались к северу. Четверо суток река, поднявшаяся теперь до своего высшего уровня, несла нас к Ледовитому океану, почти вдвое скорее поднимающегося вверх парохода; одиннадцать суток употре-

били мы на то, чтобы проехать пространство от впадения Иртыша до истока Щучьей, отдохнув лишь несколько часов в Самарове и в Березове и не включая в это число двух дней, которые мы провели в Обдорске, последнем русском поселении на Оби. Она необыкновенно могуча и величава, несмотря на однообразие и пустынность. Она течет в долине, ширина которой изменяется от двадцати до тридцати верст, окружая бесчисленными рукавами бесчисленные острова, расширяясь в необозримые пространства, похожие на озера, вблизи своего устья и наполняя достигающее до 14 сажен глубины ложе своего главного рукава в милю шириной. Первобытные леса, почти не прерываемые открытыми пространствами, леса, во внутренней части которых никогда не бывала нога человека, одевают уступы ее настоящих берегов; заросли ивы, во всех периодах роста этого дерева, покрывают острова, вечно размываемые волнами, разрушаемые и опять созидаемые ими. Беднее и беднее становится страна, скуднее и скуднее кажутся леса, печальнее смотрят деревни, чем далее мы спускаемся вниз по реке, хотя река, чем ближе к устью, тем обильнее дает то, в чем отказывает скудная земля. Вскоре после Томска, ниже Тобольска, земля уже не вознаграждает работы земледельца; еще ниже постепенно прекращается и скотоводство, но богатую добычу доставляет здесь река, кишащая неисчислимыми стаями ценных рыб, и богатую прибыль для охотника дает первобытный лес, тянущийся вдоль обоих берегов реки. Вместо крестьянина, выступает здесь рыболов и охотник, вместо скотовода—оленевод. Все реже становятся русские поселения и все чаще жилища остяков; под конец только переносные, конусообразные хижины из березовой коры, называемые здесь чумами, и между ними жалкие бревенчатые постройки, временные приюты русских рыбаков, указывают на пребывание здесь человека.

Мы решились проехать по тундре или моховой степи и выбрали Самоедский полуостров, лежащий между Обью и Карским заливом; эта местность, составляющая часть обширной пустыни, извивающейся широким безлесным поясом около полюса, почти неизвестна европейцам; кроме того, в ней предстояло еще разрешить вопрос, важный в торговом отношении. Для этого путешествия мы наняли в Обдорске и ниже по реке достаточное число людей: русских, зырян, остяков и самоедов и 15 июля приступили к нашей поездке.

На северных высотах Урала, который здесь имеет характер высоких горных хребтов, берут начало, одна около другой, три реки: Уса, впадающая в Печору, Пыдерата, текущая к Карской губе, и Щучья, изливающаяся в Обь. Мы собирались объехать область двух последних рек. Какую местность мы там найдем, можно ли надеяться ехать на оленях, или мы должны будем итти пешком—никто не мог сказать нам.

До устья Щучьей мы подвигались обычным образом, в каждом остяцком поселении отпуская нанятых гребцов и нанимая новых; на Щучьей люди, бывшие с нами, должны были сами взяться за работу. В течение восьми дней мы медленно поднимались по реке, следуя по всем ее бесчисленным изгибам, видя перед собою лишь однообразную, убийственно-скучную тундру, то приближаясь к Уралу, то отдаляясь от него. В продолжение восьми дней мы не видали ни одного человека, а только человеческие следы, запасы, приготовленные на зиму и нагруженные в сани, и могилы. Непроходимые болота по обоим сторонам реки не позволяли выйти на землю; мильярды кровожадных комаров неотступно преследовали нас. На седьмой день пути мы увидали

собаку, что было событием для нас и для наших людей; на восьмой день нам попался жилой чум и единственный, находившийся там человек, который мог дать сведения о лежавшей перед нами стране. Мы взяли его в проводники и, вместе с ним, через три дня начали странствование, оказавшееся столько же трудным, сколько и опасным.

В девяти днях пути, на пастбище Саддабей, в Урале, должны были находиться олени, но на Щучьей в это время нельзя было найти ни одного. Нам ничего не оставалось, как продолжать путешествие пешком и переносить все трудности и неудобства странствования по непроезжей, голодной, наполненной комарами, враждебной человеку и, что всего хуже, неизвестной стране.

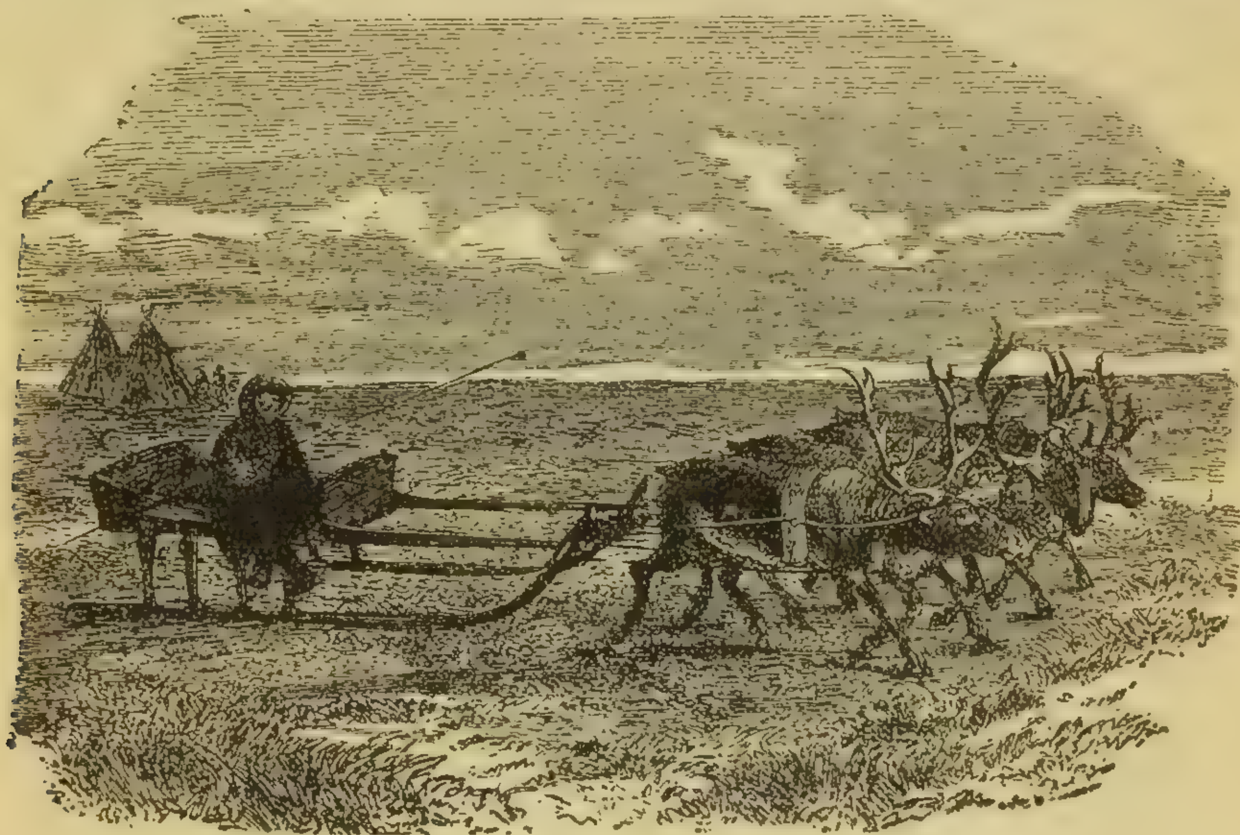
Осмотрительно, после долгих совещаний между собой и с туземцами, были сделаны все приготовления и тщательно распределены тяжести, которые каждый должен был нести на спине; все это было необходимо, так как призрак голода грозно стоял перед нами. Мы хорошо знали, что поддержать свою жизнь в тундре может только бродячий оленевод, а никак не охотник; мы знали по опыту все трудности, какие обещали нам отсутствие дорог, мучения, доставляемые полчищами комаров, изменчивость погоды и вообще негостеприимность тундры, и приняли все зависевшие от нас меры; но мы не могли, разумеется, предусмотреть того, чего не знали, не предугадывали и что тем не менее встретило нас. Возвращаться мы не хотели, но если бы мы могли предвидеть то, что нас постигнет, мы сделали бы это весьма охотно.

Одетые в короткие шубы, неся, кроме мешка на спине с тяжелыми охотничьими принадлежностями, еще оружие на плечах и более мелкие мешки, мы выступили 29 июля, оставив нашу лодку под присмотром двоих людей. С величайшим трудом, кряхтя под тяжестью, навьюченной на спину, непрерывно днем и ночью мучимые комарами, шагали мы по тундре, останавливаясь после часовой или получасовой ходьбы, а потом через каждые тысячу шагов, и все-таки, благодаря комарам, не находя себе покоя. Мы поднялись на бесчисленное множество холмов, прошли столько же долин и не менее болот и трясин; мы проходили мимо сотен безымянных озер и должны были переправляться через речки и топи.

Менее гостеприимно тундра не могла нас встретить. Ветер хлестал нас по лицу мелким дождем; в промокших шубах мы ложились на пропитанную дождем землю, не имея ни ковра, ни согревающего костра, и притом еще неотступно мучимые комарами. Но солнце высушивало платье и придавало нам новую бодрость и силу; мы подвигались вперед. Радостная весть подкрепляет более, чем солнце и сон. Наши люди открыли два чума; в свои подзорные трубы мы ясно разглядели окружавших их оленей. Обрадованные до глубины души, мы уже видели себя удобно раскинувшимися в единственно возможном здесь экипаже—в санях, и видели быстро движущуюся перед санями странную оленью запряжку. Мы достигли чума и оленей и были поражены ужасным зрелищем. В рогатом стаде свирепствовала сибирская язва, самая страшная из всех болезней скота, опасная и для человека, истребляющая все без пощады и без разбора, делающая бессильными все средства, употребляемые человеком, доводящая до нищеты целые населения и требующая жертв от людей так же, как и от животных.

Семьдесят шесть мертвых оленей насчитал я в непосредственной близости чума. Куда ни бросишь взгляд, всюду встречаешь трупы или

лежащих в последних содроганиях оленей, их самок и детенышей. Другие подходят со смертью в груди к саням, снаряженным для отъезда, как будто надеются найти помощь и спасение вблизи человека, не дают отгонять себя оттуда, стоят с широко раскрытыми глазами и перекрещенными передними ногами—одну, две минуты, качаются, издают стон и падают; белая пузыристая слизь выступает у них около губ и носа,—еще несколько содроганий, и новый труп лежит на земле. Матери с маленькими телятами отделяются от стада; матери ослабевают, телята смотрят с любопытством и удивлением на их странные движения или беззаботно пасутся около смертного одра своих кормилиц, опять возвращаются к ним, вместо них находят труп, оглядывают его, с испугом отскакивают, отбегают, с мычанием бродят вокруг него, обнюхивают его, приближаются то к тому, то к другому взрослому животному, которое отгоняет их от себя, мычат и все чего-то ищут, пока



Оленьи сани.

найдут то, чего не искали,—смерть от стрелы, выпущенной их хозяином, который старается по крайней мере спасти их шкуру. Смерть распоряжается между старыми и молодыми оленями с одинаковой беспощадностью: самые крепкие и рослые олени так же падают под ее ударами, как и молодые животные этой и всякой другой породы.

Между умирающими и умершими животными снуют и мечутся люди, собственник стада Шунгей, и его приближенные и слуги, стараясь в безумной алчности спасти все, что возможно. Зная о страшной опасности, какой они подвергают себя, если малейшая капелька крови или пузырек пены попадет им в кровь, зная, что уже сотни из их единоплеменников погибли в ужасных страданиях от беспощадной язвы, они работают из всех сил, снимая шкуры с зараженных животных. Удар топора заканчивает мучения умирающего оленя, спущенная стрела прерывает жизнь теленка, и через несколько минут шкура, которая и по прошествии недель может действовать заражающим образом, лежит уже в куче с другими. Окровавленные руки погружают куски, оторванные от мяса теленка, в кровь, собравшуюся в его груд-

ной полости; эти куски поедаются сырыми. Мужчины походят на рабочих в живодерне, женщины—на отвратительных ведьм, и те и другие—на роющихся в падали, вымазанных и обрызганных кровью гиен. Не заботясь о смертоносном мече, висящем над их головами, не на волоске, а на паутине, они разрывают мертвечину и копаются в ней; в этом им помогают дети, начиная от мальчиков-подростков и кончая обрызганными кровью девочками, едва начинающими ходить.

Чум снимается и разбивается опять на соседнем холме; несчастное стадо, спустившееся с Урала в количестве двух тысяч голов и теперь убавившееся до двух сот, обозначившее весь пройденный путь своими трупами, вновь собирается около чума; но уже на следующее утро сорок трупов опять лежат около места ночлега.

Мы знали о той опасности, какою животное, пораженное сибирской язвой, грозит человеку, но мы не знали ее во всем ее размере. Поэтому мы купили новых, с виду здоровых оленей, запрягли их в трое саней, нагрузили сани нашей поклажей и, шагая около них, облегченные, двинулись дальше. Насытиться оленьим мясом, как мы надеялись, на что мы рассчитывали, не позволяла ужасная язва; тем заботливее и тревожнее оглядывались мы кругом себя, отыскивая мелкую дичь, стараясь застрелить болотную курочку, дупеля, ржанку или утку. Поберегая, сколько возможно, наши небогатые запасы, мы собирались, в том случае, если нимфы, служащие Диане, благоприятствовали нам, около скудного костра и каждый поочередно поджаривал какую-нибудь незначительную дичь, если ее имел. Но вполне насыщаться нам уже не удавалось.

Перерезав дорогу смерти, проложенную Шунгеем, мы приблизились к нашей первой цели, к Пыдерате; мы имели невыразимое счастье еще раз найти чум, еще раз натолкнуться на оленей. С помощью их мы направились к морю, но должны были вернуться, даже не ступив ногою на его берег. Перед нами лежало не только непроходимое болото, но и необразимое множество оленьих трупов; мы опять очутились на том пути, по которому Шунгей бежал к себе домой, и наш новый знакомец, пастух Санда, не отваживался перерезать эту дорогу.

И в его стаде смерть уже косила своей косой; и его дом, и еще более дом соседнего пастуха посетила губительная язва. Человек, который странствовал и пас стада вместе с ним, поел мяса больного жирного оленя, убитого незадолго перед смертью, и за этот безумный поступок должен был заплатить своею жизнью и жизнью членов своей семьи. Пастух Санда три раза переносил свой чум и три раза выкапывал могилу между трупами павших оленей. Сперва двое детей, затем слуга этого легкомысленного человека, на третий день и он сам умерли и были погребены. Один ребенок был еще болен и стонал в ужасных страданиях, когда мы отправлялись в наш путь к морю; его стоны замолкли, когда мы вернулись в чум: четвертая могила приняла пятую жертву. И она была не последняя.

Один из наших людей, остяк Гадт, услужливый, всегда веселый, любимый и ценимый всеми нами, уже с третьего дня стал жаловаться и корчиться от ужасных, все возрастающих болей; в особенности он жаловался на усиливающийся озноб. Мы положили его в сани, запряженные оленями, когда направлялись к чуму пастуха. Таким же образом мы повезли его дальше, когда чум был передвинут в пятый раз. Он лежал между нами у огня, испуская жалобы и стоны. От времени до времени он приподнимался, обнажал ту или другую часть своего тела

и подставлял ее к теплу костра. И свои закоченевшие ноги он подвигал к огню; огонь обжигал ему подошвы, но он, повидимому, не обращал на это внимания. Наконец, мы заснули, и он также; когда мы проснулись на другое утро, его ложе было пусто. Но снаружи перед чумом, прислонившись к саням, обернув лицо к солнцу, чтобы согреться его лучами, сидел он спокойно и тихо, без стонов и жалоб. Гадт был мертв.

Мы похоронили его через несколько часов после того, по обычаю его народа. Он был честный язычник, и его следовало похоронить по языческому обряду. Наши православные спутники противились этому, но языческие проводники с нашей помощью совершили это не совсем христианское, но человечное дело. В пятую могилу легла шестая жертва.

Будет ли эта могила последней?—невольно задавал я себе вопрос. Нехорошо было на душе у меня и у моих спутников, в виду всюду сопровождавшей нас смерти. К нашему счастью, могила Гадта была последнею на этом пути.

Серьезно, очень серьезно настроенные, теснимые нуждой, которая все более и более давала себя чувствовать, мы отправились далее в сторону р. Щучьей. Санда скудно пропитывал наших людей; наше охотничье искусство также скудно питало нас самих. Когда нам удавалось в одно утро добыть целое гусиное семейство и к тому же еще застрелить несколько курочек, бекасов и ржанок, мы справляли настоящий праздник: теперь мы могли есть, не опасаясь за каждый лишний кусок. Однако, без помощи нашего хозяина мы едва ли могли бы справиться с нашими затруднениями.

Мы доехали до Щучьей, добрались, лишенные почти всех запасов, до нашей лодки и, после двух недель лишений, разрешили себе полное изобилие, весьма скудное, но показавшееся нам беспредельным. С тундрой мы простились навсегда.

Правда, один шаман, которого мы, далее, на Оби, нашли занимающимся рыбной ловлей, и попросили показать нам свое искусство и свою мудрость, предсказал, призвав глухими ударами барабана Ямаула, дружественного ему вестника богов, в виде известия, сообщенного небом, что мы уже в будущем году опять вернемся в негостеприимную землю, которую только-что оставили, и опять будем там, где Щучья, Пыдерата и Уса начинают свое течение. Два императора вознаградят нас, наши «старшины» останутся довольны нашими сочинениями и пошлют нас опять. В настоящем путешествии никакие бедствия уже не встретят нас более. Так высказался вестник богов, которого мог слышать только шаман.

Последняя часть его предсказания оправдалась. Хотя и медленно, но без всяких бед и препятствий, ехали мы двадцать три дня вверх по Оби и три дня на пароходе, на который попали после долгого ожидания, вверх по Иртышу. Без всяких бед, хотя и не без затруднений, переехали мы через Урал; быстро, в удобных пароходах, спустились мы по Каме; медленнее провез нас пароход вверх по Волге. В Нижнем-Новгороде, в Москве, в Петербурге мы нашли такую же дружескую встречу, как и в первый раз, и нашли теплый привет на родине. Наши «старшины», повидимому, остались довольны нашими сочинениями; но в тундру мы не вернемся, по крайней мере я не возвращусь никогда.

Остяки-язычники.

Легко идет в настоящее время и будет итти так еще несколько столетий борьба за существование, какую приходится выдерживать человеку в Сибири; без труда она совершается в богато одаренных природою полях южной части этой страны, но не слишком тяжела она и в тех странах, которые мы привыкли считать ледяными пустынями, негостеприимными, безлюдными местами, и которые кажутся нам такими даже и тогда, когда по необходимости, во время путешествия, мы быстро проезжаем по ним. Правда, на крайнем севере Западной Сибири человека встречает суровый климат; правда, земля, вечно мерзлая даже на небольшой глубине, не в состоянии приносить там годных для пищи плодов, а небо и солнце отказываются доводить до созревания вложенные в нее хлебные зерна; но и здесь природа все-таки щедро сыплет из своего рога изобилия, и то, чего не дает земля, доставляет вода. На наш взгляд, человек, обитающий уже целые столетия в этих широтах, неохотно нами посещаемых, может показаться бедным и жалким; но он вовсе не таков в действтиельности. И он удовлетворяет своим потребностям, и он окружает свое существование тешащими его наслаждениями, потому что родина дает ему больше, чем нужно для его жизни. И он более или менее сознательно борется за существование, достойное человека, но не выражает и даже не таит в душе никакой зависти к более счастливым людям: он счастливее, чем мы думаем, потому что он скромнее, умереннее, довольнее собой, чем мы, потому что он не знает того, что мы называем страстью, потому что радости, выпадающие на его долю, он принимает с детским удовольствием, а страдания и несчастия, посещающие его, переносит, может быть, чувствуя их глубоко, но так же легко забывая их, как дети. И к его ложу подкрадывается тяжелая забота, но он гонит ее от себя, как только перед ним блеснет слабый луч радости, и забывает об ее посещении, как только светлое счастье опять улыбнется ему. И он гордится богатством и жалуется на бедность; но когда он видит, что богатство исчезает, он не отчаивается; если бедность превращается в благосостояние, он не теряет рассудка. Хотя и взрослый, он все-таки ребенок во всех своих мыслях, чувствах и поступках: поэтому он счастливее нас.

Остяки, с которыми мы по преимуществу имели сношения на нижней Оби, так как встречались с ними всего чаще, и с которыми, как нам кажется, ознакомились всего лучше, принадлежат к угро-финскому племени и разделяют с их соседями, самоедами, сходные верования, а с другими восточными финнами, вогулами, зырянами, даже и с запад-

ными лопарями, приблизительно тот же образ жизни: они—оленеводы, рыбаки и охотники, так же, как самоеды и лопари. К последним они стоят даже ближе, чем к первым; они—оседлые поселенцы, между тем как самоеды, даже занимаясь рыбной ловлей, по крайней мере в той части Сибири, которую мы проехали, только в виде исключения меняют свой переносный чум на бревенчатую избу.

Возможно, что племя остяков в прежние времена было многочисленнее, чем теперь. В некоторых частях населяемой им области число жителей постоянно уменьшается; в других, напротив, слегка увеличивается; но ни увеличение, ни уменьшение не происходит в значительной степени. Определяя общее число этого племени в 50.000 человек, мы почти наверное преувеличиваем его численность; во всем обширном Обдорском округе, простирающемся от 65-й параллели сев. шир. до северного конца Самоедского полуострова Ямаля и от Урала до верхнего течения Таза, в настоящее время живут, по официальным сведениям, не более 5.382 остяков мужского пола, между которыми не более 1376 способных к труду или, что то же самое, обязанных платить подати. Если допустить, что число женщин и девушек достигает той же цифры, то общее количество их все-таки не дойдет до 11.000; это исчисление не ниже, а скорее выше действительного.

Остяки, обитающие на Иртыше и на верхней, а также и средней Оби, живут в прочных, бревенчатых жилищах, похожих на русские избы. Только местами, и всегда отдельно от других, между этими жилищами можно встретить дома, выказывающие большую степень культурности, а также и шалаши из березовой коры, называемые чумами. Последние уже безусловно преобладают на нижней Оби, в особенности между Обдорском и устьем реки, и следовательно составляют единственный приют кочевых оленеводов. Соответственно различию жилищ, если не всегда, то по большей части, остяки, живущие в деревнях, принадлежат к православной церкви или, по крайней мере, причисляются к ней, так как они крещены. Остяки, живущие в чумах, до сих пор остаются верными своей старинной религии, не лишенной поэтической возвышенности и известного нравственного содержания; своей веры они держатся с большей искренностью и убежденностью, чем первые принятого ими христианства, немногим отличающегося у них от идолопоклонства. Освоиваясь с новой верой и с прочными жилищами, остяки, живущие в области средней Оби и нижнего Иртыша, не только меняют свое платье на одежду соседнего русского рыбака, но благодаря сношений с ним перенимают многие обычаи, теряя в то же время свои собственные. Отчасти они утрачивают и чистоту своего племени и сохраняют только в виде неотъемлемых признаков язык и все связанные с ним особенности и, пожалуй, еще свойственные этому народу ловкость, проворство и незлобивость. К сожалению, нельзя согласиться с утверждением, будто с повышением культуры повышается и нравственность; во всяком случае, больше удовольствия доставляет знакомство с остяками-язычниками и сближение с народом еще первобытным, чем с тою частью его, которая кажется тенью того, чем он некогда был и чем продолжает быть. В моих описаниях я ограничиваюсь теми остяками, которые в настоящее время с молитвою обращаются к божеству Орт, живут в многоженстве, если позволяют им средства, и хоронят своих покойников так же, как это делалось в старину; если я исключительно займусь этими последними, а первых оставлю в стороне, то мое описание не только ничего не потеряет, но даже выиграет в единстве.

Говорить об остяцком племенном типе весьма трудно; еще труднее описать его. Я несколько раз пытался это сделать, но всегда должен был убеждаться, как плохо удается изобразить лицо словами и выразить с помощью пера вполне заметные для глаза признаки какого-либо племени. Люди в чертах лица, в окраске кожи, волос и глаз крайне различны между собой; принадлежность их к известной расе, напр., монгольский тип, вовсе не легко уловить, так как часто он остается скрытым. Когда кажется, что удалось установить определенные средние при-



Остяки.

знаки, пригодные для всех, то известное количество других особей, принадлежащих к тому же племени, показывает нам, что этим признакам можно приписывать никак не безусловное, а, в лучшем случае, лишь относительное значение. Пытаясь собрать вместе все, что я видел и отметил в остяках, которых мы наблюдали, я могу сказать только следующее:

Остяки—среднего роста, вообще довольно стройного сложения; их конечности достаточно соразмерны, хотя кисти рук скорее велики, чем малы; икры почти всегда мало развиты; по типу лица они должны быть помещены между монголами и северо-американскими индейцами. Карие глаза их, правда, невелики, но поставлены не слишком косо,

скулы не очень выдаются; лицо книзу суживается, оканчиваясь острым подбородком, отчего оно кажется угловатым, и так как при этом губы резко очерчены, то у многих, особенно у женщин и детей, в лицах есть что-то кошачье, хотя нос вообще мало, а у многих и вовсе не приплюснут. Обильные, прямые, но не жесткие волосы бывают обыкновенно черного или темно-каштанового, реже светло-каштанового цвета или даже белокурые; борода редкая, хотя только вследствие привычки выщипывать ее ради щегольства; брови широкие, иногда густые. Цвет кожи почти не уступает белизною цвету европейца, постоянно подвергающегося влиянию свежего воздуха, ветра и непогоды; желтоватый оттенок кожи, хотя вообще заметный, иногда почти исчезает.

Все сказанное выше подходит к большинству остяков, но это не значит, чтобы, при более тщательном исследовании, иногда не возникало сомнения в принадлежности их к одной и той же расе. Некоторые из них, даже при поверхностном взгляде, кажутся настоящими монголами: они малорослы, их карие, живые глаза поставлены косо, скулы сильно выступают, жесткие волосы—густого черного цвета, и все постоянно обнаженные части тела—резкого медно-красного или желтого цвета, как выделанная кожа.

О языке остяков я судить не могу, и могу сказать только, что он распадается на два наречия; это легко различается даже и ухом чужеземца: наречие господствующее на средней Оби, весьма благозвучно, хотя несколько протяжно и певуче, тогда как употребительное на нижней Оби, вследствие привычки тамошних остяков предпочтительно пользоваться самоедским языком, отличается ускоренным темпом, хотя в нем все-таки слышится ясное разграничение слогов.

Крещенные остяки, как мы уже говорили, переняли свой наряд у русских; женщины их только тем отличаются от жен русских рыбаков, что украшают свои одежды, на разных местах, пестрыми бусами и носят повязки в виде бантов, унизанные в несколько рядов такими же бусами. Соплеменники их, держащиеся языческой веры, употребляют для своего одеяния исключительно шкуры и кожи оленя; мех других животных идет у них для украшения шуб из северного оленя, называемого русскими просто оленем. Одежда их состоит из плотно прилегающей к телу шубы, доходящей до колен, у мужчин разрезанной только на груди, а у женщин по всей передней стороне, и в последнем случае, связываемой кожаными ремешками, из прикрепляемого к ней или пришитого башлыка и пришитых же к ней рукавиц, кожаных панталон, доходящих до колен, и кожаных чулок, завязываемых выше колена. Шуба у женщин спереди, вдоль разреза, украшена каймой, составленной из разноцветных маленьких четыреугольных кусочков меха с коротким волосом; внизу она всегда обшивается широкой оторочкой из собачьего меха. Кожаные чулки, если они должны служить для наряда, состоят из многих разноцветных, со вкусом подобранных полос из шкуры с ног северного оленя и из неуклюжих, отчасти завязываемых над головками, отчасти наглухо пришитых к ним башмаков. Широкий кожаный пояс, по большей части усаженный металлическими пуговицами, служащий для привешивания ножа, стягивает шубу мужчины; пестрый головной платок, обшитый длинной бахрамой, который носят летом вместо башлыка, спускается вниз по шубе женщины. Наши рубашки там неизвестны; зато женщины там носят пояса, неизвестные у нас. Когда остячка наряжается, она нанизывает на все пальцы рук

столько простых медных, в лучшем случае, серебряных колец, сколько их могут удержать суставы, заключая таким образом эту часть руки в настоящий панцырь, вешает себе на шею более или менее богатое ожерелье из бус и не столько вдевает в уши, сколько вешает на них тяжелые кистеобразные привески из бус, проволочных спиралей и металлических пуговиц, и наконец вплетает в свои волосы концы, скрученные из шерсти и доходящие до средины икр. То же делают и остяцкие щеголи, доказывая тем, что щегольство распространено по всему миру; мужчины у них носят вообще длинные волосы, но не заплетают их.

Одежда остяков одинаково пригодна и для лета, и для зимы. Еще проще, чем одежда, но так же целесообразно жилище остяка, чум—конусовидная, покрытая березовой корой, переносная хижина рыбака и кочевого оленевода. Остов ее образуют от двадцати до тридцати тонких, выструганных, заостренных вверху и внизу жердей, длиною от двух до трех сажен; из них две связываются на верхнем конце короткой веревкой и служат подпорками для остальных, расставляемых довольно правильным кругом; остов покрывается снаружи щитами, вырезанными соответственно округлости конуса и сделанными из маленьких кусочков предварительно вываренной и поэтому гибкой березовой коры; отверстие, служащее дверью, обращено в сторону, противоположную ветру, и закрывается также щитом из коры; самая вершина конуса остается непокрытой, чтобы доставить свободный выход дыму. От двери в прямом направлении до противоположной стороны чума оставляется свободный проход, в средине которого горит огонь; над ним находится опирающаяся на два кола горизонтальная жердь, к которой подвешивается котел. Справа и слева от прохода—доски или, по крайней мере, циновки прикрывают землю и служат скамьями для сиденья, а также кроватями для постелей, изголовья которых обращены к стене. Эти циновки, изготовляемые из пучков осоки, длинношерстные, мягкие оленьи шкуры и подушки, набитые оленьим волосом или высушенным болотным мохом, составляют постели, причем одеялами служат шубы. Полог, под которым летом помещается вся семья, защищает спящих от комаров гораздо действительнее, чем постоянно горящий у входа в чум слабый огонь, поддерживаемый ивовым хворостом. Котлы для варки кушанья, для чая и для питья, чашки, кожаные мешки для сохранения муки и плотно выпеченного черного хлеба, маленькие запирающиеся ларцы для самого ценного имущества, в особенности чайной посуды, топор, бурав, скребок для кожи, швейный ящичек в виде чашки, лук, самострел или ружье, лыжи и различные орудия для звериной ловли составляют всю домашнюю утварь; на том месте, где в хижинах крещеных остяков всегда находится образ, здесь стоит домашний идол.

С наступлением зимы, для защиты от ее холодов и вьюг, чум покрывают снаружи полотнищами, сшитыми из старых шуб, или вторым слоем берестяных щитов.

Если хозяин чума—рыбак, снаружи перед чумом можно видеть козлы для развешивания сетей и для высушивания рыбы, легкие, искусной работы верши, несколько малых челноков и другие рыболовные снасти; если он—охотник, тут находятся всевозможные орудия лова, западни и самострелы; если же он—оленевод, около чума стоят несколько тщательно сделанных саней с принадлежащею к ним сбруей и неизбежная лодка.

Каждый остяк знаком с рыболовством, почти каждый из них—охотник, но не каждому приходится кочевать с оленями. У кого есть олени, тот считается состоятельным, а у кого их много, тот слывет богачом; противоположность тем и другим составляет остяк, живущий одною рыбной ловлей. Лошадей и рогатый скот, хотя в самом незначительном числе, можно найти в некоторых остяцких поселениях лишь на среднем течении Оби; овцы и, пожалуй, кошки изредка встречаются и здесь, но настоящими домашними животными остяков остаются северный олень и собака. Без них, в особенности без оленей, по мнению зажиточного человека, жить нельзя; действительно, они одни доставляют ему то, что он может назвать радостью жизни. Подобно тому, как бедуин, кочевой номад внутренней Африки, считает себя выше своих соплеменников, обрабатывающих поля, как киргиз почти презрительно смотрит на всякого, кто старается извлечь из земли то, что она может дать,—и владелец оленей только тогда берется за сеть и удочку, когда хочет добыть рыбы для собственной потребности, тогда как рыболов забрасывает сеть и ставит верши не только для себя, но и для услуги другим. Остяк оценивает состояние человека по числу оленей; в оленях он видит свое богатство, свое счастье. Поэтому, когда убийственная повальная болезнь уничтожает его стада, он теряет не только их, не только свое богатство, но и гораздо более—почет и общественное положение, сознание своего достоинства и уверенность в себе и, можно сказать—даже свою веру, свои нравы и обычаи, одним словом, себя самого. «Пока язва не бывала в наших стадах», говорил мне старшина общины, Мамру, самый толковый остяк, какого я знал, «мы жили весело и были богаты; с тех пор, как мы потеряли оленей, мы сделались все бедными рыбаками; мы не можем держаться без оленей, не можем жить без них!» Бедные остяки!—этими словами можно выразить ожидающую их судьбу. Уже теперь число их оленей, доходившее прежде до нескольких сот тысяч, уменьшилось до пятидесяти тысяч и, как прежде, так и теперь, почти ежегодно убийственная язва свирепствует среди их ветвисторогих стад. К чему же это может привести? Число работников у русских рыбаков будет прибавляться, а остяки будут существовать только по имени, и такое время уже не слишком далеко от нас.

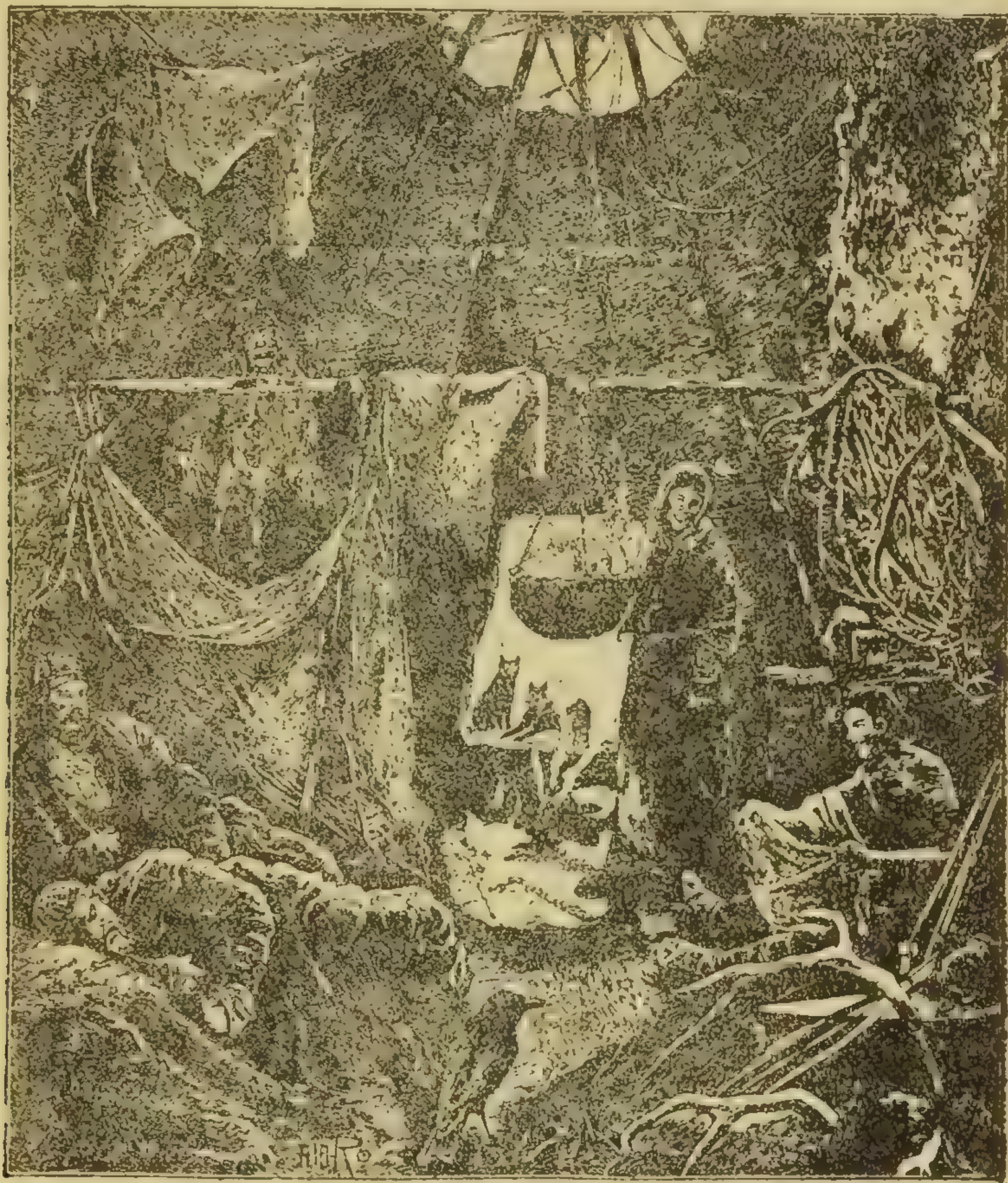
Азиатский северный олень существенно отличается от лапландского: он не только больше и красивее, но и более достоин названия домашнего животного, в лучшем смысле этого слова. Мы все думали, что хорошо знакомы с ним, потому что в Лапландии наблюдали его тщательно глазом естествоиспытателя, но в Сибири нам пришлось сознаться, что до тех пор мы имели весьма неполное представление об этом наиболее своеобразном из всех домашних животных. Там, в Лапландии, мы знали оленя, всегда упрямого, с видимым неудовольствием склоняющегося под ярмо, оленя, неудержимо стремящегося к свободе; здесь, в Сибири, мы увидали послушное, привязанное к человеку и доверчиво относящееся к нему животное. Правда, и остяк умеет как нельзя лучше обходиться с ним. Хотя он обращается с оленем не с тою нежностью, с какою ласкает свою собаку, но вообще дружелюбно и только в исключительных случаях жестоко или сурово. Между тем, как лопарь пользуется молоком своего оленя, остяк этого не делает, но зато постоянно употребляет его для перевозки тяжестей; олень должен перевозить его самого, его семью и чум со всеми принадлежно-

стями во время кочевок с одного места на другое зимою и летом, а лопарь ездит и возит на своем олене только зимою. Остяк, так же как и лопарь, заколов оленя, пользуется им всем, за единственным исключением кишек и желудка. Мясо служит ему пищей, кости и рога доставляют всевозможные изделия, сухожилия—нитки для шитья, кожи и мех—самое платье и все, что приготовляется из кожаного товара; даже копыта идут в дело. На олене остяк переезжает, сидя на своих легких санках, зимою и летом с места на место; на нем он ездит на смотрины невесты, на празднества, на охоту, на погребение своих друзей; на нем отвозит он своих покойников к месту последнего упокоения; он убивает и съедает оленя в честь гостей и своих умерших родственников; в его мех он завертывает последних так же, как и самого себя. Действительно, он не может жить без оленя.

Не менее важное значение, чем ветвисторогое стадо, имеет для остяка другое домашнее животное—собака. Ее держит, бережет и холит не только кочевник, но и всякий остяк—и оседлый, и бродячий, и рыболов, и охотник. Остяцкая собака принадлежит к двум различным породам, отличающимся, впрочем, одна от другой преимущественно ростом. Нашли ли бы этих собак наши любители красивыми, я сказать не могу; что касается меня, то я уже потому должен назвать их красивыми, что они, за единственным исключением окраски, сохраняют еще все признаки диких собак. Остяцкая собака всего более походит на нашего шпица, но обыкновенно больше его, иногда даже так велика, что лишь немногим менее волка; и сложение ее стройнее, чем у шпица. Голова у нее вытянутая, морда средней длины, шея короткая, тело длинное, конечности тонкие, хвост средней величины; серые глаза прорезаны косо, короткие, острые уши поставлены прямо, шерсть, необыкновенно густая и длинная, состоит из пушистых и из тонких волосков; цвет различный, преимущественно белый или белый с черными, правильно размещенными отметинами по обоим сторонам головы, включая и уши, на спине и на боках, но бывает и волчий, и бледно-серый с волнистым рисунком, только не полосатым. Слегка пушистый хвост всегда находится в висячем или вытянутом положении, но никогда не бывает закручен, что еще больше увеличивает ее сходство с дикой собакой.

Постоянное и тесное общение с человеком сделало из остяцкой собаки крайне добродушное животное. Она бдительна, но не злобна, смела, но не задорна, верна и усердна, но не враждебна к чужим и не суетлива; с недоверием, хотя и без враждебности, встречает она чужого человека, и приближается к нему уже с полным доверием, когда слышит, что он разговаривает с ее хозяином, или видит, что он входит в чум. Вовсе не избалованная, хотя охотно занимающая место в чуме вместе со своим хозяином и хозяйкой, она, не выказывая никакого неудовольствия, остается снаружи на ветру и в непогоду, не задумываясь, бросается в холодную воду реки и переплывает по прямой линии через широкие рукава ее, или бежит, без всяких жалоб, при проезде через тундру, позади саней, к которым привязана, хотя бы дорога лежала через болота или топи, по мелкому березняку или по воде. Умная и сметливая, находчивая и изобретательная, ловкая и проворная, она умеет удобно устроить свою жизнь и выйти из всяких затруднений. В чуме она самоотверженно лежит около кушанья, которого ей страстно хочется; вне хижины своего хозяина она становится прожор-

ливым и дерзким вором; в малорослом березняке тундры она равнодушно бежит за санями; на гладком болоте и на другой удобной дороге она становится на полозья саней и заставляет себя везти; на охоте она сопровождает хозяина, как верный и полезный помощник; у чужого человека она выхватывает выслеженную или убитую им дичь перед самыми глазами и поспешно пожирает ее с таким добродушным удовольствием, что даже нельзя сердиться на плутовку; состоя при оленьем стаде, она выказывает знание всех особенностей и дурных



В чуме.

свойств оленей и большую услужливость; но на нее никогда нельзя положиться, как на нашу овчарку; она поступает по своему разумению и оказывает услуги без сопротивления лишь тогда, когда ей это кажется необходимым.

Собака служит для остяка товарищем игр, сторожем чума, охранителем стад, живой силой для перевозки тяжестей и даже приносит ему пользу после смерти. В сани запрягают ее только зимою, но надевают на нее такую неудобную сбрую, что она от напряженной работы уже через небольшое число лет становится слабой на ноги. После смерти она должна уступить хозяину свой превосходный мех; многие остяки очевидно для того и держат такое несообразно большое количе-

ство собак, чтобы зимой, во всякое время, иметь возможность располагать их мехом.

Для той же или для подобной цели служат и различные взятые из гнезд и ловушек звери и птицы, в особенности лисицы, медведи, совы, вороны, журавли, лебеди и проч., которых можно видеть привязанными в чуме или перед чумом рыболова и кочевника. Пока эти животные молоды, с ними обращаются ласково и заботливо ухаживают за ними; но как только они выростут, и перья или мех их станут вполне хороши, их обрекают на смерть; тех из них, которые съедобны, употребляют в пищу, и кроме того пользуются их мехом и перьями, иногда продавая первый по высоким ценам.

Здесь собака, как и повсюду, подчиняется воле человека, но человек должен подчиняться потребностям оленя. Эти потребности, а не воля и прихоть человека определяют кочевую жизнь бродячего оленевода, так же, как появление и исчезновение рыбы оказывает существенное влияние на образ жизни его оседлого соплеменника. Кочевки оленеводов и их стад управляются почти теми же причинами, как и странствования киргизов, отличаясь от последних главным образом тем, что они не прерываются и зимою, и даже усиливаются в это время. С началом таяния снега остяцкий оленевод медленно подвигается к горам; с началом нападения комаров он поднимается на горы или, по крайней мере, на вершины высоких холмов; с прекращением этой язвы, которая не вполне щадит даже и открытые высоты, он постепенно возвращается в низменную тундру, чтобы провести здесь зиму, по возможности, вблизи родной реки. Таков круговорот, который он совершает из года в год, если только его не постигнет беда, если его не посетит ужасный падеж.

Еще прежде, чем короткое лето вступит в его негостеприимную родину, прежде чем пронесется первое веяние весны, в такое время, когда крепкий ледяной покров еще неподвижно лежит на могучей реке, на ее притоках и на всех бесчисленных озерах тундры, северные олени приносят своих телят; тогда важнее, чем когда-нибудь, найти место, которое служило бы удобным пастбищем и для старых, и для молодых животных. С этою целью наш оленевод направляется не к низменным долинам, а напротив, к высотам, гребни которых яростная зимняя вьюга несколько обнажила от снегу, и здесь, на подходящем месте, разбивает свой чум. Дни, даже недели остается он здесь, пока обнажившийся олений мех повсюду кругом не будет съеден и пока широкое копыто оленя, расчищая снег, чтобы добраться до покрытого им пастбища, не откажется служить ему. Тогда оленевод опять снимается с места и переходит куда-нибудь неподалеку, где можно найти такие же удобства. И новое место он оставляет не ранее, чем заметит вновь оскудение пастбища. Это время он еще может назвать хорошим. Стада пасутся плотно сомкнутыми группами; между оленями, рога которых только-что начинают пробиваться, царствует мир; телята остаются на глазах заботливых старых животных; стадо не успеет ни разбрестись, ни отойти далеко от чума, когда уже раздается призыв пастуха, собирающий их перед солнечным закатом. Правда, ночью к ним подкрадывается жадный волк, которого зима согнала с гор в низменную тундру; но смелые собаки зорко стерегут и не подпускают трусливого хищника; нашего оленевода волки заботят так же мало, как и зима, которую он, как и все народы крайнего севера, считает лучшим вре-

менем года. Вскоре короткие дни удлиняются, а ночи укорачиваются, и вместе с тем уменьшается опасность для беззащитных животных его стада. Река сбрасывает свой зимний покров; вместе с волнами ее, нагретыми в южных степях, по стране несутся теплые ветры; одна гряда холмов за другой освобождаются от снега, и здесь, как и в долине, где пышно разбухают молодые почки—настрадавшиеся за зиму животные находят богатые пастбища; низменная тундра становится раем в глазах нашего оленевода. Но привольная жизнь его самого и его стада продолжается лишь короткое время. Быстро повышающееся солнце, греющее все дольше и все сильнее, растопляет снег даже в самых плоских равнинах и лед на широких озерах; замерзшая земля оттаивает, и вместе с первыми безвредными детьми весны возвращаются к жизни миллиарды мучительных комаров и несносных оводов, личинки которых еще за несколько недель перед тем попадали в ноздри оленей, заставляя их чихать. Теперь начинается настоящее странствование; теперь



Чум.

оленевод, правда, короткими дневными переходами, но все-таки быстро подвигается к горам.

Едва ночная роса обсохнет на мхе и лишайнике, на траве и на молодых листочках низкорослых кустарников, женщины складывают чум и нагружают сани, поклажа которых была разобрана не далее, как вчера. Тем временем хозяин стада подъезжает на легких санях, запряженных четырьмя сильными оленями, к стаду, которое пасется врассыпную или, наевшись, лежит группами; он собирает животных и гонит их к месту ночлега, где члены его семьи готовы уже их встретить. Держа в руках тонкую веревку, через которую олени лишь изредка отваживаются перепрыгнуть, они составляют круг около стада; хозяин с путами в правой руке становится посреди животных, почти без промаха набрасывает аркан на выбранных оленей, захватывая их за шею или за рога, привязывает их и запрягает, отдает приказание освободить других, опять садится в сани и отправляется по назначенному пути. Прочие сани, управляемые членами его семьи, следуют длинной вереницей; свободное теперь стадо приходит в движение, мыча, ворча и заставляя землю хрустеть под ногами; наконец и со-

баки начинают прыгать около поезда, беспрерывно лая и не давая разбредаться склонным к этому животным, хотя все-таки не могут помешать некоторым оленям уклониться в сторону и отбиться от стада. Все более и более вытягивается стадо; все холмы живописно украшаются им; задерживаемое особенно привлекательным пастбищем, там и сям оно останавливается группами. Сопровождаемые телятами, взрослые животные исполняют свои материнские обязанности и, желая доставить удовольствие наевшимся и ложащимся телятам, также ложатся около них, пока орлиный взгляд хозяина не заметит беспорядка; тогда он сам повернет в сторону, объедет широким кругом отставших и могучей силой своего голоса, с помощью собак, подгонит их к опередившим, быстро бегущим товарищам. Олени опять издают звуки, похожие на хрюканье, собаки громко лают, и опять катится волной собравшееся стадо; настоящий лес рогов несется вперед, и что-то похожее на наслаждение кочевника шевелится в сердце чужеземного зрителя.

Солнце склоняется к закату; упряжные животные охают и стонут, далеко высовывая языки: наступает время дать им отдых. Невдалеке, около одного из бесчисленных озер, поднимается плоский холм; к нему поворачивает хозяин; на вершине его останавливает он свою рогатую упряжку. Одни сани за другими прибывают туда же; появляется и свободное стадо, и тотчас же отправляется на пастбище; за ним следуют и распряженные животные.

Женщины выбирают подходящее место для постановки чума, расставляют жерди кругом и покрывают их берестой; между тем хозяин идет со своим арканом в стадо, опытным глазом выбирает молодого, жирного оленя и набрасывает ему путы на рога и шею. Напрасно олень пытается возвратить себе свободу; ближе и ближе подходит к нему охотник, и он без сопротивления следует за ним до самого чума, который уже успели поставить. Нанесенный сзади удар топором по голове повергает жертву на землю; удар ножом в сердце прекращает ее жизнь. Через две минуты животное уже обнажено от шкуры, вскрыто и искусно выпотрошено; еще одна минута—и все, быстро собравшиеся, члены семьи уже обмакивают печень, разрезанную на ломти, в кровь, наполняющую грудную полость, и начинается «кровавая трапеза». Сидя на корточках кругом еще теплого оленя, каждый из пирующих срезывает мясо с ребер или со спины и с бедер; губы у всех красные, точно намазанные плохими румянами; капли крови временами стекают на подбородок и на грудь; руки также окрашиваются, и кровью, которой они вымазаны, пачкают нос и щеки; удивленный чужеземец повсюду видит перед собой окровавленные лица. Грудной ребенок отрывается от груди матери, чтобы в свою очередь принять участие в пире и издает звуки радости, когда заботливая мать разбивает кость и дает ему сосать мозг после того, как он уже успел, хотя с трудом, проглотить кусочек печени и испачкать кровью себе лицо, руки и все, до чего мог дотронуться. Собаки сидят кругом позади пирующих и хватают обглоданные кости, которые им бросают. Насытившиеся один за другим отстают от еды, вытирают окровавленные руки о мох, вычищают таким же способом ножи и затем отправляются в чум, чтобы там с удобством отдохнуть. Между тем хозяйка наполняет котел водой, кладет в него мясо наполовину съеденного животного, сколько его может поместиться туда, и разводит огонь для приготовления ужина.

В это время хозяин уже снял свою верхнюю одежду и, осмотрев ее бегло, но не без результата, приблизился к огню так, чтобы пламя

костра могло вполне согревать его обнаженную верхнюю часть тела. Он испытывает величайшее удовольствие и думает о новом наслаждении. Какой-то удивительный чудак, направляющийся в его сообществе в горы, быть может, член Бременской естественно-научной экспедиции в Западную Сибирь, дал ему не только табаку, по правде сказать, ужасной травы, хотя и очень крепкой, но и большой лист бумаги, целый нумер «Kölnische Zeitung». От этого листа остяк осторожно отрывает четыреугольный кусок, свертывает его в маленькую острую трубочку, наполняет ее табаком, сгибает по средине,—и трубка готова; через минуту она уже отлично курится и пахнет так превосходно, что хозяйка расширяет ноздри и требует для себя того же удовольствия. Ее желание тотчас же исполняется, трубка обходит всех, и каждый член семьи разделяет наслаждение.

Вода в котле уже начинает клокотать; ужин готов, и все протягивают руки ко вкусно приготовленной трапезе. Тогда хозяин выходит из чума, становится перед дверью, испускает протяжными звуками далеко разносящийся призыв, которым на нынешний день в последний раз собирает беспокойное стадо, и, успокоенный, возвращается в чум. Его жена расставляет полог и занята еще подсовыванием нижнего края его под одеяло. Муж, ожидающий, пока будет готова постель, наполняет время, нужное для этой работы, тем, что подхватывает одну из собак и няньчит ее, как маленького ребенка, на что собака, с своей стороны, отвечает выражениями удовольствия, сознавая, что на ее долю выпала большая честь. Затем муж, полуобнаженный, залезает под полог, пятнадцатилетний сын следует его примеру, его маленькая, почти тринадцатилетняя жена делает то же самое; заботливая мать кладет в безопасное убежище и маленьких детей, в том числе еще находящегося в колыбели ребенка, подкладывает хворосту в костер, тлеющий у входа в чум, запирает дверь и присоединяется к остальным членам семьи. Через несколько минут громкое храпенье возвещает, что все заснули сном праведных.

На следующее утро начинается та же дневная суета, и все идет так же, пока на горных высотах не станут возможны более продолжительный отдых и пребывание на одном и том же месте. Снег, рано выпадающий на высотах, уже в августе напоминает о возвращении, и опять начинается, теперь более медленное, странствование хозяина и его стада в низину.

С исчезновением льда начинается и деятельность рыболова на реке. Многие остяцкие рыболовы работают на жалованьи или сообща с русскими; другие продают им только часть избытка своего улова и рыбачат собственными средствами. Непосредственно после ледохода разбивают они чумы около рыбачьих хижин русских промышленников или поселяются в своих, расположенных у самой реки, летних жилищах—простых бревенчатых постройках. Там, где приток впадает в реку, перегораживают его загородкой, имеющей только одно отверстие; при более низком уровне воды ставят верши и расставляют удочки; кроме того, ловят еще сетями и неводами.

Оживленная деятельность царит на всех рыболовных местах. Над отверстием изгороди сидят на колеблющихся жердях подростки, больше мальчики, чем мужчины, и пристально вглядываются в мутные волны, находящиеся под ними, чтобы рассмотреть—попала ли рыба в сеть, которую они держат и которая запирает проход, от времени до

времени поднимают ее с пойманной добычей и выкидывают последнюю в маленькие челноки. Мужчины ловят на песчаной отмели сообща обыкновенной сетью или на мелких местах реки неводом с грузом. После полудня или к вечеру рыбаки возвращаются домой и оделяют каждый дом из пойманной добычи. На следующее утро начинается деятельность женщин. Поодиночке или группами сидят они на корточках около больших куч рыбы, причем каждая вооружена доской и острым ножом; они чистят рыбу, потрошат, делят ее на части, надрезывают и нанизывают на длинные, тонкие колья, которые затем развешивают для высушивания. Ловкие и верные движения ножа вскрывают брюшную полость рыбы и отделяют ее боковые мышцы от позвоночника; несколько движений руки отрывают печень и другие внутренности от головы и ребер и более ценных боковых частей тела. Одна печень за другою скользит по чмокающим губам: женщины еще ничего не ели и, в виде завтрака, пользуются лакомыми кусками. Если желудок еще не успокаивается, одна из рыб очищается, потрошится и разрезывается на длинные полосы; один конец такой полосы, обмоченный в вытекающую кровь, следовательно, отчасти приправленный, захватывается ртом, и от него снизу, у самого носа, отрезываются один за другим куски, могущие поместиться во рту. Дети, находящиеся около работающих матерей, получают, смотря по возрасту, печенки или полоски мяса; четырехлетние, при отрезывании кусков, почти так же ловко управляются с ножом, как и большие, которые поступают так же, когда едят разрезанное полосками оленье мясо. Вскоре лица матерей и детей уже блестят от рыбьей крови и печеночного жиру, а руки—от приставшей к ним рыбьей чешуи. Когда все рыбы вычищены, разрезаны и вывешены для просушки, тогда и собаки, жадно, но не назойливо смотревшие на женщин, получают свою часть; именно, рыбья чешуя и внутренности выбрасывались на кучку травы, и теперь черные морды с жадностью роются в такой кучке.

Утренняя работа кончилась и заслуживает короткого отдыха. Матери берут детей на колени, грудным дают грудь и приступают к занятию, безусловно необходимому не только для маленьких, но и для них самих—к охоте за паразитами. Один ребенок за другим кладет голову на колени матери, а под конец она сама кладет свою на колени старшей дочери или приятельницы, рассчитывающей на взаимную услугу; добыча такой охоты всегда оказывается обильной. Если пойманная дичь и не поедается, то во всяком случае кладется между губ и умерщвляется зубами. Для естествоиспытателя, наблюдавшего обезьян, в этом нет ничего нового, а для того, кто в учении Дарвина видит более, чем простую гипотезу, этим доказывается, что «атавизм», возвращение к привычкам предков, не может быть отрицаем.

Солнце начинает склоняться к западу; с новым богатым уловом приезжают мужчины, юноши и мальчики; они уже достаточно наелись сырой рыбы, и желудок их просит теперь теплого кушанья. Большой дымящийся котел с вареной рыбой из породы лососей ставится перед ними; хлеб, пропитанный рыбьим жиром, составляет приправу; налитый холодной водой, долгое время кипевший кирпичный чай заключает трапезу. Когда потребность еды и питья удовлетворена, дух требует для себя пищи; тогда находит себе хороший прием артист, приносящий с собой самодельную арфу или цитру, чтобы подыгрывать на ней какой нибудь своеобразной, не поддающейся описанию песне или пляскам

женщин, состоящим из странных движени: пляшущие то поднимаются, то опускаются, закидывают одну около другой вытянутые руки и опять прижимают их к телу. Это веселье продолжается, пока не будет готов полог от комаров; тогда старый и малый скрывается за его складками.

Лето прошло; за короткий осенью следует зима. С пролетом птиц начинается новая деятельность; с зимой наступает новая или, лучше сказать, полная, настоящая жизнь остяков. Для отлетающих летних гостей ставится предательская сеть; в искусственно сделанных прогалинах густого берегового ивняка, на известных путях пролета между двумя более значительными водными поверхностями, протягивается большая подвижная сеть, в которую попадают не только утки, но и гуси, лебеди и журавли. Они составляют желаемую добычу, так как, кроме пуха и перьев, доставляют мясо, служащее существенной пищей не одних остяков, а и всех обитателей речной долины. Одновременно с птицеловом выходит на охоту и кочевник; он ставит в тундре свои капканы на лисиц; в лесу, вместе с оседлыми соплеменниками, ставит он такие же ловушки, западни и самострелы на волков и лисиц, соболей и горностаев, россомах и белок. Если уже выпал снег, опытный охотник прикрепляет к ногам лыжи, сетки от снегу—перед глазами, и отправляется с собаками в лес или тундру, чтобы разыскать медведя в берлоге, выследить рысь и нагнать лося и дикого оленя, которых снег теперь еще не держит, хотя уже держит охотника. Он никогда не лгал, никогда не клялся лживо медвежьими зубами, не делал ничего несправедливого и потому медведь бессилен перед ним, а лось и олень недостаточно быстры на бегу, чтобы уйти от него. Весело возвращается он в деревню, в чум, с убитым медведем; соседи и друзья радостно обступают его, а он сам, возбужденный общим весельем, тихонько скрывается, переряжается и маскируется, чтобы начать медвежий танец, состоящий в странных телодвижениях, которые должны представлять движение медведя во всех положениях его жизни.

Вскоре шкуры появляются в изобилии в хижине рыболова и еще более в чуме оленевода, где хранятся шкуры всех оленей, убитых им в течение года. Теперь нужно сбывать их. Ближний и дальний снаряжаются на ярмарку, которая ежегодно во второй половине января бывает в Обдорске, последнем русском поселении, самом важном торговом местечке на нижней Оби, и посещается местными жителями и приезжими. В это время русские правительственные чиновники собирают подати с остяков и самоедов, улаживают несогласия между ними и разбирают их тяжбы; русские купцы выискивают покупщиков и продавцов, причем менее добросовестные, с помощью плутоватых зырян, ловят легкомысленных людей, падких на водку. В то же время, между остяками и самоедами происходят всякого рода соглашения, устраиваются свадьбы, совершаются примирения врагов, завязываются дружеские сношения, с русскими заключаются договоры, уплачиваются старые долги и делаются новые. Запряженные оленями сани прибывают со всех сторон длинными вереницами; кругом торгового местечка вырастает один чум за другим и каждый окружен тяжело нагруженными санями с предназначенной к продаже годовой добычей. Каждое утро хозяин чума, с своей любимой женой, в полном наряде отправляется к ярмарочным лавкам продавать меха и закупать товары. Все торгуются, прицениваются, пытаются обмануть; действующий еще в настоящее время Меркурий выказывает свою власть не только, как бог торговцев,

но и как бог воров. Водка, промен и продажа которой хотя и строго запрещена правительством, но которую можно найти и у каждого купца, и в каждом доме в Обдорске, туманит сознание остяков и самоедов, лишает разума и заставляет их терять более, чем ужасная моровая язва, отнимающая у них оленей. Водка пробуждает все страсти в остяке, в другое время бесстрастном, добродушном и незлобивом, и превращает миролюбивого, дружелюбного ко всем, честного малого в лютого, бессмысленного зверя. Водки жаждет мужчина, ее же жаждет и женщина; отец насильно льет водку в горло сыну, мать—дочери, когда те отказываются от губительного яда. Из-за водки остяк бросает сокровища, приобретенные с величайшим трудом, все свое имущество, из-за нее он становится рабом или слугою, ради нее продает душу, отрекается от веры своих отцов. Водка составляет необходимое условие для заключения всякой сделки; с ее помощью бессовестный купец получает все меха от остяка чуть не даром. Освободившись от последних, с пустым кошельком и пустой головой, остяк, приехавший в Обдорск с гордыми надеждами, возвращается в свой чум нищим. Он раскаивается в своей глупости, в своей слабости, принимает самые лучшие намерения, успокаивает себя, стараясь думать только о том, как хорошо он провел время с соплеменниками. Сперва он выпил с ними, затем мужчины и женщины целовались, после того мужья били своих жен и наконец все пробовали друг с другом силу, причем даже с сверкающими глазами вытаскивали острые ножи и грозили один другому смертью. Но не пролилось ни одной капли крови; все опять примирились, и женщины, оглушенные ударами и водкой, кротко поднялись с полу, а другие добрые женщины обмыли их; чтобы отпраздновать примирение, была заключена важная сделка, дочери был найден жених, сыну выбрана маленькая невеста; даже одну вдову выгнали замуж, и по этому случаю опять выпили; одним словом, все отлично повеселились. Правда, неприятно, даже очень неприятно, что русский начальник всех напившихся до бесчувствия приказывал сажать под замок, и что все деньги, до последней копейки, куда-то исчезли; однако, все опять были выпущены и свыклись с потерей денег; только приятное воспоминание, которым можно наполнить целый год, и обручение, одинаково почетное для обеих сторон, остались в виде несомненной прибыли от веселых праздников.

Жених и невеста также были на ярмарке; они смело пили вместе сколько могли, познакомились при этом, и жених столковался со своими родителями о том, чтобы выбрать молодую девушку, или вернее сказать, получить ее в жены. На самом деле, при заключении остяцкого брака важно решение родителей, а не желание жениха и невесты. Пожалуй, желание жениха еще принимается в расчет: юноше, подающему надежды, позволяется обратить взор на одну из девушек своего народа; но сватать ее он должен через отца, если его условия совпадают с условиями будущего тестя. Согласия девушки не спрашивают уже по той причине, что при обручении она еще слишком молода, чтобы с полным разумением решить вопрос о своем будущем. И ее будущий муж еще не достиг пятнадцати лет, когда сватает ее, едва достигшую двенадцати лет. В нашем случае обоюдная ярмарочная дружба значительно ускорила ход соглашения. Сват без дальних слов получил согласие; тогда начались, нередко весьма утомительные, переговоры, но благодаря водке, обыкновенно действующей, как злой демон, а на этот раз способствовавшей делу, они быстро приведены к концу. Было условлено, что Сандор, молодой жених,

в виде брачной платы за Маллу, девочку-невесту, уплатит шестьдесят оленей, двадцать шкурок песца и десять красной лисицы, кусок цветного сукна и разные мелочи, кольца, пуговицы, бусы, головные платки и т. п. Это было мало, гораздо меньше, чем заплатил за свою жену не более богатый старшина общины, Мамру: он заплатил полтораста оленей, шестьдесят шкурок белой и двадцать красной лисицы, большой кусок сукна для платья, много головных платков и обыкновенных безделок. Но тогда были лучшие времена, и Мамру мог выплатить имуществом, стоимостью более тысячи серебряных рублей за свою видную и богатую жену, происходившую из хорошей семьи.

Условленная плата за невесту представлена; назначается свадьба. В чум отца невесты являются ее родные, приносят ей подарки и за это что-нибудь берут себе из выставленных напоказ даров жениха. Невесту одевают в праздничные одежды, снаряжают ее и снаряжаются сами для поездки в чум жениха или же его отца. Перед тем все успели досыта



Тунгус с оленями.

наесться мяса только-что убитого оленя, как у них делается всегда. Сегодня варили только несколько рыб, пойманных подо льдом; мясо убитого оленя ели сырым и как только один олень начинал остывать, другому наносился смертельный удар. Невеста плачет, как следует невесте, оставляющей родительский дом, не хочет уезжать из чума, в котором выросла, и только после утешений и увещаний соглашается ехать. Молитва перед домашними идолами испрашивает благословения Орта, небесного бога, знамение которого, божественный огонь, то, что мы называем северным сиянием, в прошлую ночь показывалось на небе—красное, как кровь. Мать сопровождает дочь-невесту, чтобы находиться около нее и оказывать ей помощь в брачную ночь. Вместе с дочерью она садится в сани, все приглашенные на свадьбу родственники садятся в свои, и брачный поезд двигается с праздничной пышностью, со звоном колокольчиков, которые теперь привешены у всех оленей к самой богатой сбруе.

В чуме отца жених ожидает невесту, которая перед будущим свекром и деверьями сегодня, как и всегда, стыдливо закрывает лицо

головным платком. Начинается новое пиршество, и только поздно ночью разъезжаются гости, к которым присоединяются и родные жениха. Однако, на следующий день мать опять приводит молодую в чум ее отца. Через день являются все родные жениха, чтобы вытребовать молодую. Опять праздничным весельем наполняются низкие стены хижины, после чего молодая оставляет ее навсегда и с того времени разделяет с одним мужем или с его родителями, братьями и сестрами, а позднее, с его второй женой, его чум, куда ее приводят и во второй раз с праздничной пышностью.

Сыновья бедных людей платят за невест самое большее десять оленей, а сыновья рыболовов даже и того не платят; они доставляют



Возвращение с охоты.

только необходимые принадлежности для устройства и снабжения чума и часто разделяют его с другими семьями; впрочем, и их свадьба бывает днем торжества и радости, когда угощают всех, насколько позволяют скромные средства.

У бедных остяков бывает по одной жене; но богатые считают привилегией благосостояния иметь двух или несколько жен. Однако, первая жена сохраняет некоторые преимущества перед другими, и последние кажутся скорее ее служанками, чем равноправными с ней женами. Иначе бывает только тогда, когда у нее нет детей; бездетность считается позором для мужа, и жена, не имеющая детей,—самое несчастное существо во всем чуме.

Родители гордятся своими детьми и обращаются с ними с замечательной нежностью. С невыразимым счастьем во взгляде и движениях

молодая мать прикладывает своего перворожденного к груди или кладет его на мягкий мох, в красивую колыбель из березовой коры, устланную внутри мелкими ивовыми ветками и наскобленными древесными стружками; заботливо завязывает она одеяло с обеих сторон колыбели и тщательно окутывает изголовье маленькой постельки прикрепленною к нему занавескою от комаров; но ее чистоплотность оставляет желать многого. Пока ребенок еще мал и беспомощен, она все-таки моет и чистит его, так как думает, что то и другое необходимо; но когда он становится больше, она только один раз в день моет ему лицо и руки, употребляя одну горсть мелких ивовых стружек в виде губки, а другую, сухую, в виде полотенца, и смотрит совершенно спокойно, когда маленькое существо, каждую минуту находящее случай перепачкаться, доходит до почти невообразимой неопрятности. Только тогда, когда молодой остяк может уже обходиться собственными силами, для него кончается такое бедственное положение; однако, он не всегда считает нужным мыться после еды, если даже она состояла из окровавленного мяса. Дети с такой же нежностью и преданностью относятся к родителям, как и те к ним; всегда с признательностью повинуются им и подчиняются воле воспитателей. Уважение к родителям есть первая и важнейшая заповедь остяков; почитание божества—уже вторая. Когда мы советовали Мамру, упомянутому старшине общины, учить его детей русскому языку и русской грамоте, он возразил, что хорошо понимает пользу такого обучения, но боится, что дети тогда, пожалуй, перестанут почитать отца и мать и нарушат важнейшую заповедь своей веры, и что по этой причине он не может решиться последовать нашему совету. Вследствие того, быть может, ни один остяк, еще придерживающийся веры своих отцов, не выучивается ничему, кроме уменья изображать свою тамгу, имеющую силу для него и для других, чертя его на бумаге и вырезывая на дереве или на оленьей шкуре. И все-таки, будучи в высшей степени ловким и способным человеком, он выучивается всему, чему его учат, так скоро и легко, что даже в раннем возрасте, в каком его женят, знает все необходимое, чтобы основать и поддержать хозяйство. Только в делах веры он, повидимому, легко отказывается от собственного суждения и за немногими исключениями относится с незаслуженным почетом к шаману, приписывающему себе такие знания, которых в действительности он не имеет.

Мы с своей стороны, в шамане, который у остяков и у других инородческих племен Сибири имеет притязание на положение жреца, можем видеть лишь простого обманщика. Единственный член аристократического братства, с которым мы встретились, был крещеный самоед, который тем не менее исполнял обязанности шамана среди остяков-язычников. О том, что шаман, с которым мы познакомились, по крайней мере с своей точки зрения, увидел в нас верующих людей, я уже упоминал в отчете о своем путешествии, а также и о том, что он нам предсказал; изображение же самого процесса этого предвещания я удержал для настоящего сообщения; эта картина здесь должна войти в свою рамку.

Потребовав сперва водки, затем удовольствовавшись обещанием подарка, шаман удалился в чум, дав понять, что он позовет нас, когда приготовления будут окончены. К последним принадлежали, повидимому, глухие удары барабана, которые мы слышали через большие промежутки времени; о других подготовлениях мы ничего не знали. Получив извещение, мы вошли в чум.

Все пространство чума наполнено людьми, которые, прижавшись сколько возможно к стенам, сидят кругом; между остяками и самоедами, пришедшими с женами и детьми, находятся и русские также с женами и потомством. На возвышенном месте, налево от входа, сидит Видли, шаман; направо от него сидит на земле на корточках остяк, бывший в то время его учеником. На Видли коричневое верхнее платье и кроме того грязная одежда, бывшая некогда белою, сверху обшитая золотыми шнурками и походящая на талар; в левой руке он держит небольшой



Шаман.

бубен, закрывая им лицо, а в правой—колотушку; голова его не покрыта, коротко остриженные волоса, только-что намазанные жиром, блестят и светятся. В середине чума горит огонь и бросает, ярко вспыхивая от времени до времени, резкие отблески света на пестрое общество, среди которого мы садимся на оставленные для нас свободные места. Трижды повторенный протяжный крик, похожий на пение нескольких голосов и сопровождаемый ударами бубна, приветствует нас при входе и обозначает начало представления.

— Для того, чтобы вы видели, что я человек правды,—начинает шаман,—я попрошу теперь дружественного мне посланника небесного

совета явиться среди нас и сообщить мне, что решили боги насчет вашей судьбы. Современем вы узнаете, правда ли то, что я сказал, или нет.

После этого обращения, переданного нам устами двух переводчиков, любимец богов стал быстро колотить по оленьей коже своего барабана; удары следовали с известным тактом и сопровождались пением на самоедский лад, напоминая нечто вроде речитатива, произносимого сквозь зубы; помощник шамана все время с точностью воспроизводил те же звуки. Затем шаман поднял бубен так, что все лицо его оставалось в тени, и закрывал глаза, чтобы ничто не отвлекало его от внутреннего созерцания; помощник, напротив, курил и во время пения, как делал это раньше, и все так же сплевывая слюну. Три протяжные, выразительные удара закончили пение.

— Я упросил,—с достоинством говорил шаман,—Ямаула, вестника неба, появиться между нами, но не могу определить, сколько времени должно пройти, пока он, находясь, может быть, далеко от нас, будет здесь на месте.

И опять бьет он в бубен, поет свои заклинания и прерывает попрежнему пение и акомпаниментом.

— Я вижу перед собою двух царей; они пришлют вам письмо,— говорит вестник богов его устами.

Ямаул был так добр, что явился в чум и исполнил желание своего любимца. Теперь следуют, постоянно сопровождаемые пением заклинаний и ударами барабана, отрывочные изречения вестника богов в следующем виде:

«Еще раз на будущее лето вы проедете тот же путь, как и в нынешнем году.

«Тогда вы посетите вершины Урала, где начинают свое течение реки Уса, Пыдерата и Щучья.

«Во время этого путешествия с вами что-то случится—дурное или хорошее, я сказать не могу.

«На Пыдерате нельзя ничего добиться, потому что там нет ни дерева, ни тальника; но здесь можно кое-что сделать.

«Вашему начальнику вы должны будете отдать отчет; он рассмотрит его.

«Вы должны будете отвечать и перед тремя старшинами вашего племени; они также рассмотрят то, что вы написали, и назначат вам ехать в новое путешествие.

«Теперь ваше путешествие будет счастливо, пройдет без всякой беды и милых вам вы найдете дома в полном благополучии.

«Когда русские, находящиеся теперь в Пыдерате, скажут то же, что и вы, два царя наградят вас.

«Я не вижу перед собой больше никакого лица».

Представление окончено; на горах Урала лежит последний полуночный отблеск. Все оставляют чум; на лицах русских видна такая же убежденность, как и на лицах остяков и самоедов. Но мы приглашаем шамана проводить нас, с помощью водки развязываем язык ему и его помощнику и предлагаем им всякого рода перекрестные вопросы, между прочим, и самого коварного свойства. Он отвечает на все без исключения, не смущаясь ни одним, без промедления, даже не задумываясь; он отвечает убежденно и убедительно, ясно и определенно, коротко и точно так, что мы с меньшим сомнением, чем прежде, можем признать, какого хитреца мы видим перед собою.

Он рассказывает нам, как уже в детстве дух посещал его и до тех пор мучил, пока он не сделался учеником шамана, как он все более и более сближался с Ямаулом, посланником богов, который является к нему в виде дружелюбного человека, скачущим на быстрой лошади, с палкой в руке; как Ямаул спешит к нему на помощь и в случае нужды призывает к нему небесную силу, когда ему, шаману, приходится бороться с злыми демонами, иногда несколько дней подряд; как вестник богов всегда должен передавать ему настоящие вести с неба, потому что иначе все удары, которыми извлекаются звуки из барабана, причиняют ему жестокую боль; как Ямаул и сегодня, видимый только ему одному, сидел сзади него в чуме и нашептывал ему в уши слова, сказанные нам; как он, шаман, посредством своего искусства или данной ему милости, может узнавать скрытое, находить украденное, распознавать болезни, предвидеть смерть или выздоровление заболевших, видеть и изгонять тени умерших, делать много дурного и препятствовать многому дурному, хотя он делает только доброе из страха перед небесной силой. Он дает нам подробную и ясную, хотя не совсем верную картину верований остяков и самоедов; он уверяет, что все его соплеменники, а также и остяки, посещают его во всякой беде, чтобы попросить совета или узнать через него будущее, и без малейшего сомнения доверяют ему и верят в него.

Последнее не совсем справедливо. В народе большинство может видеть в шамане знающего человека, даже посредника между людьми и божеством и, быть может, обладателя таинственных сил; но многие не верят его словам и действиям, так же, как и другие народы не верят своим жрецам. Настоящая вера народа—более простая и детская, чем это нужно для шаманов. Здесь происходит то же, что и в других местах: жрец населяет небо богами, советниками и служителями их; народ, однако, ничего не хочет знать о всей этой небесной иерархии *).

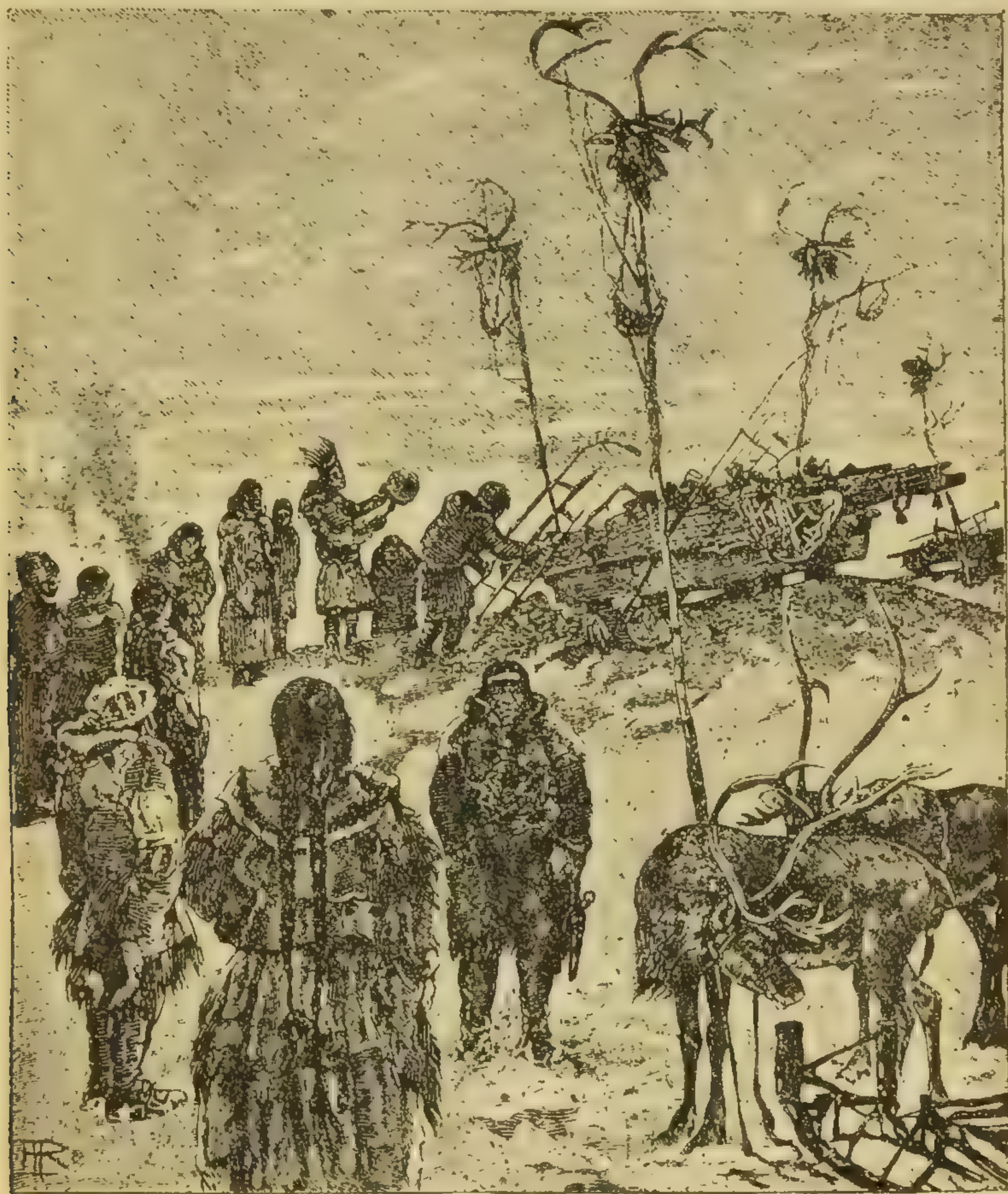
По его верованиям, на небе царствует Орт, имя которого значит нечто вроде «конец света». Он всесильный дух, не имеющий власти только над смертью, и благосклонно относится к людям. Он посылает всякое добро: оленей, рыб и пушных зверей, избавляет от зла и мстит за ложь; он сердится только тогда, когда не исполняется данное ему обещание. В честь его справляют праздники, ему приносят жертвы и молятся; о нем думает молящийся, стоя перед идолом. Идол, называемый «лонгх», может быть вырезан из дерева или представлен просто свернутым куском сукна, камнем, мехом или другим подобным предметом, но он не обладает никакой силой, не оказывает защиты; одним словом он—не фетиш. Когда собираются перед лонгхом, его выносят из чума, ставят перед ним блюдо с рыбой или оленьим мясом, или же какую-нибудь другую жертву, кладут перед ним ценные предметы, или запрятывают их внутрь его,—но при этом всегда смотрят на небо и во время жертвоприношения, так же, как и за молитвой, думают о божестве. Злые духи живут и на небе, и на земле, но Орт могущественнее их всех; только смерть сильнее его. Загробной жизни не бывает,

*) Мнение, что шаманы обманщики,—неверно. Настоящие шаманы—люди, убежденные в своей силе. Это обычно—неврастеники, способные приходить в экстаз, терять на время сознание и представлять себе, что они могут вызывать духов и говорить с ними.

Прим. редактора.

так же, как и воскресения умерших; но умерший после смерти бродит по земле в виде тени и тень имеет силу делать добро и зло.

Когда остяк умирает, он тотчас же начинает вести жизнь в виде тени; поэтому к его погребению приступают немедленно. Еще перед смертью около умирающего собираются все его друзья; как только он испустит последний вздох, в чуме, где лежит труп, зажигают огонь, который поддерживается до перенесения покойника на место его упокоения. Призывается шаман, который должен спросить у мертвого, на



Ночь у остяков.

каком кладбище он желает быть похороненным? Для этой цели называют какое-нибудь место и стараются приподнять голову трупа. Если покойник согласен, он позволяет приподнять себе голову; в противном случае трое людей не могут этого сделать. Тогда надо повторять вопрос, пока покойный не изъявит согласия. Когда оно дано, посылают опытных людей на место для приготовления могилы, так как подобная работа иногда требует нескольких дней.

Кладбище всегда находится в тундре, на возвышенных местах, обыкновенно на хребтах продолговатых холмов; гроба—более или менее искусно слаженные ящики, которые ставятся на землю. За недостатком крепких досок для приготовления их перерезывают лодку и

в одну из половин ее кладут труп; только очень бедные люди выкапывают неглубокую яму в земле и зарывают в нее покойника без гроба.

Тело умершего не обмывается, но облекается в праздничные одежды и волосы его смазываются жиром; затем лицо его покрывается платком. Все остальное платье после него достается бедным. До чужого мертвеца не дотрогиваются руками, но любимого родственника со слезами на глазах целуют в застывшее лицо.

На санях, в лодке, в сопровождении всех собравшихся родственников и друзей, тело перевозят на кладбище. В ящик или в гроб кладут оленью шкуру, на которой должен покоиться мертвец, в головах и по бокам положены табак, трубка и всевозможная утварь, какою покойный пользовался при жизн. Затем груп связывают веревками, укладывают в гроб, в последний раз покрывают ему лицо и расстилают над гробом кусок березовой коры, который у богатых людей прежде украшался дорогими мехами и материями. На березовую кору накладывают настоящую крышку гроба или по крайней мере плотно укладывают толстые обрубки дерева; над ними или под ними кладут предметы, не поместившиеся в самом гробу, предварительно разломав их или другим способом сделав негодными, что, по мнению остяков, превращает их в тень того, чем они были прежде.

Тем временем вблизи гроба зажигается огонь и убивается один или несколько оленей, мясо которых провожатые едят в сыром и в вареном виде. После погребальной трапезы головы убитых оленей надевают на шесты, обёртывают последние или близстоящие деревья сбруей этих животных; привешивают колокольчики, которые были на них сегодня, как и во всех торжественных случаях, на верху крышки гроба, разламывают сани, разбрасывают обломки вблизи гроба и этим придают ему последнее украшение. Затем все отправляются домой. Плач прекращается, и жизнь опять вступает в свои ежедневные права.

Но во мраке ночи тень умершего, вооруженная своими орудиями, также превратившимися в тени, начинает таинственную жизнь. То, что делал умерший, когда жил среди живых, делает он и после смерти. Невидимо для всех, пасет он своих оленей, ездит в челноке по волнам родной реки, прикрепляет к ногам лыжи, стреляет из лука, ставит сети, убивает тени некогда существовавшей дичи, ловит тени бывших рыб. В темноте ночи входит он в чум своей жены, своей семьи, причиняя оставшимся после него добро и зло. Награда его заключается в том, чтобы своим единокровным родным оказывать благодеяния, а наказание—в том, чтобы быть вынужденным постоянно вредить своим близким.

Таковы основы верований остяков, называемых язычниками и презираемых за это. Оценивая, как должно, этих честных людей с детской душой, можно пожелать только, чтобы они продолжали оставаться такими, каковы они теперь.

Лес, дичь и охота в Сибири.

Впечатление однообразия, какое производят пейзажи Сибири, обусловливается тем, что здесь почти всюду являются смешанными флора и фауна трех, сменяющих один другой поясов. Каждый из этих поясов сохраняет везде свойственный ему характер, и, сотни раз развертывая одни и те же картины, постепенно притупляет впечатлительность до такой степени, что почти теряешь способность распознавать и ценить прелести того или другого ландшафта. Поэтому редко отзываются благоприятно о пейзажах этой обширной области, хотя она вполне того заслуживает. Отсюда в нас понемногу утвердился такой взгляд на Сибирь, который мало соответствует действительности. Сибирь считается ледяной пустыней без жизни, без разнообразия, без всякой привлекательности, страной, оцепеневшей под проклятием неба или несчастных изгнанников. При этом совершенно забывают, что страна, занимающая добрую треть Азии и почти вдвое превышающая размерами всю Европу, простираясь от Урала до Тихого океана и от Ледовитого океана до широты Палермо, не может быть вполне однообразной, одинаковой во всех своих частях. Имея в виду какую-либо одну из ее областей, на все остальные смотрят в ложном свете.

В действительности Сибирь гораздо разнообразнее, чем ее часто описывали. И в ней горы прерывают равнины, а стоячие и текучие воды оживляют те и другие; и здесь солнце обливает горы и долины ярким светом и переливами цветов, а высокоствольные деревья и великолепные и нежные цветы разнообразят местности, в которых живут любящие свою родину люди.

Без сомнения, и теперь еще в Сибири встречаются пустынные области, которые, как и ледяные пустыни или тундры, дают некоторое оправдание существующим взглядам на Сибирь. Таковы лесистые местности между тундрой и степью, образующие третий пояс. В них человек еще никогда не решался прочно основаться; вся жизнь и деятельность пограничных поселенцев для этих местностей проходит по большей части бесследно. Стихийные силы здесь еще неограниченно властвуют, оказывая и разрушающее, и зиждущее влияние. Здешние леса загораются от молнии и низвергаются бушующей зимней бурей; они вырастают и уничтожаются без всякого вмешательства человека и поэтому могут быть названы первобытными лесами в настоящем смысле этого слова. Таинственно влекут они к себе и затем негостеприимно отталкивают: пленительно манят охотника и затрудняют каждый его шаг; богатую добычу обещают они корыстолюбивому торговцу и отодвигают исполнение его желаний в далекое будущее.

Лесной пояс Сибири лежит между степью и тундрой. Местами он вторгается в ту или в другую, или же та или другая врезываются в него. Кое-где в обеих безлесных областях сплошной лес вытесняет растения, свойственные степи или тундре; но такие отдельные леса походят на острова в море. В степи они попадаются на северных склонах гор и в речных долинах, а в тундре—в глубоких впадинах и долинах, но и там, и здесь они незначительны в сравнении с неизмеримыми пространствами лесного пояса, в которых только местами река, озеро или болото прерывают раскидывающуюся повсюду древесную глушь, где пожар оставляет плешины или где человек разрежает крайнюю опушку. Целые страны могли бы уместиться в одном из этих насаждений; королевства уступают всем своим протяжением площади, занимаемой одним таким лесом. Что находится внутри этих лесов—никто сказать не может, так как даже вытекающие из этой глуши речки нигде не дают возможности беспрепятственно подниматься по их течению, и самые смелые охотники за соболями знают лесную окраину не более ста верст в ширину.

Впечатление, какое сибирские леса производят на западно-европейского путешественника, не может быть названо благоприятным. При виде бесконечно тянущихся пространств, покрытых лесом, можно, пожалуй, испытывать холодное удивление, но лишь весьма редко затронет вашу душу чувство более теплое. Творческая, возрождающая, восполняющая сила севера, повидимому, не в силах сохранить равновесия перед силой разрушающей. Старческий возраст соединяется здесь с детскою свежестью, но их союз не действует успокоительно; здесь неоцененное богатство выступает в нищенской одежде; омертвелая растительность подавляет возникающую жизнь и гонит всякое радостное ощущение. Повсюду чувствуется жестокая борьба за существование, и ничто не привлекает к себе; нигде внутренняя часть леса не отвечает тем ожиданиям, какие возбуждала наружная. Величия девственных лесов низших широт совершенно незаметно в этих заброшенных, лишенных всякого ухода лесных чащах, и обнаруживаемая в них жизнь кажется уже обреченной на смерть.

Настоящий крупный лес, полный жизни, правильно обновляющийся, встречается редко; чаще можно найти леса, разрушенные огнем. Рано или поздно молния или преступное легкомыслие сибиряка зажигает лес. Если время года и погода благоприятствуют, лесной пожар свирепствует с невероятной силой. Не часы и не дни, а целые недели продолжается истребление. По мшистой, торфяной почве стелется и расползается пламя; покрывающий ее во множестве сухой и рыхлый валежник дает ему постоянную пищу; высохшие, свисающие до земли ветви или еще стоящие на корню сухие стволы переносят огонь вверх на вершины живых высоких деревьев. С сухим треском охватывается смолистая хвоя, и огромный сноп искр взлетает к небу. Через несколько минут громадное дерево погублено, обречено на разрушение; вылетающий из него огненный сноп падает вниз тысячью искр, и новые огни продолжают кругом свою ужасную жатву. С каждой минутой захватывая все большее и большее пространство, распространяясь во все стороны, разрушение неудержимо движется вперед: через несколько часов лес уже на десятки квадратных верст объят пламенем. Удушливые облака затмевают солнце на целые сотни квадратных верст; медленно, но плотно падающий пепел днем и зарево ночью возвещают о пожаре на далекие пространства; испуган-

ные животные разносят ужас в отдаленные области. Медведи, непосредственно после значительных лесных пожаров, появляются в местностях, где их не видали уже целые годы; волки странствуют в угрожающем множестве, большими стаями, на обширных пространставх, точно зимой; лоси, олени, козули, северные олени ищут новых пристанищ в отдаленных лесах; белки пробегают иногда бесчисленными стаями по лесам и безлесным пространствам, по лугам и полям, по деревням и огородам. Количество перепуганных животных, делающихся жертвами огня, не поддается вычислению; известно только, что леса, потерпевшие от пожара, еще долгое время после того остаются пустынными, и ценные охотничьи животные иногда совсем исчезают из таких местностей. Вероятно, опустошения от лесных пожаров распространяются гораздо шире, чем мы предполагаем: в 1870 году пожар, продолжавшийся две недели, уничтожил около полумиллиона десятин хорошо сохраненного леса в Тобольской губернии, и дым и пепел от него летели на 1600 верст от пожарища.

Еще много лет после пожара уничтоженный им участок леса кажется громадным пустырем; через одно или через два человеческих поколения это место можно узнать и выделить среди других. Пламя губило жизнь деревьев, но пожирало только те из них, которые во время пожара были почти сухими; более закоптелые, чем обугленные стволы других оставались в вертикальном положении, и на их вершинах даже уцелели хвоя, отпрыски и сухие ветки. Но вместе со смертью дерева начинается и его разрушение. Рано или поздно, оно неизбежно падает от порывов бури. Оно или совсем низвергается на землю, или лишается сучьев и вершины, переламывается в верхней трети или четверти. Вдоль и поперек, во всех направлениях, на различной высоте друг над другом, через некоторое время тысячи древесных трупов лежат на земле, уже раньше покрытой бесчисленными обломками. Одни покоются на своих корнях и верхних ветвях; другие прислонились к стоящим еще стволам; третьи лежат уже расщепленными и между сучьями и ветвями упавших вершин, причем их собственные вершины иногда далеко отброшены от стволов, ветви рассеяны кругом, развеяны во все стороны. Те, что еще противятся буре, вызывают в душе каждого любителя леса, пожалуй, еще более печальное впечатление, чем те, которые уже низвергнуты. Подобно обнаженным, лишенным снастей мачтам, поднимаются они вверх. Немногие еще долго после пожара сохраняют свои вершины или части вершин, но лишенные ветвей, безжизненные вершины скорее усиливают, нежели ослабляют грустное впечатление. Одна за другой падают вершины на землю, и стволы, еще держащиеся прямо, истлевают все более и более. Дятлы трудятся над ними со всех сторон, выдалбливают в них углубления для своих гнезд, устраивают ходы длиною более аршина, достигающие до самой сердцевины, открывают таким образом более удобный доступ сырости и помогают дальнейшему разрушению. С течением времени самый громадный ствол истлевает до такой степени, что насквозь становится гнилым и настолько теряет способность сопротивления, что усилия человеческой руки достаточно, чтобы свалить его в виде безформенной развалины. Наконец и он разрушается, и перед глазами лежит теперь обширная площадь, только кое-где покрытая обломками.

Тем временем и здесь возникла на развалинах новая жизнь. Уже через несколько лет после пожара обугленная, удобренная пеплом и

гнилью поверхность земли начинает опять покрываться растительностью. Лишаи, мхи, папоротники и всего более различные ягодные кусты одевают землю; обломки разростаются роскошнее, чем прежде, и привлекают к себе столько же различных животных, сколько их разогнал пожар. Принесенные ветром семена березы прорастают и принимаются, и повсюду возникает, почти исключительно благодаря им, плотная чаща, точно посеянная рукой человека. Через несколько лет молодая поросль скрывает уже нижнюю часть мертвого поля; по прошествии еще большего срока и другие лесные деревья постепенно занимают места своих предшественников. Каждый лесной пожар щадит некоторые части охваченного им насаждения, даже отдельные деревья в самой средине пожарищ, и этим облегчает обсеменение опустошенных пространств. Воды и глубокие овраги кладут предел распространению огня; но случается и так, что пламя переносится через овраги и продолжает свое разрушительное дело на противоположном берегу, не касаясь деревьев, стоящих в глубине оврага. Некоторые лиственницы, тронутые огнем, случается, не гибнут от пожара. Хотя пламя обугливает основание их стволов и пожирает всю хвою, но вершина нередко опять оживает, и дерево еще долгое время поддерживает свое, хотя и печальное, существование.

Сравнительно с опустошениями от огня, истребление леса, приходящееся на долю человека, кажется незаметным, как бы само по себе оно ни было значительно. О сбережении леса нынешний сибиряк не имеет никакого понятия. Лес представляется ему собственностью Бога, которою может распоряжаться каждый крестьянин; поэтому он нисколько не думает о сохранении пока еще неистощимого богатства, а, напротив, обращается с ним так, как ему придет на ум, как покажется ему нужным в данное время. Каждый сибиряк рубит и валит деревья везде, где ему захочется, и истребляет их несравненно более, чем это необходимо для него. Из-за нескольких шишек валят хвойные деревья, не разбирая того, в каком периоде роста находится дерево; для построек вырубают втрое и вчетверо более нужного количества, и оказывающееся лишним оставляют без внимания, часто не употребляя его даже на топливо. Уже в настоящее время такое неразумное отношение к лесу, обнаруживает свои последствия. Все леса вблизи населенных мест, а иногда и около дорог опустошены и кажутся немногим лучше лесов, истребленных огнем: тем не менее дело опустошения продолжается и теперь. Только с 1875 года появились в Западной Сибири казенные лесничие, но они заботятся более о рубке, чем о насаждении леса.

Вообще сибирские леса, даже там, где человек и огонь пощадили их, носят на себе печать, существенно отличающую их от германских, а именно пользуются полной, безграничной свободой произростания. Это может производить хорошее впечатление только в исключительных случаях. Пожалуй, вначале приятно охватывать одним взглядом все состояния роста и разрушения; но вскоре умершее выступает резче, чем нарождающееся, и это впечатление подавляет, а не возвышает душу. В таких диких лесах плотные насаждения чередуются с обнаженными местами, чистый высокий лес—с глухими зарослями, обветшалые остатки прежнего времени—с сильной молодой порослью. Из остатков упавших стволов пробиваются молодые побеги; исполинские трупы деревьев преграждают в чащах все дороги и тропинки. Ивы и

осины. на-ряду с березами самые распространенные лиственные деревья всех лесов Западной Сибири, встречаются в безукоризненном совершенстве, но иногда имеют такой вид, будто им что-то мешает подняться до полного роста. Стволы, в обхвате толще человека, несут на себе спутанные верхушки небольшого объема, от которых ежегодно отламываются новые ветки, не успев превратиться в сучья; другие, повидимому, весьма старые деревья выступают только в кустарной форме; третьи сломлены по средине ствола, расщеплены и расколоты, верхняя часть их скручена и соединяется с нижнею только посредством коры. Редко получается образ цельного дерева; почти все кажутся пострадавшими и гибнущими.

Это описание подходит, однако, не ко всем лесам этой обширной области; напротив, именно на юге лесного пояса встречаются насаждения, на которых глаз останавливается с удовольствием. Положение и местность, качество почвы и другие обстоятельства соединяются между собою, чтобы дать вполне удачные результаты. В таком случае вместе с более энергичным ростом отдельных деревьев изменяется и общий состав насаждений, и повсюду роскошный подлесок разростается с неожиданной силой. Правда, каждый вновь появляющийся вид дерева или кустарника, уменьшающий видовую бедность этих лесов, приветствуется там с особенной радостью, так как и в самых богатых насаждениях недостает многих деревьев, которые в Европе неизбежно появляются на той же широте. Вообще и леса этой страны так же однообразны и монотонны, как ее степи и тундры.

В речных долинах лесного пояса однообразие насаждений, пожалуй, выступает всего заметнее. Здесь господствует ива, образующая на берегах и на островах обширные заросли, почти вытесняющие все другие деревья. На обширных пространствах она исключительно составляет леса долины, поднимается в некоторых местах до высоты стройных деревьев, но редко производит приятное впечатление. Отдельно стоящее дерево не более, а скорее менее живописно, чем группа ивовых кустов: вершина его всегда остается жидкой и неправильной, чаще бывает не плотной, а сквозной, почти убогой на вид, и надоедает, попадаясь часто. Если же деревья, как обыкновенно бывает, стоят плотно друг к другу и образуют частую заросль, они еще более, чем отдельные деревья, утрачивают свою характерность: тогда стволы торчат рядом, как столбы, и все вершины сливаются в сплошную горизонтальную кровлю, напоминающую подстриженную изгородь, и превращаются в лиственную массу, в которой отдельные деревья совершенно пропадают. Приятными дополнениями подобных однообразных лесных порослей кажутся примешивающиеся к ним деревья тополевого рода—на юге серебристый тополь, на севере осина—способные оживить ивовые насаждения.

Уже в речных долинах, но постоянно на таких местах, которые не подвержены правильно повторяющимся наводнениям, рядом с описанными деревьями выступает береза: ее насаждения обыкновенно образуют связующее звено между чернолесьем и хвойными лесами. Но береза только на юге лесного пояса достигает полного развития; она так же легко уничтожается пожарами, как и смолистое хвойное дерево, и поэтому может только в незначительной степени оказывать влияние на характер прибрежных лесов. Чистые, почти не смешанные березовые леса окаймляют лесной пояс на юге и иногда далеко проникают в степь,

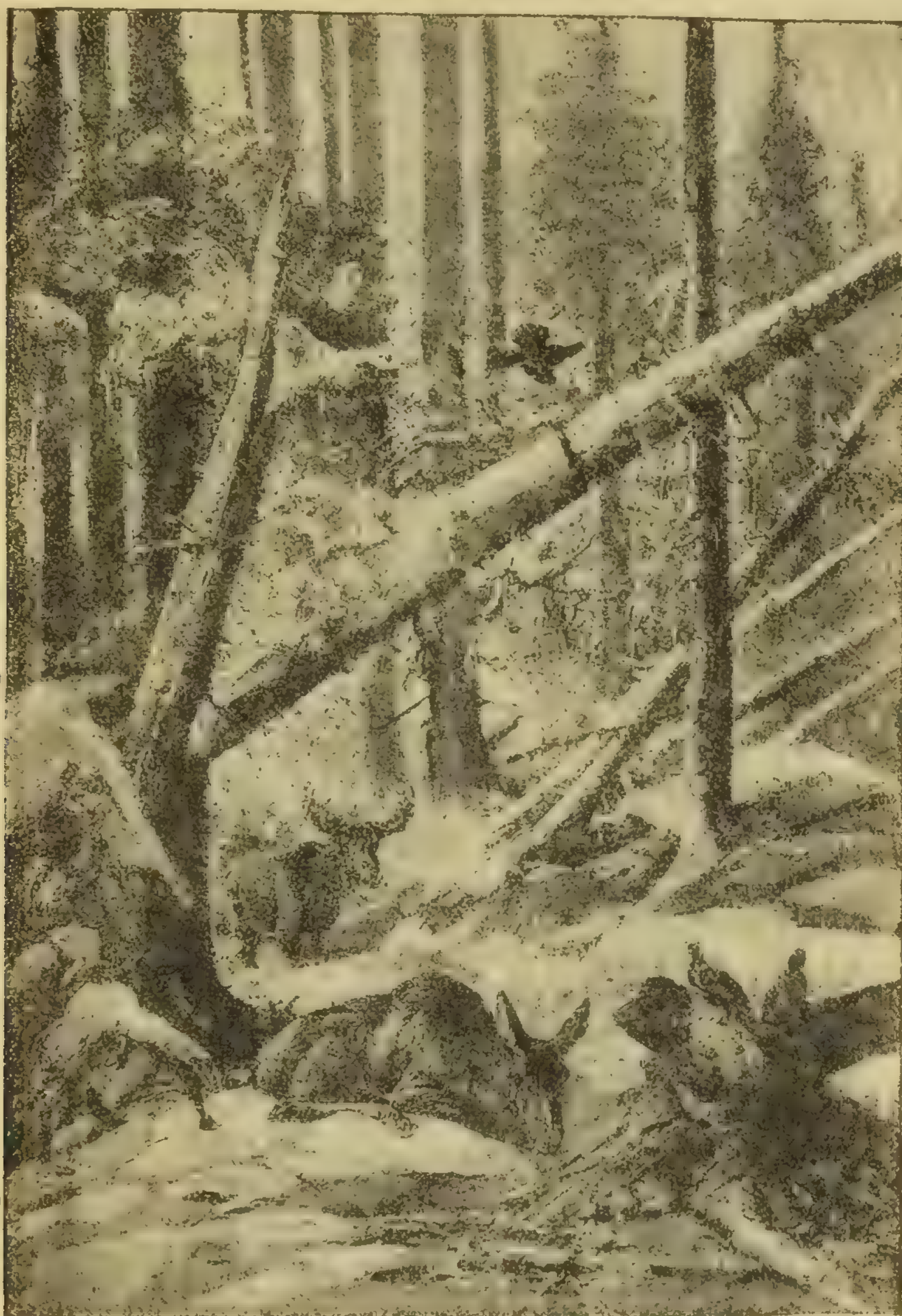
но лишь изредка выступают в виде густых и старых насаждений, и весьма разочаровывают, когда приходится ближе с ними ознакомиться.

Только хвойные леса, одевающие водоразделы, привлекают и радуют взор европейца. В них, если тундра не слишком дает себя чувствовать, ели и сосны, пихты и сибирские кедры, реже лиственницы, образуют собой главную составную часть, к которой примешиваются осины и ивы, местами также рябина и черемуха, а березы появляются иногда в таком сплошном виде, как в чистых насаждениях этого неприхотливого дерева. Пихты и сибирские кедры могут считаться характерными деревьями всех хвойных лесов Западной Сибири, одинаково отличаясь красотою и энергичным ростом. Пихта—чрезвычайно величественное дерево. Родственная нашей европейской пихте и заменяющая ее во всех лесах Восточной России и Западной Сибири, она уже издали бросается в глаза, значительно отличаясь от всех прочих хвойных деревьев. От ели и от сосны отличается она гордым строением своей стройной конусообразной вершины и роскошными, мягкими, светло-зелеными иглами своих ветвей. Почти всегда превышает она своим ростом прочие деревья леса, поднимаясь по большей части на целую треть своей вершины над другими верхушками, и, прерывая правильность верхней линии леса, сообщает отдельным частям его своеобразный отпечаток. Сибирский кедр, который растет преимущественно на юге лесного пояса, но заходит и довольно далеко на север, живописно выделяется между елями и соснами своими круглыми, по большей части плотными кронами и немало содействует тому, что лес кажется снаружи гораздо красивее и привлекательнее, чем оказывается в действительности. Ели и сосны свойственны всем частям лесного пояса, но нигде не разростаются они с такой пышностью, как в горах Германии, а ближе к северу вырождаются в уродливые, низкорослые формы. И лиственница, настоящей родиной которой следует считать Сибирь, выростает только на юге лесного пояса, именно в горах, до той величественной высоты, какой она достигает в Средней Европе.

Названными видами почти исчерпываются все деревья, обыкновенно встречающиеся в лесах Западной Сибири. Дубы и буки, ильмы и вязы, липы и клены, европейские пихты, тисы и черные тополи, по-видимому, отсутствуют в них. Напротив, кустарные и полукустарные растения повсюду встречаются в изобилии. Даже на севере почва лесов одета с поразительным богатством и пышностью. Смородина и малина растут под 58°, один вид жимолости—под 67°; можжевельник, белая ольха, пушистая ива, голубика, брусника, черника и морошка—к северу скорее прибывают, чем уменьшаются. Даже на границе тундры, стремящейся распространить свою низкорослую березу, мох и клюкву и во внутренность лесной области, можно видеть еще довольно плотную наземную растительность, так как мхи разростаются тем роскошнее, чем скуднее становятся леса. Но и степь содействует, с своей стороны, обогащению лесов, так как, на юге лесной области она вносит туда большую часть принадлежащих ей кустарников и еще различные полукустарники и цветы. Таким образом, отдельные части леса превращаются здесь в естественные парки, которые весною и в раннюю пору лета выказывают поразительное множество цветов.

Образцом такого леса, со всеми его привлекательными сторонами, может служить тайга, расположенная вблизи Змеиногорска. В обширной местности, какую покрывает этот великолепный лес, горные гряды и округленные вершины, долины, седловины и котловины уже сами по

себе представляют приятное разнообразие. Один холм возвышается над другим, и крупный лес виднеется повсюду. Сосны и пихты, осины и ивы, рябины и черемухи образуют главный состав крупного леса, чрезвычайно пестро перемешиваясь между собой и красиво распределяя светлые и темные пятна, при чем мягкие линии лиственных вершин



Сибирский лес.

изящно прерываются поднимающимися над ними конусами пихт. Бобовник, калина, жимолость, шиповник и смородина соединяются в цветущий подлесок, зонтичные, вышиной в человеческий рост, таволга, папоротники, водосбор и папоротника, колокольчики и чемерица, распространяющиеся в невероятном изобилии, образуют пестрый наземный ковер; дикий хмель поднимается оттуда и всползает по высоким деревьям. Можно подумать, что здесь распоряжался садовник-художник, что всю эту пейзажную и лесную картину создала человеческая рука.

Южные леса выказывают свое наибольшее великолепие весною, северные—осенью. Уже в первые дни сентября здесь желтеют листья лиственных деревьев, а в середине месяца северно-сибирский лес пестрее любого из наших лесов. Здесь выступают все оттенки цветов—от темно-зеленого до огненно-красного, зеленые и светло-зеленые, светло и темно-желтые, бледно и сургучно-красные. За темными соснами и пихтами следуют сибирские кедры и лиственницы, к ним примыкают немногие еще не пожелтевшие березы. Белая ольха выказывает все промежуточные ступени от темно до светло-зеленого и зеленовато-желтого; на осинах—листья цвета киновари, на рябинах и черемухах—цвета сургуча. Пестрая смесь всех этих красок леса так закончена и так полна, что доставляет величайшее удовлетворение и сердцу, и взору.

Таковы картины, развертываемые перед глазами путешественника лесами Западной Сибири. Но все попытки изображения таких картин всегда касаются неширокой полосы этой области. В виду характера этих первобытных лесов, путешественнику, приезжающему с Запада, представляется невозможным проникнуть в глубину их, по крайней мере, в летнее время. На склонах гор движение затрудняют крутые подъемы и чащи, в холмистой местности и на равнине—поваленные деревья и сплошной кустарник, а в котловинах и долинах—стоячие и текущие воды или ручья и болота. Покрывающие обширные пространства обломки скал, нагроможденные друг на друга глыбы и камни во всех горах образуют большие осыпи; лишаи и мхи покрывают каменистые массы и предательски скрывают многочисленные расщелины и ямы между ними; появляющиеся с течением времени молодые поросли коренятся на них и между прежними насаждениями, старые и молодые деревья еще более увеличивают опасность попытки перебраться через такие места. Затруднения, представляемые всеми лесами, нисколько не менее в глубине страны. Буквально непроходимых чащ, какие бывают в первобытных лесах тропических стран, здесь, конечно, не встречается, но тем не менее немало препятствий различного рода. Поверженные деревья становятся тем неудобнее, что многие из них лежат над непротоsренной дорогой, представляя собою шлагбаумы в худшем смысле этого слова. Часто бывает возможно перелезть через них или проползти под ними, но столь же часто нельзя сделать ни того, ни другого, и приходится итти обходами, которые тем неприятнее, что, без постоянного прибегания к компасу, они слишком отклоняют от избранного направления и рискуешь легко заблудиться. Настоящие открытые места встречаются редко; пытаясь итти по ним, приходится убеждаться, что глубокие ямы и лужи, прикрытые илом и тиной, требуют величайшей осторожности. Если довериться какой-либо из многочисленных тропинок для скота, которые в южной части лесного пояса из каждой деревни ведут в лес и более или менее глубоко проникают туда, то рано или поздно приходится видеть себя обманутым: никогда нельзя определить или угадать, куда они выводят, так как они перекрещиваются с сотнями других, пробегают через кустарники, траву и болота, скрывающие в себе большие, неудобные древесные пни, одним словом, представляют пути, почти непроходимые для человека. Таким образом, хотя пришельца и не встречают непреодолимые препятствия, но он везде и постоянно находит столь многочисленные и неприятные затруднения, что даже и там, где комары не слишком преследуют его, он возвращается назад ранее предположенного времени. Только зимою, после того как сильный мороз покроет все воды,

болота и топи корой, по которой можно ходить, а глубокий снег выровняет большую часть неровностей и осядет, обратившись в твердый ледяной пласт, только тогда леса становятся доступные охотникам, снабженным лыжами, и их привычным собакам; только тогда туземец может решиться предпринимать более далекие экскурсии.

Леса Сибири немы и мертвы, «до того мертвы, что в них грозит голодная смерть», по справедливому выражению Миддендорфа. Царствующая в них тишина становится в настоящем смысле слова мучительной. Когда пройдет время тетеревиного тока, можно услышать только пение дрозда, зяблика, снигиря и крик кукушки, и то не все эти голоса в одно время. Простое чириканье птиц здесь уже кажется пением; болтовня сороки приобретает особенную прелесть, даже карканье вороны действует освежительно, а призывный крик дятла или синицы кажется чрезвычайно оживляющим. Тишине соответствует пустота лесов. Тот, кто способен был бы предаваться мечтам вести в них бодрую и веселую охотничью жизнь, должен был бы жестоко разочароваться. Без сомнения, все вместе взятые леса обширной области населены большим количеством животных, в особенности млекопитающих и птиц, но эти животные распределены так равномерно по неизмеримым пространствам, предпринимают, вероятно, такие отдаленные переселения, что мы не имеем никакой возможности правильно определить их численность. Пространства на целых милях протяжения кажутся, или действительно бывают, по крайней мере временно, столь безжизненными, что естествоиспытатель и охотник могут притти в отчаяние, видя, как их ожидания постоянно обманываются. Всякие показания самого опытного наблюдателя относительно местопребывания животных здесь неприменимы. Местности, соединяющие в себе все условия для удобной и здоровой жизни известного вида животных, не обнаруживают ни одной пары, даже ни одного странствующего самца. Надежда, при вступлении в лесные места, лежащие далеко от человеческих поселений и даже от всяких путей сообщения, найти виды животных, какие должны жить здесь, оказывается столь же обманчивой, как и предположение, что в глубине леса их можно встретить скорее, чем на окраинах. Покоренные человеком, более или менее измененные, отчасти обработанные пространства, напротив, заключают в себе большее количество и большее разнообразие живых существ, чем внутренняя часть лесной глуши. Повсюду, где человек основывал прочные поселения, вырубал лес, заводил пастбища и поля, постепенно появлялось большое разнообразие животных видов, чем в обширных местностях, не подчиненных его влиянию, сохраняющих свое первоначальное однообразие. Это объясняется уже тем, что только обработка почвы создает места, удобные для поселения многих животных. Отдельные виды животных в соседстве оседлого человека встречаются чаще, чем в недоступном лесу, хотя человек около себя их беспощадно преследует, а сам почти не может вредить им; для того, чтобы это было возможно, их убыль должна постоянно пополняться откуда-нибудь. Другими словами, по крайней мере в известные периоды должны происходить перемещения животных на более или менее значительных пространствах, и в них должно участвовать большинство видов Западной Сибири. Все собранные до сих пор наблюдения убеждают в том, что это так и бывает в действительности.

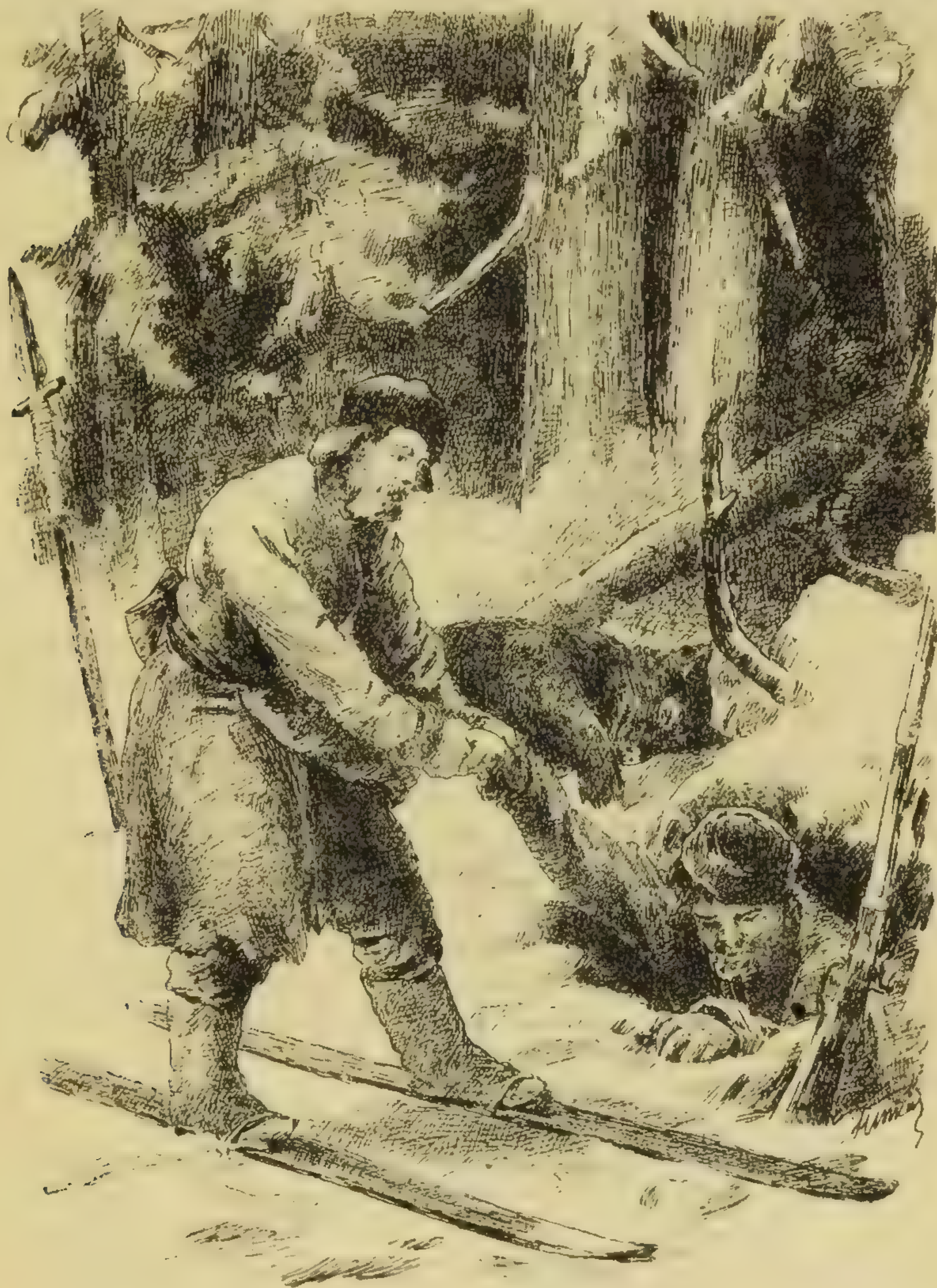
Оседлыми или местными животными, в употребительном смысле этого слова, повидимому, могут считаться только подверженные зимней

спячке обитатели подземных нор и некоторые горные животные; все же прочие совершают более или менее правильные переселения. В Западной Сибири; во время выводки детенышей, разъединяются все виды животных, которые в эпоху спаривания не живут обществами; позднее родители и дети соединяются с подобными себе в стада или стаи, и затем главным образом, ради более легкого прокармливания, а отчасти гонимые комарами, все вместе трогаются в путь. Обильные кормом местности привлекают к себе первые приходящие партии травоядных животных, удерживают и приходящих позднее, но под конец притягивают и врагов. Вследствие того, одни части леса пустеют, а другие населяются; так возникают задержки подвижного потока переселенцев и скопления их, заметные среди общей пустынности и необитаемости лесов. Сборными пунктами животной жизни по преимуществу становятся прежние пожарища, на оплодотворенной почве которых уже принялись и пышно разрослись ягодные кусты различных видов. Здесь собирают осенью обильную жатву не только сибирские травоядные, но лакомятся также, с наслаждением пожирая ягоды, волки и лисицы, куницы и россомахи, соболи и медведи, которые, по большей части, привлекаются сюда скоплением животных, питающихся растительной пищей. Соединенные таким образом животные остаются обыкновенно продолжительное время в некоторой связи между собою. Животные, питающиеся растениями, как это замечали наблюдательные охотники, с несомненным постоянством двигаются вслед за ягодами, а за ними уже следуют хищники.

Этими странствованиями объясняется то обстоятельство, что в некоторые годы известные леса бывают переполнены всякого рода охотничьими животными, а в другие остаются совершенно покинутыми ими. С удивлением видит европеец, проезжающий по Западной Сибири поздней зимой или ранней весной, по триста и по пятисот штук тетеревов, соединенных в одну стаю, поднимающихся с проезжей дороги, проложенной через лес, и с не меньшим удивлением узнает он потом, что эти или подобные, еще более благоприятные для охоты, леса лишь скудно населены тетеревами; с неудовольствием, потому что всегда безуспешно ищет он летом рябчиков в обыкновенно ими посещаемых местах и бывает приятно поражен, когда осенью находит на тех же местах искомую дичь почти повсюду.

Охотник, желающий обеспечить для себя добычу, должен быть хорошо знаком с этими своеобразными условиями, зависящими от однообразия обширных пространств Сибири; тем не менее, самый опытный и привычный охотник в этих неизмеримых лесах всегда и везде подчинен случайности. Какую бы дичь он ни искал, он никогда не может сказать наперед, где найдет ее. Вчера богиня охоты осыпала его полным изобилием, сегодня отказывает ему во всяком благоволении. Недостатка в дичи здесь нет, и все-таки охотник, живущий охотой, должен голодать. Охотничья жизнь, какая возможна под другими широтами, немыслима в Западной Сибири; сколько-нибудь значительных выгод лесная охота там не дает. Известные животные, напр., бобр, повидимому, там почти вовсе истреблены; другие, именно столь высоко ценимый соболь, по крайней мере, из населенных стран, исчезли и оттеснены во внутреннюю часть лесов. И в Сибири жалуются повсюду, что дичь из году в год становится реже; несомненно, что с каждым десятилетием прибыль от охоты все уменьшается. Виновником этого уменьшения является не один только человек; лесные пожары и случающиеся от

времени до времени эпидемии, вероятно, способствуют тому же не менее, если не более, чем он. И все-таки ни один сибиряк не думает о том, что бережливое отношение к дичи в течение известного времени есть первое условие ее сохранения. Тамошний охотник не знает правильной охоты, а знает только различные средства истребления возможно большого числа животных известного вида. Огнестрельное оружие играет



Сибирский охотник на лыжах.

при этом только второстепенную роль; главная принадлежит западням, капканам, сетям и яду, как у пришлых, так и у туземных охотников.

Сибиряк охотится за всяким животным, из которого он может извлечь какую-либо пользу, — за лосем, белкой, тигром, хорьком, глухарем, сорокой. То, что щадит суеверие одного народа, служит добычею для другого: животные, к мясу которых русские относятся с отвращением, в глазах монгольских народностей являются лакомым кушаньем. Остяки и самоеды воспитывают лисиц, куниц, медведей, сов, лебедей, гусей и др. животных, взятых из гнезд, обращаются с ними с истинной нежностью, пока они малы, заботливо ходят за ними, покуда их мех или

перья вполне отрастут, и затем убивают их, чтобы съесть их мясо и воспользоваться их шкурой. Число шкурок, которые из Сибири попадают на меховые европейские рынки, считается миллионами, число остающихся на месте несомненно меньше, но все-таки весьма значительно; количество дичи с волосяным и перистым покровом, развозимой в замерзшем состоянии на далекие пространства, исчисляется многими сотнями тысяч. На-ряду со шкурами млекопитающих в настоящее время вывозятся и птичьи шкурки, в особенности шкурки лебедей, гусей, чаек, гагар и сорок, употребляемые для муфт, воротников и шляп. Один торговец в незначительном городке Тюкалинске ежегодно продавал 30.000 шкур уток, 10.000—лебедей и около 100.000—сорок; в прежние годы он продавал их еще более. Очевидно, что вся торговля мехами должна вести к возрастающему из года в год уменьшению животных; только недоступность лесных и водяных пустынь составляет единственную защиту против полного истребления ценных животных; это подтвердит всякий, кто знает беспощадность сибирских охотников.

Хотя из сказанного следует, что понятие о дичи в глазах таких охотников почти безгранично, однако, под охотничьими животными надо понимать только те виды, какие и в Европе считаются охотничьими зверями и птицами или считались бы, если бы попадались там. Что касается до лесной области, из таких животных мы находим там марала, козулю, лося, северного оленя, волка, лисицу, рысь, медведя, беляка, белку и в особенности различные виды курицы, соболя, благородную и каменную куницу, горностая, хорька, россомаху и выдру, а также глухаря, тетерева и рябчика. К ним следует причислить на юге забегающего иногда в эту область тигра, живущего в горных лесах барса и кабана и живущего на севере, по крайней мере, на окраинах леса, белую куропатку. За этими животными охотятся все; а промысловые охотничьи артели преследуют их более или менее правильным образом; против большинства из них употребляются столько же остроумные, сколько и успешно действующие западни.

Особенно распространена западня следующего устройства: поперек свободного места в лесу, в особенности такого, откуда видно на далекое расстояние, ставится низкая и по возможности мало заметная изгородь, в середине которой оставляется открытый проход, а если она длинна, то два или три прохода. Каждый проход огораживается с боков двумя вбитыми жердями, над которыми вверху кладется перекладина; эти жерди дают направление двигающимся между ними чурбанам, т.-е. двум длинным и достаточно толстым деревянным обрубкам, положенным рядом и связанным между собой. Длинный рычаг прикрепляется к поперечной перекладине и держит на весу привешенные к его короткому плечу обрубки, между тем как исходящая от длинного плеча нить поддерживает связь с горизонтальной жердью. Последняя есть короткий, на одном конце разделенный в виде вилы, а на другом заостренный сук, соединенный вилообразным разветвлением с зазубренным столбом, а острым концом с другой, более длинной жердью, которая, в свою очередь, противоположным концом свободно лежит на другом столбе. Обе жерди поддерживают друг друга в описанном положении, но распадаются при малейшем движении сверху или снизу. Когда западня заряжена, жерди прикрываются сухими и легкими ветками, не столько с целью скрыть их, сколько для того, чтобы доставить более обширную поверхность соприкосновения. Если какое-нибудь животное, даже мелкая птица вступит туда, обе жердочки разъединяются,

и обрубок падает, убивая животное. Если западню ставят на хищных животных, между жердями кладут приманку; всякая другая дичь попадается благодаря тому, что ищет прохода через изгородь. Во многих местах леса все повороты дороги и свободные места загораживаются такими западнями, которых ставятся сотни и тысячи; часто богатая добыча достается охотнику за небольшой труд, какой требует постановка этих превосходных ловушек; тетерева, зайцы, белки и горностаи составляют самые обыкновенные, а куницы и соболя более редкие жертвы этих снарядов. Россомахи и волки также нередко погибают благодаря им, но, подобно собакам, скоро научаются избегать их, пока они заряжены, и, напротив, без всякого опасения уносят дичь, уже находящуюся под западней.

На-ряду с такой западней самоеды и остяки предпочтительно ставят другую, которая действует при помощи лука и стрел или заряженного самострела. Лук, выпускающий стрелу, всегда бывает очень крепок, стрела сделана превосходно, и потому это смертоносное орудие весьма опасно даже и для неосторожного человека. Остроумные приспособления поддерживают лук в напряжении и дают настоящее положение и ему, и стреле; сделанный из дерева шпиер спускает лук от прикосновения к протянутому к нему шнурку. Для направления стрелы таким образом, чтобы она попала в сердце животного, пользуются деревянной целью, в виде столба, просверленной сверху, при чем отверстие его находится на высоте сердца бегущего четвероногого: мерка, указывающая вертикальное расстояние сердца от ключицы, помогает охотнику определить расстояние, на котором должна находиться цель от спускного шнурка. Так как туземцы знают с точностью, какие животныя проходят в известных местах, то эта западня оказывается недействительной только в том случае, если на нее нападет другое животное, существенно отличающееся по величине от того, которому предназначена стрела. Обыкновенно такие западни ставят на лисиц, с не меньшим почти успехом на волков, даже на лосей и северных оленей, а западни с самострелами на более мелкую дичь, именно на горностаев и белок. Для обоих кладут приманку, которая требуется только тогда, когда животное просовывает голову в узкое отверстие, находящееся в нижней части самострела. При этом упадает колышек, и широкая, долотообразная стрела, с силой пускаемая самострелом, убивает животное.

На-ряду с этими первобытными охотничьими снарядами все чаще и чаще встречается в руках туземных народов Западной Сибири огнестрельное оружие, не вытесняя, однако, лука и стрел и описанных капканов. Вследствие дороговизны пороха и свинца, тамошние стрелки предпочитают малокалиберные, весьма плохие, фитильные, кремневые и ударные ружья, но в обращении с этим неудовлетворительным оружием выказывают замечательное искусство. Прикрепленная к дулу, вилообразная сошка, на которую кладется ружье, употребляется в Западной Сибири всеми охотниками и совершенно необходима при фитильных ружьях. Дробь употребляют только чиновники и зажиточные горожане, но не туземцы, которые охотятся ради выгоды и дорожат каждым зернышком пороха. Они наполняют небольшой рожок драгоценным составом, опоясывают себя три или четыре раза свинцовой проволокой, толщиною в диаметр отверстия ружья и, снарядившись таким образом, отправляются на охоту. Из свинцовой проволоки приготовляются пули, но их не льют, а отрезывают по кускам или, еще проще,

откусывают, так что получающийся таким образом прутообразный снаряд загоняется в ружье без пыжа, и этого считается достаточным. Нечего говорить о том, что все туземные охотники только в случае необходимости стреляют на далекие расстояния, а на расстояние, равное высоте деревьев средней величины, стреляют с такой меткостью, что, избирая целью глаз соболя или белки, редко дают промах.

За тетеревами охотятся больше, чем за всякой другой дичью; их ловят и убивают сотнями тысяч. Во время токованья глухарей и обыкновенных тетеревов почти везде оставляют в покое. Удовольствия охотника, подкрадывающегося к токующему глухарю, там почти не доставляют себе, вследствие недоступности лесов; ради токующего тетерева никто не оставит теплой постели в майское утро; самое большее, если постараются подманить рябчика подражанием его любовному призыву. И кто станет причинять себе столько беспокойств и неудобств в виду сомнительного успеха? Только осенью и весной охота дает такое вознаграждение, какого ищет сибиряк; когда молодые самцы меняют перья, когда отдельные группы соединяются в многочисленные стаи, когда последние бродят по лесу, отыскивая ягоды, тогда начинается настоящее время тетеревиной охоты. Тот, кто не боится различного рода трудностей, отправляется с собаками, по большей части жалкими шавками, в поиски за странствующею дичью и возвращается обыкновенно с богатой добычей; выучившийся ходить на лыжах охотится на глухарей и тетеревов и зимою. После первого обильного выпадения снега наступает остановка в странствованиях этих птиц, и каждая стая выбирает для себя места, обещающие достаточную пищу, по крайней мере, на несколько дней. В начале зимы необобранная еще брусника, а потом можжевеловые ягоды дают птицам необходимое количество корма; когда то и другое съедено, неприхотливая птица принимается сперва за лиственничную, а потом за сосновую и еловую хвою, а также и за незрелые шишки этих деревьев. До тех пор, пока возможно, странствования происходят по земле, при чем птицы в один день проходят иногда от десяти до двенадцати верст, приближаются случайно к населенным местам на несколько сот шагов и оставляют на свежем снегу такие ясные следы, что охотнику нетрудно настигнуть их. Если они принуждены перейти к прокормлению хвоей, то вскоре наводят охотника на настоящее место своими ночлегами. Отступая от привычек своих родичей, живущих в Европе, сибирский тетерев выкапывает в снегу более или менее длинные, по большей части достигающие до земли углубления и оставляет эти логовища утром или при угрожающей опасности, поднимаясь с помощью нескольких ударов крыльями и пробивая лежащий над ним снеговой покров; его ночное пристанище не только легко узнать, но можно с уверенностью заключить, в какую ночь он им пользовался, что для опытного охотника дает очень важное указание. Если снег продолжает идти, черноперая птица остается часто до самого полудня в своих ночных логовищах, и даже тогда, когда она уселась на деревья, подпускает стрелка довольно близко, потому что ее занимает лай собак, и наблюдая за дворняжкой, стоящей под деревом, она не замечает, как подкрадывается охотник. Первое условие удачи такого рода охоты заключается в том, чтобы снег не только выровнял главнейшие неровности почвы и уничтожил большую часть препятствий, но чтобы он и достаточно осел для передвижения на лыжах.

С несравненно большим удобством и более верным успехом ведется тетеревиная охота с чучелами. В этом случае отправляются

осенью, перед утренней зарей, в лес, прячутся в устроенный заранее шалаш, ставят чучело, сделанное из дерева и пакли, обтянутое в соответствующих местах черным, белым и красным сукном, замечательно сходное подобие тетерева,—на самое высокое из соседних деревьев, причем голова чучела обращена против ветра, и оставляют около этого места людей и собак. Все потревоженные молодые или еще не умудренные печальным опытом тетерева, увидав чучело, летят к предполагаемому, повидимому, совершенно спокойно сидящему товарищу и усаживаются на то же дерево; охотник, сидящий в шалаше, который, вместе с малокалиберным, производящим немного шуму ружьем, часто имеет при себе ружье, заряженное дробью, может сделать свободный выбор из целых дюжин обманутых птиц. В лесах, которые в течение лета не знают никакой тревоги, тетерев так мало смущается слабым треском выстрела, что товарищи убитой, падающей с дерева, птицы иногда не улетают, а с вытянутыми шеями вглядываются в упавшую и спокойно ждут, пока стрелок зарядит вновь и положит вторую и третью жертву. Обилие этой дичи позволяет верить тому, что некоторые охотники в течение утра убивают по двадцати и более тетеревов из одного шалаша на одном и том же месте.

Не менее успешна, чем подманивание тетеревов с помощью чучела, и в высшей степени привлекательна для каждого охотника—охота на рябчиков в том виде, как она производится в Сибири. Здесь не нужно никаких предварительных мер, даже нет безусловной необходимости в обученных собаках, хотя они и могут быть полезны. Рябчик встречается очень часто в нынешних лесах Западной Сибири, быть может, еще чаще, чем оба вида тетеревов, но живет так тихо, что его можно не заметить, даже когда он стаями населяет лес. В такие многочисленные общества, как его родственники, он никогда не соединяется, не проходит таких значительных пространств, как они, но распространяется гораздо равномернее по обширным местам лесной чащи, и поэтому достается в добычу охотнику, знающему его образ жизни, чаще, чем всякий другой вид тетеревов. Весною и летом он, повидимому, совершенно исчезает от глаз неопытного охотника; осенью же его можно заметить повсюду, даже на таких местах, где несколько месяцев тому назад все поиски за ним были напрасны. Он любит ягоды не менее своих родственников и ради них выходит на более обширные и открытые места, которых, повидимому, избегает весною и летом. Но и здесь он умеет укрыться от чужого глаза. Он лежит гораздо крепче, чем простой или глухой тетерев, старается как можно дольше оставаться прижавшись к тому же месту, когда видит человека, не прячась от него суетливо, и поднимается только тогда, когда враг уже близко подошел к нему. Он взлетает так бесшумно, так незаметно, что его и тогда еще легко можно не увидеть или не услышать; каждая тетерька, каждый кулик производят при этом более шума, чем эта милая птица, которая, только поднимаясь, издает легкий свист крыльями. Вспугнутая, она летит обыкновенно, хотя и не всегда, к одному из ближайших хвойных деревьев и усаживается здесь на первой удобной ветке, но сидит так тихо и спокойно, что и там так же мало обращает на себя внимания, как и перед тем на земле. Часто долго и напряженно ищешь его и не находишь, заключая, наконец, что он незаметно улетел отсюда, и вдруг, когда он вспорхнет или сделает движение, неожиданно и со стыдом узнаешь, что он все время сидел незаметно на той же ветке, на которой его столько раз искал. Свойственная всем птицам этого рода способность скры-

ваться от глаз доведена у него до редкого совершенства. Для своего местопребывания избирает он предпочтительно болотистые или моховые, богатые черникой и брусникой, лесные места, окруженные старыми засохшими и молодыми деревьями. Здесь он умеет так искусно пользоваться каждым прикрытием, что его обыкновенно замечают только тогда, когда он для большей безопасности перелетает к одному из лежащих на земле древесных великанов. Если он не шевелится, то кажется древесным суком; он до полного обмана походит на последний, и сам хорошо знает, что может положиться на одинаковость цвета своих перьев и окружающей его обстановки. Тем не менее, там, где его можно видеть на открытом месте, он постоянно и озабоченно оглядывается вокруг себя и оставляет, предчувствуя опасность, свое высокое сиденье так же тихо, как взлетел на него. Охота на рябчика доставляет охотнику истинное удовольствие. Приходится везде ожидать встречи с ним, и нельзя никогда знать, где он покажется; приходится отказываться от всех вспомогательных средств, но зато не испытываешь неудобства от неопытных товарищей охоты, и в продолжительном напряжении и радостном возбуждении находишь еще более награды, чем в дорогом мясе этой вкуснейшей из птиц ее семейства.

Сравнительно с тем значением, какое по праву принадлежит тетеревам и в охотничьем, и в экономическом отношении, охота за более благородною пушною дичью Западной Сибири должна показаться незначительной. Четыре вида оленей, которые водятся в этой области, по различным, но одинаково неосновательным причинам, ценятся гораздо менее, чем того заслуживают, и охота на них производится, если и не вполне жестоким, то мало симпатичным для нас, почти отталкивающим образом. Последнее в особенности можно сказать относительно марала. Это гордое и красивое животное—весьма похожее на благородного оленя, но отличающееся от него большей величиной корпуса и иным развитием рогов—живет во всех лесах и составляет там вовсе не такое редкое явление, как это может казаться, вследствие никогда не ослабевающей охотничьей жадности туземцев и поселенцев. Упомянутая корысть по особой причине угрожает маралу, всего более именно в такое время, когда его по преимуществу следовало бы щадить. Для всех северо-азиатских охотников, убивающих этого оленя, дело заключается не в мясе, не в шкуре, не в ветвистых рогах, а исключительно в рогах только пробивающихся, еще не вполне окрепших. Из таких рогов китайские врачи или знахари приготовляют весьма ценимое богатыми одряхлевшими сынами Небесной империи, оплачиваемое дорого лекарство, повидимому, особого рода возбуждающее средство, которое, по их мнению, не может быть заменено никаким другим. Всего выше ценятся еще не отвердевшие, наполненные кровью, шестиконечные рога; за них платят от ста до полутораста рублей, между тем как вполне разветвившиеся, окрепшие рога, в двенадцать и четырнадцать концов, можно купить за 3-6 рублей. Не только монголы Северной и Средней Азии, но и сибиряки русского происхождения наперерыв стараются добыть драгоценные рога и посылают их, если им удается убить оленя в надлежащее время, с возможной поспешностью, преимущественно по почте, в Кяхту, откуда через специальных торговцев ежегодно тысячи их вывозятся в Китай, все-таки не удовлетворяя спроса. Сибирские крестьяне держат маралов в неволе с единственной целью в соответственное время отпилить и продать их рога, наполненные кровью. Так как известно, что олень, когда меняет рога, избегает сильного-

ных чащей и тогда вообще наименее осторожен, легко объяснить, насколько эти животныя страдают от такой охоты и насколько размножение их должно ограничиваться ею. Мясо и шкура при этой бойне почти не принимаются в расчет, за редкими исключениями; если представляется трудным захватить с собой тушу убитого животного, ее без дальнейшей заботы оставляют в добычу волкам и лисицам.

Так же, как марал от благородного оленя, сибирская козуля отличается от среднеевропейской величиной и высокими, слаборазвитыми у корня рогами. Она живет в Сибири предпочтительно в лесах, начинающих оправляться после пожара, в насаждениях, где часто попадается пихта, на лесных окраинах и в небольших рощах. Она поднимается в горах до значительных уровней, нередко до верхней границы леса, и появляется также и в открытой степи, в первом случае присоединяясь к горному барану, а во втором—к антилопе. Сообразно характеру страны, она предпринимает более или менее правильные переселения, иногда и без понуждения к тому лесными пожарами, проходит при этом обширные пространства и смело переправляется через широкие реки. При некоторых условиях она появляется в таких странах, где ее не видали уже несколько лет, поселяется там и предпринимает оттуда длинные переходы; обыкновенно при своих перемещениях она держится определенных дорог, довольствуясь иногда узенькими тропинками. Скалистые, крутые берега больших рек заставляют ее идти немногочисленными поперечными долинами и отдельными ущельями, что служит для нее причиною гибели, так как подобные проходы по большей части перегораживаются переносной изгородью, за которою устраиваются западни. Волк и рысь преследуют козулю во все времена года; не менее она терпит от русских и туземцев Сибири. Ее преследуют, как всякую другую дичь, без пощады, пользуются каждым обстоятельством и прибегают ко всевозможным хитростям, чтобы завладеть ею. В первое время таяния снега, когда холодные ночи превращают верхний пласт его в тонкую ледяную кору, отправляются на охоту за нею в сопровождении собак, на лошади или на лыжах, гонятся за ней с шумом и криком и затравливают ее тем скорее, чем крепче ледяная кора, чем скорее она изранит на бегу свои ноги, узкие копыта которых проламывают лед. Весной приманивают самку подражанием голосу самца, а во время спаривания привлекают козла верной передачей отклика самки; осенью устраивают травли или преследуют козуль, переплывающих через реки, с помощью лодок и колют на смерть в воде; в начале зимы за ними гоняются на санях, и оттуда убивают их пулями.

Лось ведет борьбу за существование при более благоприятных условиях. Местопребывание и образ жизни, сила и выносливость спасают его от многих, если не от большинства преследований. Лесное животное, в полном смысле слова, одинаково чувствующее себя дома и в болоте, и в чаще, и в крупном лесу, с одинаковой легкостью преодолевающее трудности, представляемые и лесом, и болотом, обеспеченное от зимней нужды способом своего прокормления, лось избегает легче всякой другой дичи преследований человека и других угрожающих ему врагов. Последними считают волка и рысь, медведя и россомаху, но остается сомнительным, насколько эти хищники действительно вредят ему. Столько же сильный, сколько и многочисленный, лось обладает в своих копытах еще более опасным орудием, чем в рогах, и умеет пользоваться теми и другими. Медведя, который случайно нападает на него, он может убить до смерти; одинокого волка он несомненно может положить сразу;

даже из борьбы с целой стаей этих вечно голодных хищников он может выйти победителем; что касается рыси и россомахи, то нельзя считать доказанным, будто они действительно вскакивают ему на шею и прокусывают шейные артерии, как это утверждали прежде. Его вооружение уступает только оружию человека. Однако, охота за лосем в лесах Сибири—всегда рискованное предприятие, и поэтому находится преимущественно в руках у туземцев. В течение лета к этим любящим воду животным трудно подобраться; тогда они проводят большую часть времени в болоте: днем отдыхают между высокими болотными растениями, в месте, доступном только им, а ночью пасутся. Сочные водяные растения и их корни нравятся им больше острой осоки; поэтому для пастьбы они выбирают более глубокие впадины болота, погружая при этом свою неуклюжую голову до корней своих ослиных ушей в илистую тину, невольно наполняют ею ноздри и выбрасывают втянутую жидкость, поднимая голову, с громким, далеко слышным фырканьем. Изобретательные охотники на этом способе питания лосей построили особый прием охоты. Животных, вообще весьма осторожных, выслеживают в течение нескольких ночей подряд; днем, с соблюдением возможной тишины, притаскивают плоскодонную лодку и ночью подвигаются на веслах, без всякого шума, по направлению раздающегося фырканья, к пасущимся животным, бдительности которых мешает постоянное погружение головы в воду, и, приблизившись к ним, выпускают пулю. Светлые летние ночи севера так же облегчают отступление, как затрудняют приближение; вследствие того охота действует завлекательным образом, и охотники относятся к ней со страстью и по большей части достигают удовлетворительного успеха. С началом морозов лось оставляет болото, потому что ледяная кора на болотах затрудняет его движения, и переселяется в более сухие части леса, пока обильно выпадающий снег не понудит его к бродячей жизни для отыскивания наиболее удобного местопребывания. В это время преимущество отдается охоте с помощью хорошо обученных собак. Лось при своих передвижениях не боится населенных мест, легко выдает себя своими характерными следами и, благодаря им, открывает охотнику доступ к себе. Тогда против него высылают собак. Их обязанность заключается в том, чтобы привлекать к себе внимание животных, но не преследовать их. Поэтому они не должны нападать на них сзади и вообще подходить к ним слишком близко, а должны прыгать с постоянным лаем и как можно больше занимать их собою. Лось, видя при этом опасность спереди, после короткого колебания, останавливается, сердито смотрит на собак, повидимому, решается напасть на них, но лишь в редких случаях приводит в исполнение это намерение и дает охотнику время приблизиться и выпустить меткий выстрел на недалеком расстоянии. Если небольшое стадо лосей подвергнется неожиданному нападению собак и будет загнано ими куда-нибудь в тесное место, то оно может настолько смутиться, что проворному и хорошо снаряженному стрелку удается иногда положить их несколько под-ряд. Когда старых, опытных лосей преследуют зимою долгое время по глубокому снегу, они бросаются по первой наезженной дороге, которая попадается им, и бегут по ней—все равно, ведет ли она в глубину леса или к населенному месту,—и нередко, увидав себя в непосредственной близости жилых домов, уже тогда только повертывают в сторону к лесу. Твердая кора на снегу для лосей опасна не менее, чем для козуль; особенно сообразительные и ловкие

охотники в это время выходят на лося с рогатиной и, преследуя его на лыжах, вскоре доводят до такого утомления, что могут пускать в дело это устарелое оружие. Переселенцы и туземцы охотно едят лосиное мясо, хотя цена его весьма низка; шкура его, напротив, всегда находит для себя покупателей по цене от 6—8 рублей, что достаточно вознаграждает охотника за все его труды.

Дикий северный олень в настоящем смысле принадлежит тундре, но обитает и в лесном поясе на всем его протяжении. Вдоль восточного склона Урала он держится одинаково и в густом лесу, и на горных высотах; местные охотники говорят с известным отличием о лесных и горных оленях и повидимому склонны приписывать тем и другим особые свойства, хотя и не могут точно описать их. Населенных мест северный



Северный олень.

олень боится менее всех других оленей, что, вероятно, объясняется тем, что среди рожденных на свободе ежегодно убивается и известное число с разрезами на ушах или с выжженными клеймами, т.-е. одичалых. Вероятно, они во время спаривания покидают стада самоедов и остяков и бредут по направлению к югу до тех пор, пока не натолкнутся на диких особей своей породы, и остаются вместе с ними на определенном месте. Едва только они избавятся от служебных обязанностей, они в самое короткое время принимают все привычки диких родичей. В качестве охотничьих животных они играют, в глазах охотников, по крайней мере такую же видную роль, как и дикий олень.

К съедобной дичи все разумные люди причисляют и зайца; только семиты и русские составляют исключение. Вследствие того за беляком Западной Сибири охотятся лишь культурные, свободные от предрассудков сибиряки русского происхождения и стоящие выше всяких предписаний относительно пищи туземцы северной части этой обла-

сти. Шкура зайца имеет мало цены в глазах охотника и, быть может, поэтому языческими народностями страны приносится в жертву богам. Несмотря на равнодушие, с которым охотники относятся к столь ценимому нами грызуну, не удостоивая его своим вниманием, зайцы нигде не бывают там особенно многочисленны. Многие теряют жизнь в западнях, большинство истребляется волками, лисицами и рысями; суровая зима, вынуждающая их иногда к далеким переселениям, также значительно вредит им. Здесь эта дичь почти не имеет цены.

Между несъедобными пушными животными лесного пояса первое место следовало бы отвести волку, так как его везде жестоко ненавидят и преследуют. Хотя все держатся того мнения, что вред, непосредственно причиняемый им человеку, не велик и легко переносится последним, тем не менее там не упускают ни одного случая захватить волка. Дознано, что волк в Западной Сибири только в виде исключения появляется многочисленными стаями и еще реже нападает на человека; несомненно, он причиняет много вреда домашним животным, но этот вред может казаться значительным только тогда, когда принимаются во внимание большие потери, какие терпят от волков стада кочевников в степи и в тундре. Насколько часты эти потери в лесном поясе—невозможно исчислить. Волки появляются всюду и нигде: сегодня они нападают на стада такой деревни, в которой о них не было слышно уже несколько лет, а завтра их видят в стадах другой; они исчезают вдруг из известных местностей и затем так же неожиданно возвращаются в них; в одном месте не боятся никакого преследования, а в другом не требуют никаких мер против себя. Большие проезжие дороги и места, богатые пастбищами, привлекают их к себе, потому что они находят там то палую лошадь, то бродящих без присмотра, иногда глубоко забирающихся в лес домашних животных, служащих для них легкой добычей; но они могут попадаться и в таких частях леса, которые лежат в стороне от всех путей сообщения. Иногда их видят поодиночке или небольшими стаями среди белого дня, в непосредственной близости населенных мест: нередко они пробегают ночью по деревням, даже по городам. Они разрывают в одну ночь целые десятки овец, нападают и на лошадей, и на рогатый скот, реже на собак, которые в других местах составляют их предпочтительную добычу, и щадят только смелых свиней, потому что эти последние и здесь, как и в других местах, тотчас же вступают с ними в битву и всегда выходят из нее победителями.

Сибиряки так же, как и русские, придерживаются поверья, что волчица в то время, когда кормит детей, не похищает ничего вблизи своего логовища, но жестоко мстит охотнику, отнимающему у нее детенышей, преследует его до самой деревни и с необузданной яростью нападает на принадлежащих ему домашних животных. Каждый сибиряк из страха подобной мести не трогает волчьего гнезда, когда находит его в лесу, и только редкий из них отваживается перерезать волчонку Ахиллесово сухожилие, чтобы лишить его возможности бегать и понудить его осенью не отходить далеко от родного места. По мере того, как волк вырастает, любовь матери к нему, как полагают там, исчезает и мстительность ее уменьшается; кроме того, шкура осенних волков вознаграждает предусмотрительность хитрых крестьян.

Смотря по местности и по обстоятельствам, употребляют самые различные средства для поимки и истребления волков. Волчьи ямы,

капканы и стрихнин, а также и описанные выше западни употребляются с большим успехом; травля, напротив, редко удается. Гораздо употребительнее способ охоты на волков в санях, при чем стараются догнать или убить волка из саней, приманив довольно остроумным способом. Это производится следующим образом. В просторные сани запрягают старую, спокойную или уже уходившуюся лошадь, и в них садятся два стрелка с кучером и с достаточно взрослым поросенком. Кучер, единственная обязанность которого заключается в наблюдении за лошадью, садится на козлы; стрелки усаживаются задом к нему и кладут между своих ног поросенка, заключенного в мешке. По хорошо утоптанной дороге, эта компания отправляется под вечер к такой части леса, в которой в течение дня были замечены свежие волчьи следы. Один из стрелков выкидывает на дорогу прикрепленный на веревке рыхло набитый сеном мешок и заставляет его тащиться за санями, между тем как другой, тем временем, всевозможными способами заставляет поросенка визжать. Волк слышит жалобные звуки и приближается тихо и осторожно, т.-е. держась, по возможности, в стороне от дороги, замечает тянущийся за санями мешок, полагает, что в нем находится визжащий поросенок, и решается, после долгого или короткого размышления, освободить мучимое животное от его страданий. Сильным прыжком выскакивает он на дорогу и жадно бежит позади саней. Что ему за дело до угрожающих взглядов сидящих в них людей? Он часто видал их еще ближе, таскал свою добычу перед глазами таких же, как они. Ближе и ближе подходит он к саням, едущим с возрастающей скоростью; у поросенка вырываются все более громкие и жалобные звуки; ошеломляющим образом действуют они на хищника,—еще один шаг, две огненные молнии вылетают с треском, и волк, хрипя и вздрагивая, падает на землю.

Столь же коварно устроена употребительная на Урале круговая западня. В недалеком расстоянии от деревни обносят круглое место, около сажени в поперечнике, крепкими, плотно стоящими рядом и глубоко вбитыми в землю кольями, и образовавшийся таким образом круг обводят другим, подобным ему, отстоящим от внутреннего круга на расстоянии около трех четвертей аршина. Два особенно толстые кола служат подпорками для двери, сделанной из толстой доски, двигающейся на петлях и снабженной с другой стороны запором; петли пригнаны так, что дверь может отворяться только внутрь, а при давлении наружу запирается посредством затвора. Оба круговых забора покрыты сверху не частой, но крепкой крышей. Опускная дверь в крыше доставляет доступ во внутреннее пространство. Как только сделается известным, что волки посещают деревню по ночам, западню снаряжают, запирая во внутреннее пространство ее живую козу и открывая дверь, ведущую в окружной ход. Жалобное блеяние лишенной своей обычной обстановки и напуганной пленницы привлекает «серого». Он не доверяет этому случайному хлеву, но при виде безумных движений козы, в высшей степени испуганной его появлением, вскоре забывает всю свою врожденную и приобретенную опытом осторожность и пытается овладеть заманчивой добычей. Множество раз, с постоянно возрастающей алчностью и торопливостью, обегает он вокруг наружного забора, принюхиваясь и высматривая, то приближаясь, то отступая назад, приглядываясь к единственному отверстию, дающему ему возможность ближе подойти к козе. Наконец, страсть берет верх над

природным лукавством. Все еще медля, но уже непрерывно подаваясь вперед, просовывает он голову и туловище через узкий вход. С отчаянными криками жмется коза к противоположной стороне внутренней изгороди. Уже не размышляя и не останавливаясь более, устремляется за нею хищник. Коза бегает по кругу; волк делает то же самое с тою только разницею, что он должен двигаться между двумя рядами кольев. Находящаяся перед ним дверь мешает ему. Но жертва так близка, ее достичь так легко: волк стремительно бросается вперед; затвор сдвинутой им двери падает в назначенную для него зарубку,—и недоверчивый, осторожный простак пойман и в то же время лишен возможности подойти ближе к манящей его добыче. Не будучи в состоянии повернуться, раздраженный до глубины души, бегает он, гоняется все по тому же кругу, спеша безостановочно пробежать бесконечное пространство. Умная коза оценивает вскоре положение вещей и останавливается наконец, хотя все еще вскрикивая и дрожа, в середине внутреннего круга; волк также убеждается в бесплодности своего кружения, пробует возвратить себе свободу, вырывает зубами полуаршинные щепки из жердей, рвет от ярости и тревоги, и все напрасно! После мучительной ночи медленно настает наконец его последнее утро. В деревне начинается движение: к собачьему лаю примешиваются человеческие голоса. Сумрачные, сопровождаемые тявкающими собаками, люди приближаются к месту трагедии. Неподвижный, похожий на труп, лежит волк на земле; блеск его глаз едва выдает, что он еще жив. С яростным лаем теснятся собаки к наружной изгороди, он не двигается; с насмешливыми приветствиями обращаются люди к пленнику—он не шевелится. Но ни собаки, ни люди не даются в обман. Первые пытаются, протискиваясь между жердями, ухватить мнимоумершего, последние стараются набросить ему на голову лошадиные путы или аркан. Хищное животное вскакивает, еще раз пробует спастись от мучительной смерти, испугать своим воем, защититься зубами—но все напрасно: ему не уйти от ужасных пут, и через несколько минут после того он уже задушен.

Лисицу волк повсюду преследует, умерщвляет, пожирает, жестоко теснит ее, и потому в Сибири она встречается не часто; но истребить ее до сих пор не могли ни враждебно настроенный против нее сородич, ни человек. В восточной части лесного пояса лисица предпринимает иногда обширные странствования, следуя за зайцем или за тетеревом; на западе, кажется, не сделано еще таких наблюдений. На вред, причиняемый ею, в Сибири не жалуются, но тем не менее усердно преследуют ее. Ее шкура одинаково ценится и русскими, и туземцами; она возрастает в цене, если отличается какой-нибудь особенно дорогой окраской, и оплачивается иногда необыкновенно высоко (особенно чернобурая лисица). Поэтому, как охотничье животное, выше лисицы ставится только соболь. Зимою охотники по ремеслу предпринимают охоты исключительно за нею, что заводит их в леса так же далеко, как и соболиных охотников. Остяки и самоеды ставят свои западни с самострелами преимущественно на лисицу и не жалеют никаких трудов, чтобы разыскать нору, где лежат детеныши; они вынимают их оттуда, но не убивают, а заботливо воспитывают и нежно ухаживают за ними, пока они не вырастут и не окрепнут; но на первую или на вторую зиму шкура любимого животного оказывается для этих оригинальных воспитателей дороже, чем его жизнь, которую они беспощадно прекращают

посредством аркана. Условно к животным лесного пояса может быть причислен и песец; но он нигде не проникает в самый лес, и только зимою направляется по течению больших рек, с целью поохотиться при случае, в южной части своей родной тундры, на зайцев и куропаток.

Зато рысь можно назвать лесным животным в строгом смысле этого слова. В Сибири она встречается повсюду лишь поодиночке; за нею редко охотятся. Вероятно, она оставляет самые плотные чащи внутренних лесов, свои настоящие места обитания, только тогда, когда недостаток в пище или чувство любви понуждают ее к странствованиям и выводят на окраины леса. Опытные охотники восточного Урала утверждают, что она не только живет в одних местах с медведем, но и держится всегда поблизости зимовки медведя, после того, как тот улегся на зиму. Те же охотники утверждают, что склонность рыси к соседству с зимней берлогой медведя выдает последнего; чтобы иметь успех, нужно искать медведя там, где перекрещивается много рысьих следов, в особенности круговые, всегда окружающие зимовку медведя. Привычка рыси с какой-то боязливой тщательностью ходить по своим прежним следам значительно облегчает розыски медвежьих берлог. Объясняют это тем, что рысь в Сибири охотно питается свежей падалью; она ищет соседства медведя для того, чтобы иметь случай попользоваться добытой им дичью. Правда, о рыси говорят также, что она вполне способна, и без помощи такого сомнительного друга, захватывать крупную дичь, что она усердно преследует северного оленя и козулю и быстро одолевает их, но прибавляют обыкновенно, что ее охота ограничивается по большей части мелкой дичью, а именно зайцами и белками, глухими и обыкновенными тетеревами, рябчиками, различными молодыми птицами и т. п. В последних показаниях нет основания сомневаться; ими удовлетворительно объясняется и редкое появление этого хищного животного во всех доступных человеку пограничных лесах или лесных окраинах. Покуда белка и черноперая дичь остаются внутри лесов, у рыси нет никакого повода покидать непосещаемые человеком глухие места: когда эти животные перемещаются, и рысь вынуждена следовать за ними. Насколько дичь с черным пером боится рыси, видно из того, что каждый токующий тетерев моментально умолкает, как только заслышит ее.

Охота за рысью считается и между переселенцами, и между коренными сибиряками благородной охотой. Редкость и осторожность, ловкость и сила этой гордой представительницы кошачьей породы одушевляют каждого охотника; при чем и шкура и мясо убитого хищника приносят не малую выгоду. Первая отправляется из Западной Сибири преимущественно в Китай и там хорошо оплачивается; последнее не только монгольскими народностями, но и многими русскими поселенцами высоко ценится, как вкусное жаркое. В западни рысь попадается лишь в виде исключения, избавляясь от них тем, что она пробегает вдоль шлагбаумов; западни с самострелами также редко приносят ей вред, а капканы, поставленные на ее пути, она по большей части перепрыгивает; поэтому охотнику остается только ружье. Легко понять, что за нею охотятся исключительно зимою, когда снег выдает следы и допускает преследование на лыжах. Смелые собаки загоняют выслеженную наконец рысь на дерево или нападают на нее на земле, хотя часто жестоко терпят и даже погибают от нее. Загнанная, яростно защищающаяся рысь кидается даже на охотника.

Между тем как дикая кошка, которую рысь преследует так же беспощадно, как волк лисицу, не встречается в лесном поясе Западной Сибири, там, хотя и не постоянно, но от времени до времени появляется на-ряду с рысью высшая из всех кошек—тигр. Два тигра, убитые в 1838 и 1848 гг. около Бийска и Змеиногорска, сохраняются в виде чучел в барнаульском музее; третий, который был убит в начале семидесятых годов, находится в школьном музее в Омске; четвертый в конце шестидесятых годов привел в ужас обитателей расположенного в Урале на европейской границе Челябинского уезда, напал, без всякого повода, на нескольких крестьян и скрылся только, когда один из этих людей бросил в него свою красную шапку. В степных горах Туркестана и на юге Приморской области «царственный зверь», как называют тигра дауры, постоянно появляется в известных местах; с той и с другой стороны он может чаще, чем предполагают, забегать в западный лесной пояс, оставаться здесь долгое время незамеченным и точно так же возвращаться назад. Впрочем, его появление весьма редко и неправильно, так что его можно только назвать, говоря о диких животных этой области, но нельзя причислить к ним.

В другом виде представляется дело относительно самых дорогих из всех пушных зверей, а именно различных куниц. На уменьшение числа их жалуются более, чем на уменьшение всякой другой дичи, но на них все-таки ведется правильная охота, если не везде, то в известных местах описываемой области. Только соболь в последнее десятилетие стал чрезвычайно редкой добычей. Старые охотники среднего Урала припоминают, что они в окрестностях Тагильска каждую зиму ловили соболей; теперь в этой местности только весьма редко попадается какой-нибудь заблудившийся зверек. Большой пожар лесов восточного Урала вероятно был причиной того, что оттуда удалялись эти всеми отыскиваемые и преследуемые пушные звери. То же самое рассказывается и в лесных деревнях на нижней Оби, где охота за соболями продолжается и теперь. Гораздо чаще, чем соболь, встречается во всех лесах Западной Сибири благородная куница. В довольно обширном охотничьем районе вышеупомянутого города Тагильска каждую зиму добывают от тридцати до восьмидесяти шкурок этого зверька. Опытные охотники утверждают, что куница теснее, чем соболь, связана с белкой, что она вместе с нею появляется и исчезает. Этот маленький хищник не довольствуется однако своей любимой дичью, а умерщвляет каждое животное, какое может настичь и какое ему по силам, и в особенности опасен тетеревам обоих видов. Даже летом смелым прыжком ему удается овладеть осторожными птицами, зимою же привычка тетеревов спать, зарывшись в снег, значительно упрощает его уловки. Почти неслышно перепрыгивая с ветки на ветку, приближается хищник к зарывшимся птицам на расстояние прыжка и нападает на них сверху, бросаясь с силой на снеговой покров ночного убежища, пробивает его и хватает одну из спящих там птиц за шею, прежде чем она может подняться. Каменная куница замечается только в крупных лесах, но встречается реже, чем ее сородичи: горностай и хорек распространены повсюду и местами попадаются очень часто; норка, напротив, держится более на западной, а не на восточной стороне Урала и отсутствует на вытекающих отсюда притоках Иртыша и Оби, которые так же, как и обе названные реки, дают убежище значительному числу выдр; о барсуке почти не слышно в Западной Сибири, а повсюду распространенная рос-

сомаха пользуется почетом меньше всех других куниц и преследуется более ради ее наклонности к похищению животных, убиваемых западнями, чем ради ее шкуры.

Хотя Западная Сибирь считается областью, обедневшей дичью, но и здесь ежегодно снаряжаются охотники на добычу соболя и других зверей той же породы. Некоторые охотники предпринимают из-за пушных зверей целые экспедиции, не уступающие странствованиям американских охотников. Без сомнения, охотники имеют в виду не одних куниц, а и всякую другую дичь, но куницы и белки составляют для них главную цель. Насколько белки линяют раньше или позже, настолько же ускоряется или замедляется отправление из деревни на промысел: перемена цвета названных грызунов считается предвестником приближающейся зимы, и по более или менее раннему появлению первой заключают о соответственном наступлении большей или меньшей суровости последней.

Соболиные охотники, вооруженные и снаряженные описанным ниже способом, выступают по первому снегу, партиями от трех до пяти человек. Каждый из них несет с собою, кроме ружья и принадлежностей к нему, мешок на спине, лыжи и топор на плече и кнут за поясом. В мешке заключается необходимая провизия—хлеб, мука, мясо, сало, соль и кирпичный чай, а также и некоторая утварь, именно сковородка, чайник, кружка, ложка и т. п., а иногда и бутылка водки; кнут служит для того, чтобы вспугивать белок и заставлять их показываться. Собаки, числом от четырех до шести, сопровождают охотничье товарищество.

Направляясь по солнцу, часто скрывающемуся в течение нескольких дней, и созвездиям, привычные охотники идут целые дни и недели по негостеприимным, пустынным местам, ночуют на открытом воздухе, питаются сами и кормят собак преимущественно мясом убитых ими животных, стараясь приберегать свои запасы. Некрасивые на вид, но умные и осторожные собаки не только выслеживают все пути, по которым проходит дичь, но и высматривают безошибочно укрывшихся на деревьях куниц и белок, лают на них и удерживают их на месте до тех пор, пока не подоспеет охотник. Последний приближается с невозмутимым спокойствием всех лесных охотников, осмотрительно кладет ружье на прикрепленную к ружейному стволу вилообразную сошку, долго целит и наконец стреляет. В начале охотничьего времени белки и даже благородные куницы, занятые исключительно собаками, подпускают к себе охотника на несколько аршин расстояния; но вскоре они становятся осторожнее и затрудняют для стрелка спокойный и верный прицел. Если тем не менее последнему удастся попасть пулею в глаз животного, он доволен не только тем, что получает не пробитую шкурку, но и тем, что может употребить еще раз в дело свинцовую картечь. Тотчас же после того, как убитая дичь попадет ему в руки, он снимает шкуру, вскрывает череп, чтобы достать пулю и все это убирает в свой мешок.

Когда белок попадается много, охота за ними доставляет столько же выгоды, сколько и удовольствия. Каждый охотник пользуется коротким днем по мере своих сил; один выстрел раздается за другим, и добыча все прибывает. Ему нужно каждый раз столько времени, сколько потребно для того, чтобы зарядить ружье; снимание шкуры также идет быстро, и каждый охотник старается не отстать от других. Охотничья артель не отдыхает, не ест, даже не курит, и идет все дальше и дальше.

Мохнатые собаки то раз'единяют, то опять соединяют товарищей; громкий треск их ружей и веселый лай собак служат для них оживляющим развлечением. Один считает выстрелы, а другой радуется или завидует счастью товарища. Если же, напротив, зима скудна добычей, и даже постоянное хлопанье кнутом не заставляет белок показываться, когда не замечается следов ни соболей, ни куниц, ни лосей, ни северных оленей, тогда охотники и собаки идут по лесу молчаливо и угрюмо, а скудный ужин еще более портит настроение духа.

С наступлением ночи наши охотники принимаются за устройство для себя стоянки. Каждый выкапывает в снегу под старым, толстым, лежачим деревом широкую яму, длиною в человеческий рост и соответственной ширины, и зажигает в ней сильный огонь. Затем один очищает, по возможности, в середине между ямами и в защите густых сосен или елей, площадку от снега, другой приносит туда хворосту, третий разводит в этом месте большой костер, четвертый приступает к приготовлению ужина. Убитых белок оказывается достаточно, чтобы изготовить густую мясную похлебку, которая должна сдобрить кашу или ломти хлеба. Все едят, честно делясь с собаками, наслаждаются чаем и трубочкой и толкуют о своих охотничьих приключениях и впечатлениях дня. Между тем огонь в ямах внизу растопил снег, на верху зажег упавшее дерево и тем согрел место ночлега. Тщательно сгребает каждый охотник еще тлеющие на дне ямы уголья к одному краю углубления, залезает туда, стараясь, по возможности, не касаться боковых снеговых стен, подзывает собак, чтобы и они могли разделить теплое ложе, и собирается заснуть. Без сомнения, с тлеющего дерева в течение ночи упадет не один уголь на охотника и собак, но шуба сибирского охотника так же вынослива, как и шкура сибирской собаки; зажженная колода греет гораздо лучше горящего костра, прогревает яму, как сибирская печь комнату, и вообще делая возможным для человека ночлег в лесу зимою.

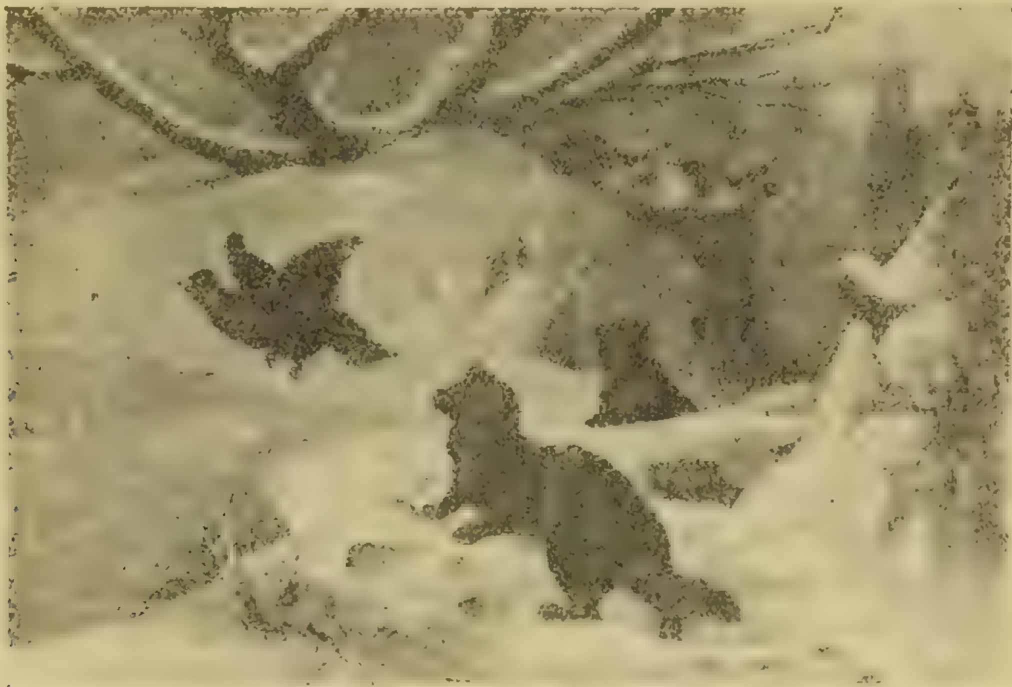
Отдохнув и подкрепившись, поднимается на рассвете артель, завтракает и затем отправляется дальше. Добравшись до благоприятных для охоты мест, посещаемых каждою зимою, она остается там по своему усмотрению более или менее продолжительное время. Кое-где в прежние годы были срублены из древесных стволов охотничьи хижины, которые теперь опять дают необходимый приют; во всяком случае, здесь оказываются старые и новые западни, которые теперь снаряжаются и осматриваются каждое утро. Все это требует времени, потому что западни расставлены на большом протяжении; поэтому наше охотничье товарищество часто остается неделю и больше в известной части леса и основательно исследует ее, прежде чем двинуться далее.

Охотясь описанным образом, многие сибиряки проводят большую часть зимы в лесу. Отправляясь в путь, каждый охотник заключает условие с торговцем. Он обязывается доставить тому все добытые им шкуры по известной средней цене, а торговец—принять все доставленные ему товары без разбора. Если охотнику посчастливится, то и в настоящее время он может добыть столько, чтобы прожить охотой, по крайней мере покрыть свои зимние расходы; но, вообще, охота не вознаграждает связанных с нею трудностей и лишений, и только такой крайне неприхотливый человек, как сибирский охотник, может заниматься этим промыслом.

Самой почетной и трудной охотой западный сибиряк считает охоту на медведя. Медведь в описываемой области вовсе не такое добродушное

существо, каким он еще кое-где оказывается в Восточной Сибири: здесь, как и повсюду, он весьма груб и не отесан; в большинстве случаев, он бежит на человека, но раненый или доведенный до крайности, мужественно вступает в борьбу и тогда бывает чрезвычайно опасен. Несмотря на всевозможные преследования, он не истреблен еще ни в одной части этой области, и можно сказать, что он попадается не редко; с человеком он старается по возможности не сталкиваться. Это не значит, что он боится или избегает поселений последнего: он держится иногда в недальнем расстоянии от населенных мест и нападает на домашних животных на глазах их владельца; но появления его так случайны, что многие сибиряки никогда не сталкивались с ним лицом к лицу и, по крайней мере, никогда не встречали его в лесу. По всем известным данным можно заключить, что в течение лета он переходит с места па место.

Он бродит по лесам, не придерживаясь определенных дорог, поднимается во второй половине лета на высоты, пробираясь в этом случае



Соболи и рябчики.

более или менее торными путями, а к зиме опять спускается в низину; во время созревания хлеба он предпочитает лесные опушки, чтобы удобнее пользоваться соседними полянами, иногда даже вовсе уходит из леса и посещает пограничные степи или горные склоны, имеющие степной характер, остается более продолжительное время в какой-нибудь одной местности и проходит через другие, не останавливаясь, но нигде не упуская случая попользоваться той или другой любимой пищей. Во многих местах он питается исключительно растительной пищей, в иных становится опасным хищником, кое-где питается падалью. Весной он кормится—правдами и неправдами—всем, что ему попадется, из засады выслеживает домашних животных, которые находятся в лесу для пастьбы, неожиданно нападает на них или гоняется за ними с поразительной быстротой, схватывает их, валит наземь и убивает, десыта наедается их мясом и неуклюже зарывает остатки, чтобы еще раз насытиться; появляется во время скотских падежей на тех местах, где зарывают животных, и питается падалью, или даже откапывает иногда трупы на кладбищах. Летом он нападает на ржаные, пшеничные и овсяные поля, опустошает дикие ульи, грабит гнезда ос и шмелей, разо

ряет муравьиные кучи ради поживы их куколками, сдвигает с места старые лежачие деревья, с тем, чтобы полакомиться находящимися под ними жуками, личинками и червями, даже разрушает гнилые деревья, чтобы добыть живущих в истлевшей древесине насекомых. Осенью питается он почти исключительно всякого рода ягодами, даже и такими, какие ему приходится доставать с деревьев, как напр., плодами черемухи; с наступлением созревания кедровых орехов он отправляется за ними, влезает для этого на высокие деревья и ломает не только их сучья, но и вершины; точно так же он упорно подкапывает сараи, в которых временно хранятся кедровые орехи, или пытается пробраться во внутрь их. Вместе с тем во все времена года он занимается рыбной ловлей, и нередко с успехом. От человека вообще он убегает, но иногда неожиданно переходит в наступление и не опасается даже превосходства сил. Смотря по погоде, он ложится на зимовку раньше или позже. Для своего логовища выбирает он по преимуществу место под старым, громадным упавшим деревом, выкапывает здесь неглубокую яму, покрывает ее дно тонкими хвойными ветками и приблизительно на три четверти аршина мохом, выстилает последним и боковые стенки логовища, снаружи закрывает их обломками стволов и сучьев, залезает внутрь и дает снегу засыпать себя. Если первый снег застигнет его в горах, он не всегда опускается в низины, но прячется в скалистой пещере, которую убирает со всевозможным удобством, или расширяет сурковую нору, насколько это ему необходимо, и проводит в ней зиму. Раз он погрузится в глубокий сон, он лежит в логовище так крепко, что его можно вспугнуть лишь с большими усилиями; при этом он яростно кусает жерди, которыми его поднимают, ворчит и ревет, и уступает только тогда, когда прибегают к ракетам или огню. Наконец он бросается оттуда, если он не ранен, подобно вспугнутому кабану, и ищет спасения в спешном бегстве. Медведица приносит, по единогласному уверению всех опытных охотников, детенышей только через зиму, именно во время самого глубокого сна, просыпается, как полагают, незадолго перед родами, облизывает маленьких дочиста и досуха, кладет их к своим сосцам и опять засыпает, просыпаясь только от времени до времени. В конце мая или июня она отыскивает своих рожденных раньше, т.-е. двух или даже четырехгодовалых детенышей и заставляет их исполнять обязанность пестуна или дядьки.

Хотя в Западной Сибири, само по себе довольно вкусное, медвежье мясо не особенно ценится, и медвежья ветчина приготовляется и подается на стол больше ради прихоти, чем ради лакомого вкуса, тем не менее медвежья охота бывает очень выгодной. Медвежья шкура употребляется преимущественно для санных полостей; для этой цели ее требуется много, и она дорого оплачивается. Зубы и когти считаются не только у остяков и самоедов, но и у крестьян Западной Сибири весьма действительным талисманом; даже кости кое-где находят для себя применение. Клык медведя, убитого в честном бою, сообщает остяцкому охотнику, по его мнению, сверхъестественные качества, в особенности мужество, силу и крепость, а также и неуязвимость; коготь, именно четвертый, на первой передней лапе, соответствующий безымянному пальцу, согласно поверию всех влюбленных молодых девушек на Урале, заставляет каждого юношу, которого девушка потихоньку оцарапает этим когтем, ответить ей пламенной взаимной любовью. Отсюда можно видеть, что зубы и когти медведя имеют большую ценность и побуждают

многих охотников, несмотря на опасность, к борьбе с этим сильнейшим хищником тамошних лесов. Действительно, охота на него и не легка, и не безопасна. О западнях, дающих успешные результаты, не слыхать; приходится разыскивать медведя и, с оружием в руках, при помощи опытных собак, вступать с ним в бой. В летнее время бродячий образ жизни животного затрудняет охоту; зимой легче найти его логовище и в нем или перед ним уложить сонного зверя. Бедный крестьянин, которому удастся найти берлогу, запродает медведя состоятельному охотнику; последний отправляется, вместе с проводником и с необходимым числом помощников, на охоту, выбирает для этого благоприятный день, обставляет надежными стрелками берлогу, посылает загонщиков разбудить медведя и выгнать на охотников, и выпускает свою пулю на возможно близком расстоянии. Так убивается большая часть медведей; для хороших стрелков такая охота вовсе не опасна. Летом и осенью выслеживают замеченного медведя с помощью собак мелкой породы, натравляют на него последних, чтобы отвлечь его внимание, и в удобную минуту пускают в него пулю. На этой охоте пользуются также, подобно смелым остякам, медвежьей рогатиной и заставляют животное напарываться на нее, или обернувши левую руку березовой корой, выставляют этот панцырь на встречу приближающемуся медведю и, в то время, когда он хватает зубами березовую кору, вонзают ему широкий и длинный нож в сердце. При такой охоте конечно случается много несчастий, но некоторые охотники приобретают с течением времени столько хладнокровия и уверенности, что предпочитают рогатину и нож всякому другому оружию. На Урале рассказывают, что одна тамошняя крестьянская девушка, слава которой распространилась по всей Западной Сибири, уложила ножом более тридцати медведей.

О неожиданных встречах с медведями ходит много рассказов. Охотник с ружьем, заряженным дробью, видит в лесу большого медведя, но не решается выстрелить в него, соображая, что его заряд недостаточен для такой дичи. Поэтому он спокойно остается на месте, чтобы не раздразнить медведя. Последний подходит к нему, поднимается перед ним на задние лапы, обнюхивает его лицо и, наконец, наносит ему удар, который валит охотника без чувств на землю. Затем медведь поспешно удаляется, как будто убедившись, что сделал глупость. Два шведа Аберг и Эрланд охотятся на Урале на рябчиков, и первый из них приближается к кусту ежевики, откуда, к его немалому удивлению, вместо ожидаемого рябчика, поднимается громадный медведь и тотчас же идет на него. Видя, что бегство невозможно, Аберг прикладывается из ружья, заряженного дробью, целит в глаз медведю, выстреливает, и настолько счастливо, что попадает в цель. Вне себя от боли, медведь закрывает окровавленный глаз лапой, громко ревет и продолжает наступать на бесстрашного стрелка. Тот хладнокровно прицеливается в другой глаз и попадает с таким же успехом. Только тогда он призывает на помощь своего товарища, и оба стреляют попеременно в ослепленного медведя, пока не убивают его.

История более веселого характера случилась на поле деревни Томский Завод, в окрестностях Салаира. Местный крестьянин едет с возом кедровых орехов через лес, не замечая, что из одного мешка валятся орехи. Медведь, который бредет по лесу сзади телеги и переходит через дорогу, находит несколько из этих орехов, чует остальные и следует, незамечаемый возницей, за телегой. Крестьянин, спустя до-

вольно долгое время, оставляет лошадь и телегу и идет в лес, чтобы захватить оставленный там мешок с орехами. Прежде чем он возвратился со своей ношей, медведь, все время шелушивший орехи, подходит к возу и влезает на него, чтобы досыта наесться своим любимым лакомством. С немалым ужасом видит возвращающийся мужик, какой попутчик навязался ему, не решается ничего предпринять против него и оставляет ему лошадь и воз. Лошадь, уже встревоженная, оглядывается, наконец, назад, узнает медведя и мчится с телегой насколько возможно скоро. Нежелательное движение пугает в свою очередь медведя, и не давая ему спрыгнуть с воза, вынуждает его крепко держаться и позволяет только выражать возрастающее неудовольствие громким ревом. Нечего и говорить, что этот рев еще более усиливает быстроту езды; чем более медведь трусит и мечется, тем быстрее несется лошадь по направлению к деревне. Между тем там уже несколько часов, как ждут какую-то важную особу, и все стоят в праздничных одеждах у своих домов, чтобы приветствовать ее при первом появлении. Мальчики с зоркими глазами поставлены стеречь на колокольне, и им велено, как только они завидят приближение лица, тотчас же звонить во все колокола. Наконец, вдали взвивается облако пыли; мальчики звонят, мужчины и женщины выстраиваются в ряды, и все готовятся достойно принять важного гостя. Вдруг с грохотом влетает телега; среди торжественно настроенных поселян несется лошадь с седоком: лошадь— запыленная, взмыленная и запыхавшаяся, седок ревет и фыркает; наконец, лошадь опрометью вбегает во двор крестьянина. Вместо кликов радости, воздух оглашается криками ужаса женщин, почти лишившихся чувств; вместо почтительно кланяющихся физиономий, виднеются повсюду испуганные лица мужчин; только колокола продолжают еще звонить. Прежде, чем они успевают замолкнуть, все приходят в себя, собираются и вооружаются, идут к лошади и медведю и убивают последнего, который повидимому потерял всякое сознание того, что с ним происходит.

Тот, кто знаком с характером медведя, должен будет признать, что все могло произойти так, как здесь описано, но в то же время у него невольно явится склонность отнести этот веселый рассказ к области охотничьих анекдотов. Даже и в устах серьезных и правдивых охотников быль иногда смешивается с небылицей, когда они рассказывают про лес, дичь и охоту в Сибири.

Птичьи горы в Лапландии.

«Когда творец мира только закончил создание своей любимой звезды—земли и радовался удавшемуся творению, коварный дьявол задумал уничтожить дело его рук. Тогда дьявол еще не был изгнан с неба и жил среди архангелов, в тех пределах, где находятся праведники. Он поднялся до седьмого неба и, схватив огромный камень, с силою метнул его в землю, блестевшую юной красотой. Но Создатель во-время заметил нечестивое дело и послал одного из архангелов, чтобы помешать беде. Ангел спустился вниз еще быстрее камня, и ему удалось спасти землю. С грохотом низверглась исполинская глыба в море; волны с шумом поднялись кверху и на далекое пространство затопили соседнюю сушу. От сильного падения треснула оболочка камня, и тысячи осколков погрузились по обеим сторонам его в море, частью исчезнув в глубине, частью поднявшись над нею, в виде обнаженных камней. Тогда сжалился Господь и, в своей бесконечной благости, пожелал оживить и эту пустынную скалу. Но запас плодородной земли уже иссяк, и ее лишь немного оставалось в его руках. Поэтому только небольшие частицы ее попали на камни».

Так говорит старинная сага, которая у лопарей переходит из уст в уста. Камень, брошенный дьяволом, это—Скандинавия; осколки его оболочки, погрузившиеся по обеим сторонам в море,—шхеры, окружающие полуостров причудливым венцом; образовавшиеся на нем расщелины и трещины—фиорды и внутренние долины; частицы благодатной земли, упавшие из рук Творца, образуют немногие плодородные местности Скандинавии.

Нужно побывать самому в Скандинавии и особенно в Норвегии, нужно самому поплавать на лодке между шхерами, нужно обогнуть страну от крайних южных до высших северных пределов, чтобы оценить эту младенческую сагу во всей ее глубине. Действительно, чудна эта страна; чудны ее фиорды, но еще чуднее венок из островов и шхер.

Скандинавия—такая же горная страна, как Швейцария и Тироль, и в то же время совсем не похожа на них. Так же, как у Альпов, у нее есть свои высокие вершины, ледники, горные потоки, чистые и тихие горные озера, темные сосновые леса в низинах, светлые березовые рощи на высотах, обширные, превращающиеся в тундры, болота на широких хребтах гор, блокгаузы на скалах и пастушьи хижины на самых высоких равнинах. Однако, все это имеет иной характер, чем в альпийских странах, и разница замечается каждым, кто бывал в той и в другой стране. Разница зависит оттого, что здесь мы видим удивительное сочетание двух великих и возвышенных областей земли—моря и высоких гор.

Скандинавия носит на себе отпечаток чего-то сурового и в то же время отрадного. С суровостью здесь соединяется мягкость, мрачное чередуется с веселым, рядом с мертвым и устрашающим выступает живое и возвышающее душу. Черные массы скал отвесно поднимаются из моря, возносятся прямо из глубоко изрезанных фиордов, отделяются расщелинами одна от другой, круто громоздятся и угрожающе наклоняются друг над другом; на их вершинах покоятся ледяные массы, распростираясь на целые мили, прикрывая все, что видит глаз, и не давая места ничему живому, за исключением рождающихся от них горных потоков. Эти горные ручьи везде расстилают свои серебряные ленты по черным громадам и радуют не только зрение, но и слух возвышенной мелодией гор; они шумят в каждой впадине, низвергаясь в глубину, вырываются из каждого ущелья или в беспорядке ниспадают со скал, образуя водопад за водопадом и пробуждая эхо в горных стенах. Эти шумящие, бурные потоки, быстро скользящие в каждое углубление, блестящие водяные полосы, висящие на каждом выступе скалы, водяной пар, поднимающийся, как облако дыма, и говорящий нам о скрытых водопадах—все это придает жизнь самым мрачным, пустынным местностям, где глаз ничего не видит, кроме скал и неба. Все это—характерные признаки внутренней части страны.

Но как ни величественна ее красота, как ни волшебны, ни поразительны фиорды с их скалистыми стенами, ущельями и долинами, мысами и пиками, еще своеобразнее острова и шхеры в самом море, окружающие твердую землю с юга до севера и образующие лабиринт бухт, заливов и проливов, подобного которому нельзя найти нигде более на всей поверхности земли.

Большие острова более или менее точно повторяют собою соседнюю твердую землю, мелкие острова и шхеры носят свой собственный отпечаток. Последний изменяется более или менее с каждым градусом широты, который приходится переходить, подвигаясь к северу. Здесь не замечается пышности юга, но нельзя сказать, чтобы и здесь не было своей красоты. В часы полуночи, когда солнце полярного лета, большое и кровавое, низко стоит над горизонтом, и его потускневший блеск отражается в покрытых льдом горных вершинах и в море, эти места производят непреодолимое очарование. Этому впечатлению содействуют разбросанные повсюду строения: дома, сколоченные из бревен, обитые досками и покрытые дерном, выделяющиеся странным багровым цветом, который приобретает еще большую яркость от зеленой дерновой кровли, от темнеющих вдали, почти черных гор и голубого льда глетчеров на заднем плане картины.

Южанин, чуждый этой стране, не без удивления замечает, что эти дома становятся тем больше, виднее и просторнее, чем ближе к северу; что если они не окружены полями, то всегда окружены садиками, и своей величиной, обширностью и отделкой далеко оставляют за собой хижины южной Скандинавии. Мало того, самые красивые и величественные дома находятся нередко на мелких островках, где скалы прикрываются только торфом и где неблагодарная почва не позволяет развести и маленького садика.

Это необъяснимое явление станет понятным для нас, как скоро мы вспомним, что в Норланде и в Финмаркене не твердая земля, а море представляет ниву, которую приходится обрабатывать, что там летом не сеют и не косят, а пожинают среди зимы, не сея. Именно в те месяцы, когда долгая ночь властвует безраздельно и вместо солнца све-

тит только луна, вместо утренней и вечерней зари сверкает лишь северное сияние, человек пользуется богатой добычей, доставляемой морем.

Во время осеннего равноденствия во всех прибрежных местах, по всей Норвегии, крепкое мужское население приготовляется к сбору северной жатвы. Каждый город, каждое местечко, каждая деревенька высылает одно или несколько судов с многочисленным экипажем к островам и шхерам по ту сторону полярного круга. Суда должны останавливаться во всех пригодных бухтах на целые месяцы, и с борта, и с берега собирать морскую жатву. В течение жаркого лета страна нема и безлюдна; в течение зимы бухты, острова и проливы кишат работающими людьми, и человеческие руки находятся там в движении днем и ночью. Как ни обширны береговые постройки, они не могут вместить множества скопляющихся здесь людей, и тем, кому не достается места, дают кров наскоро выстроенные, покрытые торфом хижины на берегу, рядом с судами.

Во время зимнего поворота солнца, когда мы празднуем Рождество и норвежцы сжигают свой святочный чурбан, здесь царствует самая кипучая деятельность. Уже несколько недель, как море посылает свои богатства. Повинуясь могучему стремлению, побуждающему и двигающему живые существа, управляясь непреодолимой потребностью обеспечить жизнь будущих поколений, из глубины моря поднимаются бесчисленные стаи рыб, выплывают на поверхность воды, приближаются к берегам, проникают во все проливы, бухты и фиорды и покрывают собою море на несколько миль в окружности. Одушевленные одним чувством, обезумевшие от одного и того же желания, рыбы плавают столь плотной массой, что лодке приходится буквально пробиваться между ними, что сеть, обремененная их тяжестью, не поддается богатырской силе рыбаков или прорывается, что весло, воткнутое между двумя прижавшимися друг к другу рыбами, несколько минут держится в стоячем положении, прежде чем склонится в сторону. Насколько скалистые острова свободны от бурного прилива,—от средней приливной линии до нижнего края покрывающего их вершины торфяного слоя,—обнаженные скалы их устланы бывают непрерывным кольцом распластанных рыб, которые высушиваются здесь, и там же возвышаются подмостки, на которых, с тою же целью, рыбы предоставляются действию резкого и вместе с тем сухого воздуха. От времени до времени скалы и подмостки очищаются, и высушенные рыбы связываются в пучки и складываются в амбары; тогда освобождается место для других рыб, пойманных и подготовленных к сушке.

В течение месяцев продолжается этот промысел, в течение месяцев здесь происходит непрерывный базар, на котором юг и север обмениваются своими богатствами. Только в те дни, когда в полдень яркий блеск на южной стороне предшествует еще скрытому солнцу, или тогда, когда оно как бы мельком бросает взор на землю, постепенно заканчивается богатый лов. Из амбаров переносят на суда высушенную треску, наполняют их от киля до палубы и приготовляются к возвращению домой или к дальнему плаванию. Одно судно за другим поднимает паруса и отплывает от берега.

Все затихает на севере, одинокой становится суша, пустынным делается море. Наконец, к весеннему равноденствию, почти все суда оставляют место своей добычи, и рыба уходит опять в глубину моря. Но море посылает уже новых детей, чтобы опять оживить не только проливы, бухты и фиорды, но и шхеры, и острова; вскоре с этих островов,

где царила кипучая зимняя промышленная жизнь, уже начинают высматривать на море миллионы зорких птичьих глаз.

Глубоко трогательная черта в жизни всех настоящих морских птиц заключается в том, что только две причины могут их привлечь на твердую землю: радостное чувство весенней, вновь пробуждающейся любви и мрачное предчувствие приближающейся смерти. Зима, с ее длинными ночами, холодами и бурями, не в силах загнать их на землю: они застрахованы от всех невзгод крайнего севера и привыкли находить себе дело на волнах или под волнами. Даже страх перед угрожающей пастью хищной рыбы не заставляет их искать спасения на суше; они залетают на нее, как, напр., на одиноко лежащий в море остров, только случайно и на короткое время, чтобы дать своим перьям пропитаться жиром, что не так удобно делается в воде. Но как только, с первым проблеском солнца, в их сердце пробуждается любовь, старый и малый, хотя бы для этого надо было перелетать тысячи морских миль, стремятся опять к тем местам, где они впервые увидали свет. И если среди ледяной зимы, после того как эти места уже давно опустели, морская птица предчувствует смерть, она спешит, пока ей позволяют силы, по возможности туда, где находилась ее колыбель.

Ежегодные сборища бесчисленных птиц в тех местах, где они выводятся, придают этим местам неизобразимое оживление. Эти сборища разнообразны, как и сами морские птицы; разнообразны и места или, как говорит норвежец, горы, которые они населяют. Одни избирают для своего размножения лишь такие шхеры, какие едва поднимаются над линией прилива и не заключают на себе растительности, кроме водорослей, выброшенных морем и необходимых, чтобы обложить ими гнездо. Другие гнездятся на крутых и высоких островах, возвышающихся над морем на многие сотни футов и богатых выступами, пещерами, расщелинами и другими тайными приютами или покрытых толстым слоем растительных остатков, превратившихся в торф. Эти низменные шхеры норвежец называет, по имени пользующейся его предпочтением самой ценной или самой полезной из всех морских птиц, «гагачьими холмами», а название «птичьих гор» он дает круто поднимающимся островам, населенным чистиками или чайками.

Как ни заманчиво для наблюдающего исследователя изучить ближе и описать подробнее каждую породу морских птиц, но крайнее изобилие населения северных горных птичников и своеобразная жизнь собирающихся там птиц невольно ограничивают это стремление. И я должен отказаться, сообразуясь с уделенным мне временем, набросать полную картину жизни всех птиц этих гор, но я обязан, хотя бы бегло, рассказать, как живут по крайней мере некоторые из них, чтобы отметить главные черты жизни этих крылатых обитателей моря. Как ни труден выбор, мы не можем не дать места *гагам*, которые каждой весной возвращаются к тем же островам и способствуют их волшебному украшению.

Три вида этих красивых птиц населяют или посещают берега Европы; из них настоящая гага каждое лето залетает на северо-западные острова Германии, в особенности на остров Сильт. Ее перистый покров—точное отражение полярного моря. В нем сочетаются черный и красный, пепельно-серый, льдисто-зеленый, белый, бурый и желтый цвета. Настоящая гага наименее красива из этих трех видов, но и она чрезвычайно нарядна. Затылок и спина, полоса над крыльями и места

по сторонам нижней части тела у нее белого цвета, как пена волны; шея и хохолок—с розовым отливом на белом фоне, как будто на них остался блеск полуночного солнца; полосы на боковых частях головы—нежно-зеленого цвета, точно лед глетчеров; нижняя часть груди и брюшко, крылья и хвост—черны, как глубина морская. Такой наряд свойствен только самцам; самка одевается гораздо скромнее, но и ее одежда, которую можно назвать домашней, не менее привлекательна. Ее оперение, по преимуществу ржавого цвета, переходящего более или менее в бурый оттенок, украшено продольными и поперечными пятнами, полосами и завитками такой нежности и разнообразия, что недостает слов для описания рисунка.

Ни одна из пород уток не может считаться такой настоящей обитательницей моря, как гага; ни одна не ковыляет так тяжело на суше, ни одна не летает менее искусно, ни одна не плавает быстрее, не ныряет ловчее и глубже, чем она. Для отыскания пищи гага опускается на двадцать пять сажен ниже поверхности воды и остается под водою около пяти минут, т.-е. чрезвычайно долго. До начала спаривания она или вовсе не оставляет открытого моря, или делает это в виде исключения, более по прихоти, чем по необходимости. Уже к концу зимы стаи этих птиц разделяются на отдельные пары, и лишь те самцы, которым не удалось найти самку, плавают еще небольшими группами. Между супругами одной пары царствует с обеих сторон самое счастливое единодушие. Лишь одна воля, именно воля самки, руководит действиями обоих. Если она поднимается с водяной поверхности, чтобы пролететь несколько сот аршин, самец следует за нею; как только она опускается в глубину, он немедленно ныряет туда же; куда бы она ни направилась, он послушно сопровождает ее; все, что она предпринимает, соответствует его желаниям. Чета живет еще некоторое время на открытом море, хотя лишь там, где его глубина не превосходит двадцати пяти сажен, и всегда на тех местах, где ракушки и другие раковины обильно покрывают скалы или дно. Эти слизняки часто составляют исключительную пищу гаг: за ними они ныряют в значительную глубину; эти же раковины всегда спасают их от нужды, иногда жестоко угнетающей других уток.

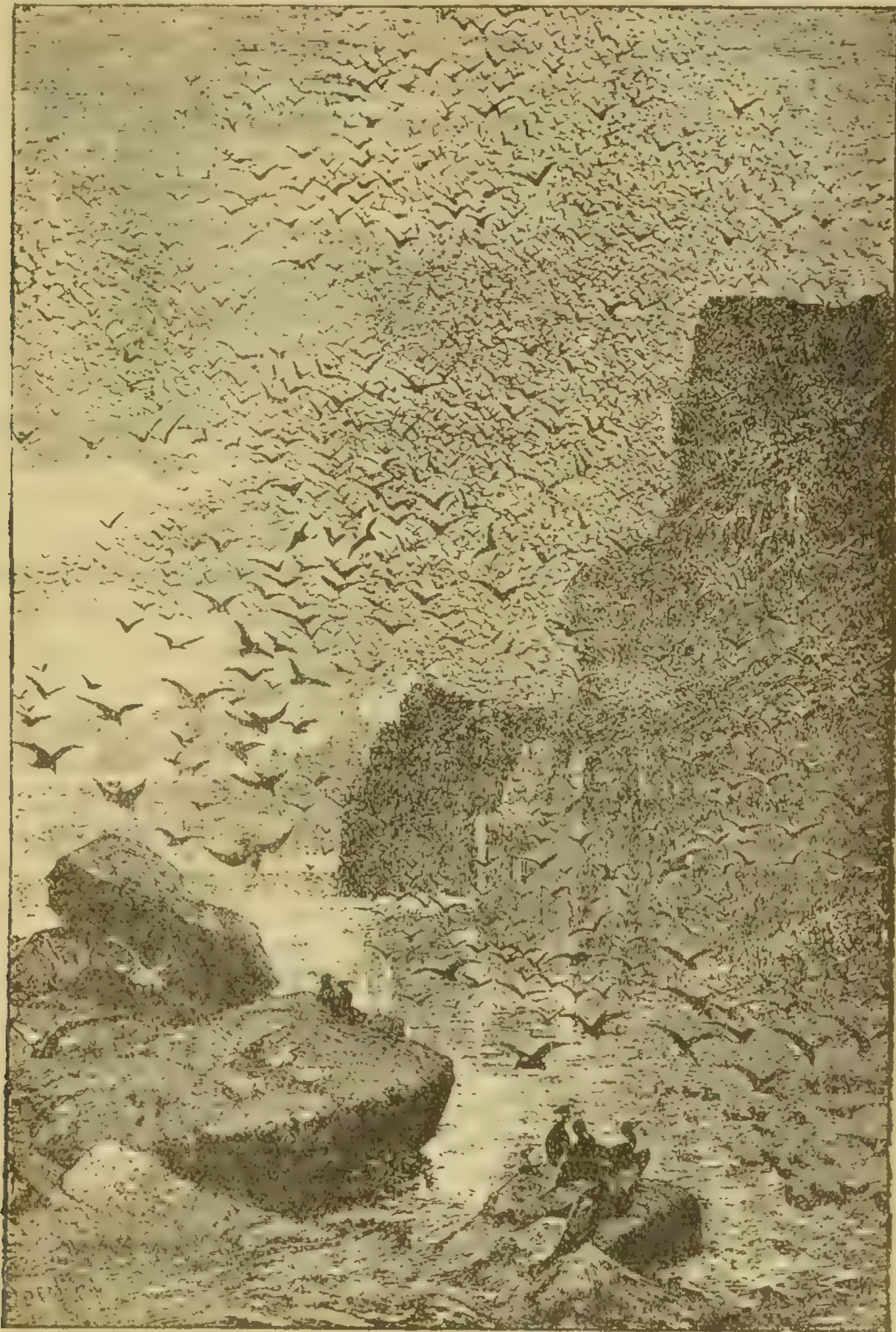
В апреле, самое позднее в начале мая, пары все более и более приближаются к поясу шхер и затем к берегам. В сердце утки пробуждаются материнские заботы и становятся выше всех других. Там на открытом море пара была так боязлива, что никогда не могла выждать приближения корабля или лодки, и человека, где бы он ни показывался, боялась более всякого другого существа; теперь, вблизи островов, образ действий ее совершенно изменяется. Повинуясь лишь материнскому инстинкту, утка переплывает на один из островов, где она кладет яйца, и, не обращая внимания на человека, выходит на берег. Самец, все еще озабоченно, следует за нею, не переставая издавать свой предостерегающий крик «агуа, агуа», осторожно замедляя свои движения, останавливаясь по временам, что-то соображая и затем плывя дальше. Утка ничего этого не замечает. Беспечная к целому миру, она бродит по острову, отыскивая подходящее место, где можно свить гнездо. Со свойственным ей упрямством, она не довольствуется первой удобной кучей водорослей, выброшенной на берег приливом; низким кустом можжевельника, хотя расползающиеся по земле ветви его представляют надежную защиту; полуразрушенным ящиком, поставленным для нее обладателем острова; грудой хвороста, которую

он собрал, с целью примашить ее; утка приближается бесстрашно, как домашнее животное, к жилищу владельца, входит внутрь, переходит через двор, преследует хозяйку в кухне и комнатах, осматривается капризно и упрямо, и избирает иной раз для своего гнезда именно внутренность печки, заставляя тем хозяйку в течение целого месяца печь себе хлеб на другом острове. С видимым ужасом следует за нею верный селезень; когда же самка, по его мнению, забыла уже о всякой осторожности и дошла до того, чтобы поселиться под одной кровлей с людьми, он не пытается противиться более ее желанию, но предоставляет все ее воле и улетает на спокойное море, страстно поджидая здесь ее ежедневных посещений. Наша утка однако этим не смущается, она приносит некоторое количество хвороста в одно место, убеждается, что хозяин дома желает ей добра, набирает материала для гнезда, именно, кроме хвороста, еще и водорослей, складывает все в кучу, вырывает в ней, работая обеими лапами, углубление, округляет его, беспрерывно вращаясь в нем гладкою грудью, и начинает устраивать подстилку гнезда. Думая только о своем потомстве, она вырывает у себя с груди несравненный по мягкости пух, делает из него нечто вроде войлока, которым устилает всю ямку и еще оставляет с верхнего края выпушку такой толщины, что ею можно, как одеялом, закрывать гнездо при всяком холоде, когда улетает птица. Еще прежде чем внутренняя подстилка вполне готова, гага начинает класть свои, относительно маленькие, гладкие, грязно или серовато-зеленые яйца, числом до шести или до восьми, редко менее или более.

Хозяин только и ждал этого времени. Он оказывал птице гостеприимство из собственных расчетов. Теперь он становится хищником; он безжалостно вынимает из гнезда яйца и внутреннюю подстилку, состоящую из драгоценного пуха. От двадцати четырех до тридцати гнезд доставляют два с половиною фунта пуху, стоющего по меньшей мере, тридцать марок на месте; эти цифры лучше всего объясняют образ действий хозяина-норвежца.

Грустно смотрит гага на разрушение своих надежд; ошеломленная и напуганная, улетает она в море к ожидающему ее супругу. Насколько настоятельно повторяет он теперь свои предостережения, я сказать не могу, но могу только уверить, что он умеет скоро ее утешить. Весенняя радость и весенняя бодрость еще движут сердцами обоих: проходит несколько дней, и наша гага, как будто ничего с ней не случилось, опять выходит на землю, чтобы свить новое гнездо. Вероятно, она избегает теперь прежнего места и довольствуется первой удобной и не занятой кучей водорослей, опять она выгребает и округляет углубление и опять начинает искать в собственных перьях необходимую, повидимому, пушистую подстилку. Но как она ни старается, как ни вытягивает шею, какие змеиные изгибы ни придает ей—все напрасно: ее запас истощен. Но когда же мать, даже в образе утки, оказывалась беспомощной, если дело идет о том, чтобы позаботиться о детях? Не теряется в этом случае и наша гага. У нее самой уже нет более пуха, но на груди и на спине ее супруга он еще не тронут. Теперь настает его очередь. Как бы он ни растопыривал свои перья, как бы ни были живы в нем прежние воспоминания, он должен повиноваться, потому что он супруг, а она его супруга. Не заботясь о нем, встревоженная мать вырывает у него перья и, в течение нескольких часов или не более двух дней, он уже ощипан так же, как она сама. Если затем селезень, при первой возможности, улетает в открытое море и, в продолжение не-

скольких месяцев, живет там лишь в общении с подобными себе, уже ни мало не заботясь о своей супруге, сидящей на яйцах, и об ее потомстве, то я нахожу это вполне понятным. И если иногда, как это случается на всех птичьих островах, можно видеть селезня рядом с сидящей на яйцах уткой, то, я думаю, это может быть только такой селезень, который не был ощипан.



Птичьи горы в Лапландии.

Теперь наша гага усердно сидит на яйцах. Легко убедиться, что ее домашнее платье, о котором мы говорили,—единственно пригодное, даже единственно удобное из всех, какие она может носить. В водорослях, окружающих гнездо, она вполне не заметна, даже для острого глаза сокола и морского орла. Не только общая окраска, но каждая точка, каждая полоска настолько сливаются с высохшими водорослями, что сидящую на яйцах птицу, если она втянет шею и несколько распустит крылья, нельзя отличить от того, что ее окружает. Много и много

раз случалось со мною, что я, осматриваясь кругом опытным глазом охотника и естествоиспытателя, шел по тому месту, где сидели утки, и обращал внимание на сидевшую у самых моих ног гагу только тогда, когда она, обороняясь от меня, ударила клювом по моему сапогу. Каждый, кто знает самоотверженность, с какою утки сидят на яйцах, не удивится тому, что можно подойти так близко к гаге, сидящей в гнезде; но даже и опытный исследователь не может не выразить удивления, когда он узнает, что гага позволяет ощупывать яйца под ее грудью и не слезает с гнезда, что она не прерывает сидения на яйцах, даже если снять ее с гнезда и опустить опять на него или на землю в некотором расстоянии, чтобы увидеть интересное зрелище, как она, переваливаясь, спешит вновь к своему гнезду.

Материнское самоотвержение и вообще материнский инстинкт гаги выказывается еще и другим путем. Каждая гага-самка и, быть может, каждая утка вообще не только добивается счастья иметь детей, но желает, чтобы ее материнский глаз видел перед собой возможно большее число птенцов. Отсюда происходит, что она, не раздумывая много, обездоливает других уток, сидящих около нее. Она с таким самоотвержением сидит на яйцах, что только раз в день оставляет гнездо, ради снабжения себя пищей и ради приведения в порядок перьев, страдающих от тепла, развивающегося при насиживании. Бросив недоверчивый взгляд на своих соседок справа и слева, она поднимается перед полуднем, быть может, давно уже мучимая жестоким голодом, обходит гнездо и заботливо расправляет клювом пушистый покров, закрывающий и защищающий яйца; затем она поспешно летит к морю, ныряет несколько раз в глубину, быстро наполняет раковинами зоб и пищевод до самой глотки, купается и чистится, возвращается на землю и бежит опять к гнезду, по дороге высушивая и расправляя перья. Обе соседки сидят на своих гнездах, повидимому, так же безмятежно, как и прежде; однако, они, по крайней мере, одна из них, тем временем совершили покражу. Как только первая утка улетела, соседка поднялась, открыла одеяльце над чужими яйцами и обеими ногами одно, два, три, четыре яйца быстро перекатила в свое гнездо, потом заботливо закрыла оставшиеся яйца и, довольная собою, уселась на свои, несоразмерно увеличившиеся в числе. Возвратившаяся гага иногда тотчас же видит, как ее провели, но она ничем не выдает своих ощущений, спокойно опять усаживается в гнездо и имеет такой вид, как будто думает: «погоди, любезная соседка, и ты полетишь к морю, и с тобой будет то же, что ты сделала со мной». Действительно, яйца многих гнезд, находящихся рядом, постоянно переходят из одного в другое. Повидимому, гага равнодушна к тому—своих или чужих детей она высиживает—были бы только дети!

Гага сидит на яйцах около двадцати шести дней, пока они будут готовы. Норвежец, разумно относящийся к делу, предоставляет ей трудиться и не беспокоит ее, а напротив старается сберечь ее силы, удаляя по возможности с острова всех ее недругов. Он знает своих уток настолько, что ему известно, когда приблизительно та или эта окончит высиживание и со стаей птенцов направится к безопасному морю. Этот путь часто бывает роковым для неосмотрительных молодых утят. Не только гнездящиеся на островах или залетающие на них соколы, но и хищные крупные чайки подстерегают первый выход утят, нападают на них по дороге и похищают того или другого. Охранитель острова старается этому воспрепятствовать, употребляя способ, характерный для

гаг, обыкновенно столь диких и робких, но во время высиживания превращающихся в настоящих домашних птиц. К концу высиживания, он каждое утро является на остров, чтобы оказать помощь матерям и присвоить себе вторую добычу пуха. На спине у него большая котомка, а на руке широкая корзинка. Так переходит он от одного гнезда к другому, поднимает каждую утку и смотрит—не вылупились ли уже птенцы? Если они вылупились и уже достаточно обсохли, он укладывает все это чирикающее общество в ручную корзину, искусно освобождает гнездо от его пуховой подстилки, бросает последнюю в котомку и идет дальше. Утка доверчиво ковыляет за ним или, скорее, за своими птенцами, издающими жалобный писк. Таким же образом опоражнивается второе, третье, десятое гнездо до тех пор, пока корзина может еще вмещать в себе утят, и одна матка за другою присоединяются к шествию, обмениваясь мнениями со своими товарками. Придя на море, человек опрокидывает корзину и просто вытряхивает из нее всю стаю утят в воду. Тотчас же все утки бросаются к чирикающим птенцам; приманивая, призывая, расточая всю материнскую нежность, они плавают среди стаи, и каждая старается собрать около себя как можно больше птенцов. С видимою гордостью уплывает одна из них, увлекая за собою длинную свиту; но уже другая, менее счастливая, перерезывает стаю, тянущуюся за первой, и старается привлечь к себе как можно больше утят; затем является третья с намерением расположить и в свою пользу некоторых из отставших. Так плывут, гогоча и крякая, подзывая и приманивая к себе, все матки одна около другой, пока, наконец, около каждой не образуется маленькая стая утят, неизвестно уже каких—своих или чужих. Ни одна гага не может этого знать с уверенностью, что нисколько не ограничивает однако ее материнской радости: у нее все-таки есть дети, которые плывут за нею.

Во всяком случае собранная таким образом стая, уже в первые часы своей жизни, послушно следует за своей матерью или воспитательницей... Эта последняя ведет птенцов прежде всего в такие места, где ракушки прикреплены к скалам на уровне отлива, отрывает их столько, сколько нужно ей самой и ее семье, разбивает самые мелкие раковины и отдает детям их содержимое. Утята могут плавать и нырять с первого дня своей жизни и даже в одном отношении превосходят своих родителей: именно, они гораздо искуснее их на суше и могут двигаться на ней с поразительной ловкостью. Если они почувствуют усталость вблизи какого-нибудь острова, старая гага выводит их туда, они там бегают, как молодые куропатки; по первому предостерегающему крику, они умеют так прижиматься к земле, что их можно найти только после долгих поисков. Если они устанут, находясь далеко от шхер, мать распростирает крылья, предоставляя их и свою спину для отдыха птенцам. Так как они ни в чем не терпят недостатка, то растут необыкновенно быстро и, уже по прошествии двух месяцев, достигают почти той же величины или, по крайней мере, той же умелости, как их мать. Теперь и отец находится около них, чтобы провести зиму с своей семьей, а по большей части, и с другими семьями, в иных случаях доходящими до нескольких тысяч.

Высокая, из года в год возрастающая цена несравненного гагачьего пуха заставляет считать этих птиц самыми ценными из всех, собирающихся на скалах крайнего севера. Тысяча пар их признается уже собственностью, на которой основываются известные расчеты. На многих гагачьих островах выводят детей, по меньшей мере, три или

четыре тысячи пар, а счастливый обладатель еще более населенных мест получает, благодаря этим птицам, доходы, которым мог бы позавидовать не один германский землевладелец. Кроме гаг, на тех же островах выводятся и другие птицы, яйца которых употребляются в пищу и развозятся на далекие пространства. Вместе с тем, в разных местах молодых птиц колют и солят на зиму. Таким образом эти острова представляют своего рода нивы, дающие богатые жатвы, а потому они содержатся под строгим надзором и охраняются особыми законами.

Зрелище, представляемое островом, на котором выводятся гаги и другие морские птицы, столько же своеобразно, сколько и привлекательно. Остров бывает окружен более или менее плотною тучей ослепительно белых чаек. Беспрерывно стаи этих птиц прибывают туда и улетают опять на море, посещают и соседние шхеры и служат оригинальным украшением болотистых мест, превращающихся при некоторых условиях в зеленые луга, с находящимися на них красными бревенчатыми постройками. С справедливою гордостью один из обитателей Лофоденских островов указывал мне на многие сотни буревестников, которые, у самого его дома, плотной стаей отыскивали морских животных. «Наша страна слишком бедна, холодна и сурова,—говорил он,—чтобы мы могли держать у себя домашнюю птицу, как у вас на юге. Наших голубей нам посылает море, и я спрошу только у вас—видали ли вы где-нибудь птиц прекраснее этих?» Я должен был ответить на вопрос отрицательно; в самом деле, вид ослепительно белых и голубовато-серых чаек на пышном зеленом лугу, среди величественной обстановки северной горной природы, был необыкновенно привлекателен. Именно эти чайки позволяют распознавать птичьи острова и далеко отличать их от других, сходных с ними шхер. Другие пернатые обитатели их менее заметны, хотя и они здесь считаются тысячами. Только тогда, когда в легком челноке отчаливаешь от обитаемого берега и приближаешься к птичьему острову, нарушается мирная жизнь его. Некоторые устрицеловы, отыскивающие свою пищу непосредственно над линией прилива, заметили уже челнок и поспешно летят на встречу. Эти птицы, без которых не обходится ни один сколько-нибудь большой остров, даже ни одна шхера, служат блюстителями порядка и благоустройства мирного птичьего союза. Будучи любопытнее и подвижнее всех других известных мне береговых птиц, осторожные и благоразумные, они соединяют в себе все качества, чтобы занимать место таких членов смешанного общества, которые дают тон остальным. Всякое новое или необычайное событие возбуждает их любознательность и заставляет их ближе исследовать его. Так они летят на встречу каждой лодке, облетают ее от пяти до шести раз все меньшими и меньшими кругами, кричат при этом без умолку, привлекают других птиц своей породы и уже этим возбуждают внимание всех прочих благоразумных птиц своего острова. Как скоро они убедятся в существовании настоящей опасности, они быстро летят обратно и сообщают о результатах своих разведок, посредством предостерегающих криков, всем птицам своей горы, которые должны обратить на это внимание и, действительно, обращают его. Некоторые чайки решаются также убедиться лично в причине тревоги. От пяти до шести этих птиц летят на встречу лодке, останавливаются в воздухе по-соколиному, затем смело спускаются к пришельцам и еще быстрее возвращаются на свой остров. Как будто не доверяя им, поднимается теперь вдвое, втрое, вчетверо, вдесятеро большее число птиц, чтобы повто-

рить то же, что сделали первые лазутчики. Вскоре уже сплошная темная туча птиц носится над лодкой. Она становится все плотнее и все грознее, так как птицы не только с постоянно возрастающей смелостью задевают сидящих в лодке, но и оставляют следы, не способствующие украшению лица и платья. Вблизи птичьего острова возбуждение доходит до какого-то безумного гама: крик одних оглушительно повторяется тысячами других голосов. Прежде чем лодка успела пристать, гаги-самцы, прилетевшие сюда к своим самкам, бегут, переваливаясь, к берегу и выплывают в море с предостерегающим криком «агуа, агуа». За ними следуют хохлатые бакланы или корморапы и крахали, тогда как, напротив, устрицеловы, ржанки, кайры, гаги, чайки и морские ласточки, так же, как иногда попадающиеся здесь горные щеврицы и белые плиски, не могут решиться оставить остров. Но бегающие птицы, как будто гонимые злым духом, в бесчисленном множестве снуют взад и вперед по берегу; кайры, взобравшиеся на скалы, прижимаются к земле и с изумлением смотрят на пришельцев; гаги приготовляются, в нужную минуту, по-своему, сделаться невидимыми.

Лодка причаливает. Путники вступают на остров. Тысячи голосов одновременно издают резкие крики; туча птиц сгущается до полной непроницаемости; сотни чаек, сидящих на яйцах, поднимаются с карканьем, чтобы присоединиться к летающим; так же громко кричат десятки устрицеловов, и эта суета и шум двигающихся, кричащих, зовущих друг друга птиц становятся столь оглушительными, что можно подумать, будто находишься на настоящем Блоксбергском шабаше.

Hörst du Stimmen in der Höhe,
In der Ferne, in der Nähe?
Ja, den ganzen Berg entlang
Strömt ein wütender Zaubergesang *).

Эти слова Мефистофеля становятся действительностью. Шум и гам, пестрое мелькание фигур оглушает все чувства; перед глазами все носится и сверкает, в ушах все свистит и трещит, так что под конец нельзя разобрать ни цветов, ни звуков, и не чувствуется даже присущий этому месту весьма резкий запах. Куда бы мы ни обратились, весь остров окружен тучей, о которой мы говорили; куда бы мы ни оглянулись, ничего не видно, кроме птиц. Когда тысячи их усаживаются, наконец, на покой, поднимаются другие тысячи, и тревога и забота за свои гнезда заставляет их забывать о своем бессилии и побуждает к неопасному, но докучливому отпору против того, кто проникает к ним.

Непохожую на мирную жизнь гагачьих обиталищ представляет жизнь островов, занятых серебристыми сельделовами и морскими чайками различных пород. И они собираются для высиживания на определенных островах, где, при известных условиях, находят себе место от трех до пяти тысяч пар этих птиц. Сам по себе остров, занятый чайками, представляет такое же прекрасное и величественное зрелище, как и гагачий остров. Большие ослепительно-белые и светло-или темно-серые фигуры эффектно выделяются из окружающей обстановки, и их движения полны той грацией, которая вообще отличает

*) Слышишь ли звуки в вышине, вдали, вблизи? По всей горе вниз несется бешеное адское пенье.

чаек. Но эти крепкие, сильные и хищные птицы, хоть и живут обществом, тем не менее не могут назваться мирными соседями. Ни один член такого поселения не доверяет другому. Каждая отдельная пара живет для себя, отмежевывая себе определенную область, хотя бы и самого маленького диаметра, не допускает вторжения туда других пар и не оставляет гнезда одновременно: если ей приходится защищаться от общего врага, нарушающего ее спокойствие, она как можно скорее возвращается к гнезду, чтобы уберечь его от подобных себе.

Менее шума, но не менее величия—в жизни настоящих птичьих гор, где выводятся чистики и родственные им птицы, и где лишь случайно свивают себе гнезда несколько чаек или бакланов. Будет вполне достаточно, если я попытаюсь изобразить одну из этих гор и расскажу, что я там видел.

На север от большого острова, принадлежащего к Лофоденской группе, на расстоянии сажен полутораста от берега, лежат три небольшие скалистые острова, по виду напоминающие колокола: это так называемые Никенские острова. Они резко и круто выступают из моря, поднимаясь сажен на пятьдесят над его поверхностью, среди окружающего их ожерелья маленьких шхер. Один из этих скалистых конусов служит горным приютом для птиц, величественнее которого ничего нельзя себе представить.

Был чудный летний день, когда мы собрались посетить его; море было такое гладкое и спокойное, как это редко бывает, небо было ясное и голубое, воздух—теплый и ласкающий. Наш легкий челнок двигался между бесчисленными шхерами, благодаря усилиям крепких норвежских гребцов. По всем направлениям виднелись птицы. Почти каждый камень, выдававшийся над поверхностью моря, был оживлен. Некоторые были совершенно белы от помета бакланов, которые там регулярно проводят несколько часов в день ради отдыха. Рядами, как сторожевые солдаты, сидят они по десяти, по двадцати, по сту в странных позах, вытянув длинные шеи, распустив крылья, чтобы доставить отрадный отдых каждой части тела, помахивая крыльями, как будто прохлаждая дру друга, и внимательно озираются во все стороны; при нашем приближении они бросились с глухими криками в море, тяжело шлепнувшись в воду, и поплыли, беспрестанно ныряя, как будто смеясь над нашей попыткой подойти к ним ближе. Другие шхеры были покрыты сотнями и тысячами чаек одного и того же вида, в числе которых были и самцы, прилетевшие с какого-нибудь гагачьего острова, чтобы по своему проводить время, между тем как самки сидели на яйцах. Около других скалистых островов собрались белые гаги, быть может, уже общипанные самцы, образуя местами нечто вроде венка, похожего на большие белые кувшинки наших стоячих вод. В не слишком глубоких заливах можно было видеть крахалей и гагар, которые охотились за рыбами, испуская от времени до времени резкие крики: этот призыв тянулся так долго и повторялся так часто, что его можно было бы назвать песней, если бы мелодия его не была слишком дика и доступна тому, кто родился на северном море, наслушался воя и шума зимних бурь и вырос среди гула волн, от которых научился их музыке. Гордо, как властелин на престоле, сидел то там, то здесь, предмет ужаса для всех пернатых обитателей моря, морской орлан, а, быть может, и целое общество хищников этого вида; быстро, как стрела, проносился по своей обширной области кречет, свивший себе гнездо на одной из крутых,

отвесных скал; проворные буревестники, трехпалые чайки и ныряющие ласточки взлетали то вверх, то вниз; устрицеловы приветствовали нас своими резкими криками; чистики и кайры показывались и опять исчезали под водою.

В таком обществе подвигались мы дальше. Пройдя около десяти морских миль, мы достигли лабиринта Никенских островов. Куда мы ни обращали наш взгляд, повсюду видели некоторых из временных обитателей горы, выхватывавших рыбу из воды, нырявших, испуганно взлетавших над нашей лодкой и проносившихся так близко к поверхности моря, так что ярко-красные ноги их касались пенистых волн. Мы видели стаи в тридцать, пятьдесят, во сто штук, видели, как они отлетали с горы или стремились к ней, и не могли уже сомневаться, что приближались к густо населенному месту выводки этих птиц. Нам говорили о миллионах птиц, собирающихся сюда для высиживания яиц, но мы не могли представить себе ничего подобного таким массам. Наконец, после того, как мы объехали выдававшийся в море скалистый гребень, мы увидели перед собою остров Нике. Кру ом в воде виднелись беспорядочно рассеянные черные точки—головы, шеи и затылки плавающих чистиков; на скале же белели рядами и резко ограниченными группами груди чистиков, обращенные к морю. Несомненно, их было здесь несколько тысяч, но все-таки не миллионы.

Пристав к берегу и отдохнув в доме владельца Нике, мы отправились к вышеупомянутому острову, вышли на таком месте скалы, где прибой был не слишком силен, и быстро взобрались на торфяное возвышение, покрывающее весь Нике. Здесь мы увидали, что торфяная кора изрыта повсюду ямками для гнезд, вроде наших кроличьих нор, в такой степени, что на всей горе нельзя было найти места, величиною с обыкновенный стол, где не было бы подобного отверстия.

Мы подвигались по спиральной линии к вершине горы, вынужденные более лезть, чем идти. Под нашими ногами вздрагивал подрытый слой торфа. И оттуда из всех углублений выглядывали, выползали, выкатывались, вылетали птицы, величиною несколько более голубя, сверху грифельного цвета, на груди и брюшке ослепительно белого, с фантастическими клювами и физиономиями, с короткими, узкими, острыми крыльями и неразвитыми хвостами. Точно так же они появлялись изо всех отверстий, даже из расщелин камней. Куда мы ни обращались, мы нигде ничего не видали, кроме птиц, и ухо улавливало только тихий, гудящий шум, в котором сливались их слабые крики. Каждый наш шаг вызывал новые стаи из недр земли. Птицы уже слетали с горы к морю; бесчисленные массы их стремились с моря на гору. Из десятков образовывались сотни, из сотен—тысячи и сотни тысяч непрерывно вырастали из буровато-зеленой земли. Туча не менее густая, чем та, которую мы видели на га ачьем острове, обволокла нас, обволокла и всю гору, так что это волшебное место превратилось в громадный улей, в котором исполинские пчелы жужжали и гудели, порхали и мелькали перед нами.

Чем дальше мы шли, тем величественнее становилось зрелище. Вся гора оживилась. Сотни тысяч глаз смотрели на пришельцев. Из всех концов и углов, из всех поворотов и выступов, из всех углублений, щелей и отверстий, справа, слева, сверху и снизу, на воздухе и на земле показывались птицы и кишели повсюду. С боков и с вершины горы тысячи птиц непрерывно слетали в море, смыкаясь так плотно.

что глаз мог принять их за твердую кровлю. Тысячи прилетали, тысячи улетали, тысячи усаживались, подпрыгивали с помощью крыльев, делая какие-то странные движения; сотни тысяч носились в воздухе, сотни тысяч плавали и ныряли и другие сотни тысяч прислушивались неподвижно к пугавшим их шагам. Все носилось, чирикало, шумело, прыгало, летало, ползало кругом, доводя нас до полного ошеломления, так что глаза переставали служить, и даже наш проводник терял свою

Чайки.

испытанную самоуверенность. Оглушенные, едва сознавая себя, мы подвигались все дальше и дальше, пока наконец не вскарабкались на вершину. Наша надежда возвратить себе там спокойное настроение, самообладание и способность к наблюдению осуществились не сразу. И здесь все порхало и шумело, как порхало и шумело на отвесных скалах внизу; и здесь туча птиц окружала нас так плотно, что мы видели море под нами, точно в сумеречном свете, неясным и неопределенным. Только чета кречетов, гнездившаяся на одной из соседних отвесных скал и заметившая непривычное возбуждение птиц, тотчас же изменила необычайную картину, бывшую перед нашими глазами. Чистики, кайры и топорики не пугались нас; но при появлении хорошо знако-

мого и неодолимого врага, вся густая туча, точно по мановению волшебного жезла, разом опустилась в море, и горизонт перед нами расчистился. Бесчисленные темные точки, головы плавающих в море птиц, ясно выступавшие на воде, пестрили голубовато-зеленую окраску волн. Число точек было так велико, что мы с вершины горы, поднимавшейся выше, чем на полсотню сажен, не могли открыть, где кончалась стая, не могли заметить, где море было свободно от птиц. Чтобы до некоторой степени оценить, исчислить это количество, я наметил маленький четыреугольник и начал считать видневшиеся в нем точки. Их было более ста. Я, мысленно, быстро соединил несколько подобных четыреугольников, и у меня получились тысячи. Но я мог бы составить несколько тысяч таких четыреугольников, и все еще не охватил бы пространства, покрытого птицами. Миллионы, о которых нам говорили, были на-лицо. Только на минуту в этой картине наступило видимое спокойствие. Вскоре птицы начали опять взлетать вверх, и, как прежде, сотни тысяч в одно и то же время отделились от воды, чтобы взобраться на гору; по-прежнему около нас образовалась туча, по-прежнему мы чувствовали себя ошеломленными. Будучи не в силах что-либо видеть, оглушенный невообразимым шумом, я бросился на землю, и ко мне со всех сторон понеслись птицы. Из расщелин выползали все новые и новые, а туда проникали те, которых мы спугнули раньше; они опускались около меня, с живым удивлением рассматривая диковинную фигуру, оказавшуюся между ними; точно подплясывая на ходу, они приближались ко мне на такое незначительное расстояние, что я пытался схватить их рукой. Красота и жизненное возбуждение высказывались в каждом движении странных птиц. С изумлением замечал я, насколько самые лучшие изображения их неподвижны и холодны: я видел такую бодрость и оживленность в этих оригинальных существах, каких никак не предполагал в них. Ни одной минуты не сидели они спокойно, ворочая во все стороны шеей и головой, и очертания их принимали истинно-художественные линии. Казалось, что безмятежность, с которою я отдавался наблюдению, была вознаграждена неограниченным доверием с их стороны. Я обращался с тысячами, находившимися около меня, так как будто это были домашние животные, и под конец эти миллионы птиц обращали на меня внимания не более, чем на подобных себе.

Восемнадцать часов провел я в этом горном птичнике, чтобы ознакомиться с жизнью чистиков. Когда большое, багрово-красное полуночное солнце опустилось на небе и бросило свой розовый свет на отвесы нашей горы, наступило спокойствие, какое влечет за собою полночь даже и на крайнем севере. Море около гор опустело; все птицы, которые до того времени ловили в нем рыб и ныряли, взлетели на гору. Они сидели здесь всюду, где могли найти место длинными рядами по десяткам, по сотням, по тысячам, по сотням тысяч, образуя длинные ослепительно-белые полосы, так как все без исключения обращали грудь к морю. Их резкие звуки, похожие на «арр» и «эрр», оглушавшие нас, несмотря на слабость отдельных голосов, теперь затихли, и только прибой, разбивавшийся глубоко внизу у скалы, шумел и звучал перед нами, как и прежде. Только когда опять поднялось солнце, началось прежнее суетливое возбуждение, а когда мы, наконец, возвращаясь домой, спускались по той же дороге, по которой поднимались, нас еще раз окружила густая туча испуганных птиц.

Чистики обращают на себя внимание не только потому, что появляются в значительных массах, но еще более своим образом жизни. Их общественный инстинкт во время высиживания проявляется в поразительной степени. До начала этого периода чистики, как настоящие морские птицы, живут исключительно на открытом море, спокойно выдерживая суровую зиму и яростные бури. Даже в длинную зимнюю ночь они почти никогда не покидают своей северной родины, перенося сь стаями в несколько сот или тысяч от одного богатого рыбою места к другому, и умеют находить открытые места посреди льда с такой же уверенностью, как и места, обещающие им пищу на открытом море. Но когда солнце снова появляется над горизонтом, в них пробуждается лишь одно чувство—чувство любви, лишь одно желание—достигнуть возможно скорее горы, где находилось их родное гнездо. Около времени Пасхи они, большею частью вплавь, стремятся к своей горе. Однако между чистиками оказывается более самцов, чем самок, и не каждому достается счастие найти себе подругу. Это неравное отношение полов ведет у других птиц к нескончаемым ссорам, но между чистиками мир не нарушается. Достойные сожаления существа, которых мы, с нашей точки зрения и на нашем языке, называем холостяками, летят наряду со счастливыми, ласкающими на пути друг друга, парами к горе, взлетают вместе с ними на ее вершину и вместе отправляются на охоту, на соседнее море. Как только позволит погода, пары начинают приводить в порядок свои старые норки, расширять их, углублять, увеличивать их размеры и в случае надобности делать новые углубления. Когда все это сделано, самка кладет на голую землю, в заднем конце норки, единственное, но очень крупное, несколько приплюснутое пестрое яйцо и начинает высиживать его поочередно с самцом. Тогда для бедных холостяков наступает грустное время. Каждый из них с величайшей готовностью взял бы на себя отеческие попечения, если бы мог найти себе подругу. Но все самки уже спарились, и исканье их является напрасным. Тогда они решаются применить свои добрые намерения к делу, предлагая свои услуги счастливым парам. Когда в полуночные часы самка сидит в гнезде, а самец находится невдалеке от него, одинокие самцы присоединяются к нему, а когда самец сменяет подругу, улетающую в море за добычей, холостые друзья оберегают гнездо снаружи, как прежде это делал законный супруг. Если оба супруга одновременно улетают в море, они спешат получить по крайней мере некоторую награду за свою преданность. Немедленно пробираются они во внутренность норки и до поры до времени согревают оставленное яйцо. Бедняки, осужденные на безбрачие, хотят хоть немного посидеть на яйцах! Эта бескорыстная самоотверженность порождает явление, в котором мы, люди, можем позавидовать чистикам. На горах, где живут эти птицы, не бывает сирот. Если с супругом какой-либо пары случится несчастие, его вдова сейчас же находит желающего заместить его, а в еще более редком случае, когда хозяева гнезда, оба родители птенца, одновременно лишаются жизни, добродушные обойденные самцы тотчас же готовы высидеть яйцо до конца или воспитать новорожденного. В этом отношении чистики существенно отличаются от гагар и чаек. Птенец чистика не бежит из гнезда, а остается в нем. Покрытый густым, сероватым пухом, выходит он из скорлупы, где в нем пробудилась жизнь, но должен еще, по крайней мере неделю, оставаться в своей норке, прежде чем силы позволят ему

предпринять первый полет к морю. Этот первый полет, как показывают бесчисленные трупы на скалах у подошвы горы, всегда бывает рискованным и опасным. Руководимый обоими родителями, боязливо ступая на неокрепшие ножки, не надеясь еще на только-что отросшие крылья, птенец следует за своими воспитателями, которые понемногу сводят его с горы или ведут к такому месту, где прыжок в море может быть сделан с возможной безопасностью. Родители остаются на таком мысу иногда долгое время, прежде чем им удается понудить птенца спрыгнуть в воду. Отец и мать убеждают его; послушный, как все птичьи дети, птенец однако не внемлет их зову. Тогда отец решается на глазах у боязливого потомка броситься в море; неопытный птенец продолжает сидеть на месте. Новые попытки, новые увещания, уже настоя-



Обыкновенные чистики.

щие понуждения—и вот наконец птенец решается сделать сильный прыжок, погружается, как камень, глубоко в море, выкарабкивается, бессознательно повинуясь инстинкту, опять на поверхность, оглядывается кругом, смотрит на бесконечное море и... он—уже морская птица, не боящаяся никаких опасностей.

Жизнь на горах, где выводятся трехпалые чайки, также весьма своеобразна. Таким местом служит гористый мыс Свертгольм, лежащий высоко на севере, между Лаксенфиордом и Порзангерфиордом, невдалеке от Нордкапа. Я уже знал, какой вид представляют эти чайки на местах их высиживания. Фабер, превосходный знаток птиц крайнего севера, изобразил это по своему обыкновению, в нескольких словах.

«Они застилают солнце, когда поднимаются вверх, они покрывают шхеры, когда садятся; они заглушают грохот прилива, когда кричат; они окрашивают скалы в белый цвет, когда сидят на яйцах». Я поверил, после того, как увидел гагачьи острова и чистиковые горы, на-

званному почтенному ученому и страстно желал только посетить Свертгольм, как этого должен был бы желать каждый естествоиспытатель. Добродушный норвежец, шкипер почтового парохода, на котором я ехал, охотно исполнил, когда мы достаточно сошлись с ним, мою просьбу проехать мимо места выводки чаек. К этому месту мы приблизились поздним вечером. Уже на расстоянии от шести до восьми миль мы видели перед собой короткохвостых чаек, летящих стаями от тридцати до ста и даже до двухсот к тому месту, где находились их гнезда. Чем ближе мы подходили к Свертгольму, тем быстрее становился полет и тем многочисленнее были стаи. Наконец, перед нами показался мыс, почти отвесная, просверленная бесчисленными норами скала, около двух тысяч восьмисот футов длиною и от пятисот до семисот футов высотою. Издали она казалась серою; с помощью подзорной трубки на ней можно было различить бесчисленное множество белых точек и линий. Она имела вид исполинской аспидной доски, которую шаловливый ребенок-гигант исчертил рисунками во всех направлениях, или ее можно было принять за странную ювелирную вещь, украшенную цепями, кольцами и звездами. С темного дна больших и малых углублений светилось что-то белое; на извивающихся уступах виднелось что-то оживленное и яркое. Впечатление рисунка вызывали чайки, сидевшие на яйцах или в гнездах, и вполне верным оказывалось выражение Фабера: «они покрывают скалы, когда садятся».

Наш пароход, проходя около самой скалы, спугнул многих птиц, и перед моими глазами развернулась картина, подобная той, какую я видел на островах, населенных гагарами и чайками. Вдруг раздался звук от выстрела моего приятеля в скалу. Как бешеная зимняя буря проносится по воздуху и гонит друг на друга снежные облака, пока они не опустятся, рассыпавшись в хлопья,—так замелькали над нами, подобно снегу, испуганные птицы. Мы не видели ни горы, ни неба, а одну лишь массу движущихся существ, которую ни с чем нельзя было сравнить. Густая туча закрыла весь горизонт, и мне опять вспомнились слова Фабера: «они застилают солнце, когда летят». Северный ветер дул с большой силой, и Ледовитое море бешено билось у подошвы скалы, но еще громче раздавались резкие крики чаек, оправдывая последнее выражение Фабера: «они заглушают шум прибоя, когда кричат». Туча наконец спустилась на море; скрывавшиеся до тех пор очертания Свертгольма опять обозначились ясно, и новое зрелище приковало наши взгляды. На скалистых стенах сидело повидимому столько же чаек, сколько и прежде, и тысячи их прилетали и улетали. Когда второй выстрел спугнул новые стаи, птицы опять, как снег, спустились к морю, а скала все-таки оставалась покрытою сотнями тысяч. На море, насколько мы могли видеть, чайки лежали, подобно клубам пены, поднимаясь и опускаясь вместе с волнами. Как описать величие этого зрелища? Достаточно ли сказать, что в темную, волнистую одежду вплетались теперь миллионы и миллионы светлых жемчужин? Или лучше сравнить море с небесным сводом, а чаек со звездами? Не знаю, но я знаю только, что на море я никогда не видал ничего прекраснее. И, как будто этого очарования было еще недостаточно, полуночное солнце, скрывшееся на короткое время, вдруг облило своим розовым светом и мыс, и море, и птиц, осветило все гребни волн, как будто набросив на море крупную золотую сетку, и выделило еще ярче ослепительно белых чаек, озарив их розовым светом. Мы безмолвно смотрели

на это зрелище! И мы, так же как и все спутники даже и матросы, долго оставались неподвижными, пораженные чудной картиной, находившейся перед нами, пока, наконец, один из нас не прервал молчание и, повинуясь скорее желанию услышать звук собственного голоса, чем стремлению дать выход внутреннему чувству, произнес слова поэта:

„Mitternachtssonn' auf den Bergen lag
Blutrot anzuschauen.
Es war nicht Nacht, es war nicht Tag,
Es war ein eigenes Grauen" *)

---

*) Полуночное солнце покоилось на горах, красное, как кровь. Была ни ночь, ни день, а какие-то странные сумерки.

Азиатская степь и жизнь ее животных.

Необозримая степь, простирающаяся по всей Средней Азии, крайне однообразна и вместе с тем в высшей степени оригинальна. Охарактеризовать ее для поверхностного наблюдателя может показаться делом весьма легким, но эта задача будет трудной для каждого, кто привык глубже всматриваться в природу. На самом деле, степь вовсе не так однообразна, как обыкновенно предполагают. Очень неодинаковою является она взору во время своего расцвета и во время своего увядания, а также летом и зимою; совершенно различною представляется она во всякое время года в возвышенных и низменных своих частях и там, где заключаются в ее рытвинах и котловинах ручьи и реки, озера и болота. Она производит однообразное впечатление потому только, что в ней тысячу раз повторяется одна и та же картина, и все что приковывает и радует глаз, когда показывается перед ним впервые, наконец, становится привычным и обыденным.

Русские обозначают словом «степь», которое перешло и в немецкий язык, все лежащие в средних широтах безлесные местности, покрытые травянистой растительностью. Они называют этим именем безразлично и плоские и слегка волнистые равнины, и холмистые и гористые места, пространства, покрытые черноземом, дающим возможность производительного земледелия, или заключающие в себе лишь скудную почву и позволяющие только кочевнику пользоваться растениями, вырастающими без содействия человека. Это определение может быть признано вполне верным: и там, и здесь почва производит одни и те же растения, и там, и здесь живут одни и те же животные, и смена времен года обнаруживается в той же форме.

Степь должна быть названа безлесной областью, но нельзя сказать, чтобы она была вовсе лишена деревьев. В более широких и низменных речных долинах степи можно встретить и высокие кустарники, и деревья. При особенно благоприятных обстоятельствах ивы, серебристые тополи вырастают в большие деревья, которые могут соединяться в сплошные береговые уремы; березы разростаются и образуют рощи и небольшие лески, сосны укореняются на песчаных дюнах и образуют насаждения, которые нельзя сравнить с настоящими лесами, но которые могут быть так же часты, как и упомянутые береговые заросли. Однако, такие места появляются лишь в виде исключений, представляют собою нечто чуждое степи; их можно сравнить с оазисами пустыни.

Степь иногда расстилается перед глазами в виде необозримой, кое-где волнистой равнины; в других местах она может высказывать еще большее разнообразие поверхности, а в третьих—переходит уже в гор-

ные возвышенности. По большей части гряды холмов различной высоты со всех сторон облегают горизонт, и холмы ограничивают котловины, в которых вода ищет себе выхода, но не всегда может найти его. Из более длинных поперечных долин разветвляющихся холмистых гряд вытекает маленький ручеек, направляясь к более глубокому месту котловины, и оканчивается в озере, соляная кайма которого издали блестит и сверкает, как будто на ней еще лежит снег. Видимые на большом расстоянии холмы кажутся высокими горами; глаз теряет меру для настоящей оценки рельефа на этих широких пространствах, и когда на холмах выступают камни, образуя на их вершинах куполы и конусы, острия и зазубрины, в определении размеров может обмануться и самый опытный человек. Впрочем, не говоря уже о высоких горах вблизи китайской границы, и в киргизской степи попадаются настоящие горы, которые и вблизи производят такое же величественное впечатление, какое они оказывают издали, благодаря разорванности своих вершин и скатов. Чем выше и извилистее горы, тем богаче водой стекающие с них потоки, тем больше озера, тем обширнее солончаковые степи около соленых, не имеющих истока, озер. Но как бы ни разнообразился ландшафт, степь повсюду носит одну и ту же печать.

Было бы несправедливо утверждать, что степь вовсе лишена привлекательных и даже величественных пейзажей. Северогерманская равнина безотраднее и однообразнее, нежели степь. Уже в слегка волнистой равнине глаз с удовольствием останавливается на озерах, выполняющих все глубокие впадины; в холмистой местности или между высокими горами такие водоемы составляют истинное украшение ландшафта. Если и не всегда, то в большинстве случаев озера лишены там оттеняющих деревьев, даже оживляющих их кустарников; часто простираются они совершенно пустынными и обнаженными, но и в этом случае все же служат украшением степи. Зеркальная поверхность, кажущаяся голубою от отражения неба, приветливо улыбается путнику, и оживляющее присутствие воды дает себя чувствовать и здесь. А когда озеро на противоположном берегу окружено сплошными горами, или когда, как на Алакуле, высокие горы обрамляют картину, и степь резко и живописно выделяется вокруг сверкающей зеркальной поверхности, среди темных горных скатов и снеговых вершин, когда нежная дымка дали лежит на равнине и горах и заставляет предполагать красоты в тех местах, где их нет в действительности,—тогда охотно и с радостью можно признать, что и степь представляет в своем роде волшебные пейзажи.

Но и там, где приходится проезжать долинами, тянущимися на несколько миль, или брести по бесконечным равнинам, окаймленным только едва заметными волнистыми линиями на горизонте, и там, где приходится видеть почти не меняющуюся картину,—тот же вид на юге и на севере, на востоке и на западе,—и там, где среди беспредельного простора приходится испытывать чувство одиночества и отчужденности—степь все-таки представляет вид более богатый, чем напр., северогерманская низина, так как в степи растительный мир несравненно обильнее и разнообразнее, чем там. Лишь в тех местах, где кругом озера расстилается солончаковая степь, пейзаж кажется безнадежно-скудным и пустынным. В этих местностях все виды степных растений являются уродливыми и малорослыми, и их заменяют мелкие, жалкие солянки, лишь кое-где переходящие в кустарники. В промежутках между растениями более или менее толстым слоем лежит соль, и водяные простран-

ства, переполненные солью, между солончаковыми кустарниками, походят на пруды, покрытые льдом. Соль покрывает всю местность и поддерживает находящийся под нею ил в постоянной влажности; она так крепко пристает к земле, что лишь с большим трудом отделяется от нее. Поэтому путник или лошадь, проходящие по солончаковой степи, с каждым шагом поднимают большие комки соли и ила с земли, как будто ее покрывает мокрый снег; след повозки вдавливается глубокой колеей в вязкую массу, и катящееся колесо иногда покрывается солью, точно снегом при большом морозе. Такие места кажутся невыразимо пустынными и печальными, но о всех других этого сказать нельзя.

Растительный мир степи очень богат видами, гораздо богаче, чем обыкновенно полагают и чем думал я сам, не будучи знаком с действительностью. На черноземной почве тирса вместе с таволгой местами вытесняют все прочие растения; вперемежку с ними растут так же, как и на тощей почве, всевозможные цветы, украшающие землю, а там, где степь понижается в виде котловин, растительный мир постепенно принимает болотные формы, и тростник, преобладающий здесь, дает место для достаточного развития и другим злакам. Но в степи время цветения коротко, а время увядания и умирания весьма продолжительно.

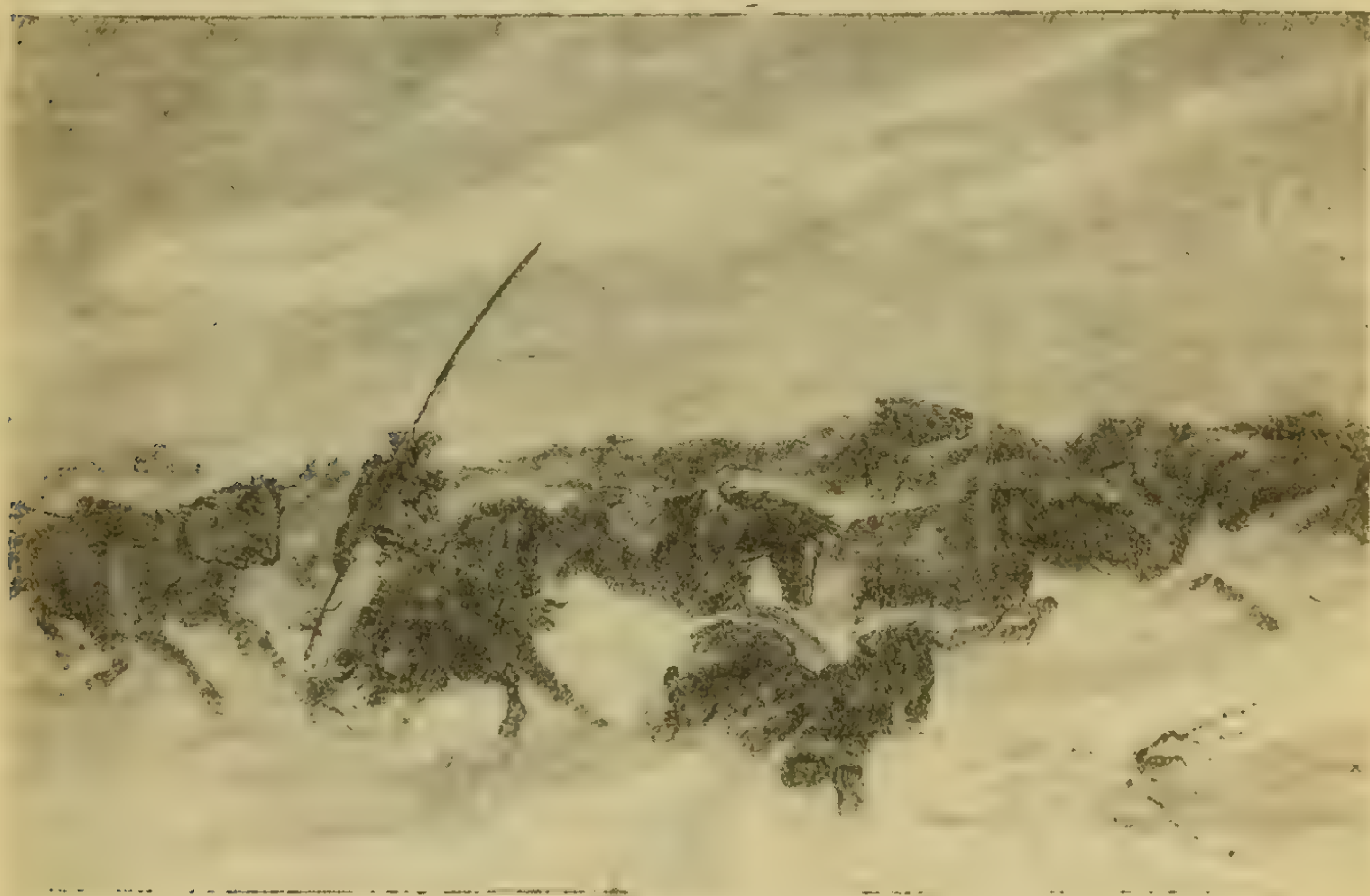
Без большого преувеличения можно сказать, что различие всех четырех времен года нигде не выступает так резко, как в степи; там пестрая краса цветов и засуха пустыни, привлекательность осени и безжизненность зимы чередуются друг с другом, там разрушительная сила выступает с таким же могуществом, как и созидающая, потому что солнечный жар действует так же гибельно, как и холод; там убитая зноем, сметённая бешеными бурями жизнь вновь пробуждается в ликующем виде при первых лучах весеннего солнца; там даже всепожирающий огонь бессилен уничтожить то, что пощадили солнечный зной и бури. Весна может казаться могущественнее в тропических странах, но нигде она не производит такого чарующего действия, как в степи, где она одна стоит лета, осени и зимы.

Степь еще зеленеет, когда наступает лето,—но полная краса ее уже исчезла. Только немногие растения начинают развиваться в это время; однако и они вянут в первые же дни иссушающего зноя, и их пестрая весенняя одежда становится желтой и серой. Сочная зеленая тирса еще противится засухе, но ее длинные, волосистые стебли достигли уже полного роста и волнуются в легком ветерке над зеленью, как будто подернутой серебряным покровом. Проходит еще несколько дней, и эта трава так же засыхает, как и другие травы, уже успевшие пожелтеть; весной они походили на молодой посев хлеба, а теперь походят на колосья, ожидающие серпа. Широкие листья ревеня лежат засохшими на земле; таволга уже завяла, жимолость высохла точно осенью, чертополох уже украсился семенами; только серовато-зеленые листья полыни остались без изменения. Ярко льются солнечные лучи на жаждущую землю; только изредка плотнее собираются кучевые облака, живописно украшающие небесный свод, и если иногда действительно разразится гроза, дождь бывает так незначителен, что едва может прибить пыль, поднимающуюся при каждом порыве ветра. Животные держатся еще в своих летних местопребываниях, но пение птиц уже замолкло. Только ползающие гады, бесчисленные ящерицы и змеи, чувствуют себя хорошо, и саранча носится бесчисленными роями, проносясь, как туча, по степи.

Прежде чем окончится лето, степь уже одевается по-осеннему— в желтовато-серую одежду с различными оттенками, без всякого изменения, без всякой привлекательности. Все легко ломающиеся растения разрушаются первой бурей; следующие порывы ветра мчат их в кружащейся пляске по всей степи. Цепляясь друг за друга ветвями, они скатываются в большие комки и прыгают, и крутятся, как привидения, гонимые бешеным ветром, на половину скрываясь в пыли, носящейся, как облако, над землею. Между тем на небе бегут, состязаясь с ними в быстроте, темные снеговые тучи. Наземные летние птицы давно уже улетели на юг, а водяные, собравшись массами на всех озерах, готовятся к отлету; млекопитающие, способные к далеким передвижениям, переходят стадами с одного места к другому, обещающему пищу; животные, подверженные зимней спячке, закупоривают выходы своих нор; ползающие животные забиваются в свои зимние убежища.

Одна морозная ночь покрывает все воды тонким льдом; еще несколько холодных дней, и оковы зимы охватывают большие и малые озера; только реки и ручьи, дольше противостоящие морозу, дают перелетным птицам, запоздавшим с отлетом, необходимые пристанища на следующие дни. Легкий северо-западный ветер гонит темные тучи над землею, и из них порошит мелкий снежок. Пригорки уже накинули на себя снежный покров; за ними и степные низины облекаются в зимнюю одежду. Предчувствуя непогоду, волк оставляет тростниковые заросли, где до тех пор находил он безопасный приют, и жадно крадется вокруг деревень и зимних стоянок кочевников, которые переместились теперь в самые защищенные и еще нетронутые скотом места низменной степи чтобы, по возможности, обеспечить свои стада от бедствий зимы. Они так же, как и оседлые казаки и крестьяне, принимают меры против алчного волка, выезжают в степь, выслеживают хищника по выдающим его следам до его логовища, спугивают его и гонятся за ним, понукая лошадь громкими криками и пугая зверя, с длинной палкой в руке, пока не настигнут истребителя своих стад. Вздымающийся снег обволакивает волка, коня и наездника; трескучий мороз жжет последнему лицо, но он на это не обращает внимания. После часовой или, самое большее, двухчасовой охоты волк, сделавший в это время от двадцати до тридцати верст, не в силах уже больше бежать: он оборачивается и становится перед своим преследователем. Язык далеко выступает у него изо рта, обледеневшая шерсть дымящейся шкуры поднялась вверх, в блуждающих глазах отражается смертельный ужас. Благородный конь медлит только одну минуту, затем, понуждаемый криком и плетью наездника, в последний раз кидается на ненавистного врага. Высоко вскидывает охотник свое губительное оружие, со свистом падает оно вниз, и волк, вздрагивая и хрипя, растягивается на земле. Гонимые голодом, подобно ему, дикие лошади и козули меняют в то же время свои местопребывания, чтобы уйти от угрожающей им опасности; даже дикие овцы, связанные со своими горами, переходят теперь с одной стороны гор на другую, и только зайцы и выносливые куропатки остаются на своих местах, при чем первые скудно пропитываются стеблями и корой, а последние—семенами и почками. В течение многих дней подряд не переставая идет снег; ветер, нагонявший тучи, наконец, утихает, но небо остается все так же темно. Направление ветра меняется, и он начинает быть еще резче и сильнее с востока, юго-востока, юга и юго-запада. Над белым покровом земли кружится

легкое облако, образующееся из поднимающегося снега; ветер превращается в бурю; облако возносится до самого неба, и, оглушая, одуряя самого привычного человека, грозя всему живому, над степью разражается буран или снежная буря, столь же страшная, как тифон или ядовитый самум. Два, три дня непрерывно, с одинаковой силой свирепствует буря, гоня перед собой и человека, и зверя. Человек, застигнутый ею в степи, гибнет, если его не выручит какой-либо счастливый случай; всякий, решающийся во время бурана выйти из дома, может погибнуть в деревне, даже в степном городе, как это действительно нередко случается. Только с конца февраля люди и животные избавляются от этой опасности и начинают дышать свободнее, хотя зима еще продолжает жестоко тяготеть над степью.



Табун лошадей в степи во время бурана.

Солнце поднимается выше, лучи его пригревают южные склоны гор и холмов, и темные пятна, со дня на день увеличивающиеся, хотя и прикрываемые иногда свежим снегом, выступают теперь повсюду; чувствуется первое веяние весны. Но она медленно вступает в страну, еще заключенную в оковы зимы. Лишь когда к оживляющему солнцу присоединяются теплые, южные ветры, не ранее начала, а по большей части и в половине апреля, снег быстро исчезает на нижних скатах гор, так же, как и в глубоких черноземных долинах, и только в расщелинах и крутых впадинах, в тени отвесных холмов и в густом кустарнике, еще целый месяц после того можно видеть глыбы снега. На всех прочих местах вновь пробуждающаяся жизнь мощно проявляет себя. Земля жадно впитывает влажность, обильно сохранившуюся после растаявшего снега, и оба соединившиеся теперь волшебника—солнце и вода—выказывают свою непреодолимую силу. Еще прежде, чем растают эти снеговые глыбы и быстро разрыхляющиеся льдины на озерах, все луковичные и вообще все зимующие растения уже тянутся

к солнцу своими листьями и стеблями. Между пожелтевшими стеблями злаков, между высохшими, посеревшими стеблями трав, не сломанных осенней бурей, пробивается первая зелень. Тогда поселенец и кочевник зажигают плотные поросли различных растений, и жадный огонь пытается истребить то, что пощадила осенняя буря. Как только он очистит почву, по крайней мере, в некоторых местах, растительная жизнь развивается еще энергичнее. Из земли, повидимому, бесплодной поднимаются лиственные и луковичные растения; развиваются почки, распускаются цветы, и степь украшается с неизобразимою роскошью. На бесконечно обширных пространствах мелькают желтые, темнокрасные, белые, белые с красными полосами тюльпаны. По одному, по два и по три поднимаются они из земли; они распространены по всей степи и цветут одновременно в таком количестве, что глаз видит их повсюду, куда бы ни обратился. Непосредственно за ними развиваются лилии, и новые, еще более очаровательные цветы, повсюду, где эти любимые дети степей находят условия, благоприятные для своего произрастания, оживляют горные склоны и глубокие долины, берега рек и болот. В большей скученности и разнообразии чем тюльпаны, выступают лилии, иногда в поразительном множестве: они сплошь покрывают обширные пространства, в некоторых случаях напоминают ржаное поле, усеянное васильками, или даже рапсовое поле в полном цвету. Обыкновенно каждый вид или разновидность встречается в скученных группах; но местами голубые лилии перемешиваются с желтыми, и оба цвета, дополняя друг друга, производят восхитительное впечатление.

Если эти первые дети весны украшают степь, то в то же время ее не менее красит и небо. Весною оно еще не бывает вполне чистым и постоянно покрыто облаками, даже и при хорошей погоде, на нем видны слоистые и кучевые облака, которые, сдвигаясь более или менее тесно, расходятся по всему небесному своду и кажутся, по окружности горизонта, лежащими на земле. Когда эти облака сгущаются, небо темнеет и солнце только кое-где бросает беглый свет на степь, согретую первым дыханием весны, тогда в ней являются краски, каких нельзя было и думать найти там.

Теперь уже каждый день присоединяет новые краски к прежним. Желтоватый оттенок, покрывавший весною стебли прошлогодней травы, исчезает все более и более, и весенняя одежда уже богато убранной степи выступает все живее. Через несколько недель степь расстилается в виде пестрого ковра, в котором можно найти все оттенки от темно-зеленого до желтовато-зеленого цвета: преобладающий серовато-зеленый цвет полыни получает теперь, благодаря поднявшимся травам и мелким кустарникам, более темные и светлые тоны. Чилижник, который в отдельности или вместе с бобовиком и жимолостью покрывает обширные пространства степных низменностей, стоит теперь в полной красе, так же как и два другие названные кустарника; ветки, покрытые цветами персикового цвета, резко отделяются от зелени злаков и трав и от нежных розовато-красных и розовато-белых цветов жимолости; эта последняя на соответственных местах образует плотные заросли или, находясь в полном цвету, обращает все окружающие краски только в фон, на котором выделяются ее сверкающие листья. Различные, безымянные для меня, незнакомого с ними, травы и растения резко бросают свет и тени и, столь же легко появляющиеся, как и легко увядающие листья других, пестрят ковер желтовато-зелеными или золотисто-желтыми пятнами. Издалека все краски сливаются в

почти однообразный серовато-зеленый цвет; по вблизи производит впечатление каждый отдельный цветок, и так как их—бесчисленное множество, и все они уже распустились, то они встречаются всюду, а в некоторых местах даже группами, развиваясь с полной пышностью в тени кустарников. Рядом с бесконечно разнообразными луковичными растениями выступают более ценные виды вики; рядом с невиданными растениями показываются хорошо знакомые, служащие украшением наших садов; наши чувства все более и более поддаются очарованию, и под конец уже начинает казаться, что находишься в безграничном одичалом цветочном саду.

Вместе с растительной жизнью весна пробуждает и животную жизнь степи. Прежде чем исчезнут последние следы зимы, в степи вновь появляются птицы, улетевшие оттуда осенью. При полном наступлении весны и животные, спавшие зимою, открывают свои подземные помещения, в которых они провели суровое время года без сознания, в мертвенном оцепенении. Как перелетные птицы присоединяются к зимующим, так и эти животные, проводившие зиму под землею, присоединяются к тем млекопитающим, которые не испугались зимы и сумели вынести ее в состоянии бодрствования. Одновременно с ними и насекомые справляют праздник своего возрождения, выползая из охранявшего их приюта или оканчивая свое последнее превращение. Лягушки, ящерицы и змеи также выходят из своих зимних убежищ, чтобы насладиться столь необходимым для них теплом первых солнечных лучей, в ожидании счастливого для них летнего времени.

Теперь степь оживает. Немногие свойственные ей виды животных появляются в большом количестве и повсюду, так что невольно бросаются в глаза. Млекопитающие не наполняют степь в таком громадном количестве, как стада антилоп—степи внутренней Африки или стада зебр и кваггг—пустыни южной Африки, или—ранее—необозримые вереницы буйволов—прерии северной Америки. И птицы ее не столь многочисленны, как птицы морских берегов и некоторых островов, африканских равнин и девственных тропических лесов; но и степные звери и птицы придают своеобразный характер ландшафту и на всю эту местность накладывают особую печать: и степь обладает своими характерными животными.

Сборными пунктами животных являются прежде всего воды: большие озера и малые водоемы, похожие на пруды, реки и ручьи. Еще раньше, чем можно распознать озеро по скученным тростникам, окружающим его берега или затопленным мелкою водою, сотни и тысячи болотных и плавающих птиц возвещают опытному глазу о невидимой еще для него воде. Прихотливыми зигзагами порхают и скользят по водяной поверхности рыболовы, буревестники и другие чайки; еще быстрее и порывистее преследуют свою добычу морские ласточки над камышевыми зарослями и заключающимися между ними пространствами воды; высоко в воздухе орлы-крикуны описывают круги; утки, гуси лебеди перелетают с одной части озера на другую; лунь раскачивается на камышевых зарослях; даже орланы и пеликаны показываются от времени до времени. О населении подобных озер, о количестве видов и особей можно составить заключение, только находясь на берегу или проникая в окружающие его камышевые чащи. В солончаковой степи, как это само собою понятно, животная жизнь не выступает в таком изобилии. Спешным полетом проносятся водяные птицы над неприветливыми, покрытыми солью берегами озер, перелетая от одного озерка к другому, и только так называемые смеющиеся

чайки-хохотуньи охотно садятся на невыпарившиеся еще, наполненные крепким рассолом, водоемы. Только одна поровая утка ищет здесь добычи, вместе с шилоклювом, который с особенным удовольствием посещает такие места и, соединяясь здесь парами или небольшими стаями, усердно брызгается в соленой воде, неутомимо размахивая во все стороны нежной головкой, с тонким, загнутым кверху, саблеобразным клювом. Из других птиц я здесь видал только немногих, напр., белую плиску, чибиса, ржанку; все прочие избегают негостеприимной пустыни тем охотнее, что в ее непосредственном соседстве находятся гораздо более заманчивые болота и привлекательные водные поверхности. Именно к озеру приманивает всех обилие пищи. Поэтому около него и



Птицы на степных озерах.

на его поверхности поселяются не только тысячи болотных и водяных птиц, но и славковых и воробьиных, которым сухая степь не доставляет нужных для них условий существования; вследствие этого здесь не только рыбные, но и все другие хищники находят свое ежедневное пропитание. Степные озера, конечно, нельзя сравнивать с береговыми озерами северной Африки, на которых во время зимы скопляются пернатые обитатели трех частей света, или со стоячими водами тропических стран, привлекающими к себе во всякое время сотни тысяч птиц, или даже с болотистыми низменностями нижнего Дуная, где каждое лето собираются бесчисленные стаи всевозможных птиц. В сравнении с этими скоплениями число крылатых обитателей степных озер не велико, но само по себе оно должно быть названо весьма значительным; своеобразный характер степных озер заключается, между прочим, в том, что они служат любимым местопребыванием птиц.

Здесь все живет в камышах: и волк, и кабан, и орел, и дикий гусь, и коршун, и лебедь, и ворон, и нырок, и дрозд, и славка, и камышевая синица, и воробей, и подорожники, и пеночка, и варакушка, и кобчик, и журавль, и чибис, и сорокопут, и болотный кулик, и перепел, и скворец, и овечья и белая плиска, и зимородок, и серебристая цапля, и колпица, и баклан, и пеликан. Камышевые заросли—настоящие убежища и пристанища для животного мира: они заменяют укрывающий и охраняющий лес; они образуют тайные приюты любви и семейного счастья, ликующих радостей и нежнейших забот, места, где выводятся и воспитываются птенцы.

Присутствие млекопитающих, живущих в камышевых зарослях, можно заметить по их следам; выгнать же их оттуда можно только при помощи собак; картина подвижного птичьего мира, напротив, всегда доступна опытному глазу наблюдателя, по крайней мере, в своих общих чертах.

Приближаясь из безводной степи к одному из озер, мы замечаем исчезновение распространенных повсюду жаворонков и появление ржанок, поражающих слух своим жалобным криком или показывающихся перед глазами, когда они суетливо, скачками, бегают по земле, местами подхватывая добычу и останавливаясь на мгновение с тем, чтобы сейчас же бежать дальше с такой же торопливостью. Еще прежде, чем мы доберемся до тростника, нам покажется чайка-хохотунья, может быть, буревестник, а в благоприятном случае и рыболов; первая далеко залетает в степи, направляясь к пасущимся стадам, производя приятное впечатление тем, что она носится над плотно сомкнутым стадом, схватывая на-лету какое-нибудь насекомое, или бежит позади стада, подобно белому голубю, отыскивающему в поле свою пищу. Далее замечаются уже в некотором количестве дикие гуси: это—самцы; в это время их подруги сидят на яйцах, оставляя их только на короткое время, чтобы побродить на травянистых местах вблизи тростника, пока это еще возможно, покуда родительские заботы, в которых и гусаки принимают участие, не заставляют их спешить к скрытым пастбищам в непосредственной близости озера, на которых осторожные родители укрыли на первое время своих серо-зеленовато-желтых птенцов. Еще более жизни можно найти на всех мелких, затопленных местах берега. На краях таких луж и прудков, в местах, удобных для состязания выступают друг против друга маленькие береговые птицы—турухтаны, боевые самцы, украшенные теперь всеми своими рыцарскими доспехами. Они наклоняют голову и направляют клюв, как взятое на-перевес копье, на играющий роль щита, расширенный перчатый воротник своего соперника, принимают вызывающее и в то же время забавное положение, отважно смотрят друг другу в глаза и бросаются один на другого, одновременно направляя и отражая удар перистым щитом. Ни один из благородных витязей не страдает при этом, ни один из них этим поединком не отвлекается от менее благородных занятий: во время нападения от одного из них не ускользает муха, только-что севшая на стебелек, а другой усматривает плавающего жука, вертящегося на водной поверхности, и каждый торопливо бежит к своей добыче, чтобы схватить ее и подкрепиться ею для нового боя. Между тем, другие уже готовы к битве, и борьба повидимому не имеет конца. Вдруг на воздухе останавливается камышевый лунь; герои поспешно оставляют место битвы, поднимаются сплошной стаей, быстро перелетают к другому пруду, а там снова начинают ту же игру. Стран-

ный лунь наводит ужас и на всех других птиц маленького водяного пространства. С шумом вскархивают более слабые утки и, обеспокоенные скорее их полетом, чем хищной птицей, через минуту за ними следуют и их более сильные товарищи; свистя крыльями, они взлетают вверх, кружат несколько раз над водой и опять всею стаей опускаются на нее. С свистящим звуком поднимается и кулик, с далеко раздающимся криком взлетает и бекас, и над ним близко останавливается хищник; но вспугнутые птицы забывают об опасности, достигнув высоты, и повидимому ни о чем не думают больше, кроме золотой весенней поры и охватывающего их теперь блаженства любви. Кулик опять разом опускается на водяную поверхность, порхает и носится с опущенными крыльями взад и вперед, с непрерывным криком поднимается опять и вновь опускается, пока призыв уже усевшейся подруги не заставит его поспешить к ней. То же делает и бекас, который, остановив свой разнообразный полет и поднявшись на некоторую высоту, мгновенно спускается вниз, расправляя при этом хвост, гибкие, узкие, острые боковые перья которого, одолевая сопротивление воздуха, издают характерный для этой птицы звук, похожий на блеяние. Только парочка длинноногих ходулочников, которая повидимому занята своим делом вдали от всей береговой суеты, не смущается появлением хищника, быть может, заметив мужественных Чаек-хохотушей, спешащих прогнать нарушителя общего мира. Случается, что луговой и степной лунь соединяются вместе, чтобы одолеть этого родственного им и ненавистного соперника. Последний немедленно уносится в высь, где через минуту свистит и трещит, как только что делал это над водой; тем временем к старым гостям присоединяются новые, привлеченные любопытством, свойственным всем общественным птицам, а также и богатой трапезой, готовой для них в каждой береговой лужице.

Достигнув, наконец, тростника, мы замечаем главным образом мелкую птицу, в особенности потому, что крупная прячется от нас. Журавль, который выводится в недоступных местах, благородная цапля, занимающаяся рыбной ловлей на внутреннем крае чащи,—все они скрываются по мере возможности, а присутствие выпи среди плотных скученных стеблей можно узнать только по глухому ее крику. Напротив, весь мелкий мир, о котором я упоминал раньше, почти беззаботно показывается глазам наблюдателя, поет и ликует, наполняя воздух громкими звуками. Доверчиво выходят плиски на травянистые луга, прилегающие к тростнику; бесстрашно влезает невыразимо-прелестная бородатка на стебель тростника и опять спускается с него, при чем его верхушка украшается сорокопутом, веселая песня камышевки оглушает охотника, с удовольствием прислушивающегося к трелям певчего дрозда, к нежному пению варакушки и к крику кукушки. На открытом месте в тростниках спокойно плавает чета водяных курочек со своими птенцами, а если лужа глубже, то и различные породы уток. Когда приближается вечер, сюда прилетают красные соколы, обыкновенные и розовые скворцы, чтобы провести здесь ночь, и тогда нет конца птичьей болтовне и шуму. Даже орел-крикун, ворон и серая ворона появляются здесь в виде ночных гостей, и баклан, и пеликан отдыхают на окраине озера после рыбной ловли.

Над поверхностью озера, наконец, летают и носятся чайки, ныряют морские ласточки, гоняются орланы и речные скопы, а там, где глубина не слишком значительна, ловят рыбу пеликаны и лебеди, наперебой с прожорливыми бакланами.

Речные долины, окаймленные деревьями и кустами, по количеству своего населения мало уступают озерам. Деревья хранят на себе гнезда крупных и мелких хищников; с их вершин раздается жалобный крик иволги, свист дрозда, стук дятла, воркование дикого голубя и клинтуха, а из густого подлеска доносится великолепный посвист соловья с такой чистотой и полнотой, что даже привычное ухо знатока с восхищением прислушивается к этим изредка раздающимся жалобам. Между тем на поверхности реки кружатся различные водяные птицы, так же, как на поверхности озера, и в тростнике и кустарниках берега ютится такое же пестрое общество, как и в озерных тростниковых чащах; здесь щелкает славка-пересмешник и раздаются знакомые нам песни серой славки и славки-пестрогрудки.

Проезжая через безводные пространства степи, мы видим перед собою иной животный мир. И здесь прежде всего бросаются в глаза птицы. По крайней мере шесть, а быть может и восемь видов жаворонка живут в степи и придают жизнь самым пустынным местам ее. Без перерыва звучит эта песня в ушах путника; она несется к нему и с земли, и с верхушек невысоких кустиков; с воздушных высот льются на него, и утром и вечером, богатые мелодии. Кажется, что слышишь всегда одну и ту же песню; многоголосый степной жаворонок перенимает напевы от нашего полевого и от сибирского жаворонка и смешивает их колена с своими; он не пренебрегает некоторыми звуками и болотных и короткопалых жаворонков, и все их песни смешивает со своими, при чем и те и другие мелодии звучат у него одинаково сильно. Когда мы в весенний день на наших лугах с восхищением слушаем полевых жаворонков, когда мы видим, как непрерывной чередой один из очаровательных певцов взлетает вслед за другим, чтобы пропеть восторженную песнь весне, мы с трудом можем поверить, что степь дает во сто раз более того, что можно услышать на наших полях, и между тем это несомненно справедливо. Степь и есть настоящая родина жаворонков; пара одного и того же вида живет непосредственно рядом с другой, между ними встречаются пары другого вида, и обширная степь, повидимому, едва может вместить их. Но жаворонки—не единственные обитатели таких мест. Здесь также часто встречаются и злейшие враги их—коршуны, угрожающие их дорогому юному потомству и представляющие собой других характерных птиц степи. В какой бы части степи мы ни находились, везде с уверенностью можно найти ту или другую породу этих хищных птиц,—на севере—лугового, на юге—степного коршуна; их можно видеть или поодиночке, когда, качаясь на своих крыльях, он проносится близко над землей, или же по четыре, по шести, по восьми и более, когда они охотятся на какой-нибудь обширной низине. Еще чаще, чем коршуны, хотя и не везде, попадаются два вида кобчиков, сходные между собой по повадкам, по красоте и грации движений. Повсюду, где могут усесться эти привлекательные дети степей—на телеграфной проволоке, на скалистом холме, на возвышающемся киргизском надгробном памятнике—не везде можно встретить их. Миролюбивые и общительные, независтливые к чужому счастью, хотя и преследующие одну и ту же добычу, они старательно охотятся на разного рода насекомых, начиная от прожорливой саранчи до маленького жучка. Они сидят спокойно, совершая пищеварение, но в то же время внимательно оглядываясь кругом на своих вышках, поднимаются, как только завидят добычу, легко и ловко летят туда, следят за ней и держатся с едва заметными колебаниями на

одном и том же месте, чтобы с высоты вернее наметить добычу. Когда это удается, они как камень падают на землю, хватают насекомое, разрывают и поедают его на-лету, опять поднимаются вверх и возвращаются на прежнее место. Нередко можно видеть, как десять или двенадцать кобчиков, принадлежащих к обоим видам, охотятся на одном и том же месте, и их изменчивые движения невольно приковывают к себе внимание наблюдателя. Их можно встречать изо дня в день, смотреть на них по целым часам, и их охота, похожая на игру, всегда будет привлекать к себе; эти птицы принадлежат к таким же характерным картинам степи, как соленое озеро, как тюльпаны или лилии, как низкорослый кустарник или пушистый ковыль, как кучевые облака на небесном своде. Характерен также и розовый скворец, почти столь же привлекательное явление, не менее усердный и удачный истребитель прожорливой саранчи, верный друг пасущихся стад, усердный помощник человека, так как он неутомимо защищает его посевы, почти священная птица в глазах степного обитателя. Не менее характерна и степная курочка, нечто среднее между курицей и голубем; большая дрофа и ее родственники, ошейниковая дрофа и малая дрофа или стрепет; последний является в степи неизменным украшением ее ландшафта, когда он в полной красе проносится своим свистящим полетом. И другие нарядные птицы могут быть названы степными обитателями: прелестный пчелоед и ракша, живущие совместно с кобчиками и голубями на крутых отвесных берегах; подорожник-ткач и красный воробей, ютящийся в высокой траве и кустарниках, и многие другие. Даже и ласточки не совсем отсутствуют в этой области, где прочные жилища человека столь редки. Тот, кто хорошо знает их, не удивится, что береговые ласточки выкапывают ямки для своих гнезд на самых крутых берегах озер; но нельзя не упомянуть, что домашние ласточки, которые из диких птиц превратились в полуручных, еще и в настоящее время прилепляют свои гнезда к скалам и оставляют скалу, когда воздвигается киргизский надгробный памятник, чтобы переселиться туда; что они ищут гостеприимства даже в юрте и находят его, если киргиз надеется пробыть на одном и том же месте достаточно времени, пока из яиц в гнезде, прилепленном к обрешетке юрты, не вылупятся птенцы и не научатся летать.

На тех же местах, птичье население которых я только-что перечислил, приютились и другие животные. Если не считать докучливых комаров и мух, оводов, ос и диких пчел, здесь можно встретить немного видов насекомых, но особи их весьма многочисленны и распространены повсеместно. То же можно сказать и о пресмыкающихся; из числа их в тех частях степи, какие мы проехали, мы видели несколько ящериц и многих змей, в том числе две ядовитых. Змеи встречаются не в таком количестве, как ящерицы, но все-таки число их очень велико. При нашем проезде через степь ежедневно тот или другой из сопровождавших нас киргизов наклонялся с лошади, с сверкающим ножом в руках, чтобы срезать голову змее. Когда мы, находясь в Змеиногорске, горном городке северного Алтая, захотели узнать, насколько в действительности это место достойно своего имени, посланные нами люди через несколько часов возвратились с такой богатой добычей, что полученный таким образом ответ на наш вопрос не мог не показаться поразительным. Мы не могли уже сомневаться и в верности предания о происхождении этого имени, которое рассказывает, что перед основанием города приходилось складывать в кучи и сжигать тысячи ядовитых змей. Земно-

водные и мелкие млекопитающие встречаются не так часто, как пресмыкающиеся; из первых встречается только один вид жабы, из последних—мыши, суслик, два вида кротов и изящный тушканчик.

Суслик и тушканчик—наиболее привлекательные из этих млекопитающих; первый из них весьма оживляет степь, так как в удобных местах охотно селится обществами и, подобно родственному ему сурку, образует настоящие колонии. Здесь, под вечер, можно видеть перед каждой норкой ее обитателя; он сидит спокойно, но когда видит приближающуюся повозку или всадников, быстро подбегает к ним, с лю-



Тушканчики.

бопытством осматривает их, и в ту же минуту, как молния, исчезает в свое безопасное подземелье; но уже через несколько минут появляется опять, очевидно с намерением убедиться—счастливо ли миновала угрожавшая опасность? Он держит себя так, как будто постоянно колеблется между любопытством и страхом. Для последнего у него достаточно оснований; если не человек, то волк, лисица и орел преследуют его по пятам; можно сказать с уверенностью, что там, где на придорожных столбах или деревьях вблизи деревень сидит орел, сусликов водится особенно много. Гораздо реже встречается тушканчик, несомненно самое грациозное из степных млекопитающих; его приходится видеть реже не потому, что численность его меньше, а потому, что он,

как ночное животное, показывается только после солнечного заката. В это время, а при лунном сиянии и несколько позже, можно видеть, как прелестный зверек осторожно поднимается из своей норки, потягивается и, прижав крошечные передние ножки к груди, на длинных задних ногах, похожих на задние конечности кенгуру, как на ходулях, скачет, поддерживая на ходу прямо-стоящее тельце в равновесии помощью длинного, опушенного с двух сторон хвоста. Не твердо, но довольно скоро, бегает он и по земле, останавливаясь то там, то сям: принюхивается и ощупывает длинными усами, отыскивая для себя подходящую пищу. Здесь подберет он какое-нибудь семячко, там выкопает луковицу; впрочем, о нем идет молва, что он не пренебрегает и падалью, разоряет птичьи гнезда, похищает яйца и птенцов из наземных гнезд и даже иногда охотится на более мелких грызунов. С своей стороны, я не решусь его оправдывать, так как подробное и точное наблюдение его жизни на свободе вообще затруднительно; можно сказать только, что чувства его остры, а умственные способности незначительны: боязливость и робость составляют его выдающиеся качества. Если он видит человека настолько близко, что тот внушает ему опасения, он тотчас же обращается в бегство; преследовать его было бы напрасным трудом: даже верхом едва его можно нагнать. Большими прыжками, напряженно вытягивая длинные задние ноги, пользуясь длинным хвостом, распущенным во всю длину, как рулем, пропадает он вдали; прыжок следует за прыжком и, прежде чем можно определить, куда он бросился, в какую сторону повернул, он уже исчез в темноте ночи.

В степных горах обитают виды животных, каких мы не встречаем в низинах, но лишь когда эти горы представляют собою крутые отвесные скалы, с покрытыми камнями склонами, глубокие, дикие ущелья и зубчатые, лишенные растительности, вершины. В узких зеленых долинах, по которым протекает ручеек, пасется линий гусь, свойственный средне-азиатским горам, красивая, живая птица, величиною немного более утки; в углублениях скал воркует горный голубь и родственный ему прародитель наших домашних голубей; со скалистых глыб, на которых живут каменные чеканы, горные подорожники и каменные снигири, раздается мягкая песня горного дрозда; около вершин порхают веселые горные галки и над ними кружит днем беркут, неслышно носится ночью филин, при чем оба они стремятся захватить водящуюся здесь во множестве каменную курочку или неосторожного сурка. Но более всего заслуживает внимания горный баран или архар киргизов, одна из крупнейших пород диких овец: один экземпляр этого вида мне посчастливилось убить в Архатских горах.

По рассказам тщательно расспрошенных мною киргизов, это горное животное обитает не только здесь, но и в других менее высоких горах западно-сибирских степей, стадами от пяти до пятидесяти штук, при чем самцы и самки до времени спаривания живут отдельно. Каждая группа держится своего местопребывания, пока ее не спугнут или не обеспокоят; если это случится, она переходит с одной горной гряды на другую, но никогда не заходит далеко. К солнечному закату стадо поднимается под предводительством вожака к самым высоким горным вершинам, чтобы провести ночь на этих местах, трудно достижимых или вовсе недостижимых для других зверей; когда солнце взойдет, старый и малый спускаются в долины, чтобы здесь пастись и пить у заранее избранных источников; в полуденную пору они ложатся в тени отвес-

ных скал, откуда все можно видеть кругом, отдыхают и пережевывают жвачку; к вечеру они опять спускаются на пастбище. Таково распределение их дня и зимой, и летом. Они потребляют все растения, какие едят и наши домашние овцы; в случаях нужды бывают столь же умеренны, поэтому зимой редко терпят недостаток в корме; весной они быстро отъедаются и затем до осени выбирают только самые вкусные растения. Обычная побежка их—быстрая, все ускоряющая рысь, которая становится еще торопливее, если их спугнуть; она превращается в стремительный галоп, если за ними гонится всадник, и тем успешнее спасает их от преследователя, что во время бегства они всегда бросаются к скалам. На бегу, как на равнине, так и в горах, они следуют всегда вереницей, плотно держась один сзади другого, и опять принимают этот порядок, если что-нибудь их внезапно напугает и заставит рассеяться. По скалам они двигаются с поразительной легкостью, ловкостью и уверенностью—все равно, поднимаются ли они вверх или спускаются вниз. Без малейшего напряжения, без всякой торопливости карабкаются они



Суслики.

взад и вперед по отвесным тропинкам, перепрыгивают через широкие пропасти, бросаются в глубину их с высоты, как будто они—птицы и могут летать. Замечая, что их преследуют, они останавливаются от времени до времени, взбираются на самую высокую вершину скалы, чтобы оттуда осмотреть местность, и затем продолжают свой путь так спокойно, как будто смеются над своим преследователем. Сознание своей силы и уменье взбегать по горам придает им, действительно, гордое достоинство. Они никогда не спешат, и им приходится раскаиваться в этом только тогда, когда они попадаются подкрадывающимся к ним или ловко укрывающимся стрелкам.

Горные бараны, до времени спаривания, а овцы постоянно живут в полном мире и согласии. Спаривание начинается во второй половине октября и продолжается почти целый месяц. В начале этого времени мужественные и задорные бараны приходят в величайшее возбуждение. Старейшие из них изгоняют всех более слабых. С самцами равной силы

они борются на жизнь и на смерть, с угрожающим видом наступают на противника, поднимаются на задние ноги, бросаются друг на друга и сталкиваются крепкими рогами с такой силой, что в горах отдается громкий гул. Иногда случается, что оба они перепутываются рогами, не могут разнять их и оба погибают, или же один сильным толчком сбрасывает другого в пропасть, и тот разбивается в глубине ее.

В конце апреля или в начале мая овца приносит одного или двух ягнят. Эти ягнята, как это можно было видеть на животных, попадавших в неволю, начинают бегать уже через несколько часов после рождения, вместе со старыми, а через несколько дней следуют за ними по всем гропинкам, с ловкостью и уверенностью, свойственной их виду. Если им угрожает серьезная опасность, мать прячет их в скалах, чтобы отвлечь от них врага, и после того, как они счастливо избежали его, опять возвращается к ним. Ягненок, припадая к земле, лежит недвижимо, так что его можно даже принять за камень, и это часто спасает его от преследований врагов, но всего реже от горного орла, который неохраняемого матерью ягненка прямо схватывает и убивает. Так случилось в Архатских горах, во время нашей охоты. Пойманные ягнята, которых мы доставали от киргизов, были премилые создания и, хватаясь охотно за вымя овец, которых приводили к ним, доказывали тем, что воспитание их не стоило бы большого труда. Если бы удалось этих гордых животных превратить в ручное состояние, они могли бы быть чрезвычайно ценными домашними животными. Но киргиз думает не об этом, а о том, как бы убить одну из этих диких овец. Впрочем, он охотится на этих животных без всякого увлечения, так что волк, который зимой, при глубоком снеге, всегда разорвет одного или несколько архаров, остается самым опасным врагом их.

Подобно горам, и безводные, пустынные пространства степи, напоминающие африканские пустыни даже весною, заключают в себе особых свойственных им животных. На таких пространствах пропадают даже и низкая, клочковатая трава и те низенькие кустарники, которые можно видеть в других местах высокой и низменной степи; за то здесь приютился особый куст, который больше нигде не встречается (саксаул), замечательный твердостью своих сучьев, не поддающихся топору. Он произрастает на немногих местах, где обильные дожди размыли тощую красную глину, но составляет здесь иногда довольно обширные заросли и под своею тенью дает защиту другим растениям, так что поросшие им места кажутся маленькими оазисами пустыни. Впрочем, эти оазисы оживлены не более, чем окружающая степь; кроме сорокопута, славки и пеночки там не встречается никаких птиц и тем менее млекопитающих. Напротив, в самой пустыне водятся замечательные степные животные на-ряду с другими, распространенными повсюду: вместе с короткопалым и степным жаворонком, здесь можно найти черного болотного жаворонка, цвет которого кажется поразительным для каждого, знающего, что все наземные птицы в своем перистом покрове воспроизводят окраску окружающей их местности, и полагающего, что черного жаворонка скорее можно было бы встретить на черноземе. Рядом с маленькой ржанкой живет степной чибис, рядом с большой дрофой —стрепет, рядом с пустынной курочкой—степная курочка (садж), та самая, что несколько десятков лет тому назад массами появилась в Германии, основалась на дюнах и песчаных местах, и была так негостеприимно приветствована там огнестрельным оружием, сил-

ками и даже ядом, что поспешила оставить жестокую чужбину и, вероятно, направилась опять на свою родину. Здесь же обитают, вместе с часто встречающимся сусликом, степная антилопа и кулан, быстроногая дикая лошадь степей. Для того, чтобы не выйти из пределов отведенного мне времени, я ограничусь кратким описанием последнего животного.

Если признать верным закон эволюции, мы могли бы видеть в кулане родоначальника нашей лошади. Такое предположение, во всяком случае, удовлетворительнее ничем неподкрепленного утверждения, будто родоначальник нашего благородного домашнего животного уже вымер. Вместе с тем, оно, мне кажется, вероятнее мнения, что т. наз. тарпан, водившийся еще недавно в приднепровских степях, должен считаться не одичалой, а дикой лошадью. Чем определеннее и несомненнее новейшие исследования, признающие наших собак, различных пород, потомками ныне живущих волка и шакала, тем более основания приобретает и высказанное мною предположение. Родоначальница нашей домашней кошки живет и теперь в Африке, а родоначальница нашей козы—в Малой Азии и на острове Крите. Правда, мы до сих пор не можем притти ни к какому решению относительно родоначальников нашей овцы и нашего рогатого скота *), но, с другой стороны, я слышал из трех источников, между прочим от одного киргиза, который сам охотился за животными, вполне сходные известия о верблюде, живущем и до настоящего времени во внутренних степях Монголии и обладающем всеми свойствами дикого животного. Я не сомневаюсь в правдивости полученных мною сообщений и могу только оставить открытым вопрос, подобно вопросу о тарпане,—может ли считаться этот верблюд диким предком домашнего верблюда киргизов или вновь одичавшим потомком прирученного? Если теперь все более и более приподнимается покров, скрывавший или скрывающий истину от наших глаз, если родоначальники наших домашних животных отыскиваются один за другим и оказываются среди еще живущих видов, то почему должен был вымереть и исчезнуть без следа предок лошади, жизненным условием которой обширная, беспредельная степь соответствует во всех отношениях? Мы должны искать прародителя лошади среди живущих еще диких лошадей Старого Света, и между ними никто не имеет более права, чем кулан, на высокую честь быть признанным родоначальником благородного создания. Правда, тарпан подходит ближе к лошади, чем кулан. Но если гиксы в самом деле привели лошадь в древний Египет, каменные памятники которого впервые показывают нам это домашнее животное, или если египтяне сами, еще ранее эпохи гиксов, т.-е. по крайней мере за две с половиною тысячи лет до нашего летосчисления, приручили лошадь и превратили в домашнее животное, то они без сомнения взяли ее не в днепровских и не в донских степях. Они могли найти ближе, в степях и пустынях Малой Азии, Палестины, Персии и в некоторых низменностях Аравии и Индии еще и теперь живущую там дикую лошадь, и именно нашего кулана. Хотя он во многих отношениях отличается от лошади, но во всяком случае не больше, чем борзая со

*) Много данных свидетельствуют в пользу того, что родоначальником овцы был южно-европейский муфлон, а родоначальником крупного рогатого скота—так называемый—первобытный бык или тур (Bos primigenius) а азиатского скота—азиатский бантенг (Bos condaicus). *Прим. ред.*

бака, пудель или ньюфаундленд—от волка или какой другой первобытной собаки нашей страны, не более, чем такса, шпиц или болонка—от шакала, но более, чем пони—от арабской лошади, не более, чем першерон—от английской скаковой лошади. Различия между домашней и дикою лошадью, которую я считаю вероятным предком ее, для нас кажутся весьма значительными; но лошадь и кулан повидимому смотрят друг на друга, как на детей одной крови—они охотно дружатся между собой.

Когда мы 3 июня 1876 года проезжали, между Зайсанским озером и Алтаем, по пустынной степи, послужившей мне образцом для помещенного выше краткого описания, мы встретили в течение утра не менее пятнадцати куланов, из которых двое паслись на широком хребте не слишком отдаленного холма. Резко и отчетливо обозначались обе фигуры на голубом небе, и охотничья страсть сильно волновала и нас, и сопровождавших нас киргизов. Одно из животных отделилось при нашем приближении и побежало рысцой к горе; другое осталось на месте, делая такие движения, как будто находилось в раздумье, то поднимая, то опуская голову, и наконец побежало в нашу сторону. Все взялись за ружья; киргизы медленно и осторожно составили большой полукруг с намерением загнать в нашу сторону поразительно неразумное и непостижимо беспечное животное. Более и более, хотя и с остановками, но все подвигаясь вперед, приближалось к нам это дикое однокопытное; мы уже смотрели на него, как на верную добычу. Вдруг на лице ехавшего около меня киргиза промелькнула улыбка; он не только разгадал причину такого глупого поведения животного, но и узнал его самого. Это была киргизская лошадь, своей мастью похожая на пегого кулана: она убежала из табуна своего хозяина, вероятно, заблудилась, встретилась с дикими лошадьми и, за неимением лучшего общества, осталась у них; а теперь узнала своих в приближавшихся лошадях и оставила новых друзей, не заботясь больше о них. Близко подойдя к нашим киргизам, она опять остановилась, как будто еще раз обдумывая—следует ли ей свою зажившую спину снова гнуть под тяжелым, натирающим до ран седлом; но за первым шагом к возвращению последовали и другие: не думая о бегстве, она дала надеть на себя недоуздок и через несколько минут трусила так равнодушно с боку ведшего ее верхового киргиза, как будто никогда и не знала свободной жизни своих предков. Таким образом мы убедились из собственного опыта в справедливости сообщенного нам факта, что лошадь и кулан живут иногда в обществе друг друга.

Кулан—действительно гордое, во всех отношениях привлекательное создание, полное достоинства, силы и мужества. С любопытством смотрит он на всадника, приближающегося к нему; затем отбегает ленивой рысцой, как будто смеется над преследователем, и, точно играя, хлещет себя хвостом по бокам. Если всадник пустит свою лошадь вскачь, кулан переходит в легкий, но быстрый галоп, который несет его по степи с быстротой ветра и помогает ему быстро исчезнуть из глаз. Но и на полном скаку он от времени до времени сдерживает бег, останавливается на минуту, оборачивается, чтобы взглянуть в лицо своему преследователю, оглядывается, затем повертывается вновь, смело взбрасывает задними ногами в воздух и с прежней легкостью мчится дальше. Бегущее стадо выстраивается всегда вереницей; оно представляет красивый вид, когда по приказанию вожака вдруг останавливается, как будто колеблется, и затем несется опять.

Как у всех лошадей, и у дикого сплоченного табуна куланов жеребец играет роль предводителя и вместе с тем неограниченного властелина. Он водит табун на пастбище и дает знак к бегству, мужественно защищает его от нападающих хищников и не терпит среди своих подчиненных никакого сопротивления, а также и никакого соперника и вообще взрослого жеребца в стае. Поэтому в тех местах, где водятся куланы, можно видеть одиноких жеребцов, непринятых ни в один табун, побежденных в жестоких и продолжительных битвах, изгнанных отовсюду и вынужденных блуждать до ближайшего времени спаривания. В сентябре, они опять приближаются к табунам, из которых старый жеребец изгоняет теперь возмужавших молодых жеребцов, и начинает жестокую борьбу, как только увидит противника. По целым часам можно видеть, как в то время они стоят на вершинах крутых горных хребтов; широко раскрытые ноздри обращены к ветру, глаз озирает лежащую под ними местность. Как скоро изгнанный видит другого жеребца, он мчится на него во весь опор и вступает в борьбу с ним, пуская в ход зубы и копыта, до полного изнеможения. Если он одержит победу над вожаком табуна, он вступает в его права, и кобылы следуют за ним, как следовали прежде за побежденным. После времени битв наступает время переселения; жестокая зима перегоняет и эти табуны с места на место, и только после настоящего появления весны, табун возвращается на свои старые пастбища. Здесь кобыла в конце мая или начале июня приносит жеребенка, вполне похожего на жеребенка нашей лошади, на вид несколько неуклюжего, но на самом деле очень бодрого и подвижного. Мы имели особенную удачу видеть и детеныша кулана.

Поднявшись на продолговатый холм упомянутой выше бесплодной степи, мы увидали неожиданно на небольшом расстоянии трех старых куланов и родившегося, повидимому, за несколько дней перед тем жеребенка. Наш русский проводник выпустил в них пулю; дикие лошади тотчас же обратились в бегство, едва касаясь земли тонкими копытами, выказывая свое несравненное проворство и приостанавливая по временам свой бег повидимому ради жеребенка. За ними в ту же минуту бросились киргизы и казаки нашей свиты. Тотчас же понеслись, охваченные тем же порывом, и наши слуги; далее тронулись и мы. Это была настоящая дикая охота. Все еще не вполне пользуясь своими силами, дикие лошади бежали по направлению к дальним горам, между тем как всадники пускали своих лошадей во весь опор, так что животные почти расстилались по земле. Громкий крик киргизов, топот несущихся во всю прыть лошадей, ржание наших медленнее бегущих верховых лошадей, развевающиеся плащи и кафтаны, вздымающаяся пыль—наполняли и оживляли пустыню. Все дальше и дальше уносились преследуемые. Наконец жеребенок отделился от своих старших спутников и несколько отстал; расстояние между ним и матерью, беспрестанно бросавшей на него заботливые взгляды, все увеличивалось, а пространство между ним и наездниками все уменьшалось: прошло еще несколько минут, и он был пойман. Без сопротивления отдался он своим преследователям; в нем еще вовсе не замечалось дикости, почти непреодолимого упрямства, не поддающегося обузданию, и своенравия старых животных его породы. Добродушно смотрел он на нас своими большими, живыми глазами, повидимому с удовольствием давал гладить свою нежную шерсть, без сопротивления позволил себя вести на привязи, детски-беззаботно улегся около нас, чтобы после бешеной скачки, доставившей на

его долю, найти очевидно нужный ему покой; это было прелестное, всех привлекавшее к себе создание. Кто мог найти для него кормилицу в виде молочной кобылы; кто мог доставить ему покой и уход? И то и другое было невозможно, и милое существо окончило жизнь на второй день. Взрослую дикую лошадь мы убили бы с наслаждением охотника, но смерть молоденького жеребенка доставила нам большое огорчение.

Напрасно старались мы перехитрить какое-нибудь из старых животных; напрасно ложились в засаду в виду матери рядом с привязанным жеребенком; напрасно устраивали мы погоню: никто из нас не мог ее догнать. Я расставался с скудной пустыней с сожалением, как охотник, но с чувством высшего удовлетворения, как естествоиспытатель: я познакомился с благороднейшим млекопитающим степи.

Добавление редактора.—Мнение Брэма о происхождении нашей лошади от кулана объясняется в значительной степени тем, что, когда писалась им эта книга (в 70-х годах), не была еще известна дикая лошадь Пржевальского (Equus Przewalski), открытая этим путешественником в Джунгарии и доставленная затем в нескольких десятках экземпляров в разные зоологические сады Европы и во многие парки английских лордов. Эта дикая лошадь обладает многими признаками сходства с дикою лошадью палеолитического века Европы, за которою охотились тогдашние обитатели Франции, как это мы можем заключить из многих изображений ее, вырезанных на кости и найденных в отложениях того периода в пещерах или оставленных от того же времени на стенах пещер. Есть много оснований полагать, что первое приручение лошади последовало в среднеазиатских степях, откуда она постепенно распространилась на запад, где и способствовала приручению европейской дикой формы. Приручение верблюда также произошло вероятно в Средней Азии, где Пржевальским найден и дикий вид верблюда. Что касается тарпана, водившегося некогда в южно-русских степях, то это была, вероятно, одичавшая лошадь, а не дикая; табуны подобных одичавших лошадей водились раньше и в пампасах Аргентины, и в степях Австралии, где диких лошадей, по крайней мере первое время после появления там человека, не было.

Степные кочевники и их стада.

Как ни богата среднеазиатская степь, как ни пестра кажется она тому, кто вступает в нее весною, как ни много плодородной земли заключает она, тем не менее оседлость, жизнь на одном и том же участке земли она допускает лишь в более благоприятных местностях. Постоянного передвижения требует она почти от всех своих детей—и от человека, и от животных. Некоторые пространства ее земледелец мог подчинить себе; в некоторых местах он образовал деревни и города, но в общем степь составляет царство кочевников, которые умеют приспособиться ко всем ее условиям.

Среди кочевников выше всех стоят киргизы, как по численности, так и по культуре. Область их населения простирается от Волги до Тянь-Шаня и от среднего Иртыша на юг до озера Балхаша, даже почти до Хивы и Бухары. Народ их делится на орды и племена, на степных и горных скотоводов, но он—один и тот же по происхождению и языку, по верованиям, нравам и обычаям, как бы ни казались отдельные племена различными между собой *). В Оренбургской и Уральской степях кочует Малая орда, а в степях между Волгой и р. Уралом—отделившаяся от нее ветвь, называемая Букеевской ордой; далее на восток в степях Иртыша и Балкаша живет Средняя орда; наконец, еще далее в Туркестане, до Бухары и Хивы находятся местообитания киргизов, называющих себя Большой ордой. Киргизами не называет себя впрочем ни одна из ветвей этого народа; киргиз—бранное слово, означающее «разбойник»; настоящее имя этих людей—казак или—как его неточно передают—кайсак.

Киргизы, которых я все-таки буду называть этим именем, представляют собою одно из тюркских племен, о принадлежности которых к той или другой расе существуют различные мнения. Значительная, если не бо́льшая часть путешественников, видят в них настоящих монголов, между тем как другие, с большей основательностью, считают их смешанным народом, который, в том или другом отношении напоминая монголов, в общем выказывает более признаков индо-германской расы

*) Киргизы представляют из себя две народности: так называемых киргиз-казаков—многочисленный народ, занимающий, главным образом, так наз. Киргизский край и степи Туркестана и так назыв. кара-киргизов (дикокаменные киргизы или буруты), более малочисленных, живущих около озера Иссыкуля в Тянь-шане и на Памире. Обе эти народности говорят на тюркском языке, обе сходны между собою по образу жизни, но киргизы-казаки смотрят с презрением на кара-киргиз и не считают их своими родичами. Исторические судьбы обоих народностей были различны, пока обе они не были подчинены русской власти.

Виденные мною киргизы, принадлежавшие все к Средней орде, среднего или маленького роста и хорошо сложены; лиц их, правда, нельзя назвать красивыми, но они и не так карикатурны, как у монголов; кисти рук и ступни их изящны, цвет кожи—смуглый с желтоватым оттенком, глаза—карие, а волосы черные. Скулы у них выступают редко и подбородок лишь в исключительных случаях суживается настолько, чтобы лицо казалось угловатым; глаза, средней величины, и наружные углы их вытянуты горизонтально, т.-е. имеют миндалевидную форму, но без косого разреза; нос по большей части прямой, реже орлиный, рот умеренный, борода небольшая, но не слишком редкая. Правда, между ними можно видеть и настоящие монгольские лица, в особенности у женщин и детей бедного класса; однако, между ними я встречал и красивых женщин и приходилось видеть такие карикатурные лица, как у других, несомненных монголов. Во всяком случае, смешанный тип выступает



Киргизы.

у киргизов в большей степени, чем тип какой-либо определенной расы. Я видал мужчин, которых, не зная об их народности, можно было бы безусловно причислить к самым кровным индо-германцам, и знавал других, у которых, при самом лучшем желании, нельзя было не признать монгольского характера. Все, принадлежащие к старинным родам, вообще обладают существенными признаками индо-германцев; люди низшего и среднего происхождения, напоминая монголов некоторыми особенностями, иногда подходят скорее к ним.

Будучи турецким (тюркским) по своим основным чертам, костюм киргизов вовсе не способствует тому, чтобы выставить их сложение в выгодном свете. Последнее скрывается зимою меховыми шапками, шубами и сапогами с широкими голенищами; летом оно также не выступает в достаточной степени. Бедный киргиз, кроме шубы и неизбежной меховой шапки, носит еще рубашку, кафтан и широкие шаровары; напротив, знатный и богатый, как все жители Востока, надевает несколько одежд одна на другую; однако, и тот, и другой все нижние части костюма, за исключением шубы, заправляют в широкие шаровары, чтобы

не терпеть неудобства при верховой езде. Темные цвета предпочитаются светлым и ярким, хотя и последние не совсем пренебрегаются; главными украшениями служат вышивки и галуны. Почти каждый киргиз носит на поясе мешечек с серебряными украшениями и огнивом и нож в такой же оправе; других украшений у него не бывает, за исключением неизбежного перстня с печатью и пожалованной медали, если она у него есть.

Об одежде женщин я могу сказать немного, во-первых, потому, что скромность не позволяла мне расспрашивать о том, что я не мог видеть, и во-вторых, потому, что жен богатых и знатных киргизов мне увидать совсем не пришлось, а других я заставал лишь в обыденной, а



Киргизы, перекочевывающие со стадом в горы.

не в праздничной одежде. Кроме шубы, сапог и башмаков, похожих на ту же одежду и обувь у мужчин, женщины носят шаровары, также немногим отличающиеся от мужских, рубашку, поверх ее верхнюю одежду, похожую на рясу, доходящую до колен и перехваченную посредине, а на голове—или платок, завязанный в виде тюрбана, или капюшон вроде монашеского, закрывающий голову, шею, плечи и грудь.

Одежда и мужчин, и женщин, за единственным исключением красивых сапог для верховой езды и башмаков, сделана неуклюже. Характерны для тех и других, очевидно соответствующие требованиям климата, несоразмерно длинные, далеко спускающиеся ниже рук, рукава верхней одежды.

Кочевая жизнь киргизов, обусловливаемая свободной пастьбой многочисленных животных их стад, вызывает необходимость в таком

жилье, которое легко было бы ставить, собирая без особых затруднений на одном месте и опять разбивая на другом, и которое тем не менее давало бы достаточную защиту от сурового и негостеприимного климата. Юрта соответствует этим требованиям лучше всякого другого жилища кочевников; мы сказали бы не слишком много, если бы признали ее за самую совершенную из всех палаток. Тысячелетний опыт сделал ее тем, что она есть,—в своем роде несравненным жилищем кочевника. Легкая и удобно переносимая, непроницаемая для воды и теплая, защищающая при всякой погоде и жаре, удобная, простая и в то же время допускающая богатые внутренние и наружные украшения, она соединяет в себе так много превосходных качеств, что чем больше узнаешь ее, тем больше ценишь, чем дольше живешь в ней, тем более уютною ее находишь. Она состоит из деревянного остова, из разборной обрешетки, образующей нижние, вертикальные стены юрты и круглого купола, составляющего верхнюю часть и состоящего из кольев, опирающихся внизу на решетчатую стенку, а вверху врезающиеся в углубления деревянного кольца. Остов покрывается войлоками; в стенке устраивается дверь, земляной пол внутри устилается войлочными коврами. Юрта легко разбирается и, вследствие своей круглой формы, может противостоять даже сильным бурям. На ее установку требуется не более получаса, на разборку еще менее; для перевозки ее с места на место достаточно силы одного верблюда; но для ее изготовления и украшения нужно много времени и искусства хозяйки.

Юрта составляет важную часть движимого имущества киргиза У богатых людей их бывает от шести до восьми, но они охотнее расходуются на украшение одной юрты, чем на постройку многих, так как с них взимаются подати не по числу голов их стада, а по количеству принадлежащих им юрт. Как бы то ни было, знатный киргиз щеголяет своей юртой, устраивая ее со всевозможною роскошью из дорогого войлока, с наружными и внутренними украшениями из лоскутов разноцветного сукна; но еще более дорожит он ценными коврами и шелковыми, искусно сшитыми и вышитыми занавесями, которыми он в праздничные дни украшает внутренность своего жилища. Такие ковры и занавеси переходят по наследству от отца к сыну, и обладание ими ценится не менее обладания нечеканным серебром.

Тем не менее, богатство кочевника оценивается не такими побочными предметами, а единственно и исключительно его стадами. Самый беднейший хозяин юрты, чтобы жить, чтобы вести борьбу за существование, должен обладать многочисленным стадом. Скот, который он пасет, составляет для него единственное обеспечение; только его домашние животные спасают его от гибели. Стада богатых людей считаются тысячами голов, стада бедных—по крайней мере сотнями; но и самый богатый может обеднеть, если его стада падут жертвою чумы, бедный же может умереть с голоду, если то же бедствие постигнет его скот. Широко распространяющаяся сибирская язва уничтожает благосостояние целых племен и тысячи людей буквально осуждает на голодную смерть. Поэтому нет ничего удивительного, что все мысли и стремления киргиза связаны с его стадами, что его нравы и обычаи соответствуют этой тесной связи человека и животных, где первый вполне зависит от последних.

Лошадь для киргиза не только полезнейшее, благороднейшее и наиболее ценимое из домашних животных; она не только идеал домаш-

них животных вообще, но и идеал беспредельной красоты, мерило, которым измеряется богатство и бедность. Вместо слова «лошадь» киргиз просто употребляет слово «домашнее животное», вместо слов «слева» и «справа», он говорит: «сторона, с которой садятся на лошадь», и «сторона, на которой держат кнут». Лошадь—гордость юноши и девушки, мужа и старца, молодой и пожилой женщины; похвалу и презрение всаднику выражают одобрением или порицанием его лошади; удар, наносимый лошади без всадника, назначается не ей, а ее обладателю.

Значительная часть киргизских песен посвящена лошади; она служит для сравнения с людьми, для оценки достоинства мужчин и женщин и для определения красоты человека.

Невеста, о, невеста, ты, милая невеста.
Ты—жеребенок карей кобылицы!

поет певец невесте, когда она приводится в юрту жениха.

Скажите, где наша детская игра, где она?
Наша шаловливая игра жеребят, где она?
Хотя свекор мне и люб,
Но не милее он отца, знайте это!

отвечает невеста юношам, поющим ей «джар-джар», песню, которая должна утешить девушку, разлучающуюся с домом; в ее песне слова «шаловливая игра жеребят» есть воспоминание о времени ее первой любви.

Богатство хозяина выражается головами лошадей; ценою лошадей исчисляется и уплачивается калым за невесту; девушку, которую отдают в виде награды победителю на скачках, ценят в сто кобылиц; лошадьми дарят друг друга; лошади служат выкупом за нечаянные или намеренные убийства, за искалечение, произведенное в борьбе, или за выбитый глаз, за всякое преступление или проступок: сто лошадей освобождают убийцу мужчины, пятьдесят—убийцу женщины, а тридцать—убийцу ребенка от изгнания и ссылки; лошадьми выплачиваются штрафы, налагаемые соплеменниками за вред, нанесенный чьей-либо личности или собственности; ради лошади даже почтенный человек становится вором. Лошадь несет юношу к его возлюбленной, жениха к невесте, героя в битву, седло и одежду умершего из одной лагерной стоянки в другую; лошадь несет от одной юрты до другой мужчину и женщину, старца и крепко привязанного к седлу ребенка, или юного всадника, в первый раз сидящего в седле. Ценностью лошади оценивает богатый собственник свои табуны; без лошади киргиз—то же, что у нас бесприютный человек; без лошади он считает себя несчастнейшим существом в подлунном мире.

Киргиз хорошо изучил образ жизни лошади, знает ее нравы, ее хорошие и дурные качества, ее добродетели и пороки, знает, что ей полезно и что вредно, приписывает ей почти невероятные свойства, без необходимости никогда не обременяет ее и обращается с ней, правда, не с такой нежностью и почтительностью, как араб, но и не с такой беспощадностью, как другие народности. У него нельзя заметить разумного, обдуманного воспитания благородного животного, как у арабов и персиян, или у немцев и англичан, но и он постоянно заботится об улучшении любимых пород, соединяя всегда лучших самцов с луч-

ними самками. К сожалению, при выборе племенных маток он исключительно обращает внимание на статьи, а не на масть, следствием чего бывает весьма некрасивое на вид потомство с неправильной и неровной окраской. Выездка лошадей также оставляет желать многого; наш кочевник слишком богат ими, чтобы могло быть иначе.

Впрочем, мы должны назвать киргизскую лошадь весьма привлекательным созданием, хотя она и не всегда отвечает нашим эстетическим требованиям. Это—по большей части стройное животное, средней величины, с довольно красивой, хотя несколько крупной горбоносой головой, с сильной шеей средней величины, длинным туловищем, тонкими ногами и мягкой шерстью. Глаза у нее большие и полные огня, уши скорее велики, чем малы, но красивой формы. Волосы в хвосте и гриве тонки, длинны и часты; в хвосте они развеваются так пышно, что последний волочится по земле; ноги —стройного сложения,



Киргиз верхом.

но, пожалуй, несколько тонки; копыта по большей части крутые, но иногда слишком высоки. Светлые масти преобладают, при чем многочисленные и часто некрасивые пежины неприятно поражают глаз. Чаще всего там можно видеть гнедую, светло-гнедую, рыжую, буланую и соловую, всегда реже темне-гнедую и вороную и, лишь в виде исключения, белую масть. Хвосты и гривы чрезвычайно красят всех лошадей светлой масти, будучи более темного или более светлого цвета, чем самая шерсть.

Характер лошадей заслуживает величайшей похвалы. В киргизской лошади много огня, и в то же время она необыкновенно добродушна, мужественно идет на все знакомые ей опасности и становится тревожной, робкой и пугливой только тогда, когда что-либо непривычное в первую минуту приводит ее в смущение; она самолюбива, но легко поддается управлению, и необыкновенно вынослива, хотя годится преимущественно под верх и только после долгой привычки может быть употребляема для перевозки вьюков; в качестве вьючного

животного она имеет менее достоинств, чем в качестве верховой лошади. Весьма неприятной у нее мне казалась дурная привычка, в которой не столько виновата она, сколько сами киргизы—есть во время езды или, по крайней мере, лакомиться некоторыми растениями, удовлетворяя этой страсти в самых трудных положениях, при переезде вброд через каменистые горные ручьи или при подъеме на крутые скалы. Она не отличается умеренностью, как и всякое другое степное домашнее животное, привыкшее к вольным пастбищам; в сношениях с подобными себе, пока в дело не вмешивается всемогущая любовь, она настолько же миролюбива, насколько покорна своему хозяину.

Бедные киргизы обладают таким количеством лошадей, какое нужно для переездов членов семьи и необходимо для приплода, могущего поддержать это потребное количество; напротив, богатые и знатные обитатели степей имеют до четырех, пяти и, как меня уверяли с различных сторон, даже до десяти тысяч лошадей, которые пасутся отдельными табунами на различных местах и, очевидно, вырастают в лучших условиях, чем лошади бедных киргизов. Каждый отдельный табун состоит самое меньшее из пятнадцати и самое большее из пятидесяти голов; в последнем случае в нем бывает жеребец, находящийся в полной силе, девять маток и столько же сосунков, восемь двухгодовых, 6—8—трехгодовых и 5—6 четырехгодовых жеребят и несколько старых животных или меринов. Жеребец—безусловный господин и властелин, предводитель и защитник табуна; он не дает волку похитить ни одного жеребенка, мужественно и успешно выступая против трусливого хищника и повергая его на землю передними ногами, если тот не удаляется. Но он не терпит никакого соперника и беспощадно изгоняет всех возмужавших жеребцов из своего табуна; он изгоняет также, как скоро принял на себя предводительство, свою мать и своих дочерей. Гордая своенравность животного вынуждает киргиз, по крайней мере во время случки, к величайшей бдительности, если они не хотят потерять изгнанных кобылиц, ищущих других повелителей, или изгнанных жеребцов, стремящихся к самостоятельности. Молодая кобылица покрывается только на пятом году; следующей весной, обыкновенно в марте, она приносит первого жеребенка. Тогда ее еще не отделяют от табуна, и лишь в мае, вместе с жеребенком, начинают держать невдалеке от юрты; в это время ее доят в течение четырех месяцев, приготовляя из молока знаменитый кумыс. Осенью мать и жеребенок возвращаются в табун. Оба без сопротивления принимаются туда и вполне наслаждаются возвращенной свободой.

Самое полезное и, соответственно тому, самое важное домашнее животное кочевников, овца—крупного и хорошего сложения; ее портит только курдюк, жировой нарост позади. Туловище ее поддерживается высокими и сильными ногами; голова невелика, нос горбатый, уши висячие или стоячие, рога небольшие, шерсть жесткая, но плотная, вымя очень развито, но курдюк еще более, так что животное иногда не может его носить, и, сгибая ноги, должно волочить его по земле, если пастух не окажет помощи, подвязав под хвост маленькую двухколесную тележку, на которую кладется жировой нарост. При скрещивании киргизских баранов с овцами, не имеющими курдюков, потомки уже во втором или третьем поколении получают этот придаток; при повторном скрещивании гладкохвостых баранов с курдючными овцами наблюдается противоположное явление.

Хотя киргизская овца во всех главных признаках сходна с нашей, но нельзя не признать, что свободная жизнь в степи, очень значительные передвиженья, какие ей приходится предпринимать, и трудности, какие она должна преодолевать, способствовали развитию ее физических и умственных качеств в более высокой степени, чем у нашей домашней овцы. Однако, и в связи умная коза представляет собою руководительницу лишенной энергии овцы; и я поступлю вполне справедливо, если, вслед за последней, скажу несколько слов о первой.

Киргизская коза—среднего роста, красивого сложения, с сильным туловищем, с короткой шеей, с маленькой головой, с конечностями пропорциональными туловищу, с большими живыми глазами, с выразительным взглядом, с острыми стоячими ушами, с относительно небольшими рогами, закрученными назад и наружу или на половину около своей оси, с густой шерстью, в особенности на бороде и конце хвоста, с длинною курчавою шерстью на лбу, с господствующей окраской чисто белого цвета с черными отметинами.

К овцам и козам киргизы относятся одинаково и пасут их всегда вместе. Бедные киргизы какого-либо аула составляют из своих животных одно стадо; богатые, у которых число голов доходит до нескольких тысяч, образуют из них несколько стад. Овечий пастух, обыкновенно мальчик-подросток, объезжает свое стадо верхом на быке и умеет так хорошо справляться с ним и пускать его вскачь, что догоняет самых быстроногих коз. Когда мы однажды, возвращаясь с охоты, встретили овечьего пастуха, тот для своего удовольствия, по крайней мере, четверть часа, на-ряду с нашими лошадьми, бежавшими по степи крупной, скорой рысью, галопировал на быке, не выказывавшем никаких признаков утомления. Только овечьи пастухи татарских хозяев ездят на лошадях. При трудных переходах через шумящие потоки или в горах козы берут на себя предводительство стадом, и здесь, как и повсюду, овцы слепо идут за ними.

Сено собирается и складывается в стога только в особенно благоприятных местах; поэтому принимаются меры к тому, чтобы козы и овцы не приносили детенышей осенью, и появление на свет ягнят и козлят обыкновенно случается весною, которая дает возможность молодым животным развиваться и расти всего успешнее. Новорожденных ягнят и козлят, в первые дни их жизни, держат в юрте; они так скоро привыкают к ней, что оставляют ее с жалобным блеянием, когда это нужно по той или другой причине. Позднее их ставят в хлев, находящийся около зимнего жилья, а в открытой степи—в простую яму, в которой холодный ветер почти не чувствителен, или же в веревочную загородку, называемую кёген, протягиваемую перед каждой юртой между двумя толстыми кольями, вбитыми в землю. Как скоро они начинают пастись, их гонят особыми стадами в открытую степь и только под вечер пригоняют обратно к юрте. Так, еще с детства привыкают они к свободной жизни в степи, к ветру и непогоде, к буре и дождю.

В сравнении с лошадьми, козами и овцами, рогатый скот у киргизов играет второстепенную роль. Правда, вблизи каждого аула можно заметить стадо этих животных, но число их не пропорционально количеству овец и коз. Скот крупнее и красивѣе, чем у русских и сибирских крестьян, но уступает китайскому и не может выдержать даже отдаленного сравнения ни с одной из выдающихся пород Западной Европы. Он—среднего роста и мясист, шерсть у него короткая и гладкая, рога длинные и выгнутые, господствующая окраска—красивого густого красновато-бурого цвета.

Рогатый скот пасется довольно большими стадами, но ему предоставляется отыскивать корм без надзора человека; молочных коров приманивают исключительно с помощью телят, привязанных к юрте, а быки, пользуясь полной свободой, иногда по целым дням не возвращаются в аул.

Хотя верблюдов можно найти в каждом большом ауле, но они бывают не у каждого киргиза, и даже у самого богатого число их едва ли превышает пятьдесят голов. Верблюд справедливо считается самым хилым из всех домашних животных кочевников этих степей: настоящая родина его лежит южнее и восточнее. В степях, которые мы проехали, разводят только двугорбого верблюда; в степях, лежащих к югу от о. Балкаша, так же, как и вообще в Средней Азии, отдают предпочте-



Верблюд.

ние дромадеру или одногорбому верблюду; впрочем, того и другого иногда скрещивают между собой и таким путем выводят своеобразных ублюдков, у которых два горба почти сливаются в один.

Двугорбый верблюд степей не так массивен и неуклюж, как те экземпляры, которых мы привыкли видеть в наших зоологических садах, но шерсть его так же густа. Тем не менее он труднее переносит зимнюю стужу, чем всякое другое из тамошних домашних животных; чтобы встать на колени или лечь, ему нужен войлок, но и при этом он легко простужается, заболевает и гибнет. Во время линяния его также надо покрывать войлоком, а летом—защищать от укушений комаров и оводов, а то и от них он может погибнуть; короче, он составляет предмет непрерывной заботы и непригоден для бедного человека, который каждую потерю чувствует с утроенной силой. Двугорбому верблюду, так же, как и дромадеру, свойственна умеренность и непритязательность по отношению к корму; первый также способен впадать в

период спаривания, в слепую ярость, угрожающую даже любимому хозяину; но в течение остальной части года он выгодно отличается от последнего покорностью и кротостью. Мне приходилось целые годы иметь дело с дромадерами, и эти превосходные качества здешнего двугорбого верблюда особенно поражали меня: мне казалось, что я вижу животное совсем другой породы. Двугорбый верблюд позволяет ловить себя без сопротивления, хотя и не без некоторого ворчания, но во всяком случае без отвратительного, потрясающего нервы, рева дромадера. Когда его надо вьючить, он опускается на колени, и без всяких жалоб, даже вскачь, несет легкие грузы, пробегая в день от тридцати до сорока верст; если вьюк скользит, он сам останавливается на бегу. Под верхом он может пройти от пятидесяти до шестидесяти верст; неся до двадцати пяти пудов груза на спине, он вынужден итти медленным, хотя и крупным шагом, но все-таки проходит, по крайней мере, половину указанного выше расстояния. Он почти всегда пасется поблизости юрты вместе с другими верблюдами аула.

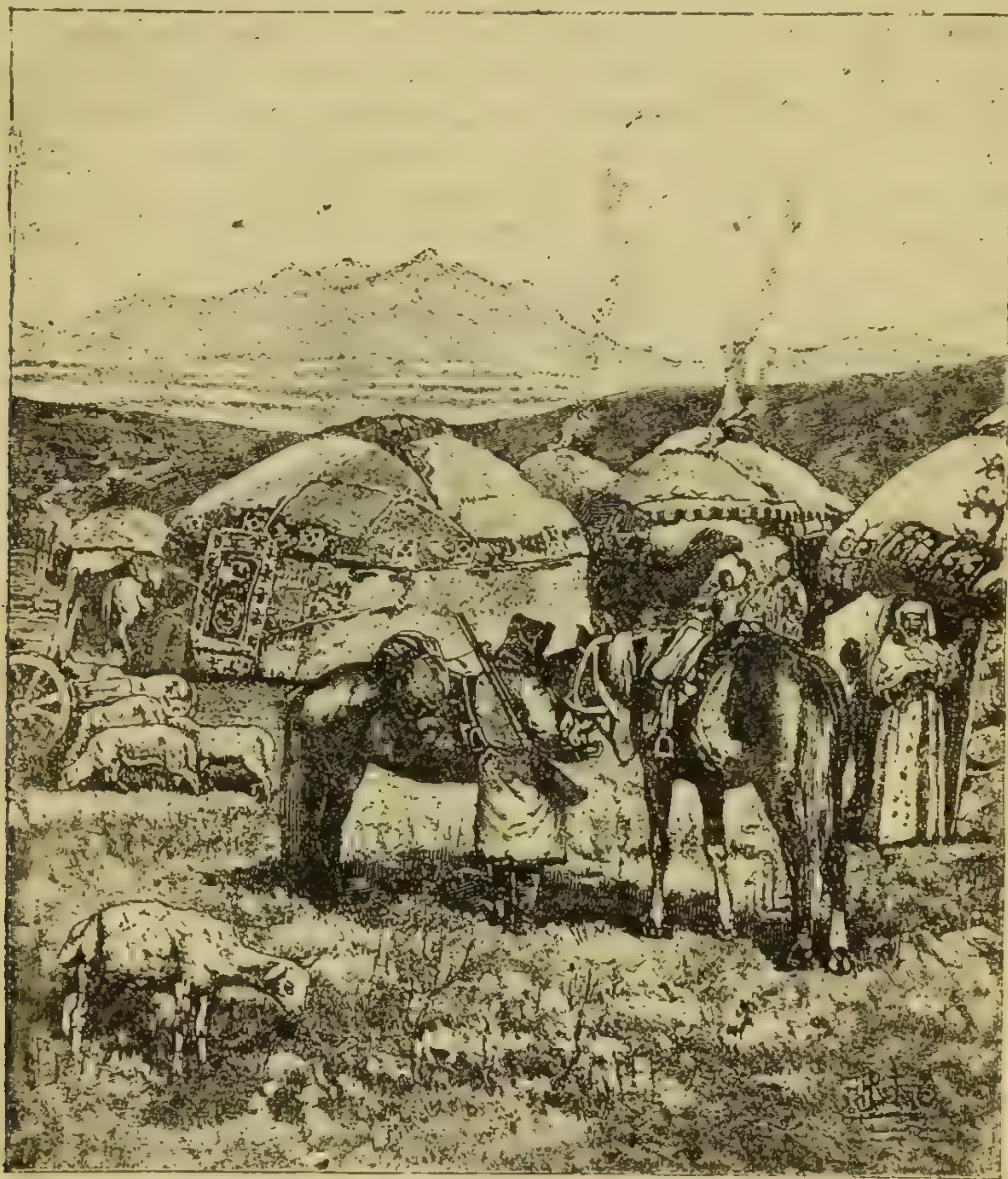
Последнее, пользующееся наименьшим почетом, домашнее животное киргизов, собака—в среднем довольно крупного роста, но редко может быть названа красивой, хотя и выгодно отличается от безобразных дворняшек, каких приходится видеть в Сибири и Туркестане. Голова ее довольно длинна, но неуклюжа, и склад ее скорее всего напоминает борзую; шерсть ее длинна и пушиста, хвост отвислый, цвет разнообразный.

Бдительная и отважная, представляя для волка соперника, достойного внимания, а для слабых стад—толкового и ревностного охранителя, не доверяющая чужому человеку, верно служащая хозяину в качестве неразлучного спутника взрослого и услужливого товарища игр ребенка, киргизская собака соединяет все достоинства своего вида и встречается в каждой юрте, по крайней мере, в каждом ауле.

Пользование стадами и тщательный уход за ними составляют центр, около которого вращается вся жизнь киргизов. Первое составляет главную обязанность женщин, последний—важнейшую заботу мужчин. За исключением костей, которые небрежно выбрасываются, из каждой части тела домашних животных извлекается польза, и самки каждой породы животных должны отдавать человеку молоко, пока это возможно. Количество растительной пищи киргиза ничтожно по сравнению с количеством животной; молоко и мясо составляют его настоящую еду, а присоединяемые к ним растительные вещества—только приправу. Хлеба в настоящем смысле слова киргиз почти не употребляет, и даже маленькие, жирные мучные лепешки, которые можно было бы причислить к печеньям, жарятся в сале, а не пекутся. Мука и рис, из которых последний можно встретить лишь в юрте богача, служат к тому, чтобы несколько разнообразить неизменные молочные и мясные кушанья. Нечего удивляться, что киргизу угрожает голодная смерть, и часто действительно поражает его, если его стада во внутренней части степи застигнет повальная болезнь.

Богатые киргизы отделяют молоко коз и овец от молока коров, кобылиц и верблюдиц; бедные люди смешивают молоко всех животных своего стада в одном и том же сосуде. В свежем виде они пользуются лишь овечьим молоком, тогда как богатые могут доставлять себе большие гастрономические удовольствия. Из молока коз и овец, которое доится в то же ведро и держится в том же кожаном бурдюке, приготовляют не только различные кушанья, поедаемые немедленно, с прибавкою или без прибавки муки, но также и масло, и маленькие

кисловатые или горьковатые сыры, неприятные на наш вкус, и, кроме того, вкусный, даже с нашей точки зрения, желтый творог, который, подобно сыру, сберегается на зиму и употребляется распущенным в воде в качестве супа. Из коровьего молока приготовляются, главным образом, простокваша и, лишь в виде исключения, творог, сыр и масло; из молока кобылиц и самок верблюда готовится кумыс, который изготовляется путем четырехдневного брожения при тщательном взбалтывании и сбивании; это молочное вино представляет высоко ценимый и действительно весьма вкусный праздничный напиток всех зажиточных киргизов, который они пьют до полного опьянения.



Киргизский аул.

В летнее время даже и богатый киргиз питается почти исключительно молочными продуктами, потому что летом он убивает животных своих стад только в праздники и в случае особенно важных событий. Напротив, с началом зимы овцы и козы, лошади и рогатый скот, даже верблюды, часто падают под ударами ножа. Самым благородным мясом там считается мясо лошадей и в особенности кобылиц, самым плохим—мясо рогатого скота. Баранина занимает второе место после конины, верблюжье мясо признается целебным даже при душевных страданиях; козье—употребляется преимущественно бедняком и, будучи предложено гостю, служит знаком недостаточного уважения к

нему. В конской туше ценится всего выше крестец, в бараньей—грудина; величайшим лакомством признается внутренний жир молодых лошадей; он приготовляется в виде колбас, коптится и подается самым почетным гостям вместе с кумысом.

На-ряду с питательными веществами киргиз пользуется всеми полезными материалами, какие доставляют ему разводимые животные. Из шерсти овец приготовляет он необходимый для него войлок; шерсть верблюдов перерабатывает в пряжу и ткани, а на подшерсток, мягкий, как пух, мать укладывает новорожденного ребенка. Длинная шерсть коз употребляется в виде бахромы для ковров и сукон, для кистей или шнурков; из короткой шерсти делается пряжа и тесьмы для юрт; из лошадиного волоса плетутся веревки для арканов и юрт. Овчины служат для шуб, а из меха ягнят и козлят выделываются дорогие шубы, служащие для наряда; расщипанная шерсть заменяет вату для подбоя некоторых одежд, а из кож домашних животных приготовляется различный кожевенный товар. На сало, остающееся в избытке или не имеющее цены для киргиза, на продажных овец, лошадей и рогатый скот вымениваются различные произведения всемирного рынка. Доходом от проданного скота киргиз уплачивает подати и повинности, покупает серебро, железо для поделок, ковры, сукна и шелковые материи для украшения себя, своих жен и своих юрт. Скот составляет единственный источник продовольствия и дохода нашего кочевника; на-ряду с его стадами незначительные участки земли, которые он иногда вспахивает, засевает, орошает и выжинает, не играют сколько-нибудь существенной роли в его жизни.

Не свободная воля человека, а необходимость сообразоваться с потребностями стад определяет местопребывание и образ жизни киргизов, заставляет их направляться сегодня в одно место, завтра в другое, оставаться в такой-то местности или уходить оттуда. Соответственно тому, странствования киргизов вовсе не бесцельное блуждание по обширной степи, а обдуманная перемена места, смотря по времени года и по тому, с каким скотом приходится иметь дело. Степь не позволяет беспорядочного блуждания ни зимой, ни летом, ни осенью, ни весной: так как в этом случае зимою стада подвергались бы всем ужасам бурана, летом—опасности погибнуть от жажды, весной—опасности от избытка корма, а осенью—от его недостатка. Киргиз начинает свои перекочевки с равнины, медленно поднимается на высоты, даже на высокие горы, и так же медленно возвращается в низину. Различным стадам свойственны и различные потребности: овцы и козы любят жесткие и душистые травы, растущие в солончаковой степи, лошади—всего более горную траву, а именно пробивающуюся между обломками скал; рогатый скот предпочитает пастись на мягком ковре лугов, а верблюды, повидимому, считают неизбежным составом своей пищи солончаковые и колючие растения. Богатые люди, имеющие возможность соединять животных известной породы в особые стада, отыскивают для них соответственные пастбища, и только бедные передвигаются с места на место со всем своим скотом. Кроме того, здесь оказывают влияние и общественные отношения. Правда, хотя и не пограничными знаками, а стародавними соглашениями, но и в вольной степи твердо установлены права и границы владений: каждое племя, каждый род, население каждого аула поддерживает свое право на участки земли, где пасли стада их предки, не допускает на эти участки чужих стад и даже берется за оружие и вступает в кровавую борьбу с каждым чуждым при-

шельцем, хотя бы и с членом собственного племени. Вообще, кочевник передвигается не только по определенным путям, но и в точно ограниченной области. Его дороги могут иногда перекрещиваться с путями других, но никогда не совпадают с последними; каждый уважает право другого и вынуждается соплеменниками к уважению их прав.

Оседлости, по нашим понятиям, киргиз достигает только в могиле, но и у него есть своя родина. В обширном смысле, это—область, по которой он кочует, в более ограниченном—низина или долина какой-нибудь речки, а в еще более тесном—зимняя стоянка, откуда он выходит на кочевку и куда всегда возвращается. Поблизости зимней стоянки похоронены, если не все его умершие родные, то большая часть их; при некоторых обстоятельствах он устраивает здесь прочное жилище; сюда правительство посылает чиновников для сбора податей и для исчисления количества домохозяев и принадлежащих им стад; здесь киргиз проводит, если не лучшую, то наибольшую часть жизни, здесь, будучи вообще веселым и беспечным, он выносит самые тяжелые и серьезные заботы, выпадающие на его долю.

Если не самое зимнее жилище, то положение зимней стоянки всегда бывает точно определенным. Условия для выбора ее заключаются в том, чтобы долина была по возможности защищена от холодных, убийственных северных и восточных ветров, чтобы юрты могли быть поставлены на солнечной стороне, чтобы здесь возможно было устроить без затруднения прочные жилища, чтобы не было недостатка в воде и чтобы поблизости стоянки находились пастбища, необходимые для скота. Все эти условия всего лучше выполняются долиной, глубоко прорезанной текущей в ней речкой, где в летние месяцы не высыхает трава, во всякое время оказывается корм и даже избыток его остается на зиму, где, кроме кизяка, могут быть употреблены для топлива ивняк и осокорник. Места другого рода выбираются лишь тогда, когда нужно воспользоваться областью, которую приходилось избегать летом за недостатком воды, напр., солончаковою степью, где зимою снег, покрывающий землю, может доставить воду для людей и скота.

Постоянное зимнее жилище представляет всегда жалкую, тесную, сырую и темную хибарку, построенную крайне легко в расчете на то, что снег увеличит толщину стен и кровли и защитит от непогоды. Стены только в виде исключения срублены из бревен; менее часто они сложены из дикого камня, а всего чаще сплетены из ивняка или пучков тростника; крыша всегда делается из тростника. Рядом находится хлев такой же постройки для молодого скота, в некотором отдалении—загородка для взрослых животных.

В начале зимы киргиз поселяется в зимнем жилище, если только, как это нередко бывает теперь, он не отдает предпочтения несравненно более удобной юрте. В том и другом случае для отопления своего жилья он уже принял меры с предшествующей весны, впрочем—не столько он, сколько его жена, на долю которой выпадают все неприятные и тяжелые работы. Она наготовила кизяку, т.-е. сухого помета домашних животных с соломой, которому придается форма кирпичей складываемых в кучи и высушиваемых на солнце. Вся трава кругом селения тщательно оберегалась, чтобы стада могли найти необходимое продовольствие в возможной близости от зимних жилищ или юрт; в более отдаленных местах выкашивалось сено, которое теперь привозится сюда. Если зима «хорошая», т.-е. малоснежная, то скот и в это время

находит для себя достаточное пропитание; если же она сурова, то все меры, принятые хозяином стада, оказываются недостаточными, и зима иногда поглощает более голов скота, чем весна подарила их. В «хорошую» зиму радостное настроение господствует и в темной хижине кочевника, а в «дурную», когда стада обращаются в ходячие скелеты, тяжелая, удручающая забота забирается и в приветливую юрту; в это время года в той и в другой царит или отрадное благосостояние, или горькая нужда.

Только к концу апреля, а в иные годы не ранее конца мая, кочевник, вместе с последней частью стад, оставляет зимнюю стоянку и начинает обычные странствования. Конские табуны, оберегаемые особыми пастухами, вступили уже в свой круговорот отдельно от мелкого скота. Табуны внушают опасения, но киргиз боится не за веселых жеребят, родившихся несколько недель тому назад вместе с первыми козлятами, а за молодых жеребцов и молодых кобылиц, достигших к весне периода возмужалости; те и другие носятся с задорной отвагой кругом табуна, но все-таки не отходят далеко от маток, которые спокойно пасутся и лишь изредка поглядывают на них. Возмужавшие молодые лошади вызывают постоянную тревогу и требуют величайшей бдительности со стороны пастухов, число которых теперь удваивается. Вскоре молодые жеребцы вступают в борьбу с более старыми, гордыми и властолюбивыми вожаками табуна; вскоре молодые кобылицы вынуждают отцов отгонять их, пуская в ход зубы; вскоре та или другая из молодых лошадей пытается убежать и стремительно несется по степи, с обращенной в сторону ветра головой, с широко раскрытыми ноздрями. Но пастух мгновенно пускает вскачь свою верховую лошадь и гонится за беглянкой с безумной поспешностью, через все препятствия, через горы и долины. В правой руке у него длинная жердь с веревкой, прикрепленной к противоположному концу; все более и более приближается он к бегущей молодой кобылице, и страшный аркан уже носится над ее головою; тогда она вдруг бросается в сторону, высоко вскидывает обеими задними ногами, как будто издеваясь над пастухом, и опять быстро несется далее. Так продолжается эта безумная скачка, пока пастуху наконец удастся захватить беглянку и, привязав ее на аркан, медленно привести назад к табуну. Как ни занимательно подобное зрелище для постороннего зрителя, а, быть может, и для самого пастуха, но такая дикая скачка часто могла бы тревожить спокойную и однообразную жизнь мелкого скота; поэтому в одном месте с ним лошадей держат весьма неохотно. Кроме того, овцы и козы, не только вследствие потери сил после жестокой зимы, но и ради еще неокрепших ягнят и козлят, были бы не в силах проходить такие же большие пространства, как лошади; последнее обстоятельство также понуждает к отделению стад мелких животных от конских табунов.



Киргиз.

Киргиз, пасущий мелкий скот, сначала проходит ежедневно лишь небольшие протяжения и повсюду, где можно найти пастбище, останавливается, пока животные едят охотно. Во время переходов, откры-

вают шествие овцы со своим пастухом, закаленным от всякой непогоды, сидящим на верховом быке. Овцы идут довольно быстро, то скучиваясь плотнее, то разбредясь, то там, то здесь задерживаясь на бегу, чтобы поплотнее насытиться каким-либо вкусным растением, постоянно жуя что-нибудь; их сопровождает другой пастух на быке, так же непрерывно пощипывающем траву. Стадо маток овец и коз следует за стадом ягнят и козлят, но на таком далеком расстоянии, что молодые не видят и не слышат старых. Стадо баранов, если оно еще имеется или уже сформировано вновь, направляется по другим дорогам. После того, как стада уйдут, женщины снимают юрту, навьючивают ею и немногочисленной утварью верблюдов или быков, усаживаются с детьми на лошадей и медленно едут вслед за молочным и мелким скотом; к полудню они настигают его и, собрав молоко в кожаные мехи, едут далее, чтобы перед солнечным закатом опять разбить юрту. Так здесь проходит день за днем. Когда весна приносит свежую зелень, на одном месте остаются целые дни, даже недели, пока пастбища кругом поредеют; тогда отправляются далее. Как скоро все более и более развивающаяся весна вызовет к жизни насекомых и воздух наполнится бесчисленными роями комаров, мух, оводов и других мучителей, стада поворачивают, если это возможно, к горам и постепенно поднимаются по ним до самых высоких горных пастбищ. Для пастуха, обходящегося без помощи собак, не всегда легко управлять своим стадом и на равнине; в горах же «овечьи переходы» становятся для него еще труднее, и некоторые препятствия ему бывает невозможно преодолеть без помощи других, конных всадников. Пока дорога идет по сухому пути, можно еще подвигаться вперед, все равно—приходится ли итти цветущими лугами или по горным скатам и кручам. Козы, предшествующие овцам, некоторое время внимательно присматриваются к каждому сомнительному месту, затем решительно двигаются вперед, выбирая наиболее удобную дорогу, и овцы послушно следуют за ними. Иначе представляется дело, когда, вместо журчащего ручья, дорога прерывается широким бушующим горным потоком, который надо перейти. В виду стихии, положительно враждебной для овец, смущаются даже и бодрые, во всех положениях находчивые козы, а овцы боязливо отскакивают назад и карабкаются на соседние скалы, как будто ища на них спасения. Напрасно пастух перебирается через шумящий поток; напрасно, вернувшись опять на противоположный берег, собирает он непослушное стадо. Громким блеянием выказывают овцы свою тревогу; таким же блеянием выражают свое затруднение и козы, пока наконец пастух не потеряет терпения. В одно мгновение роковой аркан уже взвивается над головой какой-либо овцы; в следующую минуту она чувствует, что уже захвачена за шею, поднята к седлу и через четверть минуты после того брошена в бушующую воду. Теперь она должна выбиваться собственными силами. Плывя скачками, более подпрыгивая, чем гребя ногами, она стремится от одной скалистой глыбы, поднимающейся из воды, к другой, но, прежде чем достигнет твердой земли, схватывается и уносится водоворотом; затем она опять спотыкается, барахтается, прыгает и работает ногами, еще и еще раз отбрасывается в сторону и, наконец, обессилев более от страха, чем от напряжения, достигает другого берега. Дрожа всеми членами, она старается удостовериться—действительно ли под нею твердая земля, отряхает свою мокрую шерсть, еще раз оглядывается назад испуганными глазами и... начинает есть с величайшею жадностью, как будто желая вознаградить

себя возможно полнее за испытанную несправедливость. Тем временем переплывают через бушующий поток и прочие члены стада, один за другим, добровольно или по принуждению, пока все общество не соединится опять, чтобы вновь продолжать путь. Таким образом кочевник поднимается на горные высоты. Когда в горных долинах станет холоднее, и падающий снег напомнит о приближающейся зиме, пастух и его стадо спускаются вниз, отыскивая по возможности тенистые ущелья, пока не достигнут низменной равнины, и круговорот не закончится вблизи зимней стоянки. Все это повторяется из года в год.

Все домашние животные киргизов необыкновенно быстро привыкают к различным областям, в которых пасутся, в каких бы местностях они ни находились; пройдя два или три раза, они уже знают дорогу к новому месту, на котором их пасут, с такою точностью, что находят ее без помощи пастуха, и сами возвращаются к юртам, где их доят. Средство привлечь их туда, впрочем, заключается в том, что, начиная с мая, от всех молочных маток отделяют детенышей и пасут вблизи аула, возбуждая в матерях страстное стремление к ним. Таким образом, доение может производиться всегда в одно и то же время, и хозяйка юрты может по своему желанию распределять день и располагать работу.

За единственным исключением кобылиц, которых всегда доят мужчины, и которых в это время держат двое, а иногда и трое, доение скота лежит на обязанности женщин. Ранним утром, дав матерям, под строгим присмотром, покормить некоторое время своих телят, ягнят и козлят, отделяют маток от детенышей, и затем старые и малые выгоняются на пастбища. Около полудня к юрте пригоняют маток, а к вечеру опять, чтобы выдоить их. С помощью собак, которые здесь оказывают большие услуги, стадо собирают на возможно ограниченном пространстве, и тотчас же начинается работа. Женщины появляются с подойниками в руках, цепко хватают одну, другую, третью овцу и тащат их к привязи, набрасывая на шею веревку, и заставляя животных становиться рядами, головами друг к другу и задними ногами наружу. В течение нескольких минут привязывают от тридцати до сорока голов, ставя подряд овец и коз и составляя так называемый «кеген». Как скоро животные почувствуют на себе аркан, они, наученные прежним опытом, стоят неподвижно и позволяют все делать над собою. Женщины начинают, сидя на корточках, одна против другой, свою работу с одного конца, а если овец много, то с обоих концов двойного ряда; они захватывают короткие сосцы вымени большим и указательным пальцами, и быстрыми движениями выдаивают молоко. Если последнее льется не обильно, они ударом кулака, наносимым слева, встряхивают вымя, а когда и это не помогает, переходят к следующей овце. Мужчины юрты или аула, которые, быть может, помогали ловить и привязывать мелкий скот, во время доения сидят невдалеке оттуда, во всевозможных, почти немыслимых положениях, и дают своему «красному языку» полную свободу; то тот, то другой мальчуган, на той или на другой овце, производит первые опыты верховой езды, если только он не предпочтет воспользоваться для той же цели плечами своей воспитательницы. Последняя такими подвигами своего отпрыска так же мало отвлекается от дела, как и другими мелкими случайностями. Сидит ли она на корточках на сухой земле или на свежем овечьем помете, попадает ли последний при доении в подойник, сделанный из тополевого дерева,—она мало заботится о том: сосуд и без того грязен так же, как и ее руки, и притом овечий помет кажется

нечистым только нашему близорукому глазу, а не глазу правоверного киргиза. Наконец, последняя овца выдоена, и животные, так долго находившиеся на привязи и, за неимением лучшего дела, занимавшиеся пережевыванием жвачки, могут быть освобождены: быстрым движением одного конца веревки все путы развязываются, и овцы и козы оказываются на свободе.

Общее, почти единогласное блеяние служит первым выражением радостного чувства возвращенной свободы; короткое, быстро-повторяемое одно за другим встряхивание всего тела сбрасывает последние мысли об унизительном рабстве; затем все бегут, сколь возможно скоро,—стремясь соединиться со своими детенышами. В течение длинного дня они были лишены их; теперь, как их научил опыт, должно появиться их возлюбленное потомство. С непрерывным блеянием бегают овцы кругом; с такими же страстными призывными звуками и разумные козы вглядываются в горизонт, как будто хотят узнать—не находится ли уже ожидаемое стадо в пути, по крайней мере не виднеется ли оно в туманной дали? Блеяние все более и более усиливается; каждый вновь освободившийся ряд производит возбуждающее действие на овец и коз, собранных вблизи аула; возрастающее с минуты на минуту нетерпение матерей выражается жалобным блеянием, похожим на стон. Чем более тянется время, тем беспокойнее становятся животные, верные своим материнским обязанностям. Без цели блуждают они взад и вперед, обнюхивают каждый стебелек по дороге, лишь изредка срывая какой-нибудь из них; полные ожидания, они радостно вытягивают головы и потом с разочарованием и грустью опускают их опять с новым и новым блеянием. Тревога их постепенно доходит почти до потери сознания; блеяние превращается в настоящий рев.

Тогда издали доносятся слабые и тонкие звуки другого блеяния. Оно не ускользает от внимательного слуха матерей. Ответом на него служит рев, вырывающийся одновременно из всех гортаней, доведенных долгим ожиданием до крайнего напряжения; вся материнская тоска высказывается в одном крике. Издалека стремятся по направлению к юртам ягнята и козлята, ищущие своих матерей; самые крупные и сильные идут впереди, более юные и слабые остаются сзади, но все спешат большими прыжками, на половину скрытые поднятою ими пылью, пошатываясь, все более и более длинною вереницей, по мере того, как ближе подходят к цели. Начинается, повидимому, неразрешимая путаница; старые и малые, соединившись наконец, бесцельно бегают друг между другом, на-бегу касаются один другого, как будто призывая другое чувство для удостоверения того, что существа близкие между собою уже сошлись; в случае ошибки, и те, и другие бегут дальше, но козлята и ягнята удаляются обыкновенно только тогда, когда толчок или удар ноги со стороны козы или овцы выкажет их заблуждение. Однако, плотный узел постепенно распутывается; понемногу, но в менее продолжительное время, чем этого можно было ожидать, каждая мать уже нашла свое дитя, каждое дитя нашло свою мать и, опускаясь на колени, жадно хватается за вымя своей кормилицы, вытягивая оттуда молоко, оставленное на его долю. И если блеяние и теперь еще не умолкает, то эти звуки выражают лишь удовлетворение.

Впрочем, это общее блаженное состояние продолжается не долго. Каждое уже значительно выдоенное вымя скоро иссякает и, несмотря

за все толчки сосущих детенышей, питательный источник ничего уже не дает более. Но и мать, и детеныш, и даже несколько детенышей разом хотели бы еще насладиться счастьем близости друг к другу. Во все стороны распространяется перемешавшееся стадо; взрослое животное карабкается вслед за веселым юным созданием, когда последнее, сообразно характеру своей породы, стремится к ближайшим холмам, или же глядит с полным удовлетворением, когда какой-нибудь козлик в задорном единоборстве пробует силу со своим ровесником. Живописно украшает пестрое стадо окрестности юрты; привлекательная картина мирной пастушеской жизни развертывается перед глазами того, кто понимает и чувствует подобное существование.

Теперь и доильщицы дают себе краткий отдых, берут детей на колени и исполняют материнские обязанности или желания; однако, вскоре их ждет новая работа. Громким мычанием возвещают о себе коровы, возвращающиеся домой, чтобы в свою очередь принять участие в материнских радостях; трудолюбивые женщины поспешно поднимаются, приводят находящихся на привязи телят к коровам, дают им некоторое время пососать, затем отрывают от вымени, выдаивают последнее, и только тогда предоставляют жадным до молока телятам полную свободу. Тем временем пастухи и собаки опять собрали в одно место стадо мелкого скота, и старый и малый, мужчины и женщины, мальчики и девочки соединяют теперь свои силы, чтобы ловить и привязывать ягнят на ночь крепкими, не грозящими задушением, петлями к веревке перед юртой, так, чтобы старые животные не могли кормить своих детенышей. Последняя работа не обходится без блеяния и шума, к которым примешивается крик и рев детей, требующих груди матери, мычание коров и лай собак. Ягнята и козлята, только попав на привязь, подчиняются неизбежной судьбе. Некоторые козлики, правда, еще и теперь пробуют в шутливом состязании свои пробивающиеся рожки, но вскоре устают и мирно ложатся против недавнего соперника; прежде чем ряд пополнится, большая часть детенышей ложится и предается покою. То та, то другая овца или коза подходит к веренице детенышей, обнюхивает их, пока не найдет своих, но вскоре опять возвращается в стадо, убедившись, что для нее невозможно улечься рядом со своим потомком.

Солнце уже давно скрылось под горизонтом; сумерки уже уступили место потемкам. Все тише и тише становится в юртах. Люди и животные нашли искомый покой; только собаки начинают теперь свой обход и дозор под руководством и предводительством бдительного пастуха; но и они лают тогда только, когда для того является повод, когда им нужно припугнуть подкрадывающегося волка или другого вора. Прохладная, но душистая и росистая летняя ночь опускается на степь, и освежающий сон позволяет теперь, в лучшее и прекраснейшее время жизни, и пастухам, и животным позабыть о тягостях зимы.

Общественная и семейная жизнь киргизов.

Угрожаемые и преследуемые карающим правосудием, четыре вора бежали из места обитания честных людей и искали убежища и защиты в широкой степи. На пути к ним присоединились две нищие женщины, изгнанные, подобно им, из жилищ трудолюбивых людей. Воры подружились с нищими женщинами и женились на них, при чем у каждой нищей оказалось по два мужа. От этих союзов, противных божеским и человеческим законам, народилось множество детей; от последних произошел многочисленный народ, наполнивший степи, бывшие до тех пор безлюдными. Но он оставался верен своему происхождению, т.-е. оставался воровским, подобно своим отцам, нищенским, подобно матерям, без веры и нравственности, подобно обоим родителям. Этот народ есть народ киргизов, самое имя которых значит не что иное, как «разбойники».

Так представляет себе татарский правоверный поэт происхождение, так описывает он характер родственного ему народа, который говорит одним языком с ним, молится тому же Богу, согласно учению того же пророка; он высказывается так лишь потому, что киргизы в делах веры менее рабски придерживаются буквы и не так мелочны в своем образе мыслей, как он. Это все та же старая и вечно новая история—повторяющееся среди всех народов презрительное отношение друг к другу, искренняя ложь, перед гнусностью которой не останавливается ни один единоверец, когда нужно нанести удар людям другого образа мыслей.

Путешественник, совершающий свой путь среди киргизов, чужеземец, ищущий гостеприимства и находящий его под легкой кровлей их юрт, ученый, задающийся целью изучить их нравы и обычаи, чиновник, живущий среди них в качестве блюстителя закона или представителя государственной власти, одним словом, каждый, кто более долгое время имел с ним дело, судит о них, если только он человек беспристрастный, совершенно иначе, чем упомянутый татарин.

Правда, было время, когда киргизы вообще были достойны своего имени, но это время уже прошло. Воспоминания о молодецких наездах и разбойничьих подвигах отцов могут найти отклик в груди каждого киргиза; но народ степных наездников подчинился законам своих нынешних повелителей и в настоящее время живет в мире между собой и с соседями, уважает право собственности, занимаясь грабежом и воровством не чаще и не более, чем другие народы, скорее даже реже и менее. Нынешний киргиз живет под русским владычеством в условиях настолько удовлетворительных, что его единоплеменники по ту сторону границы с завистью смотрят на его положение. В качестве русских подданных киргизы пользуются спокойствием и миром, обеспечен-

ностью собственности и свободою вероисповедания; они почти вовсе освобождены от военной службы и обложены повинностями, которые могут быть названы умеренными во всех отношениях; они имеют право выбирать старшин в своих общинах и пользуются некоторыми другими льготами, каких до сих пор не имеют еще и сами русские. К сожалению, последние придерживаются менее разумного взгляда на них, чем правительство, и везде, где только возможно, теснят и угнетают киргизов. Тем не менее, им не удалось еще оказать существенного влияния на нравы и обычаи этого народа.

Киргизы—настоящий народ наездников: без лошади их нельзя и представить себе; они вырастают вместе с жеребятами и живут каждый со своим конем неразлучно до самой его смерти. Правда, киргиз ездит не исключительно только на коне; он умеет выездить и заставить повиноваться себе всякое животное, какое может носить его; тем не менее, лошадь остается всегда и во всех обстоятельствах его главным верховым животным и любимым товарищем, так как все дела он справляет, сидя в седле. Мужчины и женщины ездят одинаковым способом, а многие из женщин даже с неменьшим искусством, чем мужчины. Посадка киргизов—небрежна и некрасива, если смотреть на нее со стороны. Киргиз заботится всегда более об удобстве и ездит на коротко-подтянутых стременах, без шенкелей, только касаясь коленями переднего края седла и поддерживая себя в свободном равновесии; пуская лошадь рысью, он приподнимается на стременах, иногда даже становится на них и настолько нагибает голову вперед, что почти касается шеи лошади; он сидит прямо, когда заставляет итти лошадь обыкновенным шагом или галопом. Поводья захватывает он всею кистью руки; кнут, висящий на ременной петле, он держит большим, указательным и средним пальцами. Он нередко вылетает из седла, потому что не заботится о дороге и предоставляет отыскивать ее своему коню; если же он обращает на нее внимание, то может ехать по всякой дороге, какая доступна вообще однокопытному животному, без всякого колебания, так же, как не задумывается сесть на дикую и невыезженную лошадь. Дурных дорог для него не существует; дорога для него—только переезд того или другого протяжения; все, что лежит между началом и концом пути, не имеет для него значения. Пока он сидит в седле, он требует от лошади почти невозможного, скачет в галоп и в гору, и с горы, и по топкой земле, и через болота, топи и ручьи, поднимается, не чувствуя головокружения и страха, охватывающего даже пешехода, на отвесные кручи, кажущиеся недоступными каждому другому всаднику, и смело смотрит с седла в пропасти по сторонам дороги, называемой им «козьей дорогой», на которой мороз пробежал бы по коже самого искусного горного ходока. Но как только он сошел с лошади, он строго придерживается правил, выработанных долгим опытом относительно ухода за усталой лошадью, и обращается теперь со своим конем так же заботливо, как мало думал о нем во время езды. В торжественных случаях для удовольствия зрителей, в которых никогда не бывает недостатка, он показывает всевозможные фокусы в седле, становится на перекрещенные над ним стремена и стоя спрыгивает оттуда, держится руками за седло или за стремена и вскидывает ноги на воздух, свешивается с одной стороны седла и старается поднять какой-нибудь предмет с земли. Игра оружием, как у его турецких сородичей, у киргиза не в употреблении, но зато скачки он считает высшим из всех удовольствий и ознаменовывает ими каждое празднество.

Для скачки или «байги» берутся самые благородные лошади и между последними такие, которые приучены к горным дорогам. Расстояния, назначаемые для проезда, бывают весьма значительны—не менее двадцати и нередко до сорока верст; целью скачки избирается определенный пункт в степи, например, известный холм или могильный памятник; по достижении его возвращаются назад тою же дорогой. Жокеями являются мальчики семи, восьми, самое большее десяти лет, сидящие в седле, управляющие лошадью с замечательным искусством. Когда приближаются возвращающиеся лошади, к ним немедленно выезжают на встречу; лошади, имеющей наиболее шансов выиграть, оказывают помощь, так называемую «гутурму»: к ней подъезжают с боков, снимают с нее маленького наездника и хватают ее за поводья, стремена, гриву и хвост, и не столько управляют ею, сколько волочат ее между свежими лошадьми к цели. Призы, назначаемые победителю, состоят из различных вещей, но вообще устанавливаются по ценам лошадей. Первый приз в две и даже в три тысячи серебряных рублей не составляет редкости; богатые семьи выставляют иногда в виде приза до ста лошадей. Наградою победителю служат и молодые девушки, при чем выигравший может жениться на них без уплаты обычного калыма.

В то время, как состязающиеся лошади находятся в пути, и люди испытывают свою физическую силу. Двое мужчин снимают верхние одежды, обнажают плечи и верхнюю часть тела и борются. Нападение происходит различным образом. Оба борца хватают друг друга, стараются пригнуть один другого как можно ниже, кружатся, наблюдая друг за другом, и стараются предупредить всякое действительное или кажущееся нападение, пока один разом не пустит в ход всю свою силу и не бросит на землю другого, если тот этого не предвидел. Иные тотчас же переходят в нападение, но встречают такое сильное сопротивление, что обоим приходится бороться долгое время, пока одному из них не удастся одолеть противника. Зрители торжествуют, расточают похвалы и порицания, ободряют и подсмеиваются, бьются об заклад между собой и приходят тем в большее возбуждение, чем больше колеблется победа. Наконец, один из борющихся лежит на земле, осмеиваемый всем обществом, униженный и оскорбленный до глубины души; крик, вырывающийся из всех гортаней, наполняет воздух; куски материи, хотя бы это были простые ситцевые лоскутки, разрываются и распределяются между бившимися об заклад; упреки перемешиваются с выражениями одобрения, и игра в единоборство оканчивается, если только побежденный не обнаружит внезапного желания выместить за поражение и опять не нападет на противника. Без шума, крика и ссор борьба никогда не кончается, но она редко ведет к насильственным действиям.

Среди рыцарских упражнений киргизов следует назвать и охоту. За выслеженным волком киргизский охотник гоняется с таким рвением, с такой выдержкой, что не обращает даже внимания, если мороз, вдвойне чувствительный при быстрой езде, угрожает ему серьезной опасностью, если, напр., он ознобит себе лицо и руки; если только лошадь не отказывается ему служить, дело всегда кончается тем, что тяжелая жердь падает на голову хищника. Еще более, чем подобную травлю, он любит охоту с орлом и борзой собакой. Так же, как и его предки, он умеет приручать орла, держит его на руке, обернутой плотной тканью, и сажает на деревянную подставку, прикрепленную к

седлу, с высоты которой можно видеть далеко вокруг, и предоставляет своему товарищу обозревать степь, лежащую перед его глазами. Охота предпринимается на волка и на лисицу, а пока орел еще недостаточно привык, только на эту последнюю, и еще на сурка. Хищная птица не требует особой дрессировки; все, чему ее нужно выучить, заключается в том, чтобы орел, взятый из гнезда в самой ранней юности и выкормленный самим охотником, возвращался на зов хозяина; все остальное есть уже дело унаследованной привычки. Как скоро участники охоты выгонят лисицу, охотник снимает клобучек с орла, отвязывает птицу и бросает в воздух. Орел расправляет крылья, начинает описывать круги, поднимается по спиральной линии все выше и выше, замечает торопливо бегущую, преследуемую лисицу, летит за нею, бросается на нее наискось, с полусложенными крыльями и далеко вытянутыми лапами, и впивается в нее когтями; лисица, с своей стороны, с яростью оборачивает голову, чтобы схватить врага острыми зубами, и, если это ей удается, орел погиб. Но почти в каждой сильной и смелой хищной птице живет унаследованное свойство замечать угрожающую опасность и искусство избегать ее. В ту минуту, как лисица оборачивается, орел высвобождает когти и в следующую минуту охватывает уже ими лицо своей жертвы. Ликующий оклик приближающегося любимого хозяина ободряет его к стойкости, и через несколько мгновений лисица, уже умирающая, лежит на земле, поверженная с помощью подоспевшего охотника. Многим орлам, правда, при первой попытке приходится расплачиваться жизнью за свою смелость; но если первое нападение удается, орел вскоре приобретает такую ловкость, что его можно даже пустить на волка. При столкновении с ним орел приступает к делу по тем же правилам, но с большей осторожностью; уже размеры преследуемого животного дают ему понять, что он имеет дело с несравненно более опасным противником. Но он выучивается справляться и с ним, и его слава, так же, как и слава его господина, высоко поднимается среди всего народа, а вместе со славой растет и его цена. Орел, одолевающий лисицу, оплачивается от тридцати до сорока рублей, а умеющий побеждать волка—вдвое или втрое дороже, если вообще хозяин желает его продать. С двумя орлами охотиться нельзя, так как один будет мешать другому; даже и один часто отличается такой горячностью, что охотнику трудно помочь ему или трудно высвободить от него убитое животное.

Если уже на охоте с орлом киргизу приходится выказывать все свое наездническое искусство, то это необходимо для него еще в большей степени, когда он охотится с борзыми собаками на антилоп. Как стрелы, бросаются длинноперстные собаки, едва завидев отыскиваемое животное, и наездники летят за ними, не обращая внимания на препятствия, пока не настигнут быстроногой антилопы. Тот, кто падает во время подобной скачки, получает на свою долю только полусострадательную, полунасмешливую улыбку, и охотники несутся далее мимо него.

Даже и во время травли в горах киргизы не сходят с лошадей. Чрезвычайно красивое зрелище открылось перед нами, когда в Архатских горах загонщики, гнавшие диких баранов под наши выстрелы, начали свою головокружительную скачку. То там, то здесь, на высоких вершинах и на перевалах, в долинах и ущельях, появлялись и исчезали всадники один за другим, то ясно и отчетливо вырисовываясь на облаках, то исчезая за холмами, то поднимаясь между камнями гор

ных покатостей. Ни один не сошел с лошади, ни один не задумался ни на минуту над тем, какую дорогу ему выбрать; для них легче было ездить, чем ходить по горам.

У киргизского охотника смелость соединяется с выносливостью. Он выказывает замечательную способность не только в езде, но и в искусстве подстерегать и выслеживать дичь. Целые дни он проводит на лошади, что и неудивительно при его страсти к верховой езде; с ружьем, которое до сих пор еще можно видеть в его руках, как и кремневое, он, точно подкрадывающаяся кошка, целых полверсты ползет по земле, по целым часам подстерегает дичь в бурю и непогоду, пока решится выстрелить. Киргиз стреляет на недалеком расстоянии и кладет ружье на сошку; но он целит верно и направляет пулю в надлежащее место.

Насколько киргиз вынослив и неутомим, как наездник, охотник и пастух, настолько же неохотно занимается он всяким другим делом. И он обрабатывает землю, но обрабатывает самым небрежным образом и лишь в том размере, какой безусловно необходим. Земледельческая работа кажется ему неприятной, как и всякая другая деятельность, не связанная со скотоводством. Он отличается необыкновенным искусством в проведении воды для орошения полей, обладает опытным глазом для оценки местности и умеет без мензулы и нивелира проводить каналы для воды; однако, он выказывает расположение к таким работам лишь в самой ранней молодости, и как скоро сам делается собственником земли, не берется уже ни за мотыгу, ни за лопату. Еще менее любит он занятие каким-либо ремеслом. Он умеет выделывать кожу, изготовлять из нее всевозможные ремни и седла и украшать их железным и серебряным набором; умеет даже ковать ножи и оружие и вообще изготовлять всю нужную для него утварь, но никогда не делает этого охотно. Тем не менее, его нельзя назвать ленивым или небрежным работником; напротив, как работник, он трудолюбив и надежен, и кто свыкся с его искусными руками, редко имеет причины на него жаловаться.

Много выше физического киргиз ценит умственный труд. Его подвижный и живой ум требует постоянной пищи; он любит не только легкие, но и серьезные развлечения всякого рода, быть может, также ради возможности внести некоторую перемену в однообразие своего дня и своего года. Он любит беседовать с соплеменниками, и своей словоохотливостью, нередко переходящей в болтливость, может утомить постороннего человека. С словоохотливостью тесно связана живая любознательность, которая, впрочем, часто превращается в простое любопытство. «Красный язык» не может оставаться без дела; все, что носит степной ветер, все это улавливает внимательное ухо киргиза, а «красный язык» облекает в слова. Идет ли речь о предмете, понятном или непонятном киргизу, если только разговор ведется на доступном ему языке, он без всякого соображения о приличии подходит к юрте и навостренное для подслушивания ухо прикладывает к стене ее, чтобы не потерять ни одного звука. Сохранить тайну, промолчать о событии, хотя бы на один волос выходящем из обыденного жизненного порядка, вообще о каком-нибудь происшествии, сообщении или рассказе—полная невозможность для киргиза. Правда, молчит благородный конь, который несет его по степи, когда замечает что-либо достойное участия; молчат и коза, и овца, когда сходятся с подобными себе; молчит и жаворонок, когда поднимается над степью. Не следует ли из этого, что и

половину степи нужно молчать? Ни в каком случае! «Говори же, красный язык, говори, пока в тебе есть жизнь, потому что после смерти ты будешь молчать». Неисчерпаемо бежит поток слов с уст киргиза. Никогда двое не едут рядом молча, хотя бы ехали в течение целого дня; постоянно, непрерывно надо им о чем-то болтать между собой, что-то рассказывать друг другу. Обыкновенно им бывает недостаточно ехать только вдвоем; трое, четверо выезжают вместе и едут в таком обществе, пока возможно. Этот способ путешествия так укоренился у них, что лошади их сами теснятся друг к другу, и европейцу приходится силой удерживать их. В юрте, наполненной киргизами, раздается жужжание, точно в улье пчел, потому что каждому хочется говорить, и каждый старается завладеть разговором.

Хорошая сторона такой словоохотливости заключается у киргизов в умении пользоваться своей родной речью. В этом отношении все они равны между собой—богатые и бедные, знатные и простые, образованные и необразованные. Их звучный, хотя и жесткий язык, составляющий лишь наречие татарского языка, необыкновенно выразителен. Каждое слово, как это чувствуется даже чужеземцем, не освоившимся с их языком, выговаривается вполне, с правильным ударением на каждом слоге, так что, повидимому, о предмете речи можно судить по тону ее. Дикция всегда оживленная, тон речи соответствует содержанию, слова и паузы точно соразмерены, вследствие чего разговор кажется несколько отрывочным, хотя течение его не останавливается ни на минуту. Красноречивое само по себе выражение лица и живые жесты еще более поясняют слова. Если какой-либо предмет представляет особый интерес, оживленность говорящих достигает такой степени, что слова, повидимому, готовы превратиться в насильственные действия. Но самый жаркий обмен слов оканчивается мирно и спокойно.

Легко понять, что у таких людей певцы и рассказчики пользуются большим уважением. Каждый отличающийся красноречием, особым даром слова, пользуется славой и почетом. Ни одно празднество не обходится без участия певца и рассказчика исторических событий. Подобное лицо не должно обладать особым творческим дарованием: его речь должна только итти без перерыва и держаться определенного, доступного для всех размера, чтобы носить печать поэзии. Однако, киргизский бард располагает достаточно обильным количеством поэтических мыслей, которые для него нетрудно облечь в слова. Пастушеская и кочевая жизнь, как ни однообразно ее обычное течение, имеет свои прелести, свои звучные струны, до которых достаточно коснуться, чтобы вызвать чувство удовлетворения в сердцах слушателей. Многие сказания и предания, которые живы для всех, во всякое время представляют удобный материал для пополнения недочетов в мыслях; таким образом, речь барда может струиться, как спокойный поток, истоки которого никогда не иссякают: ему нужно удерживать лишь определенный размер, чтобы быть и оставаться поэтом. Сохранение размера облегчается тем, что он аккомпанирует себе на трехструнной киргизской балалайке и связывает отдельные изречения музыкальными звуками, которые продолжаются до тех пор, пока новый стих не выльется в надлежащую форму. Чем быстрее, чем искуснее это делается, тем выше поднимается слава певца. Если же поэтический порыв пробуждается в сердце женщины, она может быть уверена в общем поклонении, а если ей приходится состязаться с мужчиной в музыкальном диалоге, то воодушевленная толпа превозносит ее выше всех других созданий ее пола.

Широкая степь благоприятствует в несравненно меньшей степени правильному обучению, чем поэзии. Этим объясняется то обстоятельство, что знание грамоты между киргизами так же редко, как и ограничена самая их письменность. Только сыновья богатых и знатных лиц учатся читать и писать. В правительственных школах в Усть-Каменогорске и в Зайсане обучаются киргизские мальчики, но влияние этих заведений не простирается внутрь степи. Здесь мальчик выучивается читать и писать, лишь когда случай сведет его с муллой, и у последнего окажется столько же охоты учить, сколько у первого стремления учиться. Обучение ограничивается, впрочем, самыми первоначальными познаниями—умением читать и воспроизводить арабские письменные знаки. Содержание высшей, хотя и не единственной, учебной книги корана в действительности не всегда ясно для самого муллы; он читает суры, не понимая их значения. Я знал только одного киргиза, и притом султана, который понимал по-арабски; все же прочие, возвышавшиеся над своим народом знанием священного писания и, как верные последователи ислама, читавшие в указанное время пять установленных молитв, в самом благоприятном случае понимали только значение слов призыва к молитве и первой суры корана; все прочее они произносили с серьезностью, присущею магометанам, но без всякого понимания. И тем не менее, нельзя было не испытывать глубокого впечатления, когда среди широкой степи, где нет минарета, поднимающегося к небу, один из знающих священные слова возвышал свой голос в качестве муэдзина, призывающего к молитве, и правоверные длинными рядами становились на колени позади имама или читающего молитвы и, молясь, приникали головой к земле, как это предписывается законом пророка.

Сознание силы и проворства, ловкости в верховой езде и охоте, поэтического дара и умственной подвижности вообще, чувство самостоятельности и свободы, какое вызывает широкая степь, сообщают внешности киргиза уверенность и достоинство. Поэтому на беспристрастного наблюдателя он производит благоприятное впечатление, в особенности, когда узнаешь его ближе. Это испытал я сам, и такое же мнение высказывают русские, находившиеся в долголетних сношениях с киргизами. Едва ли можно считать преувеличенным мнение, что киргиз отличается весьма многими хорошими и очень немногими дурными свойствами, или, по крайней мере, таким кажется наблюдателю. С возбужденным умом, живой, разумный, насколько дело касается того, что ему известно, добродушный, услужливый и готовый помочь каждому, учтивый и предупредительный, гостеприимный и добросердечный, он представляется в своем роде вполне достойным человеком, отрицательные стороны которого тем легче остаются незамеченными, чем беспристрастнее относишься к нему. Он вежлив, не имея в себе ничего рабского, обращается со стоящим выше его с уважением, но без подобострастия, со стоящим ниже—дружелюбно, но не пренебрежительно. На предлагаемые вопросы он отвечает по большей части после краткого размышления, но спокойно и ясно, и его резко звучащая речь сообщает ответу выражение определенности. Он услужлив по отношению ко всем, но делает это более из честолюбия, чем в надежде на выгоду, более с намерением заслужить похвалу и одобрение, чем в предположении заработать деньги или что-либо ценное. Старшина общины Тамар Бей Метиков, который в течение целого месяца давал нам почетную свиту и был самым услужливым, вежливым и предупредительным

человеком на свете, был всегда наготове исполнить каждое наше желание, был неутомим, стараясь сделать для нас что-нибудь полезное или приятное,—делал все это, только имея надежду или стремление понравиться нам и генерал-губернатору. Это он ясно высказал нам, когда мы пытались навязать ему подарок.

Сообразно с таким честолюбием, знатный гордится своим происхождением и родом, славится отдаленными предками и при некоторых обстоятельствах возводит свою генеалогию до Чингиз-хана, женится только на равных себе и не терпит пятна на своей чести, не прощая оскорбления, затрагивающего ее. Но с честолюбием его связано и тщеславие, такого мы едва ли могли ожидать от него. Не только почет и богатство, достоинство и сан, но и молодость и красота составляют в его глазах дары, которые он высоко ценит. Но он существенно отличается от многих наших красавцев и молодых людей тем, что никогда не доходит до фатовства. Он открыто хвастается своею ловкостью и другими дарами, полученными от природы, но такое хвастовство у него весьма естественно и не искажается намеренно выставляемой скромностью. Насколько позволяют средства, он одевается богато, украшая кафтан и шаровары галунами, меховую шапку—перьями филина, но не доводит своего наряда до шутовства. Женщины, как это легко понять, еще более, чем мужчины, стараются выставить свои прелести в выгодном свете; поэтому меня нисколько не удивило, когда я узнал, что они посредством сока какого-то корня придают своим щекам нежный, душистый и прочный румянец.

Исходя из желания угождать другим, киргиз охотно подчиняется нравам и обычаям своего народа. Свою образованность и культурность он, главным образом, подтверждает на деле строгим следованием обычаям, дошедшим до него от какого-то неопределенно далекого времени и испытавшим существенное влияние ислама. Этим обусловливается формальность и мелочность во взаимных отношениях, но обуздывается высокомерие и изгоняется из общества неприличие, даже неловкость: каждый знает, как именно он должен поступать, чтобы никого не затронуть или никому не показаться неприятным.

Уже взаимное приветствие происходит в крайне церемонной форме, которой все придерживаются и которая определена весьма точно. Когда встречаются две группы киргизов, проходит довольно долгое время, прежде чем закончатся взаимные приветствия. Каждый с своей стороны и одновременно с другими прикладывает правую руку к стороне сердца, а левую к правой руке другого; затем оба отводят правые руки и соединяют с левыми, так что все четыре руки разом соприкасаются между собой. Одновременно с пожатием рук оба произносят арабское слово «аман» (мир), а перед тем они должны были выговорить торжественное приветствие всех магометан: «селам алейкум» (да будет спасение с тобой или с вами), и ответить: «алейкум эль салам». Таким образом, один приветствует всех и каждый приветствует в отдельности другого; обе встретившиеся группы становятся в два ряда и один быстро перебегает к другому, чтобы связанному до тех пор «красному языку» дать возможно полную свободу. Более сокращенный прием, который, впрочем, употребляется лишь в весьма многочисленных собраниях, заключается в том, что руки вытягиваются на встречу друг другу, и каждый хлопает по протянутой ему руке.

Если киргизы посещают друг друга в ауле, то перед приветствием совершается еще следующая формальность. В виду юрт посе-

тители сдерживают своих коней, заставляют их итти шагом и, наконец, совсем останавливают. По этому знаку выходят к ним на встречу из аула, приветствуют их и ведут их лошадей к юртам, которые тем временем женщины украсили, разостлав в них дорогие ковры. Чужие, незнакомые еще в ауле гости должны перед приветствием подвергнуться допросу относительно имени, сословия и места происхождения; но во всяком случае, они принимаются радушно и приветливо, так как киргиз оказывает гостеприимство каждому, без различия состояния и веры, хотя знатным всегда отдает предпочтение. Гость входит с обычным приветствием во внутренность юрты, снимает у двери свои башмаки (галоши), удерживая, конечно, мягкие кожаные сапоги, и, если он равен хозяину по достоинству, садится на почетное место, тогда как человек более простой скромно держится позади знатного и, подобрав ноги, присаживается на ковре.

В честь почетного гостя хозяин приказывает зарезать барашка, но перед этим ее приносят в юрту или ко входу в юрту, чтобы получить благословение гостя. По этому знаку сходятся все соседи, чтобы принять участие во вкусной трапезе. Голова и грудина барана поджариваются над огнем на острой палке (вертеле), разрезанные куски мяса варятся в котле; крестец, ребра, лопатки и бедра, также сваренные, подаются гостю на блюде. Гость моет руки, срезывает мясо с костей, обмакивает его в крепко посоленную подливку и говорит хозяину, который все еще не садится: «Только от хозяина мясо получает вкус; садитесь»; но хозяин возражает: «Много благодарны, много благодарны; кушайте только», и все еще не уступает гостю. Последний срезывает кусок с ребер, подзывает хозяина и сует ему кусок в рот; затем отрезывает другой кусок, кладет его на блюдо и подает хозяйке дома. Наконец, хозяин усаживается рядом с гостем, но и теперь не он, а гость раздает кушанье участникам трапезы. Он разрезывает мясо на такие куски, какие могут поместиться во рту, прибавляет к ним жиру, обмакивает по три куска разом в соус, и один за другим всовывает их в рот кого-нибудь из пирующих. Для дающего было бы оскорбительным, если бы принимающий дар не проглотил его тотчас же, хотя бы он, когда куски слишком велики, и давился ими настолько, что его лицо посинело бы и ему понадобилась бы помощь соседей, которые, для облегчения глотания, бьют кулаками по его спине. Напротив, дающий никогда не должен предлагать более трех кусков; если он превысит это число, если он заставит взять в рот разом пять кусков и вызовет удушение человека, вследствие излишнего угощения, он должен семье удушенного выставить сто лошадей, тогда как не подвергается никакому взысканию, если кто-нибудь из обедающих задохнется от трех кусков. После того, как мясо съедено, гость протягивает всем чашку с соусом, и каждый из участников обеда отпивает из нее сколько хочет или сколько может. В заключение пиршества, но не прежде, чем все вымоют руки, каждый зажиточный хозяин, если кобылицы еще дают молоко, предлагает кумыс. Все, не принимавшие участия в обеде, приходят теперь, чтобы насладиться нектаром. Его пьют до полного опьянения; киргиз при употреблении своего высокоценимого молочного вина позволяет себе так же много, как и в еде, и в этом отношении его нельзя назвать умеренным.

Еще обстоятельнее, чем при обыкновенных посещениях, соблюдают обычаи при важных семейных событиях, в особенности свадебных и погребальных торжествах. В первых—вместе с радостью ясно

выступает и шутка, во вторых вместе с горем—и почитание умершего. Сватовство и свадьба, похороны и поминки по умершем дают повод к целому ряду празднеств.

Как у всех магометан, отец сватается за сына, и, как у всех последователей ислама, он выплачивает будущему тестю сына за невесту посредством калым различной, иногда весьма высокой цены. Сват, которого можно узнать по тому, что на одной ноге его шаровары спущены, а на другой заправлены в сапог, появляется в юрте, в которой девушка достигла цветущего возраста, и от имени отца юноши, желающего вступить в брак, высказывает его желания. Если отец невесты согласен, он требует «больших сватов», т.-е. отца жениха, старшин общины и знатных лиц аула, чтобы вступить с ними в переговоры. Те появляются и, как обыкновенно, останавливают своих коней перед аулом. Посланный от отца невесты выезжает им на встречу, торжественно, по известному обряду, приветствует их и ведет в назначенную для них и разубранную, праздничную юрту, где их прежде всего угощают кумысом. Для лучшего развлечения появляется бард и запевает свои песни. Обильные поощрения и широкие обещания побуждают его продолжать пение. Перед ним восхваляют глубину его мысли, законченность исполнения; ему обещают лошадь или «ямбу», т.-е. четыре фунта чистого серебра, в виде награды за песни. Хозяин дома отклоняет эти обещания, поддерживая свое исключительное право награждать певца; но тем настойчивее обещают гости: каждый знает, что хозяин не допустит гостей до исполнения их обещаний. После того, как певец окончил, начинается оживленная беседа между хозяином, его соседями и гостями; говорят о самых различных вещах, только не о причине и цели посещения; наконец, беседа оканчивается, и гости уезжают домой.

На следующее утро отец невесты со своими приближенными отдает визит; будущий сват так же приветствует и угощает его, пока, наконец, прибывший не потребует свидания с матерью жениха. Тогда все направляются в юрту хозяйки и приветствуют ее там торжественно и учтиво. Вслед затем отец невесты приносит зажаренную баранью грудину, отрезывает от нее куски для угощения гостей и сопровождает разрезывание этой наиболее ценимой части словами: «Пусть эта грудь овцы будет залогом, что наше намерение придет к благополучному концу»; он дает гостям самые вкусные куски и начинает переговоры о размере калыма или платы за невесту. Единицею счета служит кобылица от трех до пяти лет; верблюд считается равным пяти кобылицам; шесть или семь овец или коз равняются стоимости одной кобылицы.

Отец невесты требует в виде калыма 77 кобылиц, но идет на соглашение и, смотря по средствам своим и своего свата, уступает до 57, даже до 47, 37, 27, а если оба они—люди не богатые, то спускает цену еще ниже, пока, наконец, не поладят. Как скоро переговоры окончены, отец невесты объявляет сватовство состоявшимся, поднимается, чтобы ехать домой, и оставляет подарок в самой юрте или у входа в нее. Отец жениха отправляет, если это возможно для него, вместе с уезжающим сватом половину калыма и старается уплатить не медля и вторую половину.

Через две недели после уплаты калыма жених может в первый раз посетить просватанную невесту. В сопровождении возможно большего числа близких ему сверстников и под предводительством более

пожилого друга его семьи, хорошо знакомого со всеми обычаями, он выезжает в путь, едет до аула своей невесты, слезает здесь с лошади, разбивает маленькую палатку и остается в ней, или же укрывается каким-нибудь другим способом. Его провожатые отправляются далее, вступают, после торжественного приветствия, в аул и раздают с веселыми прибаутками всевозможные мелкие подарки—кольца, ленты, лакомства и пестрые ткани—теснящимся около них женщинам и детям. Вместе со своими ровесниками обоего пола они входят в юрту. Хозяин предлагает кушанье и питье, сперва баранью грудину, которую разрезывает с приведенными выше словами, и затем «мейбаур»—маленькие кусочки сердца, печени и почек овцы, жаренные в сале; он ставит блюдо перед уважаемым стариком, и тот поступает согласно обычаю и праву гостя, по первому из юношей, которому дает несколько кусков, в то время, когда тот старается проглотить их, он вымазывает лицо жирным соусом. Потом, по его знаку, начинаются игры молодежи, в которых состязаются юноши, девушки и молодые женщины. Одна из любимых шуток девушек состоит в том, что они несколькими быстрыми стежками крепко пришивают к ковру платье юношей.

После обеда молодым гостям предоставляется короткий отдых, но лишь для того, чтобы дать им время собраться с мыслями. Затем девушки и женщины вызывают юношей на состязание в пении, указывают им почетные места, садятся против них, и одна из них запевает песню. Если юноша, к которому она обращается, не может ответить ей тем же, ему приходится плохо. Веселая толпа нападает на него, щиплет и жмет его, вытесняет из юрты и передает в руки молодых мужчин аула, уже поджидающих жертву перед юртой. На жалкого неудачника выливают ведро воды, и он, вымоченный и осрамленный, приводится назад в юрту, где его подвергают новому испытанию. Если и оно не удается, он наказывается тем, что его переодевают в женское платье и в таком виде выставляют напоказ. Горе ему, если он окажется слишком чувствительным: тогда ему придется пережить мучительный день. Шутка имеет теперь неограниченную власть и не терпит никакого сопротивления. Кто всего охотнее встречает эту повелительницу, тот бывает героем дня, а кто оказывается недоросшим до нее, становится общей жертвой.

Во время игр невеста сидит в задней половине юрты, скрываясь за занавеской и никому не показываясь. Этим уединением пользуются молодые люди аула; в то время, когда друзья жениха заняты состязанием в пении, они выкрадывают невесту, т.-е. раскрывают войлоки юрты и через образовавшееся отверстие выпускают девушку на свободу, сажают на лошадь, везут к какому-нибудь родственнику ее и здесь передают ожидающим ее пожилым женщинам. Если похищение удалось, похититель требует от молодых людей, чтобы они отыскали и выручили невесту из рук старых женщин. Все общество поспешно поднимается и просит старух, стерегущих похищенную, отдать ее. Но слова, как бы ни были хорошо сказаны, не имеют силы: их просьба отвергается. Невеста сидит перед глазами всех в юрте, часть которой освобождена от войлочных покровов; но насильственные действия не допускаются, и юноши стараются добиться своей цели добром, т.-е. ведут переговоры со старухами. Те требуют девять различных, приготовленных самими юношами, кушаний, наконец, соглашаются вместо кушаний взять девять подарков; тогда только отдают невесту с условием, чтобы она была отведена обратно в юрту ее отца.

Между тем жених все еще ждет в своей палатке. Правда, в это время он был не совсем один; несколько молодых женщин, уже при появлении его сверстников, отправились его разыскивать; конечно, они нашли его и были приняты с почтительным приветствием, называемым «танимъ». Юноша кланялся так низко, что касался земли концами пальцев, затем медленно приподнимался, при чем руки его скользили по коленям, пока не выпрямился во весь рост; женщины приняли такое выражение почета, занимали его разговором, приносили ему кушанья и напитки и сокращали время шутливыми речами, но не давали ему выйти из палатки. Только после многих просьб и не ранее солнечного заката ему дано было разрешение спеть коротенькую песню в ауле и перед юртой невесты. Он садится на коня, въезжает в аул, приветствует пением его обитателей, обращается к юрте своей избранницы и в сочиненной самим или заимствованной песне жалобно высказывает ей свое страстное желание, свою тоску:

«О, девушка, ты доставила мне страдание и горе; уже три раза я напрасно приходил к тебе; ты не хотела бодрствовать, твой сон был слишком глубок; ты не хотела слышать, не хотела видеть меня.

«Но поздно ночью, когда верблюдов тесными рядами поставят на покой у волосяной привязи, тогда освежится томимая жаждой душа, тогда обратится к тебе мое страстное желание, моя тоска.

«Когда я взгляну тебе в глаза, ко мне опять возвратится то, что я потерял,—бодрость и веселость, душевная сила, которую ты взяла у меня, и грудь опять наполнится желанием и страстью.

«Я попрошу тебя принести мне кумысу, так как у меня жажда и уста мои сухи; ты уступишь моей просьбе, ты смягчишься и возвратишь крепость моему жаждущему сердцу.

«Если же мое сватовство тебе не нравится, если я тебе не угождаю моим пением, я уеду обратно со всеми моими друзьями: они должны помочь мне забыть тебя».

Не вступая в юрту, он опять возвращается в свою палатку. Тогда в ней появляется старуха и обещает провести его к невесте, если получит от него подарок. Он оделяет ее щедрой рукой и вместе с ней отправляется в путь. Но не без препятствий достигают они желаемой цели. Другая женщина кладет поперек их дороги подпорку, которою поднимают верхнее кольцо юрты; переступить через такой шлагбаум было бы дурным предзнаменованием; подпорка должна быть убрана тем, кто ее положил. Подарок устраняет это препятствие, но через несколько шагов новая преграда оказывается на пути. Там лежит, повидимому, мертвая женщина; новый подарок возвращает мертвую к жизни и открывает дорогу к самой юрте. Перед ней стоит какая-то фигура и ворчит, подобно собаке. Это ни в каком случае не должно означать, что собака встречает жениха ворчаньем. Третий подарок закрывает недовольные уста, и много испытавший жених уже беспрепятственно доходит до юрты. Дверь ее охраняется двумя женщинами, но и те не могут устоять перед подарком; внутри юрты две женщины крепко держат занавеску; на постели невесты спит младшая сестра последней. Жених откупается от всех; юрта пустеет; старуха соединяет руки жениха и невесты и также удаляется. Наконец-то, они вместе и одни!

Под надзором помогающего ему старика, называемого «дьенке», жених несколько раз посещает невесту, но не представляется ее родителям, пока не будет выплачен остаток калыма. Тогда он посылает

свата к отцу невесты спросить его—может ли он теперь увести невесту в свою юрту? Ответ получается утвердительный. Жених появляется вновь со множеством провожаемых и различными подарками перед аулом, опять разбивает на известном расстоянии свою палатку, по-прежнему, принимает в ней женщин, проводит ночь один в палатке и на следующее утро посылает оттуда в аул все необходимые для юрты деревянные части. Обитательницы юрты сходятся, чтобы сшить поскорее войлоки, доставляемые невестой, насколько это нужно, и затем начинается установка новой юрты. Женщине, пользующейся наибольшим расположением в ауле, предоставляется честь поднять верхнее кольцо юрты и держать его до тех пор, пока не будут прилажены стропила; прочие женщины сообща устанавливают и покрывают остов юрты. Во время ее установки появляется жених; тогда приводят и невесту и требуют от обоих, чтобы они вошли в жилище с различных сторон, ради решения великого вопроса—чья власть будет сильнее в юрте? Власть должна принадлежат тому, кто войдет в юрту первым.

Одна из овец, приведенных женихом, убивается, и готовится обед, который должен быть съеден в новой юрте. Во время обеда молодой хозяин обертывает одну из костей бараньей ноги белой тканью и выбрасывает, не глядя на нее, через верхнее отверстие, на воздух. В случае удачи, это должно служить знаком, что дым будет подниматься из юрты прямо к небу, что обещает счастие и благополучие для юрты и ее обитателей.

После закуски в юрте гости отправляются к отцу жениха, у которого их ожидает другой обед. Для молодых людей, оставшихся в новой юрте, мать невесты приносит кушанья; она должна щедро раздавать их, если не хочет, чтобы молодежь разобрала юрту над головами пирующих и, в наказание за скупость, не разнесла различных частей легкого строения по всем направлениям и не разбросала по широкой степи. Но и обильно наполненное блюдо не останавливает задорных, расходившихся свадебных гостей: один из них вырывает его из рук хозяйки и уезжает с ним; другие пытаются отбить у него добычу, и так продолжается шутливая игра до тех пор, пока не явится опасность, что кушанье остынет.

На следующее утро отец невесты в первый раз выражает желание видеть жениха, приглашает его в свою юрту, радушно приветствует его, высказывает похвалы его наружности и его дарованиям, желает ему счастья в браке и в заключение осыпает его подарками, в число которых входит и приданое невесты. Это происходит перед всеми участниками свадебного торжества, собравшихся в юрте еще до прихода жениха. Наконец, в нее вступает и богато наряженная невеста. Если в ауле или где-нибудь поблизости оказывается мулла, он произносит благословение над молодой четой.

Теперь невесте поется песня расставания, называемая «джар-джар», и она, со слезами на глазах, отзывается на каждый стих, на каждую строфу ее жалобным стоном разлуки.

Это попеременное пение наконец умолкает; приводятся верблюды, которые должны везти юрту и все подарки невесты, и богато убранные лошади, чтобы везти невесту и ее мать в аул жениха. Новобрачный едет впереди свадебного поезда и с помощью своих сверстников понуждает верблюдов бежать скорее, чтобы выиграть время для формальностей, какие, как и при первой постановке юрты, требуются и в его ауле, для устройства ее. Невеста, простившись с горькими слезами с

ницом, с родными и подругами, с юртой и домашними животными, едет, плотно обернутая в скрывающую ее завесу, которую поддерживают сопровождающие ее всадники; она едет так до той юрты, где впоследствии будет полной хозяйкой. Свекор, успевший тем временем осмотреть приданое и одобрить или похулить его, вскоре по приезде зовет ее к себе в юрту; она входит с тремя поклонами, столь низкими, что ей приходится упираться руками в колени; это должно означать, что она будет так же покорна свекру и свекрови, как и своему господину и повелителю. Ее лицо во время этого приветствия остается закрытым, так же, как оно всегда будет закрыто перед отцом и братом мужа и, в течение года, перед каждым чужим мужчиною. Впоследствии она открывает лицо только перед старшим братом мужа, потому именно, что должна была бы выйти за него замуж, если бы муж ее умер, и не хотела бы, чтобы деверь питал к ней недобрые чувства.

При втором браке киргиз сватается сам без особых формальностей. Если он берет себе вторую жену при жизни первой и поселяет их вместе в одной юрте, как это часто бывает у людей не слишком состоятельных, то вторая жена играет весьма жалкую роль. Первая жена удерживает свои права и уделяет второй только известное место в юрте, ограничивая даже и супружеские права хозяина. Женщина пользуется большим уважением среди киргизов: «мы ценим наших женщин так же, как и верблюдов: обеи не имеют цены», говорил мне мой киргизский приятель, Алтибей. Мужчины редко разводятся с женами, и последние еще реже уходят от мужей. Тем не менее, и в степи любовь иногда переступает пределы, поставленные обычаем. Там происходят и похищения, и это не считается позором; девушка, отец которой слишком притязателен, доставляет похитившему ее и себе самой, по крайней мере, по мнению многих, скорее славу, чем бесчестье

Новорожденное дитя у киргизов, как только увидит свет и в течение сорока дней после того, подвергается ежедневному купанью в крепко-соленой воде; по истечении сорока дней, его уже не моют более. Вначале ребенка укладывают в колыбель, наполненную мягкою, как пух, верблюжьей шерстью, так что он бывает вполне покрыт ею и не страдает от холода даже в самую суровую зиму; впоследствии на него надевают шерстяную рубашечку, которую мать через каждые три дня высушивает и вытряхает над огнем, чтобы освободить от встречающихся в каждой киргизской юрте паразитов, но никогда не меняет ее, пока она еще держится. Зимой к этому костюму заботливая воспитательница прибавляет чулки, а как только ребенок выучится бегать, он одевается так же, как и взрослые.

И отцы и матери у киргизов необычайно любят своих детей, обращаются с ними с величайшей нежностью и никогда не бьют их; но, к сожалению, у них есть дурное обыкновение выучивать детей, когда те только-что начинают говорить, всевозможным дурным и неприличным словам; эти слова, произносимые невинными устами ребенка, неизменно кажутся всем очень забавными. Возраст ребенка обозначается у них именем животного: он может быть в возрасте мыши, сурка, овцы, лошади и т. д. Когда ребенку исполнится четыре года, его сажают в первый раз на лошадь, приблизительно одних лет с ним, богато украшенную и оседланную детским седлом, переходящим по наследству. Счастливые родители дают всевозможные обещания оторгнутому в первый раз от матери, выступающему на самостоятельный путь, маленькому наезднику, затем призывают слугу или услужливого прия-

теля, передают ему лошадь и крошечного всадника и поручают водить их от одной дружественной юрты до другой, чтобы сообщить родным и друзьям о радостном событии. Везде, где появляется мальчуган, его дружески приветствуют, осыпают похвалами и задаривают лакомствами. Празднество в отцовской юрте ознаменовывает великий, важный для всех день.

Приблизительно на седьмом году начинается обучение ребенка всему, что ему нужно знать. Мальчик, успевший уже сделаться искусным ездоком, учится обращению с домашними животными на пастбище; девочка приучается их доить и исполнять другие женские работы; сын богатых родителей поступает для обучения к мулле или к кому-либо другому, умеющему читать и писать, а впоследствии обучается правилам своей веры. Еще до истечения двенадцатого года обучение считается оконченным, и мальчик вступает в жизнь.

Еще более, чем живых, киргиз почитает мертвых и память о них Каждая семья готова на величайшие жертвы, чтобы устроить торжественные похороны и поминки по ком-либо из членов ее, похищенном смертью; каждый, даже самый бедный, старается украсить могилу дорогого ему человека, насколько это возможно; каждый счел бы для себя позором не воздать полной чести умершему. Все это представляет обычай, свойственный всем магометанам, но торжества, сопровождающие смерть и погребение киргиза, существенно отличаются от подобных же торжеств других правоверных и заслуживают более подробного описания.

Когда киргиз чувствует приближение смертного часа, он собирает своих друзей, чтобы те могли позаботиться о спасении его души. Благочестивые киргизы, ожидающие смерти, заставляют еще задолго до последнего часа читать себе коран, хотя бы смысл слышимых ими слов и не был им понятен. По обычаю правоверных, друзья собираются около смертного одра близкого человека и говорят ему первое положение вероучения последователей пророка: «Нет Бога, кроме Бога», повторяя его до тех пор, пока он не ответит вторым: «и Магомет пророк Его». Как скоро слова эти сойдут с уст умирающего, Мункир, испытующий ангел, отворяет врата рая и потому все слышавшие их восклицают: «Эль гамду лиллаги»—благодарение Богу!

Как только хозяин юрты навсегда закроет глаза, тотчас же на все четыре стороны рассылают гонцов, чтобы сообщить о том всем родственникам и друзьям. Гонцы проезжают, смотря по сану и положению покойника, от двадцати до сорока верст по степи, из аула в аул, при чем родственник одного аула передает эту весть родственнику в ближайшем ауле. Пока разъезжают эти траурные герольды, тело обмывается и обертывается в «лайлах», который каждый киргиз приобретает себе еще при жизни и хранит среди своих ценных вещей. После исполнения этого долга труп выносят и временно кладут на полуразобранную решетку юрты. Появляется приглашенный мулла и произносит молитву над умершим; затем труп поднимают вместе с решеткой, прикрепляют последнюю к седлу верблюда и трогаются в путь в сопровождении родственников, прибывших тем временем из ближайших мест, направляясь к кладбищу, нередко находящемуся на большом расстоянии.

Едва только смерть вступит в дом, женщины начинают плач по умершему. Ближайшая родственница затягивает заунывную песню и дает исход своему горю в более или менее прочувствованных словах; прочие присоединяются к ней в конце каждого предложения или стиха,

и одна за другою облекают мысли в слова, насколько это им доступно. Все более и более усиливается жалобный напев до той минуты, пока верблюд не поднимается наконец со своей ношей; не только словами и звуками, но и телодвижениями женщины выражают все возрастающее горе и под конец начинают вырывать себе волосы и царапать до крови лицо. Лишь тогда, когда погребальная процессия, в которой женщины не принимают участия, скроется из глаз, разом прекращаются и причитания, и слезы.

Перед похоронным шествием несколько человек уже выехали на быстрых лошадях, чтобы приготовить могилу. Могила вырывается не глубже, как по грудь человеку, и с одной стороны ее, по направлению к Мекке, устраивается свод, предназначенный принять голову и верхнюю часть тела умершего. После погребения, могила покрывается бревнами, досками, связками тростника или камнями, но не засыпается землею; последняя насыпается только в виде холма над покрышкою могилы и украшается знаменами и тому подобными предметами, если только не воздвигается над ней куполообразной постройки из дерева или кирпичей. На могилу ребенка ставится его колыбель. Перед могилой мулла последний раз благословляет труп; в насыпании могильного холма все принимают участие. Но погребальное торжество еще не заканчивается.

В ту минуту, когда хозяин испустил последний вздох, перед его юртой ставят белое знамя и оставляют его целый год на том же месте. Ежедневно в течение этого года собираются сюда женщины и возобновляют свои причитания. По возможности в то же время приводят сюда любимую лошадь умершего и обрезывают на половину ее длинный хвост. С этого мгновения на лошади никто уже более не ездит; она называется «вдовой». Семь дней после смерти все родственники и друзья, не исключая и тех, которые кочуют и живут вдалеке оттуда собираются в юрте умершего, справляют сообща похоронную тризну, распределяют некоторые одежды покойного между бедными и советуются о дальнейшей судьбе оставшихся после него, и о распоряжении его имуществом. Затем его домашних предоставляют самим себе и своему горю.

Смерть женщины сопровождается исполнением тех же обычаев, как и смерть мужчины, с тем естественным различием, что ее тело омывается и одевается женщинами. Но и в последнем случае во время погребения они остаются в ауле для причитаний по умершей. Верховая лошадь покойной также лишается своего украшения, но траурного знамени не ставится.

Когда аул переносится на другое место, один из молодых людей, избранный для этой почетной услуги, приводит «вдовую» лошадь, кладет ей на спину седло ее господина в обратном направлении, навьючивает ее одеждами умершего и ведет на поводу к месту назначения, неся в правой руке древко с траурным знаменем. Как только юрту установят вновь, он расседлывает лошадь и ставит знамя на прежнее место.

В годовщину смерти все приглашенные родственники и друзья собираются опять в осиротелой юрте. Встретив приветствиями женщин, все еще одетых в траурные одежды, и еще раз высказав им слова утешения, посылают за «вдовой» лошадью, которую седлают и навьючивают так же, как при перенесении аула, и затем ведут к мулле, чтобы он ее благословил. Когда это совершится, двое мужчин приближаются к ней, хватают за повод, расседлывают ее, повергают на землю

и вонзают ей стальное острие в сердце. Ее мясо служит пищею бедным участникам поминок, а кожа достается в награду мулле. Непосредственно после смерти лошади знамя передают самому уважаемому из родственников; он берет его, произносит несколько слов, ломает древко на куски и бросает их в огонь.

После этого наездники пускают лошадей во весь опор, чтобы на состязании выказать свою быстроту; молодые наездники устремляются вперед по данному знаку и быстро исчезают в степи. На место муллы выступает певец; он еще раз вспоминает об умершем, но уже чествует и живых, стараясь развеселить их. С головы женщин исчезает своеобразный головной убор, служивший знаком траура, и они наряжаются в праздничные одежды. После обильной трапезы ходит из рук в руки круговая чаша с опьяняющим молочным вином; со звуками цитры сливаются веселые восклицания.

Траур окончен; жизнь опять вступила в свои права.

Охотничьи поездки по Дунаю.

Венгрия, как прежде, так и теперь, неизбежно влечет к себе немецких орнитологов. Расположенная более благоприятно, чем всякая другая страна Европы, между Немецким и Черным, Балтийским и Средиземным морями, простираясь от большой северо-восточной европейской равнины до Альпов, соединяя в себе север и юг, степи и горы, леса, реки и болота, она представляет и оседлым, и переселяющимся птицам одинаково важные преимущества и удобства, и поэтому обладает таким богатством птиц, какое трудно, даже невозможно найти ни в какой другой стране нашей части света. Живые и увлекательные описания этого богатства, которыми мы обязаны нашим выдающимся исследователям, не мало содействуют увеличению и усилению упомянутого мною врожденного стремления всех орнитологов Германии. Тем удивительнее, что эта прекрасная богатая страна, близко лежащая от нас, вообще так редко посещается немцами.

Я видел только ее столицу и лишь то, что можно видеть из железнодорожного вагона; поэтому я в сильнейшей степени разделял желание, о котором только-что сказал. Ему суждено было исполниться, но лишь для того, чтобы оно могло возгореться еще сильнее. «Под пальмами никто не бродит безнаказанно», и ни один орнитолог не проведет майских дней в Фрушкагоре без того, чтобы впоследствии не чувствовать страстного желания возвратиться туда снова.

— Хотите ли,—спросил меня однажды кронпринц Рудольф,—сопровождать меня на орлиную охоту в южной Венгрии? Я имею точные сведения, по крайней мере, о двадцати орлиных гнездах, и думаю, что мы можем узнать много, если попадем туда и будем прилежно наблюдать их.

Двадцать орлиных гнезд! Нужно быть целые годы прикованным к пустынной почве северной Германии, нужно припомнить радостные события подобного рода из странствующей жизни орнитолога, как это было со мной и в том, и в другом отношении, чтобы понять ту радость, с какою я принял это предложение. Двадцать орлиных гнезд не в слишком далеком расстоянии от Вены и в еще меньшем от Пешта! Я не был бы достоин имени моего отца, если бы остался равнодушным к такому известию. Дни сокращались в часы, благодаря всевозможным приготовлениям, но они могли бы удлиниться в недели от нетерпения, с каким я ждал отъезда.

Небольшое, но веселое, любящее охоту и энергическое общество выехало из Вены на второй день Пасхи 1878 г. Кроме нашего высокопоставленного хозяина и его зятя, к нашему обществу принадлежали граф Бомбель, Евгений ф.-Гомейер и я в качестве товарищей по охоте. Через день после того быстрый и удобный пароход понес нас из Пешта

по направлению к устью «голубого» Дуная. Обвеваемый ароматным дыханием весны, облитый утренним солнцем, лежал перед нами горделивый императорский замок в Офене; сады Блодсберга красовались перед нами в первой зелени веселой поры года, когда мы ранним утром простились со столицей Венгрии.

Путь, каким мы проезжали теперь, нельзя сравнивать с поездкой по Рейну и по верхнему, а также, как говорят, и по нижнему Дунаю. В нескольких километрах ниже городов-близнецов берега становятся плоскими, горы, тянущиеся по правой стороне реки, быстро понижаются, превращаясь в незначительные холмы, и только в голубоватой туманной дали глаз различает мягкие линии достаточно высоких хребтов. По левому берегу простирается обширная равнина. Необозримая, беспредельная, однообразная расстилается она перед блуждающим по ней взглядом, изредка лишь останавливающимся на одной из больших, богатых деревень. То там, то здесь пастух, в свойственной ему одежде, стоит, опираясь на свой тяжелый посох; но его надзору вверены не благородные длинношерстые овцы, а хрюкающие щетинистые животные, теснящиеся около загорелого человека или лежащие рядами вблизи от него, наслаждаясь приятным отдыхом. Над большими лужами, оставшимися после ливня, кувыркается чибис; над обширными равнинами раскачивается полевой лунь; перед ямками, вырытыми в отвесно обрывающихся берегах, порхают взад и вперед береговые ласточки; на гентовых крышах водяных мельниц расхаживают, потряхивая хвостиками, изящные плиски; с реки поднимаются с шумом утки и бакланы; над ее поверхностью кружатся и летают коршуны и серые вороны. Такова картина этой местности.

Но пейзаж вскоре изменяется. Равнина, которую река некогда образовала и прорезывает теперь, становится еще более плоской. На обширных, еще неогражденных плотинами низинах, заливаемых при каждом половодье, она разделяется на бесчисленные, по большей части безымянные, рукава. Пышно разросшийся лес покрывает ее берега и острова; плотные береговые заросли не дают доступа глазу во внутреннюю часть этой лесистой долины, на целые мили ограничивающей со всех сторон горизонт. При общем однообразии изменчивые картины возникают и убегают, встают, отодвигаются и исчезают, по мере того как пароход следует по изгибам реки. Древесные насаждения образуются здесь ивами, белыми, серебристыми и черными тополями, вязами и дубами, при чем первые значительно преобладают, а последние встречаются лишь изредка. Над плотною, почти исключительно состоящею из них, береговою зарослью возвышаются более старые деревья того же вида; далее, над лесами, глубоко врезывающимися во внутрь страны, исполинские серебристые и черные тополи поднимают свои развесистые вершины, и высятся в воздухе сухие ветви вершин старых кряжистых дубов. Одним взглядом здесь можно охватить все ступени древесной жизни от едва пробивающихся побегов ивы до умирающих великанов: деревья, только-что возникающие из ростков, входящие в силу, достигшие горделивой полноты роста, уже сохнущие на вершинах, поверженные небесным или земным огнем и на половину обугленные, лежащие на земле, гниющие и разлагающиеся. Между ними блестит текущая или стоячая вода; над ними закругляется свод неба. Из таинственного мрака звучит отрывистый посвист соловья и зяблика, мелодичная песня певучего дрозда, слышится резкий крик сокола или орла, раздается веселый звук дятла, карканье ворона, крик цапли. Ме-

стами лес редеет, прорывается еще незаросшая прогалина, и между лесными чащами открывается в перспективе вид на обширную равнину правого берега и ограничивающую ее кайму холмов, на бесконечные поля, на деревню с церковью или город. Летом, когда зелень листвы повсюду почти одного и того же цвета, поздней осенью, зимой и ранней весной, когда деревья стоят без листьев, этот береговой пейзаж может казаться утомительным; и теперь он представляется однообразным, но не лишенным прелести: все ивы и тополи различных пород одеты в молодую лиственную одежду, по большей части украшены сережками и, по крайней мере в некоторых местах, придают пестрый характер лесам.

Такой лес редко где бывает доступен, так как в целом он не что иное, как громадное болото. Пытаясь проникнуть внутрь его то сухим путем, то водою, рано или поздно попадаешь в такие дебри, каких никогда не встретишь в Германии. На местах, лежащих более высоко над уровнем реки, там, где встречается жирная, отчасти илеватая почва, на первых порах кое-что напоминает еще леса германских долин. Здесь ландыши образуют роскошный зеленый ковер, чудно украшенный белыми душистыми колокольчиками и покрывающий землю на обширных пространствах, но здесь же крапива и ежевика разростаются в таком изобилии, а различные вьющиеся растения настолько охватывают целые участки леса, что нога человека встречает везде почти непреодолимые препятствия. В других местах лес становится в настоящем смысле болотом, из которого и над которым поднимаются исполинские деревья. Могучие стволы, свалившиеся от старости, от бури, от молнии, от огня, легкомысленно разведенного пастухом, лежат, истлевая в воде, часто служа почвой для юных, роскошно разростающихся кустарников; другие, менее тронутые тлением, заграждают путь. Оторванные части деревьев, начиная от толстых сучьев до тонких веток, сносятся ветром в воду и представляют пловучие острова, которые при переезде в челноке служат не меньшим препятствием, чем при переходе вброд. Подобные же пловучие острова, состоящие из тростника и камыша, на далекие пространства образуют колеблющийся покров над открытой водяной поверхностью. Возвышенные илистые отмели, на которых ивы и тополи находят удобную почву для своих семян, превращаются в непроходимые чащи и оспаривают место даже у камышевых зарослей, покрывающих целые квадратные географические мили; малорослые ивы, представляющие одновременно и юный, и стареющийся лес, выступают здесь в виде темных пятен на тростниковых зарослях. Все, что может укрыть темный лес со своими болотами и чащами или густой тростник, остается по большей части невидимым для любознательного глаза естествоиспытателя, для которого доступны только окраины этих дебрей и широкие водные пути.

В такой местности приступили мы к охоте, которая прежде всего должна была касаться властителей воздуха. Эти царственные орлы, в первый день пути, не только не появлялись на расстоянии нашего выстрела, но даже не показывались нам на глаза; зато мы посетили известный с давнего времени остров Адони, где во множестве водятся цапли, и имели случай наблюдать жизнь птиц, вьющих там себе гнезда. Уже в течение двух человеческих поколений на высоких деревьях этого острова, среди давно поселившихся там грачей, гнездятся цапли, бакланы или кормораны; последние с шестидесятых годов значительно уменьшились в численности, но еще не совсем исчезли. В тридцатых

годах XIX в. по исчислению Ландбека, здесь гнездились около тысячи пар ночной цапли, двести пятьдесят пар чепур, пятьдесят пар шелковой цапли и до ста пар корморанов; в настоящее время (в 70-х годах) грачи опять образуют главный состав здешнего населения, достигая числом от полуторы тысячи до двух тысяч пар; чепуры уменьшились в числе до полутораста, ночные до тридцати или сорока пар, а шелковые совершенно исчезли, и только кормораны сохранились приблизительно в прежнем количестве. Таким образом, по крайней мере отголосок прежней жизни отзывался в наших ушах, когда мы вступили на остров; но его лес представлял местами почти полную картину старого времени.

На первый взгляд в таком смешанном месте обитания птицы живут в наилучшем согласии между собой, а между тем у них нет мира и дружбы. Каждая из них и притесняет, и поддерживает другую, и налагает на нее контрибуцию, и доставляет ей пищу. В поселения грачей вторгаются цапли, чтобы избавить себя от личного труда свивания гнезд; те приносят хворостинки и строят гнезда, а другие, и прежде всего цапли, выгоняют их с гнезда, чтобы насильственно завладеть последним, по крайней мере—его строительным материалом; бакланы, в свою очередь, оспаривают у похитителей их добычу и в конце концов являются настоящими властителями в этом смешанном птичьем царстве. Но и эти воры и разбойники также подвергаются обкрадыванию и лишаются собственности: вороны и коршуны, из которых в последних не бывает недостатка в подобных поселениях, в значительной степени питаются сами и кормят своих детенышей рыбой, какую цапли и бакланы приносят для продовольствия своих самок и птенцов. Первая встреча птиц различных видов, выводящихся здесь, всегда бывает враждебной. Происходят жестокие продолжительные битвы, и побежденный десять раз возобновляет борьбу в одиннадцатый раз, прежде чем покориться неизбежности. Но с течением времени отношения улучшаются сообразно тому, насколько отдельные члены этого общества признают; что общежитие имеет свои выгоды и что для мирного соседа всегда найдется достаточно простора. Впрочем, столкновения и раздоры никогда окончательно не прекращаются; но ожесточенная война одного вида с другим постепенно уступает место, по крайней мере, сносным отношениям. Все привыкают друг к другу и по возможности пользуются услугами противника. Случается даже, что ограбленный следует за похитителем, когда тот видит себя вынужденным перенести свое гнездо на другое место.

Вид такого смешанного местообитания птиц в высшей степени привлекателен. «Едва ли может быть что-либо разнообразнее, изящнее и красивее,—говорит Бальдамус,—чем эти венгерские болота со своим птичьим миром, который столько же отличается количеством отдельных особей, сколько и разнообразием их формы и цвета. Нужно увидеть выдающихся обитателей этих болот в каком-нибудь музее, и представить себе, что они стоят, ходят, бегают, лазят, летают, одним словом, живут, и тогда нельзя не согласиться, что такая птичья жизнь является чрезвычайно грандиозной картиной». Это описание остается верным даже и в приложении к обедневшему острову Адони. Как ни уменьшилось некогда богатое население его, птицы здесь все-таки встречаются тысячами. На обширных лесных пространствах, на каждом высоком дереве здесь помещается гнездо, а на многих из них—от двадцати до тридцати гнезд, и около них движется шумное общество поселенцев

различных видов. На высоких гнездах сидят самки грачей, чепур, ночных цаплей и бакланов и глядят своими темными, серо-желтыми, кровяно-красными и аквамариновыми глазами на нарушителя их спокойствия, когда он вступает в их священный приют; на самых высоких ветвях лазят и карабкаются, а над ними порхают, летают и носятся черные, бурые, серые, одноцветные и пестрые, матовые и блестящие фигуры птиц. Еще выше описывают свои круги коршуны; на стволах работают дятлы; в цветах грушевого дерева ищут пищи подвижные славки, на вершине уже оделившихся черемух заняты тем же вьюрки и пеночки. Столь чудный в некоторых местах ковер ландышей испачкан здесь на обширном пространстве пометом птиц и засорен разбитыми яйцами или их скорлупой и выпавшей из гнезд разлагающейся рыбой.

Первый выстрел нашего высокого хозяина производит неизобразимый хаос. С пронзительным криком подымаются испуганные цапли, с оглушительным карканьем—вороны; с недовольным, скрипучим звуком оставляют свои гнезда бакланы. Туча из птиц образуется над лесом, носится и в том, и в другом направлении и вверх и вниз, уплотняясь, осеняет вершины и разбивается на отдельные части, которые медленно спускаются к только-что оставленным гнездам, кружась около них некоторое время, и затем опять соединяются с главной массой. Каждая в отдельности кричит, трещит, каркает и пищит так, что звенит в ушах; каждая улетает и опять привлекается обратно заботой о гнезде и яйцах. Весь лес приходит в движение; но не заботясь об этом шуме, зяблик гремит по лесу приветом весне, дятел ликует, соловьи высвистывают свои великолепные мелодии, и в среде воров и разбойников обнаруживаются поэты.

Обильно нагруженные добычей, вернулись мы после четырех или пятичасовой охоты к нашему пароходу, служившему для нас уютным домом, чтобы во время дальнейшей поездки воспользоваться, с научной точки зрения, приобретенными нами сокровищами. Целые часы ехали мы через леса, какие я уже описал, мимо больших и мелких местечек, городов и деревень, пока возрастающая темнота не заставила нас остановиться. В сумраке следующего утра достигаем мы Апатина. Выстрелы из мортир, музыка и радостные восклицания приветствуют наследника престола. Люди всякого звания теснятся около парохода; местные жители, промышляющие охотой, отыскиванием гнезд, лазанием на деревья и набивкой чучел, приходят к нам на палубу; более дюжины маленьких челноков забирают на пароход. Тогда пароход поворачивает, чтобы подняться опять вверх по реке и высадить нас поблизости одного из широких речных рукавов. Последний впервые вводит нас в болотные леса. За более крупной лодкой, на которой мы сидим, следуют все маленькие, взятые нами в Апатине, подобно утятам, плывущим за уткой. Сегодня охота посвящается морскому орлу, или орлану, который в этих лесах выводится так часто, что на пространстве одной квадратной мили выслежено не менее пяти гнезд его. С охотничьим блаженством в душе мы расстаемся, чтобы идти к этим гнездам в различных направлениях.

Я хорошо знал и прежде эту смелую и ловкую, хотя и неблагородную хищную птицу, так как часто видал ее в Норвегии и Лапландии, в Сибири и Европе, но никогда не наблюдал ее в ее гнезде; поэтому случай ознакомиться с последним был для меня крайне желателен. Соответственно своему имени, морской орел живет преимущественно на морских берегах, а также и на берегах больших рыбных озер и ре-

Когда зима выгонит его из его приюта, он направляется к югу, пока не найдет условий, дающих ему возможность поддерживать свой образ жизни в холодное время года. В Венгрии он встречается чаще всех других крупных хищных птиц, не оставляет этой страны и зимою, и только в молодые годы, пред наступлением возмужалости, предпринимает более далекие странствования, как будто хочет попытать свои силы на чужбине. Вследствие того, в весеннее время в описываемой нами области можно видеть исключительно лишь старых, выцветших или, что то же, взрослых, годных к воспроизведению орланов, между тем как осенью и зимою, вместе с птенцами, вылетевшими из своего гнезда за несколько месяцев перед тем, леса берегов Дуная оживляют и возвратившиеся орланы. Пока река не покроется льдом, им нетрудно прокармливать себя; на воде они охотятся не менее искусно, даже, пожалуй, искуснее, чем на суше; они кружат над рекой, пока не выследят рыбы, бросаются на нее, как молния, иногда ныряя вслед за нею, исчезают совершенно под волнами, но быстро поднимаются опять с помощью своих могучих крыльев, уносят добычу, умерщвленную, несмотря на чешуйчатый покров, их непреодолимыми когтями, в спокойное место, и там поедают ее с полным удобством. Так как в Венгрии их хищничество осуждается не так строго, как у нас в Германии, и к ним относятся иногда с незаслуженным уважением, то там орланов можно постоянно видеть вблизи рыбачьих хижин, где они сидят часто непосредственно около рыбаков на деревьях и ждут, пока рыбак выбросит им рыбу, уснувшую в его садке или что-нибудь другое. Подобно рыбаку, о них заботится венгерский, сербский и словенский крестьянин, не зарывающие в землю павших животных, а выбрасывающие их на поле и предоставляющие убирать падаль орлам и грифам или собакам и волкам. Когда ледяной покров отнимет у орлана его обыкновенную добычу и случай не посылает ему падали, он и тогда не терпит нужды: подобно более благородному и смелому беркуту, он охотится на всякую дичь, какую только считает себе по силам. Он побивает и лисицу, и зайца, и ежа, и крысу, и нырца, и дикого гуся, отнимает у матки тюленя ее детеныша и в своей хищной алчности заходит так далеко, что вцепляется своими мощными когтями в спину дельфина или осетра, причем и тем, и другим часто увлекается в глубину и, прежде чем ему удается высвободить свои когти, захлебывается там; при некоторых обстоятельствах он нападает даже и на человека. Таким образом он почти никогда не терпит нужды, и если не подвергается правильному преследованию, то ведет завидную жизнь.

До наступления времени спаривания орлан живет в мире с подобными себе, при наступлении же последнего в его сердце возбуждается задорное чувство, по большей части вызываемое ревностью. Из-за самки и из-за гнезда он ожесточенно борется с другими самцами своего вида. Правда, заключенный однажды брак орлиной пары продолжается до тех пор, пока смерть не разлучит супругов; но это бывает только тогда, когда орел в силах защитить орлицу от ухаживаний других представителей своей породы и удержать за собой свое гнездо. Полный желаний, возмужавший, сознающий свою силу орел-самец обращает глаза и мысли на самку и гнездо другого орла; и то и другое утрачивается последним и приобретается первым, если победа останется за ним. Законный супруг борется поэтому на жизнь и смерть с каждым пришельцем, который пытается нарушить его супружеское и домашнее счастье. Битва начинается высоко в воздухе и часто оканчивается

только на земле. С помощью клюва и когтей то один, то другой нападает на своего противника, пока которому-нибудь из них не удастся вцепиться в другого, при чем, однако, он тотчас же чувствует в своем теле когти противника. Точно шар из перьев, оба низвергаются с высоты, падая или в воду, или на твердую землю, и отпускают друг друга, но лишь для того, чтобы начать новую битву. Благородные витязи дерутся, как обозленные петухи, если борьба продолжается на земле, и оставшиеся там перья и кровь указывают место поединка, а также и его серьезность. Самка кружится над обоими борцами или смотрит на их борьбу с высокого дерева, повидимому вполне равнодушно, и лишь неизменно ласкает победителя, когда, по окончании битвы, он возвращается к ней—все равно, останется ли победителем законный супруг или пришелец. Горе первому, если военное счастье окажется на стороне последнего! В глазах орлицы лавровый венок принадлежит только сильному.

После победоносно оконченных состязаний и битв такого рода, которых не может избежать ни один орел-самец и которые в Венгрии, вероятно, повторяются ежегодно, пара, в особенности если она соединена уже давно, отправляется к старому гнезду и уже в феврале начинает приводить его в порядок. Нужный для этого материал оба супруга подбирают с земли или вылавливают из воды, или же отламывают с деревьев и носят в когтях, много раз возвращаясь к гнезду, чтобы построить его настолько искусно, насколько им это доступно. Так как подобная надстройка происходит ежегодно, то гнездо постепенно вырастает до значительной высоты, и уже по этой высоте можно узнать давность его происхождения и отсюда заключить о продолжительности брака орлиной пары: именно, самые старые гнезда принадлежат самым старым орлиным четам. Гнезда не всегда помещаются в ветвях вершины, но всегда высоко над землею, более или менее близко к стволу и не иначе, как на крепких сучьях, которые могли бы выдержать все более и более возрастающую тяжесть этой постройки. Сухие сучья и тонкие ветки, положенные друг на друга крест-на-крест, образуют нижнюю и верхнюю часть постройки и доставляют многим полевым воробьям, которые смело и доверчиво держатся вблизи могущественной птицы, удобное углубление для их гнезда и убежища.

В конце февраля или в начале марта самка кладет два или, самое большее, три яйца в плоское углубление гнезда и начинает теперь старательно их высиживать. Орел снабжает пищей занятую своим делом самку, но, отыскивая добычу, неохотно улетает далеко от гнезда; позаботившись, как должно, о себе и о самке, он сидит в качестве верного и бдительного стража вблизи гнезда на известном дереве, которое одинаково служит и наблюдательным пунктом, и местом отдыха и ночлега. После четырехнедельного высиживания из яиц вылупляются птенцы, похожие вначале на белые клубки шерсти, из внешней оболочки которых выглядывают маленький черный клюв, темные глазки и лапки, но уже с острыми когтями. Теперь достается много работы на долю обоих родителей. Они чередуются в отыскивании добычи и в наблюдении за птенцами, но уход за ними исключительно берет на себя мать. Правда, и отец честно исполняет свои обязанности, помогая ей в деле воспитания, но одна лишь мать в состоянии оказать им те услуги, какие можно назвать услугами няньки. Если ее отнимут от птенцов в первые дни их детства, они так же должны будут захиреть, как детеныши зверей, лишившиеся своей кормилицы. Своею грудью мать-орли-

ца защищает их от холода и дождя; из своего зоба оделяет она их согретым, размягченным, уже отчасти переваренным кормом. На подобный уход орел-отец неспособен; но когда орлята станут постарше, вырастут до половины своего настоящего роста и в это время лишатся своей матери, отец неуклонно принимает на себя исключительную заботу об их воспитании и вполне выкармливает их, быть может, с величайшим самопожертвованием. Птенцы растут быстро. На третью неделю они с верхней стороны уже покрываются перьями; к концу мая они уже совершенно выросли и выучились летать, и тогда оставляют родное гнездо, чтобы под руководством родителей подготовиться к своему ремеслу.

Таков, в общих чертах, образ жизни орла, за которым мы охотились в первые дни нашей поездки. Мы осмотрели не менее девятнадцати намеченных гнезд и охотились с переменным счастьем. То пешком, то в маленьком челноке, то перепрыгивая через лужи, то идя вброд, пытались мы приблизиться к деревьям, на которых были гнезда, так чтобы нас нельзя было ни видеть, ни слышать. Исполненные ожидания, по целым часам сидели мы, скорчившись в наскоро устроенных шалашах из веток, и напряженно следили за орлами; напуганные нами, они описывали свои круги высоко в воздухе и не хотели вернуться к гнезду, но все-таки возвращались и, в благоприятных случаях, становились нашей добычей. Наблюдение следовало за наблюдением, и вследствие того эта орлиная охота приобретала для всех нас невыразимую прелесть.

Кроме орлов и других хищных птиц, попадавшихся на-ряду с ними, столь много обещающие леса давали нам видеть мало пернатых обитателей. Правда, была еще ранняя пора года, и пролет переселяющихся птиц был еще в полном ходу; правда, мы могли исследовать почти только окраины лесов. Однако, число птиц, вернувшихся и поселившихся на этих окраинах, не соответствовало нашим ожиданиям. Мы жаловались не только на количественный недостаток их, но и на скудость хороших певцов. Хотя певчий дрозд пускал свои ликующие, богатые мелодии по благоухающему весеннему лесу, хотя то здесь, то там свистал соловей, хотя зяблик повсюду встречал нас своим приветом весне, хотя и славка пробовала свой голос, но никто из них не был в состоянии удовлетворить наш изощренный слух. Во всех этих птицах, которые пели или свистали, мы могли признать только учеников, а не мастеров своего дела. Поэтому нам казалось под конец, что такое пение совсем не идет к этим суровым лесам, и что крик орла и сокола, вой филина-пугача и лесной неясыти, треск крачки, взвизгиванье цапли и хохот дятла, призыв кукушки и воркованье голубя-клинтуха — более подходящая для этих лесов музыка и что их настоящая певчая птица—разве только ютящаяся в тростниках камышевая славка, заимствовавшая большую часть своей сбивчивой песни у лягушек.

Четвертый день охоты был отдан Кескендскому лесу, отстоящему на несколько миль от берега Дуная. Оставив береговые леса, мы вступили на обширную равнину, только на далеком горизонте ограниченную высокими горами; дорога, которую мы пролетели на быстрых лошадях, вела чрез прекрасно обработанные поля образцового в хозяйственном отношении поместья Беллиэ. Там и здесь болотистые луга с прудами и каналами, лесок в виде рощи, большое хозяйственное строение, обсаженное узловатыми дубами, деревня, местами безлесные поля—таков был характер местности, по которой мы проезжали. С полей поднимались с песнями бесчисленные жаворонки; по дорогам пры

гали красивенькие плиски; на изгородях у дороги сидели сорокопуты и серые подорожники; в вершинах дубов шумели и пели гнездившиеся там галки и скворцы; над прудами кружились питающиеся рыбой речные скопы и носились извилистым полетом изящные крачки; над болотом летал чибис. Других птиц мы замечали мало. И Кескендский лес, которого мы достигли после двухчасовой езды и который также содержался в полном порядке, несмотря на свое смешанное насаждение, был небогат видами; однако, в этом лесу гнездились орел-крикун и речная скопа, соколы и совы и в особенно поразительном числе лесные аисты. И все-таки лесничие, которые только за несколько дней перед тем узнали о предстоящем посещении нашего высокопоставленного хозяина и вследствие того искали по лесу гнезд и отметили их на изготовленной наскоро карте, далеко не знали всех гнездящихся в этом лесу хищных птиц и черных аистов. «Здесь—точно в раю», заметил принц Рудольф, и этими немногими словами ясно и метко обозначил отношения между людьми и животными, наблюдаемые в Венгрии. Подобно жителю Востока, венгерец, к счастию, не знает той страсти к убийству, которой мы обязаны необычайной боязливостью животных и болезненно действующею на нас скудостью их в западной Европе; венгерец охотно дает приют даже хищной птице, поселившейся на его земле, и не позволяет себе постоянно грубого вмешательства в жизнь окружающего его мира животных. Даже низменная корысть, которая в настоящее время вызывает ежегодно хищнические поездки алчных торговцев перьями в болота нижнего Дуная и, ради перьев, требующихся для украшения, уничтожает сотни тысяч радостных, достойных участия птичьих жизней, даже и эта корысть не могла заставить мадьяра отказаться от своего старинного доброго обычая. Если в этом гостеприимстве, какое он оказывает птицам, известную роль играет равнодушие к окружающему его животному миру, то все-таки это гостеприимство существует на деле и еще не уступило своего места страсти к преследованию птиц. Животные, в особенности птицы, чувствуют себя там в безопасности в непосредственной близости от человека; они устраивают свою жизнь, не обращая на него внимания. Орел гнездится у лесной дороги, ворон на полевых деревьях; лесной аист боится человека не более домашнего аиста; дичь не поднимается с своего места, когда повозка проезжает мимо нее на расстоянии ружейного выстрела. Действительно, это — условия райского существования.

Впрочем, те же условия мы могли наблюдать и вне Кескендского леса. После того как мы исходили этот лес в разных направлениях, видели более двадцати орлиных и аистовых гнезд, подкрепились предложенным нам превосходным завтраком и еще более ценными местными винами, мы, в виду надвигавшейся грозы, поспешно отправились в обратный путь к нашему судну, продолжая и на пути охотиться и собирать животных, насколько позволяли время и обстоятельства. Дорога, по которой мы ехали, была не та, какая привела нас в лес; это была удобная большая дорога, связывавшая несколько деревень. Уже многие из них остались позади нас, когда мы опять очутились между домами. Самые строения не представляли ничего интересного, но здешние обитатели были более достойны внимания. Население деревни Дальок состоит почти исключительно из шокацев или сербов-католиков, которые во времена турецкого владычества переселились сюда с Балканского полуострова, или, вернее сказать, были пригнаны сюда

турками. Это—красивые, стройные люди; мужчины рослы и сильны, и женщины почти не уступают мужчинам, отличаясь стройностью сложения и, как кажется, красивой наружности. О первом мы могли еще составить свое суждение; относительно последнего должны были более руководствоваться воображением. Женщины носят здесь одеяние, какое в настоящее время едва ли где можно встретить в пределах Европы и которое наш хозяин, как всегда, изобретательный и меткий в выражениях, назвал мифологическим. Если я скажу, что голова и значительная часть лица своеобразно и довольно живописно обвертываются и обвязываются платком, а платье состоит из двух пестрых кусков ткани, на подобие передников, не связанных между собой, я этим дам полную свободу воображению, не опасаясь, однако, что оно перейдет за известные границы. Что до меня касается, мне все это живо напоминало стоянку арабских кочевников, куда я попал однажды в девственных лесах внутренней Африки.

Под проливным дождем, мы достигли с наступлением темноты нашего удобного пловучего помещения. Следующее утро было дождливое, весь день был сумрачный, и охота дала сравнительно малую добычу. Все это понуждало к дальнейшему путешествию, как ни признательны мы были управлению поместья Беллиэ за проведенные там дни и как ни заманчиво было бы посвятить здесь еще несколько дней наблюдениям и собиранию коллекций. С теплыми, вполне заслуженными выражениями признательности простился наш высокий хозяин с служащими эрцгерцогского имения; мы бросаем последний взгляд на леса, которые дали нам так много, и опять наш быстрый пароход с шумом несется вниз по Дунаю. Через несколько часов мы подходим к устью Дравы, которая отсюда, повидимому, определяет направление русла Дуная. Одна из величественнейших водных картин, какие я когда-либо видел, лежит теперь перед нашими глазами. Широкая площадь воды расстилается впереди; к югу ее ограничивают холмы с мягкими очертаниями, с прочих сторон—береговые леса, какие мы уже видели. Нет возможности проследить ни течение главной реки, ни русла притока; вся громадная водная поверхность походит на замкнутое кругом озеро, берега которого отчетливо выступают лишь в упомянутой гряде холмов; сквозь зелень лесов, везде, где открываются промежутки, виднеются опять вода, частый лес и камыш, при чем последний, одевая тянущееся на несколько миль болото Гулло, заставляет его казаться бесконечным. Исполинские древесные стволы, принесенные той и другой рекой, и только отчасти покрытые водою, принимают фантастические очертания: кажется, что сказочные животные допотопного мира вытягивают свои чешуйчатые тела над темными волнами. «Голубой» Дунай кажется здесь темного, почти черного цвета, когда наш пароход проходит устьем Дравы. Серовато-черные и темно-синие грозовые тучи на небе нависли над пестрою, разноцветною листвою леса и над однообразными бледно-желтыми пространствами камыша; всю эту картину резко освещают молнии; шум дождя по временам заглушается громом; буря воет в вершинах старых, высоких деревьев, взрывает поверхность воды и венчает темные гребни волн серовато-белой пеной. Между тем, на юго-востоке солнце прорывается сквозь черную тучу, окаймляет ее пурпуром и золотом, озаряет ее светом, при чем темные тени выступают еще резче, и бросает яркие лучи на пестрые холмы, подымающиеся на далеком горизонте в виде горного хребта. Внизу, по ту сторону, разбросаны деревни; здесь, вверху, разве только конусо-

образный, покрытый камышом рыбачий шалаш прерывает первобытность этой картины, кажущейся, в своей дикости и в этом случайном освещении, необычайно величественной.

Здесь всего более поражает недостаток птиц и, в особенности, пустынность столь обширных водных пространств. Не видно ни одной чайки, порхающей над зеркалом Дуная, ни одной крачки с ее зигзагообразным полетом; разве изредка лишь несколько селезней поднимутся с реки. Если прибавить к тому чепуру и ночную цаплю, орлана и нескольких коршунов, серых ворон и воронов и, пожалуй, еще группу чибисов, то все птицы, каких здесь обыкновенно приходится видеть, окажутся перечисленными.

Со следующего дня мы наблюдаем и охотимся в чудной местности. Голубые горы, на которых вчера во время грозовой ночи лежал светлый, золотистый солнечный отблеск, это—возвышенности Фрушка горы, лесистого горного хребта. Граф Рудольф Хотек самым предупредительным образом все приготовил к достойному приему нашего высокого хозяина и доставил нам несколько незабвенных дней. От деревни Черевиц, выше которой стоит наш пароход, мы ежедневно проникаем в ущелья, взбираемся пешком или верхом на высоты гор, и каждый вечер в счастливом и восторженном настроении возвращаемся домой. Золотое время мая освежает нам сердце и душу, и наш домохозяин так неистощим в своей внимательности, предупредительности, любезности и доброте, что дни, проведенные в Фрушкагоре, принадлежат к числу самых содержательных и приятных дней всего нашего путешествия.

Местность, по которой мы ежедневно ходим, чрезвычайно привлекательна. Вблизи деревни расстилаются поля; над ними начинается пояс виноградников, достигающий до опушки леса; в долинах и ущельях между ними цветет и благоухает теперь бесчисленное множество плодовых деревьев, придающих всей этой стране необыкновенно приветливый вид; на скатах около дороги, которая по большей части проходит по долинам, растет густой кустарник, радуя глаз роскошными цветами, еще более выигрывающими от того, что в долинах нет недостатка в журчащих ручейках или в мелких водяных потоках. С первых же высот открывается глазу поразительно красивый пейзаж. Внизу на переднем плане живописно выступает деревня Черевиц; за ней следует широкий Дунай, со своими лесами на другом берегу; позади реки и лесов простирается повидимому на бесконечное расстояние венгерская низина, раскрывая зрителю свои поля и луга, леса и болота, деревни и местечки, в неопределенном, изменчивом и тем более привлекательном освещении; наконец, на востоке взгляд останавливается на крепости Петервардейн. С полей поднимаются поющие жаворонки, из кустов звучит повторяемый сто раз свист соловьев, из виноградников несется веселое пение каменного дрозда; высоко в воздухе два вида грифов и три вида орлов описывают свои широкие круги.

После недолгого пути река, деревни и поля исчезают, и мы попадаем в одну из скрытых лесных долин горного хребта. Склоны гор круто спускаются с обеих сторон; невысокий, но густой лес покрывает их хребет и бока. Дубы и липы, вязы и клены образуют лесные насаждения на обширных пространствах, заменяясь в других местах красными буками; плотные, низкие кустарники, в которых одна рядом с другой живут соловьиные пары, растут по краям их. Величественные горизонты не вознаграждают путника, поднимающегося на самые высокие хребты и видящего перед собой на севере Венгрию, а на юге Сербию.

но приятный полумрак леса ласкает душу и сердце. От главного хребта, поднимающегося немногим выше четырехсот сажен, отходят в обе стороны несколько горных цепей, которые и с той, и с другой стороны представляют восхитительное зрелище. Они спускаются в долины или окружают котловины, крутые стены которых препятствуют вывозу леса, и поэтому пользуются первобытной роскошью лесной растительности. Исполинские, прямые буки, гладкие до самых высоких вершин, поднимаются из тлеющих листьев, в которых нога охотника вязнет по колено; кряжистые дубы вытягивают вверх свои зубчатые вершины, как будто хотят приманить всех хищных птиц, чтобы те вили на них гнезда; своды из лип образуют местами такую плотную лиственную крышу, что солнечный луч перебрасывается несколько раз, прежде чем дрожащее отражение его упадет на землю. Певчий черный дрозд, иволга и реполов, зяблик и пеночка представляют собою певцов этого леса на-ряду с повсеместно водящимся соловьем; кукушка передает с горы на гору свой привет весне; черный и зеленый дятел, поползни и синицы, голуби-вяхири и клинтухи также подают свои голоса.

Наша охота здесь преимущественно имела в виду самую крупную из европейских хищных птиц—серого грифа, северную границу гнездования которого повидимому составляет Фрушкагора. К нему в новейшее время присоединился второй крупный гриф Европы, и оба выводились здесь под просвещенным покровительством владельца поместья, хорошо знающего и любящего животных. Я знал обе породы этих хищных птиц из моих прежних путешествий; тем не менее меня в высшей степени радовала возможность наблюдать их в местах их выводки и пользоваться сообщениями такого товарища по охоте, как граф Хотек; именно в этой охоте исследование жизни животных составляло главную цель, какую мы видели перед собой. Благодаря этому, одно наблюдение у нас следовало за другим, и многие еще темные для нас стороны жизни обеих исполинских птиц были разъяснены нашими исследованиями.

Серый гриф, область распространения которого обнимает не только три южных полуострова Европы, но и западную и среднюю Азию до Индии и Китая, имеет свое пребывание в Фрушкагоре, но по окончании времени выводки он охотно предпринимает обширные путешествия, которые обыкновенно заводят его в северную Венгрию и нередко даже до Моравии, Богемии и Силезии. Могучие крылья позволяют ему предпринимать подобные путешествия без всякого затруднения. Не прикованный к своим яйцам или птенцам, нуждающимся в помощи, он поднимается ранним утром с дерева, служившего ему ночлегом, взлетает в высь по спиральной линии, исчезая от невооруженного человеческого глаза, осматривает оттуда своим беспримерно острым, приспособляющимся ко всяким расстояниям взглядом весьма обширные пространства, с удивительной точностью замечает даже мелкую добычу и, открыв ее, бросается с высоты, чтобы ее поглотить или, по крайней мере, поместить в свой зоб и, вслед затем, возвращается к старому месту или продолжает свое странствование. Одновременно с тем как исследует он лежащие под ним местности, занимающие, быть может, несколько географических квадратных миль, но вполне доступные его глазу, он наблюдает и за движениями подобных себе или других крупных хищных птиц, питающихся падалью, стараясь из их образа действий извлечь для себя выгоду. Таким образом объясняется внезапное и одновременное появление нескольких, даже многих грифов на круп-

ной падали и даже в таких местностях, где они не имеют оседлости. В их хищнических экспедициях ими руководит зрение, а не обоняние, которое у них довольно тупо. Один летит вслед за другим, как скоро видит, что тот выследил добычу, и быстрота его полета такова, что обыкновенно он во-время поспевает к пиршеству, хотя заметил его уже тогда, когда открывший добычу, колеблясь, описывает над нею последние круги. Правду сказать, ему и нельзя медлить, потому что прожорливость птиц его породы превосходит всякое описание. Трем или четырем грифам достаточно несколько минут, чтобы труп собаки или овцы, за исключением самых незначительных остатков, упрятать себе в зобы; поэтому трапеза совершается с почти необъяснимой быстротой, и опоздавшему приходится смотреть на то, что останется от нее.

Для грифов Фрушкагоры окружающая местность представляет, впрочем, и кроме угощения крупною падалью, еще не малое число пригодных для них животных; в пищеварительных органах убитых и вскрытых нами грифов мы находили остатки сусликов и больших ящериц, которые едва ли могли быть найдены мертвыми и, по всей вероятности, были схвачены и умерщвлены этими птицами.

Соответственно северному положению Фрушкагоры и менее благоприятных для грифов условий окружающей местности, во время нашего пребывания там, серые грифы еще сидели на яйцах, между тем как пары того же вида, поселившиеся далее на юге, без сомнения в это время имели уже птенцов. Их гнезда помещались на самых высоких деревьях леса, по большей части в верхней трети горных отвесов. Многие были хорошо известны графу Хотеку и его охотникам, потому что они по меньшей мере двадцать лет неизменно служили местом выводки какой-либо, а может быть одной и той же пары, ежегодно получали новое приращение строительных материалов и под конец достигли огромных размеров; другие были, повидимому, более недавнего происхождения, но как те, так и другие были построены самими грифами. В самых старых и просторных мог бы улечься взрослый человек, причем голова или ноги его не выходили бы за окраину гнезда.

Под этими гнездами мы сидели, наблюдая и следя, прислушиваясь к жизни леса и поджидая спугнутого нашим приходом грифа, чтобы послать ему верный заряд дроби или пулю. Четыре дня подряд каждое утро отправлялись мы в великолепный лес и ни разу не возвращались на наш пароход с пустыми руками. Не менее восьми больших грифов, несколько орлов и множество мелких птиц самых различных видов сделались нашей добычей, и содержательные, привлекавшие всех нас наблюдения скрашивали и одушевляли нашу охоту. Когда последний солнечный луч угасал, юная часть населения деревни собиралась поблизости нашего судна. Скрипки и волынки услаждали наш слух оригинальными, хотя и крайне простыми мелодиями, а парни и девушки исполняли народные пляски.

После удачной охоты на другом берегу Дуная, на пятый день после нашего прибытия в Черевич, мы расстались с нашим щедрым хозяином и поплыли вниз по Дунаю. Через три четверти часа мы достигли Петервардейна, небольшой, теперь уже устарелой, но живописно расположенной крепости, а через полтора часа—Карловица, вблизи которого провели ночь. На следующее утро мы достигли Ковиля, конечной цели нашей поездки.

В окрестностях этой большой деревни находятся окруженные полями леса, в которых преобладает дуб с таким густым подлеском, что,

несмотря на соседство нескольких местечек, волк и дикая кошка могут держаться там, угрожая другим, но не опасаясь за свою жизнь. Поэтому неудивительно, что и хищные птицы всевозможных видов, в особенности орланы, могильники и орлы-крикуны, коршуны, ястребы, филины и другие совы избрали их местом для своих гнезд, и что там живут во множестве самые различные мелкие птицы. Туда направились, заранее ожидая богатой добычи, высокий распорядитель нашей охоты и его зять, а Евгений ф. Гомейер и я пошли попытать охотничье счастье в болото, расположенное выше деревни и превратившееся теперь, благодаря половодью, в обширное озеро.

В этом болоте, несмотря на то, что там можно было встретить лишь незначительную часть его пернатого населения, так как пролет птиц находился еще в полном ходу, царила, однако, поразительно богатая и разнообразная жизнь. Почти непрерывно, следуя одна за другой, большие стаи черных крачек неслись к реке, иногда собираясь в плотные тучи, иногда распределясь почти на всем пространстве разлившегося Дуная, вероятно, еще отыскивая места для гнезд. Сотни темных ибисов, стая которых всегда летит треугольником, тянулись вверх и вниз по реке, стремясь к недалеко отстоящей оттуда Тиссе или возвращаясь с нее. Занимаясь рыбной ловлей, расхаживали по всем доступным им местам обширной водяной поверхности красные цапли и чепуры; таская длинные камышевые стебли для своих гнезд, камышевые луни летали привычными для них путями; вновь спарившиеся утки, самки которых лишились своих яиц благодаря наводнению, при появлении наших маленьких челноков, с шумом поднимались с воды, между тем как нырцы искали спасения в ее глубинах; короче, нельзя было увидать ни одной части этого обширного пространства, которая не была бы населена и оживлена. Лесничий, хорошо знакомый с лесом, ожидал нас в доме, возвышавшемся в виде острова над затопленной местностью, и служил нашим путеводителем в дремучем лесу, далеко оставлявшем за собою все леса, какие мы посетили прежде, потому что половодье к обычным препятствиям прибавило еще новое. Задевая за обыкновенно находящиеся высоко над землею ветви, часто наталкиваясь на загораживающие дорогу сучья, мы пытались проложить себе путь между поваленными деревьями и плавающими обрубками и проникнуть внутрь леса. Выводящиеся на вершинах ив утки-кряквы, гнезда которых были до сих пор пощажены поднявшейся водой, не смущались нашим появлением и неподвижно сидели на яйцах, даже и тогда, когда мы плыли от них в расстоянии не более аршина. Упастые нырцы, любящие более открытую воду, завидев нас, отплывали в сторону, в зеленую чащу деревьев, стоящих в воде до самых вершин; плиски перебегали с одного куска плывшего дерева на другой; пестрые дрозды и поползни плотно приникали к древесным стволам, отыскивая свою пищу обычным образом. Одна картина из птичьей жизни сменяла другую, и все они казались необычными, благодаря наводнению. Чтобы достигнуть гнезда орлана, мы должны были пройти вброд обширное пространство; чтобы увидать гнездо ворона, нам приходилось делать большой обход. Правильная охота была невозможна при таких обстоятельствах, однако, для нас эта охота оказывалась как нельзя более удачной. Эта поездка доставила мне, между прочим, удовольствие видеть ремеза, одного из выдающихся пернатых строителей гнезд, и вообще в первый раз наблюдать его образ жизни.

Следующий день соединил все охотничье общество в одном из описываемых лесов. Один венгерский лесничий устроил грандиозную волчью охоту, но, к сожалению, так неискусно, что «серый» ускользнул от нас, даже не показавшись нам. Ничего не обещавшая охота была прервана, и короткое остававшееся нам время было посвящено более благодарному наблюдению птичьего населения леса.

После полудня мы оставили Ковыль, к закату солнца вернулись в Петервардейн, и в начале ночи проехали мимо Фрушкагоры. На следующий день мы снова оставили наш пароход, чтобы поохотиться в камышевом болоте Гулло и увидали здесь благородную цаплю, которую до тех пор напрасно искали, но должны были сообразоваться с быстро улетавшим временем и спешить, чтобы не пропустить курьерский поезд, отходивший в Вену. С признательностью вспоминая о протекших днях и сожалея о том, что они пронеслись так быстро, мы проехали мимо прибрежных лесов, доставивших нам так много удовольствия, и простились на этот раз с богатой и своеобразной страной, питая сильнейшее желание вернуться в нее и посвятить ей более продолжительное время.

Переселения млекопитающих.

Наклонности к странствованиям, в нашем смысле слова, не разделяет с нами ни одно животное, не исключая и птиц, способности которых переноситься на своих крыльях через моря и сушу мы так завидуем. Беззаботно и свободно, как странствующий студент, уходящий из дому, чтобы ознакомиться с нравами и обычаями чуждых стран, не путешествует ни одно животное; оно более, чем мы, придерживается родных мест, крепче, чем наша тоска по родине, связывает его привычка или инерция с тем местом, где оно увидело свет. Если оно решается покинуть родные места, то лишь повинуясь непреложной необходимости, с целью избежать грядущих бед. Нужда и бедствия слишком часто ожидают его в недружелюбной чужбине, чтобы у него могла развиться страсть к передвижениям.

Сказанное нами относится столько же к переселяющимся рыбам, сколько и к перелетным птицам, в особенности же к тем млекопитающим, которые предпринимают временные переселения. Немногие из них совершают свои передвижения с одинаковой правильностью, но все делают это по тем же причинам, как рыбы и птицы. Они переселяются, чтобы избежать дающей уже чувствовать себя или только угрожающей нужды, и их странствования потому походят скорее на бегство перед гибелью, нежели на стремление найти более благоприятные места для жизни.

Я разумею под переселениями млекопитающих не передвижения, клонящиеся к расширению области их распространения, и не обычные блуждания с целью отыскивания пищи, а исключительно лишь те странствования, которые, с более или менее правильной последовательностью, заводят некоторых из них далеко за предел родной области и заставляют попадать в чуждые местности, где им приходится вести новый образ жизни и откуда они уходят, забывая приобретенные там привычки, как только возвращение для них станет или покажется возможным. Подобные странствования соответствуют всего более правильным переселениям рыб и птиц, и изучение одних способствует познанию других.

Все млекопитающие по различным причинам переходят за границы своих временных местопребываний. Одинокие, в особенности старые самцы более склонны к скитаниям, чем самки и детеныши; часто, без видимой причины, они оставляют область своего обитания, чтобы отыскать другую; более молодые самцы общественных животных изгоняются старейшими главами союза и вынуждаются к странствованиям; матери со своими детьми охотно блуждают по окрестностям местарождения последних. Особи различных полов проходят большие про-

странства, чтобы встретиться и сочетаться. Случайно при таких передвижениях животное открывает где-либо особенно удобное для него место жительства, обильную кормом область, охраняющую его чащу, углубление, удобное для тайного убежища, проводит здесь более или менее долгое время и поселяется наконец в новой обетованной земле. Опытные охотники знают, что даже местность, совершенно опустошенная охотой, рано или поздно получает приток извне и при благоприятных обстоятельствах населяется вновь; каждому из них известно, что нора лисицы или барсука, не легко поддающаяся разрушению, постоянно находит новых и новых обитателей, каким бы беспощадным преследованиям они ни подвергались. Что можно сказать о дичи, за прибытием и отбытием, за появлением и исчезновением которой следят тысячи людей, то же приходится повторить и о других млекопитающих, за которыми наблюдают менее тщательно. Непрерывное выселение и возвращение их не подлежит спору. Именно, благодаря этому явлению, если только не препятствуют стихии, не противодействуют с успехом человек и другие враги, происходит постоянное расширение области распространения известного вида.

Наши предки разделяли свои жилища, до конца первой половины прошлого столетия, с домашней крысой, и если знали что-либо о странствующей крысе или пасюке, то знали лишь по наслышке. Первая имела многие, но не все недостатки своей породы. Она жила под полом домов, поедала зерновой хлеб, сало, вообще все запасы, грызла двери, половицы и домашнюю утварь, стучала по ночам вместо привидений в старых замках и других излюбленных призраками зданиях; одним причиняла досаду, другим страх, укрепляла в душе многих боязнь привидений и суеверия, но, по крайней мере, с ней можно было жить и как-нибудь справляться. Ловкая кошка ограничивала ее свободу, и против нее всегда можно было принять меры. Но появился ее ужаснейший враг, и звезда домашней крысы начала меркнуть. В 1727 г. показались массы переселяющихся пасюков, которые появились или прямо из Индии, или прошли оттуда через Персию, переплыли через Волгу, и вскоре стало известно, что Европе грозит настоящее нашествие. По рекам и каналам странствующая крыса проникла в деревни и города, заняла наперекор человеку и домашней кошке наши жилища; она наполнила погреба и подвалы, поднялась на чердаки, изгнала после долгой и беспощадной борьбы свою родственницу, черную крысу, и сделалась госпожей в наших домах. Она проявляла все пороки своей породы, издевалась над всеми усилиями, какие мы принимали с своей стороны, чтобы изгнать ее, и удержала за собой поле битвы, которое мы напрасно пытались оспаривать у нее с помощью кошки и собаки или посредством капканов и западней, яда и пули. Почти в то же время, когда она переплыла через Волгу, в 1732 г., она достигла Европы и другим путем, прибыв из Ост-Индии в Англию на кораблях. Тогда начала она свое кругосветное путешествие. В Восточной Пруссии она появилась уже в 1750 г., в Париже—тремя годами позднее; Среднюю Германию она покорила в 1780 г., но укрепилась здесь, как и в других местах, сперва в городах и только постепенно занимала деревни. Трудно достижимые для нее деревни, т.-е. не расположенные на реках, она заселила только в последнее десятилетие XVIII века. Во многие одинокие мызы проникла она еще позднее, не ранее половины XIX столетия, но она и после продолжала свое победное шествие. Не удовольствовавшись завоеванием Европы, она отправилась, еще в конце XVIII века, в новые

странствования. В занятых ею гаванях она переплывала с берега на корабли, влезала по якорным цепям, канатам и другим удобным для нее лестницам, на борт, пряталась в темные, укрывавшие ее помещения, переплывала на судах все моря, высаживалась на всех берегах и населяла оттуда все страны и острова, по мере того, как ими овладевал, избранный ею покровителем и невольным кормильцем, цивилизованный человек, поселявшийся в прочных жилищах. Против нашего желания, мы способствовали ей или по крайней мере дали возможность совершить громаднейшее распространение, какое когда-либо удавалось неподчиненному человеку млекопитающему.

Другой пример подобного перемещения представляет суслик, часто попадающийся на всем востоке Европы и в Западной Сибири; это—весьма вредный грызун, величиною с хорька, принадлежащий к подсемейству сурков. Альберт Великий наблюдал его в окрестностях Регенсбурга, где он более не встречается, между тем как в XIX веке вновь поселился в Силезии. Семьдесят или восемьдесят лет тому назад его вовсе не знали; он появился в конце сороковых или в начале пятидесятых годов, неизвестно откуда, и стал медленно распространяться в западном направлении. И его переселения облегчаются благодаря посредству человека, так как это животное, не будучи связано исключительно с обработанным полем, находит в нем однако самое удобное для себя местопребывание.

То же самое можно сказать и о других видах мышей, которые, вместе с обработкой почвы, распространяются далее или увеличивают область своего обитания. С другой стороны, человек ограничивает места поселений, удобные для различных млекопитающих, истреблением леса, осушением болот и другими изменениями известных пространств, и вызывает таким образом гораздо более, чем непосредственным преследованием, выселения животных, постоянно обитавших в тех местах.

От подобных переселений следует отличать передвижения млекопитающих ради временного улучшения своего существования. Они предпринимаются, если не всеми видами, то, по крайней мере, некоторыми членами всех семейств известного класса, продолжаются более или менее долгое время и направляются в более или менее отдаленные области; поэтому они могут принимать характер настоящих переселений, но оканчиваются через известный срок, и странствующее млекопитающее возвращается в свое первоначальное местообитание. Главнейшими причинами описываемых передвижений можно считать стремление отыскать лучшие места для пастбища или для охоты и своевременно воспользоваться представляющейся возможностью удобнее устроить свою жизнь. Они происходят из года в год во всех поясах земли, во всех широтах и долготах, направляясь даже в такие места, которые во всякое время года представляют одинаковые жизненные условия с первоначальным местообитанием. Млекопитающие производят свои передвижения поодиночке или группами, обществами и стадами, смотря по тому, к какому образу жизни они привыкли; часто, с большей или меньшей правильностью, они следуют теми же путями и появляются приблизительно в одно и то же время на известных местах; тем не менее, они руководятся при этом и случайными обстоятельствами.

Когда приближается время созревания плодов священной смоковницы и других деревьев, окружающих храмы индусов, брамины, охраняющие храм и деревья, с благоговением ожидают прибытия своих

четвероногих божеств. И не напрасно ждут они: вскоре действительно появляются два вида особенно чтимых обезьян «гульман» и «бундер», которые пользуются сочными плодами посаженных и охраняемых для них деревьев, производят набеги с целью грабежа на окрестные сады и поля, и исчезают, когда плоды становятся менее обильными—исчезают к огорчению своих поклонников и к радости всех прочих обитателей Индии, владениям которых они наносят самый беспощадный вред, по-своему собирая с них жатву. Во внутренней Африке, как только созреют семена тамошнего хлеба—дурры или кафрского проса, с гор спускается стадо павианов под предводительством начальника, умудренного опытом жизни, отличающегося достоинством и находчивостью, и умеющего с должною гордостью выполнять обязанности вождя и патриарха; они приходят узнать—был ли человек настолько доброжелателен, что и в нынешнем году посеял питательные зерна. Или стая мартышек, с не менее достойным предводителем, приближается к окраине лесов, чтобы не пропустить времени для обильного и по возможности беспрепятственного сбора контрибуции с полей. В плантации южноамериканского сельского хозяина, когда золотистый апельсин горит в темной листве, часто издалека являются обезьяны, чтобы поделить плоды с их владельцем. И других животных, питающихся растениями, надежда добыть себе дневное пропитание более легким трудом приводит в такие местности, которых они обыкновенно избегают: животные, питающиеся насекомыми, переходят временно за ними, когда те появляются в том или другом месте в большом количестве, и крупные хищники следуют за травоядными видами своего класса, в особенности за стадами домашних животных. Вместе с кочевниками степей Африки и лев переходит с места на место; по пятам разбитой, бежавшей на родину армии Наполеона шли русские волки, преследуя несчастных беглецов до Средней Германии. Выдры, питающиеся рыбой, предпринимают сухопутные путешествия, чтобы перейти из одной речной области в другую; рыси и волки пробегают зимой поразительно большие протяжения. Такие путешествия связаны с изменениями или перемещениями местообитания, но их нельзя назвать переселением в настоящем смысле слова. В подобных странствованиях нужда, которую мы считаем побудительной причиной всех настоящих переселений, обнаруживается лишь в виде исключения: скорее они вызываются временно проявляющимися желаниями.

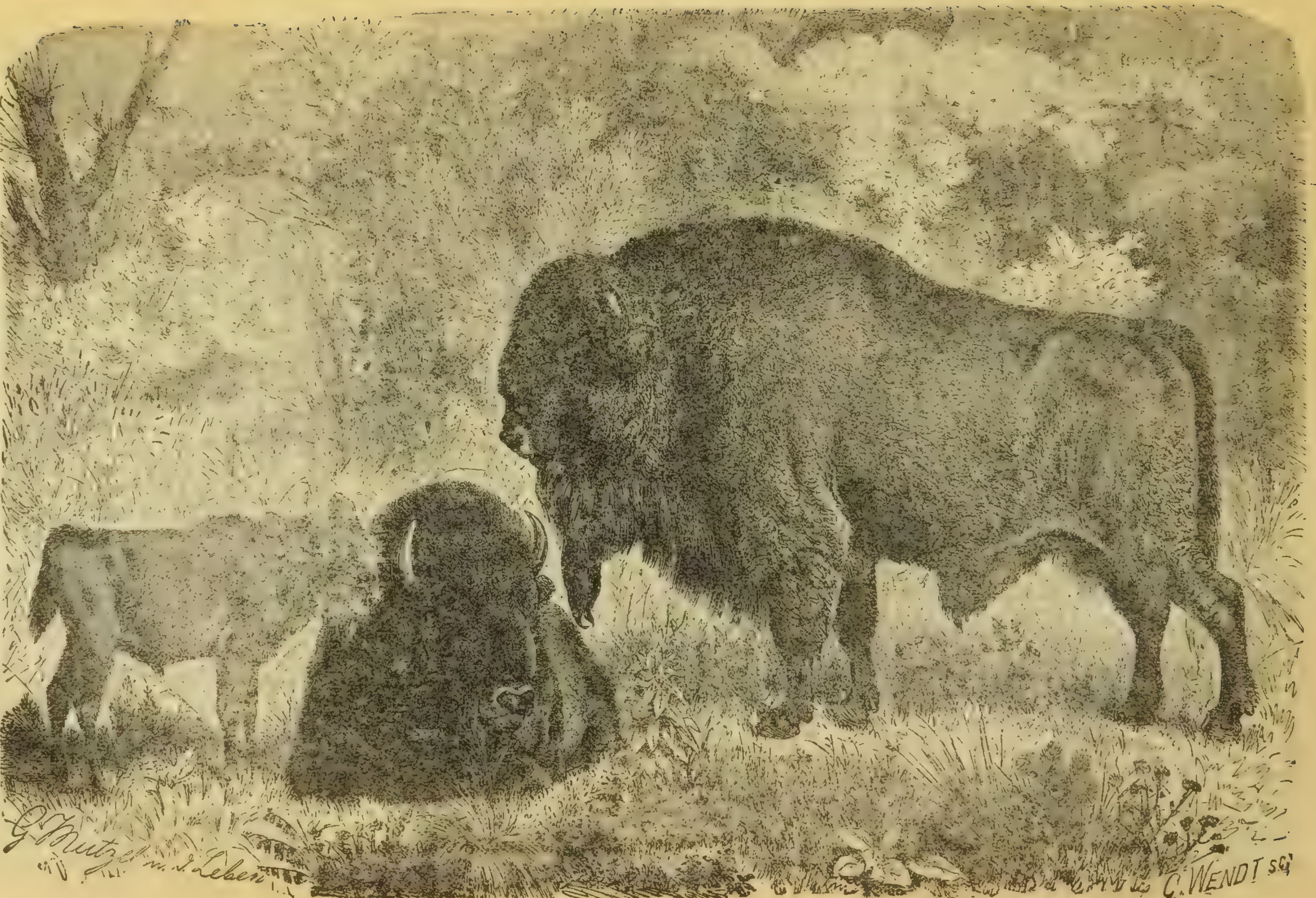
Иное видим мы у тех млекопитающих, которые ежегодно, приблизительно в одно и то же время, меняют свое местопребывание и, при известных обстоятельствах, отправляются в довольно отдаленные области, откуда, опять в определенное время, возвращаются в свои старые жилища. Это уже можно назвать переселением, так как животные, о которых мы говорим, не пользуются лишь простой случайностью, а сознательно или бессознательно повинуются роковой необходимости.

Причина всех настоящих переселений млекопитающих заключается прежде всего в определенно выраженной, резко заявляющей себя смене времен года. В странах, где царствует вечная весна, не бывает таких переселений, потому что в них нет необходимости. Лето и зима одинаково неблагоприятны для животных: в первом случае зной и засуха, во втором—снег и мороз производят те же опустошения, заставляющие ленивое млекопитающее решиться на переселение.

В небольших размерах мы наблюдаем переселение у всех горных животных. Серна, горный козел, альпийский заяц, сурок переселяются

с началом таяния снега или несколько позднее, поднимаясь по камням и глетчерам на высоты, открывшиеся пастбища которых обещают обильную и вкусную пищу, и возвращаются в более низменные горные местности еще до приближения зимы. Медведь, животное всеядное, усвоившее себе привычки хищника, предпринимает, по крайней мере, в горах Сибири, около того же времени подобное переселение и также оканчивает его перед наступлением зимы; различные дикие кошки и дикие собаки, живущие в горах, поступают точно так же. Передвижения подобного рода происходят и в горах южных, даже тропических стран. И в Индии, и в Африке некоторые виды обезьян правильно и в определенное время поднимаются на горы и спускаются оттуда; слоны с наступлением лета перемещаются на высоты, а с наступлением зимы—в низины; в Андах Южной Африки гуанако от снегу бегут в долины, а от летнего зноя—на вершины гор. Горы полагают всем таким переселениям довольно тесные пределы: дело идет здесь о разнице высот от трех до десяти тысяч футов, о расстояниях, которые можно пройти в течение нескольких часов или, самое большее, нескольких дней. Характерною чертою этих переселений является их правильность, в особенности относительно времени, когда они происходят; не менее характерен для них и выбор одинаковых путей передвижения.

Холмистые страны и равнины, море и воздух дают более простора, и потому живущие или временно перемещающиеся там животные позволяют удобнее, чем горные обитатели, следить за их переселением и легче отличать переселяющихся между ними животных. Северный олень, в Скандинавии не покидающий гор, в тундрах России и Сибири каждую осень предпринимает обширные странствования и только на следующую весну возвращается в свои летние местопребывания; приблизительно в одно и то же время он оставляет Гренландию и, пользуясь замерзшим морем, переходит по льду, как по мосту, на материк Америки, остается здесь в течение целой зимы и только в апреле возвращается на фьельды своего родного полуострова. В обоих случаях забота, в виду приближающейся зимы, является, повидимому, не единственной причиной переселения; другим поводом к нему служит весьма чувствительное неудобство, обнаруживающееся в то же время на крайнем севере. Короткое лето в тех широтах вызывает к жизни скудный видами, но необыкновенно богатый отдельными особями мир насекомых, в особенности невообразимое количество комаров, отравляющих жизнь не только человеку, но и северному оленю. Чтобы избавиться от них, животное оставляет болотистую тундру, над которою в течение короткого лета носятся несметные тучи комаров, и бежит на горные высоты своей родины, где в это время насекомые меньше преследуют его, а сочные пастбища встречаются в изобилии. Благодаря унаследованной привычке, северный олень совершает свои переселения не только постоянно в одно и то же время, но одними и теми же путями, идя по протоптанным тропинкам, можно даже сказать—дорогам, которые легко заметить в тундре, так как они тянутся там на целые мили и в определенных местах пересекают реки и ручьи. Когда начинается переселение, самки со своими телятами собираются в стада от десяти до ста штук и идут впереди подростков и молодых самцов, за которыми уже следуют старые самцы. Одна группа следует непосредственно за другою, так что наблюдатель может насчитать тысячи проходящих мимо него оленей. Все стремятся неудержимо вперед, не останавливаясь ни перед горными хребтами, пересекающими им путь,



Бизоны.

ни перед широкими реками, и успокаиваются только тогда, когда достигают места зимовки. Стаи волков, медведей и россомах идут за ними по пятам и проходят также немалую часть этого пути. Весною, возвращаясь назад, животные перемещаются приблизительно в том же порядке, но меньшими отрядами, гораздо спокойнее и медленнее, и не всегда по тем тропинкам, по которым шли осенью.

Еще более значительные пространства, чем северные олени, проходили американские бизоны, «буйволы» прерий. Переселявшиеся стада их встречались от Канады до Мексики, от Миссури до Скалистых гор. Бизонов видели летом рассеянными на бесконечных равнинах прерий; там их находили и зимой, уже по несколько тысяч голов вместе; их наблюдали и во время переселений, выслеживая по протоpенным ими в более или менее прямом направлении дорогам, так называемым, «буйволовым тропинкам», за сотни миль, через равнины и через горы. Очевидцы убеждались, что реки шириною в несколько миль не составляли для них преграды: подобно неудержимой лавине, они бросались в такие воды и положительно наполняли их своими темными массами. Известно было, что животные соединялись и разъединялись, что стада увеличивались и уменьшались, что старые, властолюбивые и злобные быки избегали общения с другими бизонами, быть может изгонялись из стад и, вероятно, после продолжительных битв, вынуждались к одинокому существованию до следующего лета. Известно также, что бизоны зимой при большом снеге искали убежища от непогоды в лесах и на склонах гор. С июля они начинали переселяться с севера на юг. Отдельные группы, до тех пор пользовавшиеся привольной летней жизнью, примыкали одна к другой и выступали в путь; другие группы присоединялись к образующемуся стаду, которое все растет по мере того, как подвигается вперед, пока наконец не составятся громадные скопища, движимые одним и тем же инстинктом и не разлучающиеся до самой весны. Счастливо пережив зиму, эти массы, вероятно, путями противоположными тем, каким совершилось их слияние, постепенно разделяются опять на отдельные стада; эти последние делятся все более и более, пока наконец не раздробятся на небольшие группы. Распадение происходит во время обратного переселения. И в передовом, и в обратном движении, одно стадо следует за другим на некотором расстоянии, но более или менее одними и теми же дорогами. Особенно благоприятные местности, напр., низменности, покрытые сочною травою, иногда задерживают живой поток. Именно при таких обстоятельствах и собираются бесчисленные стада бизонов, остаются по целым дням на одном и том же месте и трогаются в дальнейший путь только тогда, когда вся трава съедена, и голод гонит их дальше. За их вереницами следуют волки и медведи, а над ними зловеще кружат орлы и коршуны *).

*) Теперь надо говорить о бизонах в прошедшем времени, потому что их громадные переселения, происходившие 50-60 лет тому назад, отошли теперь в область предания. Заселение прерий белыми переселенцами вызвало массовое истребление бизонов из-за одних только шкур. И они были бы, вероятно, все уничтожены, если бы американское правительство не приняло во время мер и не загнало оставшихся живыми бизонов в устроенные для них заповедники, где несколько сот их сохранилось под охраною закона, запрещающего охоту на них.

Прим. ред.

Так же, как забота о пище, может понуждать к правильным переселениям и недостаток воды для питья. Когда в Средней Азии, особенно в пустыне Гоби, наступает зима, все млекопитающие, не знающие спячки, вынуждаются искать себе приюта в более низменных местностях. Зима в этом плоскогорьи Средней Азии не более сурова, чем в местностях, лежащих к северу или к северо-востоку от него, но по большей части бесснежна и покрывает толстым слоем льда воды, образуемые и поддерживаемые крайне скудными осадками. Как скоро лед настолько окрепнет, что может выдержать тяжесть животных, они начинают свое выселение и направляются не только к южным, но и к северным странам, единственное преимущество которых заключается в более обильном снежном покрове; снег освежает язык жаждущего животного и представляет для его слабых копыт менее сопротивления, чем трудно тающий и крепкий лед. Таким образом объясняется, почему зобатая антилопа, живущая в Гоби, в значительном числе покидает страну, которая, за единственным исключением недостатка снега, а следовательно и годной для питья воды, представляет во всем остальном одинаковые условия с ее зимним местообитанием. Не голод, а жажда гонит ее на чужбину. С наступлением зимы антилопы, обыкновенно живущие небольшими обществами, соединяются в стада, наполняют все более низменные места кругом родного плоскогорья и отправляются в одну ночь, проходя нередко от десяти до двенадцати географических миль, за тысячи верст от пределов своей настоящей родины. Наблюдатель замечает тогда ее следы повсюду и в таком множестве, что ему кажется, будто незадолго перед тем по снегу прошли громадные стада овец.

Еще до обычного времени переселения зобатой антилопы поднимается кулан или джиггетай, самая красивая и гордая из всех диких лошадей в свете. Жеребята, появившиеся на свет летом, к осени настолько окрепли, что уже в состоянии переносить далекие и долгие путешествия, выдерживать быстрые передвижения и бороться со всеми неудобствами и опасностями бродячей жизни. И молодые жеребцы, которым пошел уже четвертый год, чувствуют себя в полной силе; исполненные энергии, они оставляют, уже в конце сентября, материнские табуны и стремятся вперед. В старых жеребцах и кобылицах просыпается наконец склонность к спариванию и вследствие того—беспокойство и дух бродяжничества. Быстроногие, предприимчивые животные начинают свои ежегодные переселения еще до наступления зимы, даже прежде, чем она даст знать о себе; поэтому их передвижения вначале лишены всякой правильности и имеют скорее характер какого-то искания приключений. Имея в виду сбросить с себя иго, налагаемое на них вожаком и неограниченным властителем табуна, желая быть самостоятельными и в свою очередь приобрести власть, молодые жеребцы уходят из материнских табунов и поодиночке носятся по песчаным степям. Молодые, возмужавшие, а также и некоторые старые кобылицы, повидимому, одушевлены теми же чувствами, как и жаждущие деятельности молодые жеребцы: и они пытаются избавиться от господства своих прежних властелинов и присоединиться к молодым, хотя бы и пришлось тотчас же подчиниться их власти. Но старые властелины не без борьбы уступают свои права на кобылиц. По целым часам стоит молодой жеребец на вершине холма или горной гряды и пытливо осматривает окрестность. Его глаз про-

низывает пустыню, направленные против ветра ноздри широко раскрыты, уши настороженны. Жаждущий битвы, во весь опор несется он на встречу каждому приближающемуся табуну, каждому показывающемуся сопернику, и яростная борьба разгорается вокруг кобыл, которые присоединяются только к победителю. Такие столкновения и битвы приводят табуны в движение, увлекают их из той области, где они провели лето, и ведут к правильным, почти непрерывным и далеким переселениям. Во время последних, иногда еще до окончания упомянутых битв, группы куланов собираются в табуны, которые становятся все более и более многочисленными, пока не достигнут наконец более тысячи голов, и тогда направляются сообща к местностям, обещающим обильный корм. И на зимовках куланы не разлучаются, но вынуждены ради достаточного обеспечения себя пастбищами находиться в постоянном передвижении. Гулко разносятся удары копыт их соединенных, быстро проносящихся табунов, и этот громкий стук не один раз заставлял казаков пограничных постов хвататься за оружие. Ни один волк не осмеливается нападать на эти табуны: мужественные жеребцы так хорошо умеют расправляться с ними своими копытами, что он скоро отказывается от таких попыток; разве только больные и усталые куланы становятся его добычей, когда он следует за переселяющимися вереницами. И человек не причиняет им большого вреда, так как их осторожность препятствуют его приближению. Тем не менее, очень снежная зима может оказаться для них источником тяжелых бедствий. И без того скудный корм поедается тем скорее, чем многочисленнее табуны, предъявляющие на него притязания. Тогда животные уже без разбора питаются всеми растениями, какие только попадаются им. В течение месяцев приходится им поддерживать свое существование лишенными листьев ветвями. Полнота тела исчезает, и под конец они походят на блуждающие скелеты. Истощенная кобылица-мать даже не в состоянии дать скудного питания своему жеребенку: ее молоко совершенно иссякает во время этого голодания. Не один жеребенок, не имеющий сил перенести в нежной юности такую нужду, погибает от нее. Даже старые особи страдают от скудости и жестокости зимы. Продолжающиеся по целым дням снежные бури засыпают пастбища, ослабляют бодрость куланов и усиливают дерзость волков, которые, если еще не одолевают обессилевших особей, то в высшей степени беспокоят и утомляют даже и наименее усталых. Но как только обстоятельства опять изменятся к лучшему, к закаленному, стойкому, выносливому созданию возвращается его прежняя энергия, а когда снег начинает таять, все они предпринимают обратное переселение, почти через месяц достигают опять своих летних местообитаний, разделяются здесь на отдельные табуны, быстро поправляются на пышно разросшихся пастбищах, тучнеют и вскоре забывают нужду и бедствия зимы.

Как ни велики пространства, проходимые при переселениях упомянутыми наземными млекопитающими, они не могут сравниться с теми, которые переплывают киты и тюлени. Вода облегчает движения приспособленного к ней животного, представляет для него повсюду существенно одинаковые жизненные условия и дает ему возможность совершать далекие путешествия с большею легкостью, чем это доступно для других переселяющихся животных. Тем не менее, мы невольно удивляемся, когда слышим, что многие морские млеко-

питающие, в особенности киты, принадлежат к наиболее подвижным животным, что, быть может, большинство их всю свою жизнь проводит в странствованиях. Строго говоря, ни один кит не имеет постоянного местопребывания в течение года, но переплывает в одиночку, попарно, со своими детенышами, или же более или менее многочисленными стаями, беспрерывно, из одной области океана в другую, нередко правильно посещая известные любимые места, и меняя их зимою и летом. Моря, в которых тот или другой вид кита держится летом и зимою, часто отстоят одно от другого гораздо далее, чем это полагают; некоторые киты два раза в год переплывают более четверти земной окружности: в течение лета их встречают у льдин Северного Ледовитого океана, а зимою—по ту сторону экватора. Крайне общительные, нежно и самоотверженно привязанные к своим детям, самки китов собираются иногда многочисленными стаями и отправляются, под предводительством нескольких самцов в определенное время через океан, причем одни держатся открытых частей его, а другие—ближе к берегам. Бури и несвоевременное появление хищных животных, от которых зависит главнейшая причина переселений, могут отчасти влиять на направление пути и на время выступления в путь; но вообще переселение совершается столь правильно, что на северных и южных берегах появления китов ожидают в определенные дни, и с этого времени их подстерегают, чтобы тотчас же после прибытия начать на них давно желаемую охоту. Знакомые береговым жителям по некоторым признакам, как, напр., по изуродованным плавникам, неоднократно тщетно преследовавшиеся киты появлялись несколько лет под-ряд именно в одно и то же время и в тех же местах. Поэтому охота на этих приносящих большую выгоду и вследствие того беспощадно преследуемых животных местами производится с такою же правильностью, как на суше охота за зайцами; между тем как в другое время года все поиски оказываются совершенно безуспешными. «После Крещения, говорит старый Понтоппидан, норвежцы уже со всех гор высматривают китов, предвестниками которых служат сельди». Сперва появляется кашалот, а через три или четыре дня, самое большее через две недели после него—настоящий кит, хотя один прибывает из Девисова пролива, а другой от берегов Гренландии. На южных берегах Фарерских островов показываются ежегодно около Михайлова дня от трех до шести дюгоней—в нынешнее время, как и двести лет тому назад. В одной шотландской бухте двадцать лет под-ряд всегда в одно и то же время появлялся кит, который был известен под именем «Hollie Pyke», каждый год подвергался преследованиям и наконец был убит. На берегах Исландии полосатики ежегодно избирают одни и те же бухты для своего временного местопребывания, приходящегося всегда на те же месяцы и недели, так что береговые жители знают каждого из них и называют особыми именами. Некоторые самки посещают из года в год одну и ту же бухту, чтобы здесь производить на свет своих детенышей; их самих щадят здесь, но свою жизнь они должны покупать дорогой ценой, а именно жизнью детенышей, которых каждый раз им приходится уступать. Крайне редко случается, чтобы странствующие киты не держались в своих передвижениях известного времени и направления; обыкновенно они переправляются через океан с такою правильностью, как будто руководствуются положением созвездий или двигаются по проторенным, резко намеченным

дорогам. Ни одно млекопитающее не совершает с большей правильностью своих переселений, которые можно сравнить разве только с перелетом птиц *).

Подобно китам, и тюлени предпринимают ежегодно более или менее далекие, в общем столь же правильные передвижения. Те виды, которые живут в закрытых морях, не могут конечно покидать их, но переплывают их ежегодно в одинаковой последовательности или поднимаются в определенные периоды в устья рек; виды же, обитающие в океане, каждую осень и весну предпринимают путешествие к известным местностям, постоянно держась определенного направления. Тюлени, населяющие воды крайнего севера и воды южного полюса, уже распространяющимся там в зимнее время льдом вынуждаются к переселению и, вместе с ним, спускаются в более умеренные широты, а с тающим льдом опять поднимаются к полюсу. Впрочем они, так же как и другие виды их отряда, побуждаются к правильным переселениям еще иною, не менее важною причиною; им нужна твердая земля или по крайней мере обширные, сплошные льдины для того, чтобы производить на свет детенышей и выхаживать их до тех пор, пока они не будут в состоянии следовать за родителями в море. Поэтому ежегодно, в одно и то же время, тысячи тюленей появляются на известных береговых островах и льдинах, покрывая их сплошь своими телами; там они производят на свет своих детенышей, остаются в течение нескольких недель, даже месяцев, на суше и на льду, не охотятся в это время и, не спускаясь в море, кормят детенышей, затем спариваются и, постепенно покидая свои становища, уплывают в широкое море для привычного рода жизни, или отправляются со своими, нуждающимися еще в попечениях, детенышами в более или менее отдаленные охотничьи экспедиции и новые переселения.

Из всех поименованных до сих пор странствующих млекопитающих ни одно не принадлежит к подверженным зимней спячке; эти последние, будучи хорошо защищены в закрытых снаружи норах, проводят неблагоприятное время года в мертвом сне и благодаря тому не имеют побудительной причины оставлять место своего обитания. Однако, некоторые из них, по крайней мере, живущие в умеренных поясах, все-таки странствуют в течение периода бодрствования,—таковы летучие мыши. Хотя летательный снаряд этих животных весьма несовершенен в сравнении с крыльями птиц, тем не менее он значительно облегчает их перемещение и располагает к перелетам, вовсе не соразмерным с величиною передвигающегося животного. Кроме того, летучей мыши, склонной к переселению, благоприятствует еще другое обстоятельство: детеныши не привязывают ее к какому-нибудь определенному месту; сейчас же после рождения детеныш уже держится у груди матери и переносится ею по воздуху, пока сам не выучится летать. Поэтому летучая мышь принадлежит к млекопитающим, наиболее способным к передвижениям, и, при известных обстоятельствах, пользуется своими преимуществами в обширных разме-

*) В последние десятилетия киты настолько подверглись истреблению, что их уже почти не осталось в Атлантическом и Индийском океанах и очень редкими они стали даже в Северном Ледовитом океане. Китоловы вынуждены теперь для успешной добычи китов отправляться в Южный Ледовитый океан, где китов также рано или поздно ожидает, вероятно, полное истребление. *Прим. ред.*

рах. Вообще, странствования, совершаемые различными видами этих животных, следует причислить к перемещениям, имеющим целью временное пользование местностями, богатыми кормом; они превращаются иногда в настоящие переселения и заводят, по крайней мере некоторые виды, в отдаленные страны, причем не лишены бывают характерной правильности. Самые крупные из рукокрылых, называемые летучими собаками, ради плодов, составляющих их главную пищу, каждый вечер переносятся через обширные пространства, даже не боятся перелетать чрез морские проливы в десять географических миль шириною; вероятно, они перелетели из южной Азии в восточную Африку или совершили тот же путь в обратном направлении, так как некоторые виды встречаются в обоих частях света. Настоящие летучие мыши совершают подобные же переселения; следуя за пробуждением насекомых, наступающим в различных горных поясах в неодинаковое время, они поднимаются из низин на горы, а осенью спускаются обратно в низины, следуют за мухами, собирающимися над стадами рогатого скота кочевников средней Африки и, переселяясь с юга на север, возвращаются назад или делают то же в обратном направлении. Так, один из видов летучих мышей, с началом светлых ночей, появляется на севере Скандинавии и России, и оставляет эти широты, которые, быть может, следует считать его родиной, уже поздним летом, чтобы зимовать в горах Средней Германии и в Альпах; другой вид в течение лета с величайшей правильностью показывается на северо-германских равнинах и, лишь в виде исключения, встречается в это время в горах Средней Германии, в скалистых пещерах которых он зимует. Не подлежит сомнению, что и другие виды летучих мышей, живущие в Германии, предпринимают подобные же перемещения.

Приведенные примеры, взятые из массы материала этого рода, могут служить подтверждением таких переселений млекопитающих, которые мы можем назвать произвольными и которые поэтому еще не исчерпывают нашей задачи. Голод и жажда, скудость и временная неприятность известной области обитания иногда поражают некоторых видов млекопитающих с такою жестокостью, что они, как будто впадая в отчаяние, решаются искать спасения в выселении, похожем на бегство. Обильная пища и благоприятные условия погоды способствуют размножению всех животных; различные млекопитающие, прокармливающиеся растениями, могут тогда размножаться в столь необыкновенной степени, что обитаемая ими область, даже при наилучших обстоятельствах, необходимо требует расширения. Если же после одного или нескольких обильных годов, а в иных случаях и после нескольких благоприятных месяцев, условия быстро изменяются к худшему, то нужда скоро переходит всякие границы и отнимает у страдающих от нее животных не только возможность кормиться долее, но и всякую надежду или, по крайней мере, всякую обдуманность действий

При таких обстоятельствах, у нас полевые, а в Сибири луговые мыши оставляют свои родные места и направляются громадными количествами в другие местности, не останавливаются ни перед какими препятствиями, столь же мало боятся воды, как и неудобных для них гор или лесов, борются с голодом и нуждой и претерпевают повальные болезни и моровые язвы, часто настолько свирепствующие среди них,

что из миллионов остаются только сотни. Точно так же в Сибири белки, которые в обыкновенные годы лишь ненадолго и недалеко отлучаются из своей области, при изменившихся условиях, собираются в многочисленные стаи, перескакивают целыми группами с дерева на дерево, сомкнутыми стаями переходят из одного леса в другой, переплывают реки и ручьи, проникают в деревни и города, гибнут тысячами, но даже перед очевидной смертельной опасностью не останавливаются, не пугаются и не сворачивают с своего пути. Подошвы их ног стаптываются и покрываются трещинами, когти истираются, и шерсть, недавно столь гладкая, взъерошивается и сваливается; за их вереницами в лесу следуют рыси и соболи, на открытых местах—россомахи, лисицы и волки, орлы, соколы, совы и вороны; эпидемия в их стаях похищает еще более жертв, чем зубы и когти хищных животных, пули и дубины человека, а они все идут дальше и дальше, повидимому без всякой надежды на возвращение. По устным сообщениям близко знакомого мне сибирского охотника, в августе 1869 г. подобная масса белок появилась в городе Тагильске. Между тем это было только одно крыло всей переселявшейся массы, средина которой шла лесом, верстах в восьми к северу от города. Животные следовали поодиночке или группами различной численности, но непрерывно; такою же густой толпой проходили они и через город, и через соседний лес, причем пользовались дорогами, изгородями, кровлями строений, наполняли все дворы, проникали через окна и двери внутрь домов, вызывали настоящее волнение среди людей и еще большее—среди собак, которые губили их тысячами и доходили до неслыханной и необузданной кровожадности. Однако белки видимо не заботились о бесчисленных жертвах, падавших среди них, ко всему относились безучастно и ничем не позволяли отклонить себя от намеченного пути. Три дня они шли таким образом от раннего утра до позднего вечера, и, только после наступления ночи, поток их несколько приостанавливался. Все шли в одном направлении с юга на север, и последующие держались тех же путей, как и предшествующие. Чусовая, с ее шумным течением, не представила для них препятствия; все, достигавшие берега быстрой горной реки, бросались без размышления в крутящиеся и пенящиеся волны и плыли, глубоко погружаясь и заложив на спину хвост, с возможной быстротой к противоположному берегу. Мой рассказчик, следивший за их движением с возрастающим вниманием и участием, отправился на лодке в средину стаи, переправлявшейся через реку. Утомленные пловцы, которым он протянул весло, воспользовались им, чтобы вскарабкаться на лодку, и оставались здесь, видимо крайне утомленные, сидя спокойно и доверчиво; когда лодка подъехала к большой барке, они перебрались на последнюю, пробыли там столь же беззаботно продолжительное время и оставили ее, как только приблизились к берегу, выпрыгнули на него и продолжали свой путь так же спокойно, как будто в нем не случилось никакого перерыва.

Вероятно, те же причины вынуждают леммингов, или пеструшек, к их переселениям, которые наблюдаются уже в течение столетий. Год за годом горы в тундрах Скандинавии, северной России и северной Сибири доставляют им удобный приют и достаточную пищу; широкие хребты фиельдов и лежащие между ними широкие равнины, холмы и низины дают простор и пропитание для миллионов этих жи-

вотных; но не каждый год пользуются они привычным изобилием в течение всего лета. Если за снежной, следовательно благоприятной для них зимой,—так как они очень уютно живут под ее белым покровом,—следует ранняя и теплая, долго продолжающаяся весна, их поразительное плодородие и способность к размножению не терпят никакого заметного ущерба, и тогда тундра буквально кишит ими. Но хорошее и теплое лето, увеличивающее число их до неизмеримого множества, в то же время ускоряет жизненный круговорот всех пита-

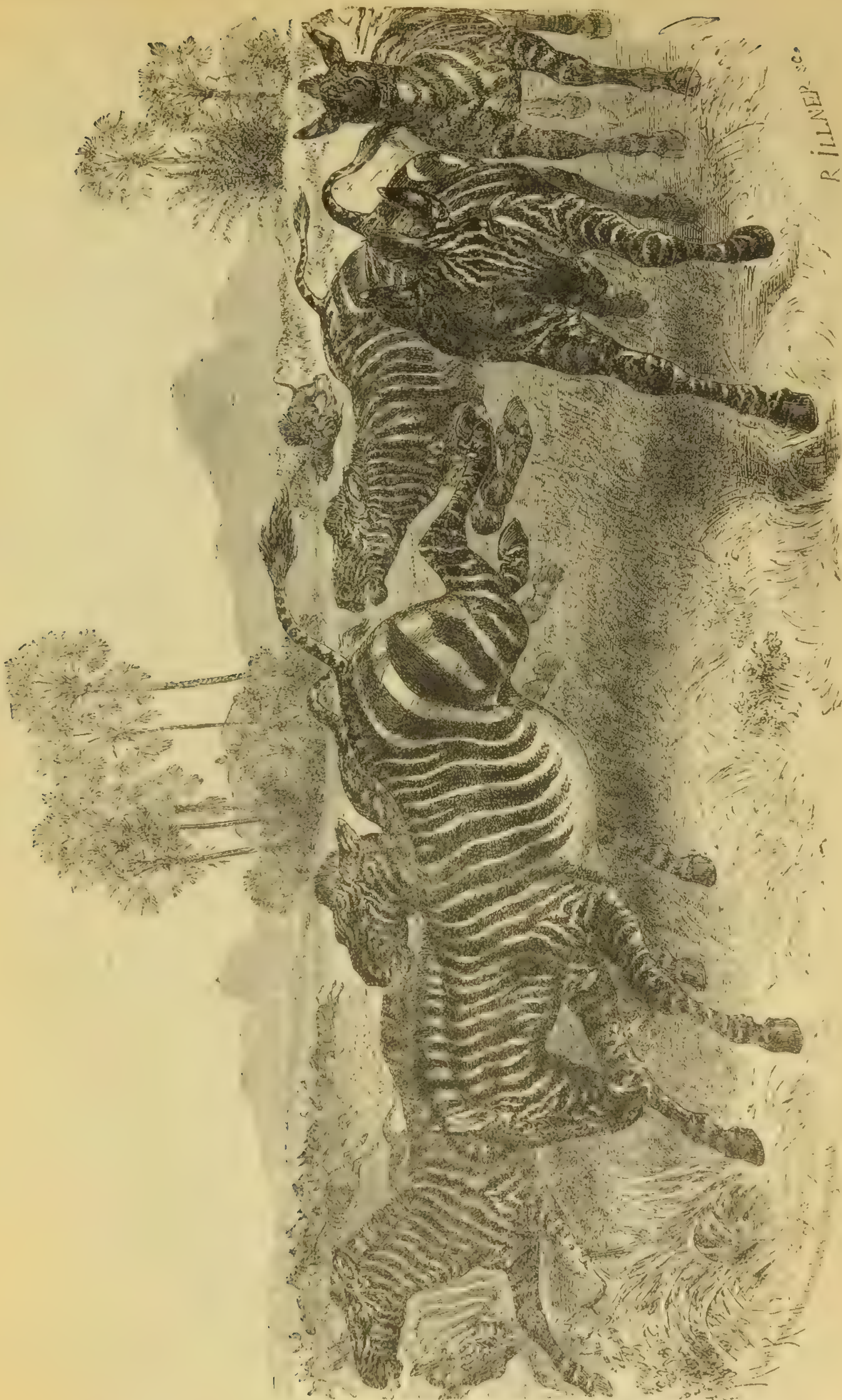


Африканские буйволы.

тельных растений, и прежде чем лето пройдет, эти последние отчасти уже высыхают, отчасти бывают истреблены прожорливыми зубами ненасытных грызунов; начинает ощущаться недостаток в корме, и привольная жизнь заканчивается катастрофой. Все эти подвижные, бойкие существа начинают выказывать беспокойство, и вскоре ими овладевает безумный страх за будущее. Тогда они собираются и приступают к переселению. Одинаковое стремление пробуждается во мно-

гих и передается другим; за одним следуют многие; из отрядов образуются полчища, которые выстраиваются в ряды и, точно весенние воды, живым потоком изливаются с высот в низменности. Пеструшки бегут по определенному пути, направление которого изменяется, однако, смотря по местности и обстоятельствам; образуются длинные вереницы, в которых одна пеструшка так плотно следует за другой, что голова задней как будто лежит на спине передней, и от передвижения легких зверков образуются на моховом ковре тундры глубокие, видные издалека, тропинки. Чем дольше тянется вереница, тем более возрастает поспешность переселяющихся пеструшек. Жадно нападают они на всевозможные растения, встречающиеся на пути, и поедают все, что только можно съесть; благодаря их страшному количеству, местность с нетронутым еще кормом опустошается в течение нескольких часов, и если передовые находят еще кое-какую пищу, то для следующих за ними уже ничего не остается: голод увеличивается с минуты на минуту, и в такой же мере ускоряется движение; тогда уже никакое препятствие не кажется непреодолимым и всякая опасность представляется ничтожной, вследствие чего погибают миллионы этих животных. Они пробегают между ногами встречных людей, нисколько не боятся ни воронов, ни других сильных и хищных птиц; прогрызают стоги сена, перелезают через горы и скалы, переплывают через реки и морские проливы, даже через широкие озера, морские бухты и фиорды. Такая же свита, как позади переселяющихся белок, следует и за леммингами: волки и лисицы, россомахи, куницы, собаки лопарей и самоедов, орлы, полярные совы и вороны насыщаются бесчисленными жертвами, которых они без труда вырывают из движущейся массы, а чайки и всевозможные хищные рыбы хватают переправляющихся по воде; заразные и другие болезни также не щадят их и истребляют более, чем все прочие враги, взятые вместе. Тысячи трупов остаются и гниют на дороге, тысячи пеструшек уносятся волнами, и вообще уцелеет ли их сколько-нибудь и возвратится ли хотя часть их на привычные горные высоты, или под конец все, сколько их ни выступило, гибнут на пути—определить никто не может. С своей стороны могу сказать, что я проезжал обширные пространства Лапландской тундры, где почти повсюду замечались тропинки и другие следы переселяющихся пеструшек, но нигде не видно было ни одного зверка. Такие пространства остаются, как мне говорили, по нескольку лет в том виде, как я их наблюдал, и только по истечении долгих сроков населяются опять маленькими, хлопотливыми грызунами.

То, что на севере вызывается голодом, на юге, при всем его изобилии, вынуждается мучительной жаждой. Когда от палящего зноя южно-африканской зимы неглубокие скопления воды, которые прежде давали освежение зебрам, антилопам, буйволам, страусам и др. наземным степным зверям, более и более иссякают, около тех, которые еще не высохли, собираются животные, пользующиеся жизненными удобствами степи, и около луж, еще содержащих воду, развивается величайшее оживление. Но когда и лужи высохнут, собравшиеся около них животные видят себя вынужденными к переселению, и тогда случается, что их охватывает такое же отчаяние, как только-что изображенных грызунов, диких лошадей и зобатых антилоп среднеазиатских степей или бизонов северо-американских прерий: они собираются гро-



Зебры и квагги.

мадными стаями и пробегают по прямому пути сотни миль, чтобы избегнуть бедствий зимы.

Прежде всех оставляют свою неприютную теперь родину различные виды диких лошадей. Беззаботно и весело носились до наступления нужды, по своей обширной области великолепно раскрашенные, сильные и быстрые дикие дети гор «карру»—зебры и кварги, при чем каждый табун, под предводительством старого, опытного и испытанного в боях жеребца, сам выбирал себе дорогу. Но вот начинаются неудобства зимнего времени. Одна лужа за другою исчезает, и все многочисленнее становятся стаи, собирающиеся около уцелевших водоемов. Общее бедствие заставляет самых задорных жеребцов забывать о всяких битвах и столкновениях друг с другом. Вместо немногочисленных табунов собираются стаи в несколько сот голов; все животные с этого времени действуют сообща и наконец оставляют оскудевающую зимой страну, прежде чем лишения ослабят их силы и сокрушат их гордую волю. Путешественники с одушевлением рассказывают, какое величественное зрелище представляют стада переселяющихся зебр. Далеко пред глазами наблюдателя расстилается песчаная местность, общий красноватый фон которой только местами прерывается темными пятнами выжженной солнцем травы, скудно оттененная немногими порослями перистолистых мимоз и окаймленная на далеком горизонте горами, резкие линии которых заволакиваются голубой дымкой. Среди такого пейзажа поднимается облако пыли и встает, нетревожимое никаким дуновением ветра, как столб дыма, до самого голубого неба. Ближе и ближе подходит облако; по временам замечаются и движущиеся в нем живые существа. Наконец, выделяясь из полумрака, выступают перед глазами зрителя ярко и странно окрашенные животные; тесно сомкнувшимися рядами, с поднятыми шеями и хвостами, перемешанные со странными фигурами примкнувших к ним страусов, они проносятся мимо одни за другими, спеша к каким-то отдаленным пастбищам, и, прежде чем наблюдатель успеет опомниться, бешеная стая уже исчезла из глаз, скрылась от взгляда в необозримой степи *).

Не всегда по одним и тем же дорогам, но, большею частью, в том же направлении, уносятся по обширным пространствам антилопы, также гонимые зимою. Ни одна из них не показывается чаще и в большем числе, чем газель-прыгун. Ее необыкновенная красота и очаровательная подвижность пленяют всякого, кто наблюдает ее на свободе, когда она то пробегает легкими шагами, то останавливается, чтобы пощипать травы, то несется смелыми прыжками, при чем развевается ее лучшее украшение—снежно-белый клок волос, похожий на гриву, который, при спокойном ходе, бывает спрятан в складке спины. Ни одна антилопа не собирается в такие многочисленные стада, когда необходимость понуждает ее к переселению. Напрасно невидавшему переселения газелей своими глазами самый красноречивый рассказчик старается дать хотя приблизительно верное представление об этом чудном зрелище. Собравшись в плотную кучу уже в течение недель, быть может, все еще поджидая дождя, газели решаются нако-

*) Громадные стада зебр и кварг теперь также должны быть отнесены в область преданий, так как большая часть их истреблена переселенцами из Европы. *Прим. ред.*

нец на выселение. К сотням этих животных присоединяются другие сотни, к тысячам—тысячи, по мере того, как грознее становится нужда, мучительнее—жажда, длиннее—пройденный путь; из групп образуются отряды, из отрядов армии, которые двигаются, подобно тучам саранчи, затмевающим солнце. На равнинах они покрывают целые квадратные мили; в горных проходах теснятся плотными массами, которых ничто не может остановить; в низинах кажутся рекою, выступившею из берегов и все увлекающею за собой. Самого твердого и спокойного человека может оглушить, довести до одурения толпа животных, движущаяся перед ним в течение целых часов, а иногда и дней. Подобно прожорливой саранче, нападают истомленные животные на траву и листья, на хлеб и другие полевые плоды; там, где они прошли, не остается уже ни одного стебелька. Человек, пытающийся остановить, мгновенно опрокидывается на землю, и тысячи легких ног ступают по нем; пасущееся на дороге стадо овец окружается плотным кольцом, захватывается им и уводится навсегда; лев, помышлявший о легкой добыче, видит себя вынужденным оставить убитую жертву и двигаться вместе с потоком. Неудержимо стремятся вперед идущие позади, передние медленно уступают давлению, стесненные посредине стараются проложить себе дорогу в сторону и постоянно встречают самое упорное сопротивление. Над облаком пыли, поднимаемым переселяющимися массами, кружат коршуны; с боков и позади громадной стаей двигается многочисленная свита из разных хищных животных; в горных проходах стерегут газелей охотники и стрелки и посылают в их толпу пулю за пулей. Томящиеся животные пробегают таким образом десятки верст, пока наконец не настанет весна и не распустит эту громадную стаю.

Следует ли мне упомянуть здесь и о других невольных переселениях, к каким вынуждаются иногда песцы и белые медведи, когда льдина, на которой они охотились, отрывается от берега и уносится морскими волнами, пока ее в счастливом случае не прибьет к какому-нибудь острову? Я не думаю: такое путешествие не есть переселение, а только перемещение по воле волн.

Любовь и брак у птиц.

Непреоборимо, как властный закон природы, всеми живыми существами управляет стремление сблизиться с другим полом того же вида, соединить другое бытие со своим собственным, безусловно отдать себя другому, возбудить и в нем подобные же чувства и вступить с ним в теснейший союз, связывающий одну жизнь с другою. Нет силы, достаточно могущественной, чтобы остановить действие этого закона, не может быть запрета настолько решительного, чтобы оказать на него влияние. Неудержимо устраняет он всякое препятствие и победоносно стремится к цели.

Всемогущую силу, посредством которой властвует этот закон, мы называем любовью, когда говорим о влиянии ее на человека,— и побуждением или инстинктом, когда говорим о проявлении ее в мире животных. Выражаясь таким образом, мы занимаемся только игрою слов; мы хотим придать первому слову исключительное значение, давая этим понять, что каждое естественное стремление, проявляясь в человеке, тем самым становится благороднее и нравственнее. Без такого предположения трудно было бы найти различие между тем и другим определением. Человек и животное подчиняются одному и тому же закону, но животное повинуется ему беспрекословнее человека. Оно не колеблется, не обдумывает, а отдается его влиянию без сопротивления, тогда как человек нередко обольщает себя мечтой, что может избегнуть этого влияния.

Тот, кто с предвзятой мыслью отвергает принадлежность человека к царству животных, видит в животном не что иное, как живую машину, которая извне действующими силами движется и руководится, подталкивается к деятельности, побуждается к сближению с другим полом своего вида, к выражению радости по этому поводу и к борьбе с соперниками; вместе с тем, у подобных машин он естественно отрицает всякую свободу и волю, всякую борьбу с противодействующими настроениями, всякую жизнь ума и души. Не возвышая себя таким взглядом, он выражает лишь исключительное притязание на всякую умственную деятельность и духовную свободу, а животное превращает в какое-то призрачное подобие своей неосновательной гордости, которое ведет скорее кажущуюся, чем действительную жизнь, и должно быть лишено всякой радости бытия.

Мы держимся иного, противоположного взгляда, считая его более правильным и, во всяком случае, более справедливым; мы не боимся, что наше мнение будет слишком резким, если мы выскажем, что тот, кто отрицает разум у животного, возбуждает опасение за свой соб-

ственный разум, а тот, кто отрицает у животного всякую жизнь чувств, не имеет должного понятия об этом последнем. Каждый беспристрастный наблюдатель рано или поздно должен притти к убеждению, что умственная деятельность всех животных существ, как бы различно она ни выражалась, основана на одних и тех же законах, и что каждое животное, в пределах назначенного ему жизненного круга, и при тех же обстоятельствах, думает, чувствует и поступает сходно с другим, и не побуждается, противоположно человеку, так называемыми законами природы к известным, точно определенным жизненным проявлениям. Причины поступков животных можно, пожалуй, назвать законами, но никогда не следует забывать, что и человек подчинен таким же законам. Правда, его ум мог некоторые из этих законов природы подчинить себе, на другие оказать влияние, иные даже временно обойти, но он никогда не мог их нарушить или уничтожить.

Я попытаюсь представить доказательство справедливости моего воззрения, показав на одном примере, как в сущности однообразны жизненные проявления у человека и у животных; как одинаково принудительно на того и на других действует важнейший из всех законов природы, цель или последствие которого заключаются в поддержании вида. Человек и птица—какое далекое расстояние лежит между ними, между жизнью того и другой; как велики различия между их действиями и поступками! Может ли какая-либо сила наполнить эту пропасть? Мыслимы ли отношения, которые побуждали бы обоих к существенно одинаковым жизненным проявлениям? Мы попробуем ответить на этот вопрос.

Птицы непосредственнее, чем человек, подчинены смене времен года. «Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы», и должны, худо ли, хорошо ли, приспособляться ко временам года, если хотят питаться, если хотят жить. Они расцветают весною, летом приносят плод, прячут его и самих себя осенью и покоятся зимою так же, как и мать-земля. Их жизненные проявления связаны с различными отделами года.

В этом отношении, действительно, ими управляет железный закон, перед которым немыслимы никакая свобода, никакой произвол. К чему их привела бы свобода действий, как не к беде и лишениям, как не ко вреду их собственной жизни и жизни их птенцов! Они покорно склоняются перед этим законом и зато пользуются такого рода свободой, которой мы, люди, должны завидовать им и завидовали бы, если бы не были в состоянии лучше устранять от себя влияние времен года, чем они. Но разве мы сами не расцветаем весною и не отдыхаем зимой? Разве и мы не должны преклоняться перед железной необходимостью?

Если птицы связаны в упомянутом отношении, то в других отношениях они сохраняют свободу и произвол и часто пользуются ими даже радостнее и беспрепятственнее, чем человек.

Ни одна птица не отказывается добровольно от радостей любви; только немногие из них уклоняются от брачных уз; напротив, каждая ищет любви, если только можно добиться ее и насладиться ею. Еще прежде, чем птица сбросит с себя одежду юности, она уже знает и оценивает различие полов; еще раньше молодой самец с мальчишеским задором борется с подобными себе; как только он вырастает, он добивается с жаром и упорством благосклонности самки своего вида.

Ни один самец птицы сам не осуждает себя на положение старого холостяка; ни одна самка не закрывает своего сердца пред достойным искателем его. Ради самки первый проносится без отдыха и цели над морями и землями; ради достойного самца последняя забывает пережитые ею страдания и угнетавшее ее горе, как бы глубоки они ни были; ради искателя, который кажется ей более достойным, она, быть может, даже разрывает узы брака.

Каждая самка птицы находит себе супруга, но не каждому самцу так же легко добыть себе подругу. И у птиц это великое благо дается с трудом и борьбою. В среднем, самцов более, чем самок; поэтому первые вынуждены испытывать самую жестокую неудачу, какая только может выпадать на их долю, и по крайней мере временно оставаться без подруги. Для огромного большинства птиц холостое состояние бывает крайне тяжело, и они всеми силами стараются избавиться от него. Самцы проносятся на своих жениховских крыльях через обширные пространства, внимательно высматривают себе подругу и, полагая, что нашли ее, смело приступают к ухаживанию, все равно — есть ли у нее муж или уже был, или его еще не было. Если бы их странствования были безуспешны, они, вероятно, не предпринимались бы с такой правильностью, как это бывает в действительности.

Добиваясь благосклонности самок, самцы пользуются всеми средствами, какие им дала природа. Каждый из них выказывает, соответственно тому виду, к какому он принадлежит, и по мере возможности, свои выдающиеся качества; каждый пытается показать себя с самой подкупающей стороны, обнаружить всю свойственную ему любезность, проявить себя в полном блеске и затмить других представителей своего пола. Его желание растет вместе с надеждой на исполнение; любовь опьяняет его, приводит в исступленный восторг. Чем он старше, тем более старается произвести впечатление, тем самостоятельнее выступает, тем стремительнее требует награды за свою любовь. Поговорка: «старость не спасает от глупостей» должна быть посрамлена в его лице, потому что старость только в самых редких случаях осуждает его на слабость и неспособность; напротив, обыкновенно она усиливает все свойственные ему качества и, благодаря зрелому опыту, поднимает силы, какими он пользуется, до их настоящей полноты. Нечего удивляться поэтому, что по крайней мере молодые самки предпочитают старых самцов, любовь которых, если не так пламенна, то более надежна.

Средства, которыми самец птицы изъясняет свою любовь и выражает свои искания, весьма разнообразны, но, естественно, всегда находятся в соответствии с его выдающимися природными дарованиями. Один прельщает своей песнью, другой—своими крыльями, третий—клювом, четвертый—ногами; один выказывает при этом все великолепие своих перьев, другой—особые украшения, третий—какое-нибудь непроявляемое им в обыденной жизни искусство. Серьезные птицы тогда занимаются играми и шутками, птицы, исполненные достоинства, — глупыми шалостями; молчаливые становятся болтливыми, спокойные—подвижными, кроткие — задорными, боязливые — смелыми, благоразумные —беззаботными; одним словом, почти все выказывают себя с иной стороны, чем в обыкновенное время. Все их существо кажется измененным, так как каждое движение их—живее, возбужденнее, чем всегда; все их поведение иногда во всех отношениях от-

личается от обычного, и ими овладевает настоящее опьянение, поднимающее всю энергию их существа и не позволяющее проявляться утомлению. Они лишают себя сна или ограничивают его до возможно меньшей меры, ни мало не ослабевая; бодрствуя, они до крайности напрягают свои силы, не впадая в утомление.

Все одаренные голосом птицы добиваются любви внятными звуками, и их пение—не что иное, как мольба или ликование любви. Слова поэта:

Willst du nach den Nachtigallen fragen,
Die mit seelenvoller Melodie
Dich entzückten in des Lenzes Tagen—
Nur solang sie liebten, wagen sie! *)

выражают настоящую истину; пение соловья и всех прочих птиц, песни которых радуют нас, начинаются в действительности с первым пробуждением любви и кончаются, когда любовное опьянение исчезло и заменилось другими чувствами, а тем более заботами. С песней пускается самец искать себе невесту; песней возвещает он самке свое появление, свою близость; песней приглашает он ее соединиться с ним, пламенной песнью выражает он свое восхищение, когда находит ее; в песню облекает он свое стремление и надежду; песней дает он чувствовать свою силу; в песне возносит он к небесам ликование своего счастья, своего блаженства; песней посылает он вызов каждому самцу его вида, который осмеливается нарушить это счастье. Только покуда птица одушевлена любовью, она поет с полным огнем, с полной силой, и если бы она пела в другое время, ее песня была бы только воспоминанием о любовном очаровании, которое некогда делало ее счастливой. Тот, кто утверждает, как это иногда приходится слышать, будто птица поет вполне безучастно и поет только в известное время, потому что тогда должна петь, а в другое время не может этого делать—никогда не понимал или не хотел понимать пения птиц, и высказывает только свое жалкое предвзятое мнение. Беспристрастное наблюдение тотчас же открывает нам, что пение птицы, хотя оно в сущности остается одинаковым, применяется к каждому движению чувства, и, смотря по преобладающему настроению, льется спокойно, повышается, становится восторженным и опять ослабевает, пробуждая отклик в груди других самцов. Если бы упомянутое выше мнение было справедливо, то каждый самец должен был бы петь точно так же, как и всякий другой того же вида, и песня его звучала бы, как мелодия, исполняемая вертящимся валом игрушечного органчика: в ней не слышалось бы ни выучки, ни перемены, ни улучшения, ни стремления к совершенству. Но мы видим в действительности совершенно противоположное и убеждаемся, что птица поет с полным сознанием, что она в пении проявляет свою душу. В своем роде, она—поэт, творящий, находящий образы и выражения в возможных для него границах; вдохновение дается ей любовью к другому полу. Покоряясь ее власти, поет и свистит сойка, болтает сорока, каркающий ворон превращает свои грубые крики в нежные и мягкие звуки, дает слышать себя обыкновенно столь молчаливый нырок, гагара издает свою дикую и все-таки звучную морскую

*) Если ты спросишь о соловьях, которые своей задушевной мелодией восхищали тебя в дни весны,—они были здесь, лишь пока любили.

мелодию, и выпь погружает свой клюв в воду, чтобы превратить единственный доступный ей крик в иной, глуховатый, далеко слышный рев. Без сомнения, птица поет только в определенное время, но не потому, чтобы в другое время она не могла петь, а потому, что тогда ее ничто не понуждает к пению, потому что тогда она не хочет петь. Она молчит потому, что не любит более, или, говоря проще—время спаривания прошло для нее. Справедливость этого мнения ясно доказывает нам всем известная кукушка. В течение трех четвертей года крик ее не слышится ни разу, но как только весна займет свое место в чреде времен года, ее крик раздается почти непрерывно с первого часа дня до последнего, пока продолжается для нее время спаривания. На юге он замолкает раньше, чем на севере, и на равнине раньше, чем в горах, соответственно времени выводки птиц, высиживающих ее яйца, на юге и на равнине раньше свивающих гнезда и оканчивающих воспитание птенцов, чем на севере или на горных высотах.

Многие птицы подкрепляют свои ухаживания, выражаемые пением или какими-нибудь своеобразными звуками, еще особенно привлекательными движениями, совершаемыми с помощью крыльев или ног; другие при этом принимают особенные позы, выказывая себя в выгодном свете перед самками; третьи с тою же целью производят особого рода шумы.

Между тем, как некоторые соколы и совы, если не исключительно, то преимущественно выражают свои желания громкими криками, другие хищные птицы совершают перед самками, или вместе с ними, красивые движения в воздухе, иногда весьма мерные, а иногда беспорядочные. Орлы, канюки, сапсаны, красные соколы и пустельги иногда кружатся по целым часам друг около друга, взлетают до неимоверной высоты, показывают, очевидно для взаимного удовольствия, все разнообразие и искусство полета, на какое они способны, испускают от времени до времени резкие крики, заставляют солнечный свет играть в своих перьях и наконец медленно опускаются на какое-нибудь высокое место, чтобы здесь продолжать свои ухаживания. Коршуны, в сущности совершающие те же движения, иногда внезапно с полураспущенными крыльями с значительной высоты падают на землю или на поверхность воды, затем начинают, еще быстрее прежнего, описывать круги, некоторое время держатся, покачиваясь, на одном и том же месте, или производят другие странные движения, и потом медленно опять поднимаются на прежнюю высоту. Полевые луни летают продолжительное время повидимому вполне равнодушно позади или около самки, затем начинают кружиться около нее, летают вместе с ней перекрещивающимися линиями, неожиданно взлетают и, оставив самку, поднимаются, с головой обращенной вверх, почти вертикально, на значительную высоту, ускоряя прежний спокойный полет до неожиданно стремительной быстроты, вдруг опрокидываются, падают с почти сложенными крыльями вниз, кружатся там один или несколько раз, вновь поднимаются вверх и повторяют то же самое, пока самка не решится наконец последовать их примеру. Всех названных—превосходит орел-скоморох, живущий во внутренней Африке, достигающий величины орла и отличающийся среди всех хищников наибольшею оригинальностью наружного вида и движений. Его удивительный полет всегда привлекает к себе внимание наблюдателя, а во время спаривания пре-

вращается в невероятные воздушные игры, в какие-то ошеломляющие фокусы, повидимому, соединяющие в себе все, что может дать искусство полета всех других хищных птиц.

Движения, подобные тем, какие мы видели у самцов хищных птиц, замечаются и у многих других птиц, даже у таких, которые вовсе не отличаются искусством полета. После сказанного выше, нам должно казаться вполне естественным, что и эти птицы прибегают к помощи своих крыльев, когда хотят снискать расположение самки или желают найти выражение своим чувствам, по поводу счастливо достигнутого обладания. Усердно распевает самец ласточки, сидя около покоренной или только избранной самки, свою самую милую песенку, но пылающее в его груди чувство слишком сильно, чтобы, имея возможность летать, он мог усидеть на одном месте, пока длится его песня: он вспархивает, продолжает петь на-лету и носится, и кружится около самки, которая, наконец, летит за ним. Козодой сидит продолжительное время на древесном суку, иногда довольно далеко от самки, тянет несколько минут подряд свои мурлыкающие колена, поднимается с изящными изгибами, хлопая крыльями, летает вокруг самки и обращает к ней свой зов, в виде звука «геить», в таком нежном тоне, что нельзя не удивляться, как может выходить такой мягкий звук из его грубой гортани. Пчелояд, также обладающий незвучным голосом, подолгу сидит близко около самки на своей ветке, испускает едва слышные звуки, а иногда молчит и, повидимому, довольствуется тем, что смотрит на самку нежным взглядом своих красивых, ярко красных глаз; затем самец разгорается, шевелит крыльями, высоко поднимается в воздух, описывает там круг, испускает ликующий крик и возвращается к самке, которая все время сидит на том же месте. Среди самого усердного любовного пения, которое можно назвать воркованием или завыванием, голубь, возбуждаясь все более и более, вдруг умолкает, несколько раз громко хлопает крыльями, взбирается выше, затем расправляет крылья и медленно перелетает на вершину дерева, чтобы оттуда опять начать свою песню. Лесные и водяные щеврицы и серые славки поступают так же, как и голуби; пеночки бросаются, не прерывая пения, со своего высокого сиденья вниз и опять поднимаются на другую ветку, на которой кончают свою песенку, чтобы через несколько минут начать ее снова и закончить такой же воздушной игрой. Зеленые чижи и серые подорожники, одушевленные любовью, странным образом носятся в воздухе, как будто крылья перестают служить им; жаворонки, распевая свою любовную песню, буквально поднимаются к самому небу; желтозобик летает так, как будто учился этому искусству у летучей мыши.

В таком же упоении находятся птицы, выражающие свою любовь движенями, похожими на пляски. И они во время этих плясок изменяют своим обыкновенным привычкам и наконец впадают в настоящее исступление, заставляющее их более или менее забывать весь окружающий мир. Немногие птицы танцуют молча; напротив, большинство их испускает странные звуки, каких в другое время не приходится слышать от них, выказывают в то же время всю свою красу и заканчивают мерными плясками.

Самыми усердными плясунами следует признать птиц всего порядка куриных. Наш домашний петух довольствуется тем, что горделиво расхаживает, поет и хлопает крыльями; его товарищи по курятнику—павлин и индейский петух—идут далее: они распускают хвост

и торжественно выступают. Фазаны и тетерева—более усердные танцоры. Кто в сумраке раннего утра наблюдал токующего глухаря, кто приглядывался к беснующемуся тетереву, кто в светлую ночь северной весны видел болотную куропатку танцующею на снежных полях тундры, тот согласится с моим мнением, что такое поклонение, какое все петухи оказывают своим курам, должно влиять столь же неотразимо, как и соответственное действие нашего павлина, который свое прекрасное перистое украшение превращает в балдахин для покоренной самки. Еще более своеобразные движения мы замечаем у ушастых фазанов, живущих в юго-восточной Азии, отличающихся двумя разнообразными, ярко окрашенными кожистыми трубочками по обеим сто-



Пляшущий ушастый фазан.

ронам верхней части головы и ярко красными, растяжимыми перепонками под горлом. Петух сперва несколько раз обходит кругом курицы, не выказывая ей заметного внимания; затем он останавливается на известном месте и начинает кланяться. Поклоны следуют все скорее и скорее, и тем временем медленно раздуваются и приподнимаются рожки; расширяется и опускается перепонка на шее, пока и то, и другое начинает буквально летать кругом головы обезумевшей от любви птицы. Теперь она распускает и вытягивает крылья, округляет и опускает хвост, приседает на подогнутые ноги и с шипеньем волочит крылья по земле. Вдруг всякое движение прекращается. Опустившись, с взъерошенными перьями, с крыльями и хвостом, прижатым к земле, с закрытыми глазами, громко дыша, птица остается некоторое время в неподвижном восхищении. Ослепительный блеск исходит от ее вполне

развернутых перистых украшений. Потом она опять неожиданно приподнимается, шипит, дрожит, расправляет перья, скребет лапами, поднимает хвост, хлопает крыльями, подскакивает и вытягивается во весь рост, бросается к самке и появляется перед нею, разом сдерживая свой стремительный бег, в олимпийском величии, стоит еще несколько мгновений, дрожит и шипит, и затем вдруг вся роскошь ее наряда исчезает: она расправляет перья, втягивает рожки и шейную перепонку и возвращается, как будто ничего не происходило, к своим обычным занятиям.

Легким шагом, несколько наклонив голову, распустив крылья и хвост, подрагивая перьями, наклоняясь всем телом, то приближаясь, то отдаляясь, подпрыгивая, ходит плиска около избранной самки; как яркое жертвенное пламя, показывается огненный вьюрок на верхушке колоса африканского проса, где он сидит вместе со своей самкой, распускает свои великолепные перья на солнечных лучах и поворачивается во все стороны, усердно распевая на избранном месте. Нежно, прижавшись носик к носику, грудь к груди, медленно кружатся голубь и голубка; страстно, с оживленными прыжками, пляшут журавли; то же делают, с неменьшим усердием, не смущаясь присутствием видимо удивленных зрителей, красивые горные курочки средней Америки. Даже кондор, у которого мало соперников по силе полета, поднимающийся на тысячи футов над высочайшими вершинами Андов и, казалось бы, только крыльями могущий пленить свою подругу,—и тот отваживается на подобие пляски и кружится около самки с глубоко опущенной, прижатой к груди головой и распущенными во всю ширину крыльями, издавая ворчливые звуки, похожие на глухой барабанный бой.

Другие птицы заменяют пляски бешеными скачками и прыжками по веткам вверх и вниз, показывая в это время свойственный им наряд: таковы райские птицы, которые в утренние часы сидят группами на деревьях, и здесь, с упомянутыми движениями и дрожанием крыльев, в честь самок развертывают свои удивительные перья. Другие делают особенные постройки из листвы, украшают их всевозможными цветными и блестящими предметами и в них производят движения, похожие на пляски. Наконец, некоторые птицы, не могущие блеснуть ни голосом, ни полетом, ни ловкими движениями, пользуются своим клювом, чтобы вызывать им своеобразные звуки. Так ухаживают за своими самками аисты, быстро ударяя друг о друга обеими половинами клюва и производя особого рода щелканье, заменяющее недостающий им голос; подобно этому поступают и дятлы, быстро долбя носом в сухую вершину или ветку, так что сухое дерево колеблется и по всему лесу раздается треск.

Хотя самка и не относится сурово к оказываемому ей вниманию или выражению любви, но она только в крайнем случае отдает свою благосклонность без выбора первому попавшемуся самцу. Вначале она прислушивается повидимому вполне равнодушно к самым нежным любовным песням, смотрит безучастно на все полеты и пляски, которые производятся в честь ее, на выказывание всякого рода убранства, совершающиеся ради поклонения ей. По большей части она держит себя так, как будто все это обилие очаровывающих приемов самцов вовсе не касается ее. Спокойно, повидимому нисколько не обращая внимания на их маневры, она занимается обыденными делами, в особенности отыскиванием корма. Во многих, хотя далеко не во все случаях,

она позволяет приманить себя песнями, льющимися для ее возвеличения, или танцами, производящимися в честь ее, но никаким движением, никаким знаком не выражает, что относится к ним благосклонно. Многие самки птиц, в особенности куриных, живущих в многобрачии, не всегда находятся на местах состязания петухов, хотя вовсе не жеманны и нередко вызывающими криками доводят токующих самцов до величайшего исступления. Если самец становится более назойлив, чем это нравится самке, она уклоняется от его исканий и улетает. Но повидимому только в самых редких случаях это бывает вполне серьезно; обыкновенно ухаживание самца продолжается с такой энергией и настойчивостью, что не всегда можно определить—сопротивляется ли самка действительно без всякой задней мысли, или только для виду. Если у нее нет каких-нибудь особых целей, то она достигает только одного—высшего усиления желания, крайнего напряжения всех сил и средств ухаживающего самца. Возбужденнее, чем прежде, пренебрегая всякими соображениями, стремясь только к одной цели, последний бросается за улетающей самкой, как будто намеревается добиться ее внимания силой; пламеннее, чем когда-либо, поет он, живее чем прежде кружится, пляшет, играет, показывает свое искусство полета, когда самка останавливается, и еще усерднее преследует ее, когда она снова улетает от него.

Вероятно, каждая самка была бы снисходительнее, чем это обыкновенно бывает, если бы самец был единственным искателем ее. Но вследствие преобладающей численности самцов каждая самка пользуется преимуществом свободы выбора. Многие самцы, а при некоторых обстоятельствах, даже значительное число их, одновременно выражают ей свое поклонение, и этим оправдывают ее колебание и разборчивость. Волей или неволей повинуется она закону подбора; среди многих она старается выбрать самого лучшего, сильного, здорового, превосходящего других во всех отношениях: она *должна* выбирать между ними. Ее образ действий отражается на самцах в виде беспредельной ревности, естественным последствием которой являются продолжительные битвы, иногда на жизнь и на смерть. Каждая птица, какой бы безобидной она ни казалась нам, в борьбе за предмет своей любви становится героем, и каждая из них успевает превратить свойственное ей оружие—клюв, ноги, снабженные когтями или шпорами, а иногда и крылья, вооруженные роговыми шипами,—в орудие, столь страшное для соперника, обладающего теми же средствами борьбы, что состязание во многих случаях оканчивается смертью одного из борцов.

Смотря по виду, к которому принадлежит птица, и свойствам ее, борьба происходит на воздухе, на земле, в древесных ветвях или на воде. Орлы и соколы борются со своими соперниками в воздухе когтями и клювом. Красивые извороты, подъем на-перебой с противником, чтобы достигнуть высоты, нужной для нападения, аттака с быстротой молнии, блестящий отпор, взаимное преследование и мужественная стойкость характеризуют такие поединки. Когда одному из царственных витязей удастся смять противника, тот в свою очередь запускает когти в его грудь, и оба, кружась, падают с высоты, будучи не в силах владеть должным образом своими крыльями. Когда они коснутся земли, борьба естественно прерывается; но как скоро поднимается один, за ним следует и другой, и через несколько минут единоборство возобно-

вляется. Если один ослабевает, быть может, вследствие полученных ран, то он начинает отступать, уже не пытаясь оказывать сопротивление, и, злобно преследуемый победителем, поспешно улетает даже за пределы области, какую избрала себе самка; но несмотря на испытанное поражение, он отказывается от борьбы не прежде, чем самка окончательно склонится на сторону победителя. Такие поединки, хотя и не часто, оканчиваются смертью; орел, ревность которого усиливается любовью и самолюбием, не знает пощады по отношению к побежденному, и безжалостно разрывает противника, неспособного ни к борьбе, ни к бегству. Даже и менее свирепые касатки подобно орлам или соколам впиваются острыми когтями в грудь соперника и так ранят его, что дело нередко оканчивается его гибелью.

У птиц, одаренных голосом, битве предшествует формальный вызов. Уже песня певчей птицы является оружием, которым совершаются состязания и победы, хотя и бескровные; призыв к спариванию, служащий настоящим выражением искательства самца, всегда зажигает ревность. Тот, кто умеет подражать крику кукушки, может приманить весьма осторожную птицу на то дерево, под которым он стоит. Умеющий искусно воспроизводить свист иволги, воркование голубя, стук дятла, одним словом—любовную песню или жалобу какой-либо птицы, может добиться того же. Соперник, если он оказывается, также дает знать о себе призывом или пением; но вскоре он переходит к действию, и между ним и его противником возгорается такое же жестокое единоборство, как и между упомянутыми выше птицами. С глубочайшим озлоблением, с криком и визгом один гоняется за другим—все равно, лежит ли путь через верхние или нижние слои воздуха, через древесные вершины или кустарники; так же, как при преследовании самки, соперники во время борьбы раздражают друг друга вызывающими звуками голоса, пением, показыванием своих украшений и другими насмешливыми действиями, до крайней степени ярости. Если преследующий настигнет убегающего противника, то так ударяет его клювом, что у того летят перья; если же он сам отстанет от него, преследуемый мгновенно меняется с ним ролью и с своей стороны переходит в наступление; если оба останавливаются, они усердно треплют друг друга — безразлично на воздухе ли, на деревьях или на земле. Окончательный исход борьбы решается мнением самки, которая высказывается за того или за другого.

Наземные птицы всегда дерутся на земле, водяные на воде. Какие серьезные бои бывают между петухами—знает каждый, кто видал двух дерущихся петухов. И в их поединках дело идет о жизни и смерти, хотя смертельный исход обыкновенно случается лишь тогда, когда жестокость человека усиливает их естественное оружие и ослабляет средства защиты. Страусы-соперники, борющиеся между собой, также пускают в дело свои крепкие ноги и, ударяя твердыми и острыми когтями перед собою, наносят глубокие раны противнику в грудь, живот и бедра. Возбужденные ревностью дрофы, после того как они долгое время задирали друг друга раздутым шейным мешком, распущенными крыльями, развернутым как колесо хвостом и ворчливым шипением, пользуются своим клювом с заметной энергией; бегающие птицы, в особенности турухтаны, которые борются не только за самку, но и за каждую муху, за солнечный свет, за занимаемое место, наскакивают друг на друга, держа клюв, точно направленное для удара копье, и при-

нимают удары на свои грудные перья, образующие у некоторых видов настоящие щиты. Болотные курочки набегают друг на друга по колеблющемуся покрову плавающих водяных растений и дерутся ногами; лебеди, гуси и утки преследуют друг друга до тех пор, пока одному сопернику не удастся ухватить другого за хохол и окунуть его в воду, так что тот подвергается опасности задохнуться или по крайней мере слишком ослабевает, чтобы тотчас же продолжать борьбу; лебеди, подобно птицам, наделенным шпорами, пускают в ход сидящие у них на сгибе крыльев твердые и острые, состоящие из роговой массы, отростки и наносят ими чувствительные удары.

Самка, пока она не приняла решения в пользу одного самца, не выказывает никакого участия к состязанию соперников, даже нисколько не разгорается от этих битв, но смотрит на них с величайшим вниманием, так как обыкновенно отдает преимущество победителю, или по крайней мере снисходительно относится к его ухаживанию. Каким образом происходит объявление ее решения—я сказать не могу, даже не могу составить на этот счет никаких предположений. Еще в самый разгар такой битвы выбор ее уже решен; с этой минуты она вполне отдается избранному ею самцу; следует за ним или летает впереди его, с видимым удовольствием принимает его объяснения в любви и отвечает с самоотверженной нежностью на его ласки. Страстно зовет она его, радостно приветствует и без сопротивления подчиняется его желаниям и действиям. Плотно прильнув друг к другу, сидят спарившиеся попугаи, хотя бы сотни их опустились на одно и то же дерево; самое полное согласие замечается между действиями четы; повидимому, одна воля одушевляет обоих. Если супруг что-нибудь ест, супруга его делает то же самое; если он ищет другого места, она следует за ним; если самец кричит, самка ему вторит. Ласково перебирают они друг другу перышки, и один охотно подставляет другому голову и затылок, чтобы получить подобное доказательство нежности. Каждая самка, хотя и не так явно, но всегда с такою же преданностью получает и возвращает расточаемые ей ласки. Она не знает никаких неприятных для другого настроений и капризов, не умеет надуваться и сердиться, браниться или кричать и выказывать неудовольствие; она проявляет только любовь, нежность и преданность, между тем как супруг обнаруживает только сознание достигнутого счастья и блаженства и желание сохранить его. Он столько же распоряжается и решает, сколько присоединяется к желаниям самки: когда она поднимается, и он оставляет свое место; когда она улетает из родной страны, он сопровождает ее на чужбину; когда она возвращается на родину, и он спешит за нею в страну своего детства. Не удивительно поэтому, что брак у птиц бывает счастливым и безупречным. Пусть стареют супруги, связанные на всю жизнь,—их любовь не стареется; она остается вечно юной и почерпает в каждой весне новые силы; их взаимная нежность не уменьшается даже в течение самого долгого брака. Оба супруга принимают одинаково близкое участие в необходимых хозяйственных занятиях, во время устройства гнезда, высиживания яиц и воспитания детей; самец самоотверженно поддерживает самку во всех хлопотах, которые последней причиняют дети; мужественно охраняет он ее, без колебания подвергает себя очевидным опасностям, даже смерти, когда дело идет о том, чтобы спасти ее. Одним словом, оба с первой минуты своего союза делят и радость, и горе, и, если не произойдет особых об-

стоятельств, нарушающих союз, он продолжается в самом тесном виде в течение всей их жизни.

То, что мы говорим, подтверждается многими наблюдениями. Проницательные исследователи, наблюдавшие из года в год за отдельными особями и наконец, узнавшие их так близко, что не могли уже смешать с другими особями того же вида, могут подтвердить справедливость наших слов; и каждый из нас, кто обращает внимание на птиц, особенно бросающихся в глаза, должен притти к тому же заключению. Пара аистов на крыше дома дает владельцу его такое множество случаев ознакомиться с самкой и самцом и отличать их от других, что всякая ошибка становится невозможной; кто наблюдал за своими аистами, тот знает, что всегда одна и та же пара возвращается к гнезду, покуда живы оба супруга. И каждый естествоиспытатель или охотник, который зорко следит за странствующими птичьими парами, или убивает их, когда половые различия не слишком заметны, удостоверяется, что каждую чету действительно составляют самка и самец. Во время моих путешествий по Африке я часто встречал переселяющиеся птичьи пары, которые и там жили в тесном общении, составляющем столь характерное отличие браков у птиц; они были так же неразлучны, как у себя на родине, в гнезде, все делали сообща и вместе страдали и терпели. Соединенные пары орла мелкой породы позволяли различать в них супругов даже и тогда, когда они переселялись или оставались на месте в обществе других птиц своего вида; певчие лебеди, которых я наблюдал на озере Мензале в Египте, появлялись парами, и парами же улетали оттуда; все прочие птицы, живущие в тесном браке, каких я встречал на моем пути, подтверждают это общее правило. В том, что оба супруга вместе переносят тяжелые испытания, я убедился, когда встретил на маленьком озере в южной Нубии пару аистов, которая потому привлекла к себе мое внимание, что находилась там в такое время, когда все остальные товарищи ее давно уже основались в глубине внутренней Африки. Чтобы узнать причину остановки этой пары аистов, я убил их и нашел, что у самки было переломлено крыло, не позволявшее ей лететь дальше; таким образом, вполне здоровый самец, единственно из любви и дружбы к ней, остался в стране, где ничто не обещало удобной зимовки. Верный и искренний союз всех птиц, живущих в тесном браке, разрывается только смертью.

Таково правило, но оно имеет свои исключения. Даже у птиц, живущих в единобрачии, хотя и редко, но замечают случаи измены. Как ни твердо самка соблюдает верность своему супругу, как ни мало она смотрит на других самцов или допускает появление друга дома, старающегося сблизиться с ней, но особенно выдающиеся качества постороннего самца все-таки могут оказывать на нее вредное влияние. Замечательно искусный певец того же вида, значительно превосходящий супруга своим пением, орел, имеющий преимущество над самцом, выбранным самкою, во всех или во многих отношениях, может осязательно нарушить счастье соловьиного или орлиного супружества, даже отбить у самца его подругу. В этом нас убеждают холостые самцы, которые перед временем спаривания и во время его в известной местности носятся повсюду, беспощадно врываются в жилище той или другой пары и смело добиваются благосклонности самки; то же свидетельствуют и ревнивые битвы, тотчас же начинающиеся между законными супругами и пришельцами и обыкновенно происходящие без содействия

самки; на то же намекает, по крайней мере до известной степени, образ действия овдовевшей самки, которая не только тотчас же утешается в новом браке, но в некоторых случаях соединяется даже с убийцей своего первого супруга. На крыше рыцарского замка Эбензее, около Эрфурта, ежегодно выводила детей пара аистов, жившая в самом добром согласии, но все-таки не без волнений, так как ей приходилось постоянно терпеть от бродячих пришельцев, искавших себе гнезда и супруги. Однажды весною, в той местности появился самец, который своей настойчивостью и назойливостью далеко превосходил всех являвшихся раньше и вынуждал главу семейства непрерывно бороться с ним или стоять на страже. Однажды, когда последний, быть может утомленный битвой, повидимому спал в своем гнезде, спрятав голову под крыло, пришлец вдруг ринулся на него с высоты, пронзил его своим клювом и сбросил бездыханным с крыши. Что же делает вдова? Она не прогоняет бесстыдного убийцу своего мужа, а без всякого колебания заменяет им убитого и продолжает высиживать яйца, как будто ничего не произошло.

Последний случай, так же, как и упомянутые выше, не говорит в пользу птичьих самок, но доказательства противного настолько ослабляют эти случаи, что они должны считаться не более, как исключением из правила, и следовательно не уничтожают, а подтверждают его. Если мнимая или действительная вина самки заслуживает осуждения, то нельзя забывать, что и самцы, имеющие гораздо более причин, вследствие своего численного превосходства, к соблюдению супружеской верности, также склонны изменять ей. Каждый, кто знает, насколько голуби несправедливо пользуются славой представителей всевозможных добродетелей, может подтвердить, как мало они заслуживают свою древнюю репутацию. Их нежность подкупает нас, но она не искренна; верность голубя своей супруге и детям, при всей известности, какою она пользуется, не выдерживает испытания. Не говоря уже о равнодушии к детям, голуби слишком часто бывают повинны в преступлениях против ненарушимых законов брака и нередко пользуются временем, когда подруги сидят на яйцах, чтобы волочиться за другими голубками. Поведение уток заслуживает еще большего порицания; не лучше поступают и куропатки. Как скоро утки плотно усядутся на яйца, властелины различных пар собираются в общества, проводят время между собой как нельзя лучше, предоставляя своим супругам все труды и хлопоты и даже все заботы о потомстве, и возвращаются к самкам, даже не всегда к своим подругам, когда дети уже выросли, стали самостоятельными и следовательно не требуют больше их помощи. Куропатки различных видов, вероятно не исключая и наших, во время спаривания готовы драться с каждым самцом, чем пользуются испанцы, подпускающие к ним ручных самцов того же вида, которые оглушают и убивают их; но позднее, когда самки сидят на яйцах, и самцы не имеют уже более склонности к единоборству, они идут на зов самок, и даже еще поспешнее, чем прежде.

Но, как уже сказано, все они составляют исключение из правила и поддаются даже отдаленному сравнению с птицами, живущими в многобрачии. Было сделано много попыток к объяснению многобрачия кукушек, фазанов, тетеревей, индейских петухов, перепелов, павлинов, и турухтанов, но до сих пор не найдено настоящей причины этого явления. Когда высказывают предположение, что кукушка и ее бли-

жайшие родственники не выводят детей, потому что они всегда должны быть готовы оспаривать свою добычу у других птиц, питающихся гусеницами, что будто бы отнимает у них возможность жить в тесном браке и принимать на себя заботу о своем потомстве,—этими словами конечно ничего не объясняют, так как и другие птицы доверяют своих детей чужому попечению. При другом предположении, будто природа посредством многобрачия позаботилась о большей многочисленности потомства для некоторых куриных птиц, подвергающихся особенно деятельному преследованию,—нельзя понять, почему природа не поступает так же относительно других птиц—того же порядка, живущих в единобрачии и в плодовитости не уступающих первым.

Употребляя выражение «многобрачие», я должен иметь в виду, что под ним обыкновенно разумеют многоженство. Последнее однако мне неизвестно, и, сколько я знаю, не подтверждено несомненно верными наблюдениями у птиц ни в одном случае. На самом деле, стремление к сближению у птиц взаимно, и у самок желание его не менее беспредельно, чем у самцов. Самка кукушки соединяется сегодня с одним, завтра с другим самцом, даже в течение одного часа осчастливливает многих своей благосклонностью, и курица без разбора отдается тому или другому петуху. У всех этих птиц не может быть и речи о браке. Самцы только временно заботятся о самках, так же как и те—о самцах; каждый пол живет сам по себе, отдельно от другого, кроме времени спаривания, и не принимает никакого участия в судьбе другого пола. Безмерное желание и доходящая до крайней степени ревность самцов, властительное требование и покорное подчинение, безумное ухаживание и снисходительная уступчивость, а затем полное равнодушие друг к другу, составляют отличительные признаки отношений обоих полов у этих птиц. По той же причине между ними чаще, чем между прочими птицами, происходят смешанные браки, дающие ублюдков, которые ведут жалкое существование и погибают бездетными или, спариваясь с нормальною особью того или другого вида, возвращают свое потомство к одному из основных типов. Смешанные браки, правда, заключаются и другими птицами, т.-е. живущими в единобрачии, но только тогда, когда это вынуждается полным отсутствием самцов того же вида, между тем как у первых случай и заманчивость такого союза играют столь же решающую роль, как и указанный недостаток самцов.

Вероятно, нужда, безусловная необходимость обеспечить существование уже вылупившихся или еще дремлющих в яйце детенышей заставляет самку птиц, живущих в единобрачии, скорее отказываться от своего вдовьего траура для нового брачного союза, чем это делают самцы, грустя о потере подруги. Действительно ли горе овдовевшей самки не так сильно, как у овдовевшего самца,—подвержено еще большему сомнению, хотя свидетельство наших наблюдений повидимому дает утвердительный ответ на этот вопрос. Самки и других птиц поступают подобно описанной выше самке аиста в Эбензее. Чета сорок, свившая себе гнездо в нашем саду, была обречена на смерть, потому что внушала нам опасение за многочисленных певчих птиц, которые жили у нас в том же саду и которых мы берегли. Утром в семь часов был убит самец; не прошло двух часов после того, как у его вдовы оказался уже другой супруг; через час и он пал жертвою; в одиннадцать часов самка уже спарилась с третьим. То же самое могло бы повториться еще

несколько раз, если бы напуганная самка не улетела со своим последним супругом. Мой отец, однажды весною, убил самца куропатки; самка улетела, но вскоре вернулась и, когда к ней приблизился другой самец, она тотчас же оставила его при себе.

Полную противоположность такому кажущемуся непостоянству мы замечаем у самцов, потерявших свою пернатую подругу. С громкими криками, с трогательными жалобами, выказывая свое горе и голосом, и движениями, они летают вокруг трупа любимой супруги, трогают ее клювом, как будто хотят поднять и улететь вместе с нею, вновь испускают жалобные, понятные человеку крики, блуждают с места на место, сидят, призывая ее, и горюя о ней, на ее любимом месте, отказываются от пищи, сердито набрасываются на других самцов того же вида, как будто завидуя их счастью и требуют, чтобы те участливо отнеслись к их горю, не находят ни покоя, ни отдыха, начинают какое-нибудь дело и не кончают его, точно не сознавая, что делают. Так проводят они дни и даже недели, одна за другой, и часто остаются на месте своего несчастия до последней возможности, не делая ни одного шага, чтобы найти себе другую самку. Это можно заметить не только у попугаев, остроумно названных «неразлучными», но и у зябликов, и других птиц, даже у сов; они теряют вследствие такого тяжелого удара судьбы всякую охоту жить, вполне отдаются печали и испытывают величайшую тоску до тех пор, пока смерть не прекратит их существования.

Если не единственной, то главной причиной такой глубокой печали можно считать значительную трудность, а при некоторых обстоятельствах даже невозможность найти другую самку и сблизиться с нею. Самке нет времени грустить; раньше или позже, иногда почти мгновенно, к ней являются новые искатели и высказывают ей такую преданность и нежность, что она—худо ли, хорошо ли—может этим утешиться. И когда заботы о своем потомстве вполне овладеют материнским сердцем, они заставят отступить все прочие мысли, и продолжительная печаль уже станет невозможна для нее. Но если ей трудно найти другого супруга, она выражает свое горе не менее живо, чем и самец. Иногда она заходит еще далее, добровольно отказываясь от нового брачного союза. Овдовевшая самка воробья, за которой мой отец тщательно наблюдал, несмотря на то, что ей нужно было высиживать яйца и затем воспитывать птенцов, отвергла все ухаживания, осталась одинокой и выкормила одна, с невыразимым трудом, всю притязательную стаю своих птенцов. Другой действительно трогательный факт, доказывающий глубокое горе овдовевшей самки, сообщил мне Евгений фон-Гемейер. Супружеское счастье пары аистов, гнездившейся в доме этого достойного доверия наблюдателя, было разбито, вследствие того, что один бездушный стрелок убил самца. Огорченная вдова, не выбрав себе другого супруга, исполнила свои материнские обязанности и осенью со своими детьми и товарищами отправилась в Африку. На следующую весну она появилась опять на старом гнезде, но без мужа, как и перед своим отлетом. У нее было много ухаживателей, но всех их она отгоняла сердитыми ударами клюва: она усердно трудилась над поправкою гнезда, для того только, чтобы сохранить за собою свои права в этом доме. Осенью, она вместе с другими аистами, опять улетела на чужбину; следующею весною опять вернулась, но по-прежнему оставалась одинокой. И так продолжалось одиннадцать лет под-ряд. На

двенадцатый год другая пара аистов сделала попытку насильственно завладеть ее гнездом; она храбро отстаивала свою собственность, но все-таки не могла решиться обеспечить ее за собой вступлением в новый брак. Гнездо было отнято у нее, и она осталась безбрачной; похитители удержали за собой гнездо и пользовались им, а ее уже не было видно. Как выяснилось потом, она все лето проводила одиноко, в местности, отстоявшей около пятнадцати верст от ее прежнего жилища; как только похитители улетели, она опять явилась в своем гнезде, провела там несколько дней и уже после того пустилась в путь. Ее знали во всей этой местности под именем «отшельницы»; ее судьба и поступки возбуждали к ней расположение всех доброжелательных людей.

Разве подобный образ действий может быть только движением управляемой извне машины? Разве описанные проявления горячего и живого чувства могут существовать без сознания? Пусть этому верит, кто может, и защищает это положение, кто хочет. Мы держимся противоположного взгляда, и сознательное счастье любви и брака у птиц считаем завидным.

Караваны и путешествия в пустыне.

На окраине пустыни, под плотною группою пальм стоит небольшая палатка. Вокруг нее лежат в беспорядке, образуя род вала, ящики и тюки. С наружной стороны их стоят и сидят в разных положениях «нарядные», т.-е. только-что смазанные жиром мальчики-нубийцы.

Внутри палатки находятся путешественники, прибывшие сюда на нильской барке и намеревающиеся перерезать обширную дугу, образуемую Нилом, который, начиная от этого места, богат утесами и порогами, т.-е. пересечь отчасти обнимаемую последним пустыню.

Время близится к полудню. Солнце стоит почти вертикально над палаткой на безоблачном темно-голубом небе, и его жгучие лучи беспрепятственно проникают сквозь редкие вершины финиковых пальм. Томительный зной охватывает равнину между рекою и пустыней; слои воздуха над разгоряченной землей волнуются и сверкают, скрывая и затуманивая предметы. Ряд всадников, приближающийся со стороны пустыни, вырезывается на краю горизонта и направляется, не сворачивая к деревне, лежащей в глубине этой местности, прямо к палатке. Темно-коричневые, бедно-одетые люди, завернутые в длинные и широкие, скорее серые, чем белые бурнусы, достигнув пальм, слезают со своих тощих, но не лишенных благородства лошадей. Один из них приближается к палатке и с царственным достоинством вступает в нее. Это—глава погонщиков верблюдов (шейх эль-Джемали), к которому мы, путешественники, отправили послов, чтобы с его помощью получить необходимое количество вожаков, погонщиков и верблюдов.

— Благополучие да будет с вами,—говорит он при входе,—и в виде приветствия прикладывает руку к губам, ко лбу и к сердцу.

— Да вознаградит тебя Всевышний за твое стремление, о шейх, благословение,—отвечаем мы.

— Велико было мое стремление видеть вас, чужеземцы, и выслушать ваши желания,—продолжает он, опустившись на подушку, находящуюся справа от нас и представляющую почетное место.

— Да вознаградит тебя Всевышний за твое стремление, о шейх, и да благословит тебя,—отзываемся мы на его речь и приказываем нашим слугам подать ему первому только-что закуренную трубку и кофе.

С полузакрытыми глазами услаждает он свое бренное тело кофе, а свой бессмертный дух—трубкой; густые облака, окружают его типическую голову. Почти беззвучная тишина царствует в палатке: вся она проникается ароматом драгоценного табака джебели и наполняется легким, ароматным дымом, когда мы решаемся, наконец, приступить к предположенным переговорам, не рискуя показаться невежливыми.

— Как ты чувствуешь себя, о шейх?

— Благодаря Подателю всех благ,—хорошо и готов служить тебе. А каково твое благополучие?

— Да будет хвала и честь Владыке мира,—я чувствую себя вполне хорошо. Велико было наше желание видеть тебя, о шейх!

— Да вознаградит вас всемилосердый Господь за ваше желание! Итак ваше благосостояние вполне удовлетворительно?

— Слава Аллаху и его пророку, да будет Божия милость над ним.

— Аминь! Да будет так, как ты сказал.

Новые трубки освежают бессмертную душу; происходит взаимный обмен новых, почти бесконечных выражений вежливости; тогда, наконец, обязательный для обеих сторон обычай позволяет приступить к деловым переговорам.

— О, шейх! Я хотел бы с помощью всемилосердого Бога переехать через эту пустыню.

— Да будет Аллах твоим руководителем!

— Есть ли у тебя достаточное количество верховых и вьючных верблюдов?

— Да, есть. Хорошо ли ты чувствуешь себя, мой брат?

— Хвала Всевышнему—хорошо. Сколько верблюдов ты можешь выставить?

Вместо ответа на этот вопрос из уст шейха вылетают лишь бесчисленные облака дыма, и только после повторения наших слов он на несколько минут кладет трубку в сторону и говорит с достоинством:

— Господин! Число верблюдов Бени Саида знает только Аллах; сын Адама никогда еще не считал их.

— В таком случае пришли мне двадцать пять верблюдов и в том числе шесть верховых. Кроме того, мне нужно десять больших мехов.

Шейх опять курит, не говоря ни слова.

— Что же, пришлешь ты столько животных, сколько мне нужно?—повторяем мы настоятельнее.

— Я это сделаю, чтобы услужить тебе, но их владельцы назначают высокие цены.

— А какие именно?

— По крайней мере, вчетверо более обыкновенных цен.

— Но, шейх, да поможет тебе Аллах Всевышний,—это такое требование, на которое никто не согласится. Слава Пророку!

— Слава Богу Вседержителю и благословение посланнику Его! Ты ошибаешься, мой друг: купец, что остановился там, выше, предлагал мне вдвое более того, что я прошу у тебя; только моя дружба к тебе понуждает к таким умеренным требованиям.

Бесполезно торговаться с ним, бесполезно вести дальнейшие переговоры. Свежие трубки приносятся и выкуриваются, новые выражения вежливости произносятся с обеих сторон, имя Аллаха и его Пророка множество раз употребляются всуе, бесчисленное число раз слышится взаимное уверение в полном благополучии, пока, наконец, человеческая природа не возьмет верха над приличием, и западный путешественник не потеряет терпения.

— Так знай же, шейх, что у меня есть открытый лист хедива, а также и шейха Солимана; вот они оба—чего же тебе еще нужно?

— Но, господин, если в твоих руках находится открытое письмо его высочества, почему же ты не требуешь головы его раба? Он к твоим

услугами во исполнение его воли. Твои желания я возлагаю на мои очи, на мою главу. Ты приказываешь—твой раб повинуется тебе. Ты ведь знаешь правительственные цены. Да будет благость Аллаха над тобою; завтра я пришлю тебе людей, животных и меха.

Чужеземец, который поверил бы, что этими переговорами заканчиваются все подготовления к путешествию по пустыне, выказал бы полное незнание нравов и обычаев местного населения. Не на следующее утро, как обещано, появляются нанятые погонщики и животные, а лишь в послеполуденные часы собираются они мало-по-малу; и не на утро следующего затем дня, а—самое раннее—после полуденной молитвы этого дня можно думать о выступлении. «Букра иншалах—завтра, так Богу угодно»—таков лозунг, который не поддается самому властному приказанию. В действительности, остается еще многое сделать, многое уладить, многое установить и привести в порядок, прежде чем можно приступить к путешествию.

Вокруг палатки развертываются одна за другой пестрые, оживленные картины. Между тюками поклажи движется толпа загорелых сынов пустыни. Их деятельность выражается не столько проворною деловитостью, сколько невероятным криком и шумом. Тюки, сложенные стенкой, раскидываются, некоторые из них поднимаются, взвешиваются, обсуждаются с точки зрения их веса и объема, сравниваются с другими, отбираются и отбрасываются, стаскиваются вместе и опять разделяются. Каждый погонщик пытается перехитрить другого, получить самый легкий груз для своего верблюда; каждый в отдельности встречает возражения со стороны других, и все шумят и беснуются, кричат и бранятся, ругаются и проклинают друг друга, просят и отказываются. В ожидании последующего, и верблюды усердно вмешиваются в дело, усиливая шум; если же они, вместо того, чтобы реветь и жалобно мычать, молчат, то это означает у них: наше время еще не пришло, но оно подходит! Все равно, с аккомпаниментом верблюдов или без него, все эти различные голоса, одновременно заглушающие друг друга, терзают слух западного путешественника, буквально разрывая его уши. Несколько долгих часов подряд продолжается возня, крик и брань; и когда наконец все эти споры и пререкания из-за вьюков дойдут у всех до пресыщения, лишь тогда можно считать пролог конченным.

После заключения мира начинают скручивать принесенные с собою мочала финиковой пальмы, в виде веревок и канатов; затем весьма остроумным способом обвязывают ящики и тюки, делая петли и узлы так, чтобы возможно было быстро связывать и развязывать два груза на седле животного, выправляют уже готовые сетки, предназначенные для мелких тюков, и подвергают испытанию различные большие и малые мехи, зашивают их и смазывают пахучим дегтем особого приготовления. Под конец еще раз подвергают осмотру мясо, высушенное на солнце, наполняют несколько кулей африканским просом или дуррой, другие—древесными угольями, третьи—собранным верблюжьим пометом, обмывают мехи снаружи, наполняют их свежей водой, почерпнутой из реки, и заключают утомительную работу повторяемым всеми, вырывающимся из глубины груди восклицанием: «Эль гамду лиллаги—благодарение Богу».

Всеми этими приготовлениями заведует хабир или вожак каравана. Смотря по значению последнего, положение вожака бывает более или менее важным; но во всех случаях он должен быть тем, что озна-

чает его титул—знатоком пути и всего, что может на нем встретиться. Испытанная опытность, честность, разумность и храбрость составляют необходимые качества его трудной, нередко опасной обязанности. Пустыня известна ему, как мореплавателю море; он хорошо знает созвездия, он освоился с каждым оазисом, с каждым источником на протяжении пути; его ласково встречают в палатке каждого вождя бедуинов или кочевых пастухов; он знает все средства для отвращения трудности и опасности путешествия, умеет делать безвредными укушение змей и скорпионов или, по крайней мере, утолять боль пострадавшего от укушений, одинаково искусно умеет владеть оружием воина и охотника, носить слова Пророка и на устах и в сердце, произносить «фатиха» при выступлении, заменяет муэдзина и имама в назначенное время; одним словом, он—глава многочленного тела, двигающегося по пустыне. В тех местах ее, где, повидимому, ничто не обозначает дороги, проложенной другими караванами, где ветер позади последнего верблюда заметает все следы,—незаметные для других людей знаки указывают ему настоящий путь. В то время, когда сухой, зловещий пар пустыни застилает вечные звезды, нашему вождю светит звезда его разума: он исследует песок, меряет его волны, определяет их направление, узнает по стеблю травы страны света. Каждый караван вполне предоставляется ему, каждый путешественник слепо вверяет ему свою участь. Древние, отчасти весьма своеобразные, не писаные и, тем не менее, известные всем законы делают его ответственным за удачу путешествия и за жизнь каждого лица, кроме тех случаев, когда того или другого поражают неотвратимые веления Вершителя всех судеб.

В благословенный час, во время послеполуденной молитвы вожак каравана появляется перед путешественниками и погонщиками для того, чтобы возвестить им, что все готово к выступлению. С разных сторон бросаются темнокожие люди ловить своих верблюдов, вести их, седлать и вьючить. Крайне неохотно повинуются полные тяжелого предчувствия животные, которым рисуется, повидимому, мрачными красками ряд тяжелых дней. Теперь пришло их время. С ревом, с ворчанием, с воем, понуждаемые неподражаемыми гортанными звуками своих хозяев и легкими ударами кнута, они опускаются на колени; с ревом принимают назначенный им груз на горбатую спину; с ревом поднимаются, уже навьюченные. Некоторые верблюды лягаются и кусаются, пытаясь таким образом отделаться от вьюков, и необходимо все неистощимое терпение погонщиков, чтобы обуздать своенравных животных. Но терпенье и уменье берут верх даже над верблюдами. Как только сопротивляющееся животное опустится, один из погонщиков наступает на согнутые передние ноги его и быстрым движением захватывает верхнюю часть зубастой морды, надавливая на ноздри и этим лишая верблюда возможности дышать; двое других поднимают вьюки одинакового веса на обе стороны седла, еще двое скрепляют узлы и петли, и животное уже навьючено, прежде чем успеет опомниться. Когда все вьючные верблюды нагружены, они начинают свое странствование.

В это время приводят вполне оседланных верховых верблюдов. Каждый всадник укрепляет на высоком, углубленном, помещенном на горбу, седле необходимую путевую утварь и оружие, и приспособляется к тому, чтобы влезть на верблюда. Для новичка это вообще представляется опасным. Всадник должен смелым прыжком вспрыгнуть на

седло, и верблюд поднимается с земли, как только всадник коснется седла. Он поднимается толчками, сперва становясь на первые сочленения передних ног, потом сразу на длинные задние ноги и наконец на передние. При втором толчке неопытный ездок обыкновенно вылетает из седла и падает на землю или сползает на шею животного и крепко ухватывается за нее. Верблюд слишком злобен по характеру, чтобы принять это за шутку или за случайность. Гневный крик вырывается из его безобразных губ; он бросается вперед с висящим на его шее несчастным и трясет его до тех пор, пока не освободится от неискусного наездника с его поклажей. Только после продолжительного времени европеец привыкает, своевременным и надлежащим нагибанием верхней части туловища вперед и назад, крепко удерживаться в седле, вскакивая на верблюда.

Что касается до нас, мы прыгаем на седло с ловкостью туземца, подгоняем ударами бича нашего скакуна, правим им с помощью тонкой уздечки и спешим вслед за вожаком. Наш верховой верблюд, стройное, легкое животное на высоких ногах, тотчас же переходит в ровную, безостановочную, крупную и чрезвычайно спорую рысь, к которой он приучен с ранней юности, и которая выделяет его между вьючными животными; он следует, не отставая, за бегущим перед ним верблюдом. Далеко вперед вытягивают животные свои маленькие головы; легко вскидывают они под собою длинные ноги, и позади их разлетаются по воздуху песок и маленькие камешки. Бурнусы всадников развеваются по ветру; оружие и посуда брянчат, ударяясь друг о друга, громко раздаются понуждающие клики, и стремление в даль окрыляет душу. Вскоре выступивший ранее вьючный караван остается позади; вскоре исчезает всякий след последнего человеческого поселения: со всех сторон простирается пустыня, кажущаяся беспредельной.

Резко ограниченная кругом, она занимает, в виде громадного, своеобразного царства, большую часть северной Африки, от Красного моря до Атлантического океана, от Средиземного моря до степи, заключая в себе целые страны, охватывая плодородные пространства, тысяче-кратно изменяясь и всюду оставаясь почти одинаковой или, по крайней мере, существенно сходной. Это чудесное царство в девять или десять раз превосходит своею площадью Германию и почти в четыре раза более Средиземного моря. Ни один смертный не исследовал ее, не исходил ее повсеместно, но каждый рожденный на земле, вступавший в нее и проходивший какое-либо пространство ее, потрясается до глубины души ее величием и возвышенностью, ее очарованием и ее ужасом. В душе каждого, даже самого прозаического европейца, пробывшего в ней некоторое время, неизгладимо запечатлевается ослепительный солнечный свет и палящий зной ее дней, небесный мир и сказочные видения ее ночей, игра ее раскаленного, дрожащего воздуха, ужас ее бурь, двигающих горы. И почти с каждым происходит то же, что бывает и с ее родными детьми: а именно, потом он стремится к ней мысленно, желая хотя один день, хотя один час, подышать в ней, полюбоваться воочию ее картинами, ощутить в душе «невыразимые аккорды», пробуждающиеся в сердце человека, чувствующего поэзию,—одним словом, его охватывает тоска по пустыне.

Она—действительно «эль баэр бела маа», море без воды—полная противоположность морю. Она не подвластна ему, как вся остальная земля: в ней не чувствуется могущество оживляющей стихии.

«Вода нежно объемлет землю», но пустыню она не объемлет. По всей земле ветры разносят послов моря—облака, но они умирают от жара пустыни. Редко виднеются в ней легкие, едва заметные пары; редко можно увидеть там на листе растения в ранний утренний час влажное дыхание ночи. Утренняя и вечерняя заря—в пустыне только мимолетное явление, которое, едва появившись, исчезает опять. Повсюду, где вода одерживает победу, она превращает пустыню в плодородную землю, как бы та ни была скудна сама по себе, но вода не проникает за резко очерченные границы. Там, где ложится на песке последняя волна божественного Нила, поднятая человеческим разумом выше



Караван в пустыне.

уровня реки, одна нога путешественника, направляющегося к Нильским горам, находится в роскошных хлебных полях, а другая в пустыне. На самом деле, не песок препятствует росту растений, а почти исключительно беспощадный палящий зной, пронизывающий его. Там, где песок хотя временно орошается, где он увлажен, даже и среди пустыни раскидывается прелестный зеленый ковер над бесплодной землей, и на ней вырастают кусты и деревья.

Скудна, бесконечно скудна пустыня, но она не мертва, по крайней мере для тех, кто умеет отыскивать и находить в ней жизнь. Кто невнимательными глазами обозревает пустыню, тот ничего не заметит в ней, кроме песчаных равнин и конических скал, голых низменностей и обнаженных гор; он даже, пожалуй, не заметит пробивающихся кое-где осокообразных трав и кустарных деревьев в котловинах и не увидит немногих живых существ, показывающихся то там, то здесь; но кто

хочет видеть, тот заметит гораздо более. Для невнимательных людей пустыня не что иное, как царство ужаса; дневной зной так подавляет их, что даже благодатная ночь не дает им никакой отрады, никакого подкрепления; они со страхом проезжают по пустыне и с содроганием оставляют ее; они способны воспринимать только ужасную, только тяжелую сторону путешествия по пустыне; бесконечное же величие ее им недоступно. Но кто действительно узнал ее, тот судит иначе.

Пустыня скудна, но не безжизненна. Даже поверхность ее часто меняется, хотя и носит на себе печать однообразия. На далекие пространства пустыня усеяна скалистыми холмами странной формы, вершинами, отвесными стенами и глубоко врезанными ущельями, хребтами с острыми ребрами и причудливо нагроможденными каменными



Оазис.

массами, которые непрерывно дующий ветер то покрывает песком, то заравнивает, то вновь обнажает, постоянно работая над ними, выглаживая, протачивая и заостряя их. Черные, сверкающие на солнце массы песчаников, гранитов или сиенитов, реже—известняков и сланцев, а кое-где и вулканических образований, слагаются в горные кряжи оригинальных очертаний. Ветер, дующий с одной стороны, обнажает их от всякого покрова, непрерывно гонит тонкий песок через стены их, и, выростая в бурю, как покрывалом обволакивает их песком, только тогда оставляя его в покое, когда перенесет через самые высокие вершины. С другой стороны гор, которой не касается ветер, он отлагает золотистожелтые слои, состоящие из чистого, мелкого песку, вышиною в несколько аршин, вечно находящиеся в движении, постоянно передвигающиеся сверху вниз и обновляющиеся с одной стороны; вследствие контраста с темными стенами, слои кажутся издали, при удачном освещении, широкими, сверкающими полосами. Такие горные кряжи должны быть названы настоящими украшениями пустыни. Кто

не знает знойного юга, тот не может представить себе чудного богатства красок, яркого блеска и бесконечной прелести, вызываемых обильно льющимся солнечным светом в самых пустынных и диких горах. Горы пустыни никогда не бывают осенены приветливо зеленеющим лесом; самое большее, если их наиболее возвышенные вершины покрывает скудный, низкорослый кустарник, довольствующийся осаждающимися на них парами. Этим горам недостает шелеста буков, шума сосен и елей, привлекательного журчания, звучного рокота животворной воды, которая украшает наши горы серебряными лентами, обрамляет их в одном месте зелеными растениями, а в другом, с грохотом низвергаясь, окутывает в блестящие на солнце всеми цветами радуги облака водяной пыли. Горам пустыни недостает ледяного и снегового покрова, пурпурного во время утренней и вечерней зари и ярко блистающего в полдень; им недостает сочной, свежей зелени лугов, одним словом, всего очарования, всей привлекательности северных гор, и все-таки они почти не уступают последним нарядностью красок и тем более величественностью. Каждый слой выступает в полном рельефе, и каждая краска выделяется ярко. Но еще больший эффект производит игра солнечного света на отшлифованных песками разнообразных фантастических конусах, остриях, зубцах, расселинах и ущельях: непрерывная смена света и теней, постоянное появление и исчезновение красок и тонов опьяняет зрение. И горы пустыни загораются пурпуром при первом и последнем луче солнца; даль окутывает их голубой эфирной дымкой; и они живут, оживляемые светом.

В других местах пустыня представляет собою обширную равнину, гладкую или слегка волнистую. На протяжении нескольких верст она покрыта мелким золотисто-желтым песком, в котором топет нога человека и животного. Подолгу не встречается ни одного стебелька травы, ни одного животного. Голубое крайне однообразное небо, как кровля, распростирается кругом над этой золотистой поверхностью и еще увеличивает сходство такой пустыни с морем. И здесь тотчас же исчезают следы корабля пустыни, и здесь не замечается никакого признака проторенной дороги, и здесь приходится руководиться компасом. Более разнообразны, но не более привлекательны другие места, почву которых образует рыхлый, землистый песок, похожий на пыль и произращающий ядовитые колоквинтовые тыквы или целительную сенну. Здесь тянутся низкие холмы, чередуясь с плоскими и узкими углублениями, и, издали кажущийся свежим, ковер названных растений покрывает и те, и другие. Люди и животные избегают таких пространств, потому что и погонщик, и верблюд иногда на целый фут увязают в рыхлой почве. Кроме того, некоторые места покрыты крупным хрящем или кремнями, а иные даже железистыми, содержащими в себе песок, шарами, такой формы, точно они сделаны человеческими руками; происхождение их до сих пор еще не выяснено. Иногда на пространствах, сохраняющих отпечатки проследовавших верблюжьих караванов, попадаются тысячи кристаллов кварца, рассыпанных поодиночке или соединенных в щетки, и в последнем случае похожих на бриллианты, оправленные рукой художника. На них солнце производит уже настоящие чудеса! Эти пространства блестят, сверкают и светят так, что ослепленный путник принужден отворачиваться от них. Наконец, в самых глубоких низинах почва состоит из мелкой земли, и там ее всегда одевают черновато-зеленая гальфа, похожая на камыш, но весьма твердая, сухая и снабженная острыми краями, зонтикообраз-

ные мимозы, а иногда и пальмы,—и все это служит отрадным ручательством того, что жизнь возможна и здесь.

О всюду проявляющейся жизни свидетельствует и животный мир. Тот, кто считает пустыню мертвой страной, ошибается столько же, сколько и тот, кто предполагает в ней родину львов. Она слишком бедна, чтобы прокармливать львов, но достаточно богата, чтобы давать пропитание тысячам других животных. И все встречающиеся в ней виды животных в высшей степени заслуживают внимания, так как они могут быть названы истинными детьми ее.



Газели, лежащие в тени мимозы.

Еще более, чем своей одеждой, неизменно приспособленной до величайшего сходства к господствующему окрашиванию почвы, т.-е. имеющей цвет песка, животные пустыни отличаются легким и изящным строением тела, поразительно большими глазами и ушами, способствующими необычайной остроте чувств, и вместе с тем непритязательностью и сознанием своего достоинства. Постоянная и быстрая перемена места—удел всех существ, рожденных в пустыне, которая слишком бедна пищей и не может дать ее в одном месте и во всякое время года для привольного существования. Зато пустыня наделила своих детей несравненным проворством и неустанною выносливостью, обострила их внешние чувства настолько, что то немногое, что она может дать, не пропадает незамеченным, снабдила их одеждой, одинаково скрывающей и защищающей их как при нападении, так и в бегстве, и

таким образом предоставила им возможность вести, хотя и неизобильную, но и не безотрадную жизнь.

Благодаря свойственной всем пустынным животным одежде, сливающейся с окружающей средой, путешественник, если он не имеет большого навыка в наблюдении, по крайней мере в начале путешествия по пустыне, видит немногое из окружающего его животного мира. Пустыня кажется беднее, чем она есть на самом деле, уже потому, что большинство живущих в ней животных только с наступлением вечерних сумерек оставляет свои убежища и логовища и начинает жить; но некоторые животные пустыни невольно обращают на себя внимание даже самого незоркого путника. Кто и не замечает жаворонков пустыни, водящихся там в нескольких видах и повсюду, тот не может не заметить пустынных курочек; если он пропустит земляные постройки прыгунчиков, то неизбежно обратит внимание на местный животный мир, увидя газель, пасущуюся невдалеке от пути.



Газели.

Антилопу также можно назвать типичным животным пустыни. Хотя строение ее вообще весьма соразмерно, но голова и органы внешних чувств у нее кажутся слишком большими, а конечности слишком нежными и хрупкими. Однако, эта голова заключает в своей черепной полости мозг, наделяющий ее необычными среди жвачных умом и сметливостью, а ее конечности, точно отлитые из стали, так крепки и упруги, что делают ее способной к величайшей подвижности и неутомимой выносливости. Видевший газель только в неволе, в тесном пространстве, не в состоянии судить о том, какова она в пустыне, какую быстроту, ловкость и гибкость, изящество и привлекательность выказывает она на своей родине! Жители Востока, и в особенности пустыни, действительно вполне заслуженно избрали ее символом женской красоты. Рассчитывая на свою одежду песочного цвета и на свою несравненную подвижность и быстроту, она пристально смотрит ясными глазами, повидимому совершенно беззаботно, на верблюдов и всадников. Не выказывая ни малейшего беспокойства при приближении каравана, она продолжает пастись. Она то сорвет почку с покрытого цветами куста мимозы или сочный отпрыск, то отыщет нежный стебелек среди острой гальфы. Ближе и ближе подходит караван. Она подымает го-

лову, прислушивается, нюхает воздух, снова всматривается, делает несколько шагов вперед и продолжает заниматься тем же делом. Вдруг она делает скачек и убегает так быстро, так ловко, так красиво, как будто эта почти недостижимая скорость—для нее просто игра или забава. По песчаной равнине она несется с быстротою мысли; через большие камни или тамариндовые кусты она перепрыгивает так, как будто перелетает через них. Она точно не касается земли—так поразительно красив ее бег; в ней как будто воплотилась поэзия пустыни—до того очаровательным кажется ее несравненное изящество и проворство. Несколько минут непрерывного бега избавляют ее от опасности, какою ей могут грозить подобные враги; лучший скаковой верблюд напрасно бы старался догнать ее, даже борзая собака в одиночку не могла бы ее настигнуть. Вскоре она умеряет свою торопливость; еще несколько мгновений, и она опять останавливается и смотрит, как прежде. Она задорно подпускает к себе кровожадного всадника, принимающегося серьезно преследовать ее, и осторожно, во второй, в третий раз отдаляется за пределы смертоносного выстрела, пока наконец, испуганная, не спасается без труда от всякой дальнейшей опасности. Чем дальше убегает она, тем нежнее кажутся ее тело и члены, тем более стушевываются ее очертания, тем менее заметной она становится на песчаной поверхности, пока совершенно не сольется с нею, оставляя такое впечатление, как будто она рассеялась, подобно пару. Ее родина защитила и укрыла ее, как бы волшебством исторгла от глаз, сделала недоступной внешнему чувству. Но по мере того, как она исчезает из глаз, ее образ глубоко западает в душу. Тогда и европейцу становится понятным, почему газель в богатой фантазии жителя Востока вызвала к жизни такие драгоценные цветы поэзии, почему последний так недосягаемо высоко ставит это животное, почему он очи, зажигающие его сердце, сравнивает с глазами газели, почему он шею той, которую обнимает в часы нежной ласки, называет шеей газели, почему житель пустыни приносит ручную газель в палатку своей полной радостных надежд супруги, чтобы та любовалась ее прелестными глазами и красоту их передала ожидаемому залогу любви, почему даже благочестивый певец может находить в красивой антилопе воплотившийся образ его стремления к возвышенному. Даже и на него, на отрекшегося от мира, повеяло то же знойное дыхание, которое дало ему слова для пламенных песен в честь этого животного и вызвало поток стихов и рифм.

Менее привлекательными, но не менее поразительными, кажутся другие животные пустыни. Между скудно растущей гальдо движутся взад и вперед многочисленная стая птиц величиною с голубя. Столпившись в кучу, работая клювами, они хватают пищу. Без всякого опасения, подпускают они всадника на сто шагов. Хорошая зрительная труба позволяет распознать не только каждое их движение, но и выделяющиеся краски их перистого покрова. Пригнув голову, втянув шею, держа тело почти горизонтально, они бегают кругом, собирая немногие семячки, какие даст трава пустыни, и насекомых. Одни осторожно оглядываются от времени до времени, вытягивая шею, другие, напротив, беззаботно роются в песке или лежат, отчасти на брюшке, отчасти на боку, греясь на солнце. Все это можно отчетливо различить, можно пересчитать их и удостовериться, что их больше пятидесяти, пожалуй, немногим менее ста. Для какого охотника в пустыне это не показалось бы заманчивым? Жаждущий добычи, неопытный охот-

ник складывает свою зрительную трубу, чтобы вместо нее взять в руки ружье, и медленно подъезжает к пестрой стае. Но птицы вдруг исчезают перед его глазами. Ни одна из них не убежала, не улетела, а между тем их больше не видно, как будто их поглотила земля. И в самом деле, надеясь на одинаковость цвета почвы и своих перьев, они доверились земле и распластались, плотно прильнув к ней. В ту же минуту они превратились в камни и кучки песку. Непривычный охотник подъезжает к ним, не видя их, и вздрагивает, ошеломленный, когда они вдруг поднимаются с громкими криками и шумно улетают. Если ему удастся убить одну из птиц, то необыкновенная окраска и странный рисунок ее перьев поражает его не менее, чем ее образ действий. Песочная, отливающая и сероватым, и светложелтым цветом окраска верхней стороны тела прерывается яркими широкими полосами, узкими полосками, красивыми каемками, крапинами, пятнами, точками и штрихами, так что повидимому такая курочка должна быть заметна издалека; но вся эта смесь цветов есть не что иное, как самое точное воспроизведение окрашивания самого песка, каждое темное и каждое светлое место, каждый камешек, каждое зернышко которого, повидимому, вполне передается этим оперением. Не удивительно, что земля буквально принимает их в себя, при чем совершенно исчезает даже форма птицы, что в такой же мере защищает ее, как и сильные, наделенные величайшим проворством крылья. Поэтому арабская поэзия окружает этих курочек яркими идеями и цветистыми образами; их красота подкупает нас, а их чудесная быстрота возбуждает зависть в сердце человека, прикованного к земле.

Все прочие животные пустыни так же ясно носят на себе ее отпечаток, как и два описанных выше. В пустыне живет рысь—«каракал»: тело ее стройнее, ноги выше, уши длиннее и глаза больше, чем у других видов рысей, но на ней нет ни полос, ни пятен; до самых черных кончиков ушей, до полос над глазами и пятен над губами, она—песочного цвета, более или менее темного, более или менее красноватого или желтоватого, смотря по местности, где она обитает. В пустыне живет лисица—«фенек», самая малорослая из всего своего семейства, с шерстью соломенного цвета и громадными ушами. Пустыня произвела и маленького грызуна; это—зайчик, похожий на крошечного кенгуру, с чрезвычайно длинными задними ногами, совершенно не развитыми передними конечностями и двустрочным волосистым хвостом, длиннее всего тела,—безвредный и добродушный, но проворный и ловкий грызун, как и все подобные ему животные. Тот же отпечаток пустыни высказывают и птицы, и пресмыкающиеся, и даже насекомые; он выступает всегда, при всем разнообразии форм и окрашиваний. Если рядом с песочножелтым цветом является другой, если волосистый, перистый или чешуйчатый покров, кроме основного, разнообразится еще черным или белым, пепельно-серым или бурым, красным, голубым или какимлибо другим цветом, то этот последний, предназначенный главным образом для украшения животного, выступает только на таких местах, которые недоступны для глаза, видящего их сверху или с боку. Если же посреди пустыни возвышаются горы, эти последние кладут свой отпечаток и на обитающий в них животный мир: на серых скалах горных возвышенностей Аравии карабкается пустынный каменный козел, гнездится куропатка особой породы, значительное число видов других птиц населяет вершины и ущелья, утесы и долины, между тем как на

темных скалах более низменных пустынь только черный пересмешник издает свои музыкальные, жалобные звуки. Такое согласование обнаруживается в каждой части пустыни, в каждом ее создании и усиливает впечатление, какое она производит с первого же дня на каждого чувствующего и мыслящего человека,—впечатление, все более и более возрастающее с каждым последующим днем.

Пустыня действительно требует энергии, восприимчивости и чуткости от каждого, кто хочет ее узнать и до известной степени освоиться с ней. Кто не в силах переносить трудностей путешествия, неизбежных в ней, кто боится ее солнца, кто страшится ее песков, тому лучше не вступать в нее. День в пустыне, даже и при чистом небе, при спокойном и светлом воздухе и при свежем дуновении, доносящемся с севера,—тяжелое время. Он наступает почти внезапно, без предрассветных сумерек. Только по близости моря или больших рек, протекающих по пустыне, утренняя заря, приветствуя день, окаймляет пурпуром восточный край неба; среди обширных песчаных равнин вместе с первым багрянцем на востоке появляется и солнце. Оно выступает над песчаной равниной, как огненный шар, который как будто хочет сбросить во все стороны свою оболочку. С его появлением исчезает утренняя прохлада. Тотчас после восхода солнце посылает палящие лучи, как будто уже наступил полдень. Если дующий в течение месяцев северный ветер, часто действующий освежительно, препятствует тому, чтобы неравномерно нагретые слои воздуха превратились в видимое подобие озера, то во всяком случае он не приносит прохлады настолько, чтобы могло исчезнуть своеобразное колебание воздуха над песками. В избытке света ослепительно сверкают земля и небо; неописанный зной исходит от солнца и излучается песком. С каждым часом более и более возрастают свет и зной, и от них нет никакого спасения, никакого убежища.

Караван выступил с первыми солнечными лучами и беззвучно движется. Широко шагают вьючные верблюды; упругим шагом идут рядом и позади них погонщики; полною рысью поспешают верховые верблюды, напрягая свои силы, и опережая караван; вскоре их всадники теряют из вида вьючных верблюдов. С непрерывной поспешностью все подвигаются вперед. От толчков, причиняемых быстро бегущими животными, кажется, трещат все кости. Беспощадно жжет солнце, проникая через все одежды, как бы много их ни было надето в защиту от него. Под плотным покровом пот струится по всему телу; под более легким, облекающим руки и ноги, он испаряется, как только выступит на коже. Язык прилипает к небу. Воды, воды, воды!—такова единственная мысль того, кто еще не выучился переносить эти трудности. Но вода налита не в жестяные сосуды или бутылки, а в местные мехи, и день за день перевозится среди палящего зноя на спине верблюдов; поэтому она тепла, пахнет, густо бурого цвета, отзывает кожей и дегтем, противна на вкус и производит тошноту, даже рвоту. Такая вода не только не доставляет никакого освежения, но еще более усиливает тяжесть, даже вызывает мучительные боли и возбуждает еще более жгучее желание какого бы то ни было напитка. Но ее нельзя ни улучшить, ни заменить чем-либо другим. Ее вкус и запах уничтожают всякие попытки употреблять ее в виде кофе или чая, или же с вином или водкой; чистое вино или водка еще более увеличивают жгучую жажду и томительный жар. Положение путника становится

мучительным еще прежде, чем солнце достигнет полуденной высоты, и мучение возрастает в той же мере, в какой ухудшается вода. Но ее надо переносить, и все ее переносят. Хотя европеец не привыкает к той воде, какую мы только-что описали, но он скоро свыкается со зноем, который вначале кажется невыносимым, и тем более примиряется с трудностью верховой езды, чем более свыкается со своим верховым верблюдом. Впоследствии он будет заботиться только о чистоте воды и почти не будет жаловаться на ее теплоту, и еще менее на трудность верховой езды.

Спокойно отдохнув, хотя и неприятно разбуженный жалобным ревом выступающих вьючных верблюдов, путешественник, освоившийся с местностью, дает уйти вперед вьючному каравану, подкрепляет тело и дух кофе и табаком, затем садится на своего дромадера и едет с товарищами так быстро, как только могут бежать погонщики. Никто не произносит ни слова; слышится только хрустение песка под упругими копытами, громкое дыхание и глухое, злобное ворчание верблюдов. В скором времени вьючный караван нагоняется и оставляется далеко позади. Газель пасется невдалеке от дороги и дает надежду на особенно дорогую здесь добычу. Красивыми прыжками скачет воплощенная мысль поэта пустыни перед преследующим ее всадником, а сзади него бегут широкими шагами усиленно погоняемые, тяжело дышащие верблюды. Газель не выказывает никакой тревоги и позволяет приблизиться к ней на желаемое расстояние; всадники делают вид, будто хотят проехать мимо нее, сдерживают животных и едут тише; один из них скользит с седла на землю, на минуту останавливает своего верблюда и под ним разряжает меткое ружье. В то же мгновение вожак спрыгивает с седла, чтобы захватить убитое животное; он радостно тащит его, искусно прикрепляет к седлу, и караван двигается дальше.

Около полудня делается привал. Если поблизости оказывается низина, то в ней можно найти зонтикообразную мимозу, тонкая лиственная кровля которой дает скудную тень; если же перед всадниками простирается необозримая песчаная поверхность, то четыре копья, воткнутые в песок и растянутое между ними шерстяное одеяло должны служить неприхотливым тенистым кровом. Но раскаленный песок, на котором приходится отдыхать, горяч, и воздух, которым дышишь, удушлив; усталость и сонливость овладевают даже туземцами, а тем более жителями севера. Хочется покоя, но его нельзя найти; хочется освежения, но никому не удается насладиться им. Ослепленный льющимся со всех сторон светом и сверкающим воздухом, закрываешь глаза; мучимый палящим жаром, томимый жгучей жаждой, ворочаешься без сна на своем ложе. Бесконечно тянутся часы.

Вьючный караван медленно проходит мимо и исчезает из глаз в затуманенном воздушном озере, на волнующихся слоях которого верблюды как будто несутся над землею. Еще долго остаешься в том же положении, страдая от той же тяжести. Солнце давно уже прошло высоту полудня, но оно по-прежнему, с такою же силой испускает свои жгучие лучи. Наконец, в поздние послеполуденные часы снова пускаешься в путь. Опять скачешь, чтобы быстрым движением вызвать освежающую струю воздуха, пока не увидишь вьючного каравана и не нагонишь его. Погонщики с песнями следуют за своими животными. Один из них запевает, прочие подхватывают каждый отдельный куплет с правильно повторяющейся рифмой.

Зная, сколько труда несет погонщик верблюдов во время путешествия по пустыне, невольно удивляешься, слыша, что он еще поет. Перед рассветом он навьючил свое животное, разделив с ним несколько горстей разваренных зерен дурры, составляющих единственную пищу их обоих; в течение целого длинного дня он шагал вслед за своим верблюдом, не проглотив ни одного куска, самое большее, освежаясь от времени до времени вонючей водой из мехов; солнце жгло ему темя, раскаленный песок обжигал его подошвы, горячий воздух высушивал его покрытое потом тело; у него совсем не было времени для отдыха, так как ему или приходилось перевьючивать некоторых животных, или ловить тех, которые убегали от него,—и тем не менее, он распевает теперь свои песни.

Когда солнце спускается к закату, члены этих иссушенных зноем детей пустыни как будто получают свежие силы; и в этом, как и в других отношениях, они сходны со своей великой матерью—пустыней. Вместе с ней они изнывают от жара в полуденное время, вместе с нею оживают в часы ночи. Как скоро солнце склонится к западу, их поэтическая способность создает золотые сны еще наяву. Певец прославляет обильные водою ключи, пальмовые группы кругом них и темные палатки под пальмами; в одной из палаток он приветствует смуглую девушку, которая дарит его взглядом, славит ее красоту, сравнивает ее глаза с глазами газели, ее уста—с розой, а речи—с благоуханиями, которые в ушах его превращаются в перлы, отказывается от перворидной дочери султана ради ее и страстно ждет часа, когда судьба позволит ему разделить с нею палатку. Но товарищи напоминают ему о желаниях еще высших и направляют его мысли к Пророку, «умиротворяющему наши страсти, наши желания».

Так несутся эти песни навстречу северному чужеземцу, и на его уста также просятся песни его родины. И когда затем погаснет последний розовый отблеск закатившегося солнца, когда ночь расстелет над степью свой волшебный покров, тогда и ему покажется, что все его тягости были легки, что во время дневного зноя он не испытывал жажды и не чувствовал утомления в пути. Весело спрыгивает он с седла, и пока погонщики развьючивают и привязывают верблюдов, он выравнивает и подгребает песок для своего ложа, расстилает на него ковер и одеяло и с наслаждением отдается желанному покою.

Лишь на несколько шагов небольшой костер освещает равнину. Озабоченно двигаются вблизи его полунагие, темные сыны пустыни. Пламя бросает на них волшебные полосы света, и в полутьме ночи они походят на призраки; тюки и ящики, седла и утварь принимают причудливые формы; верблюды, лежащие широким кругом по ту сторону поклажи, кажутся привидениями, когда глаза их мрачно светятся, отражая в себе огонь. Все тише и тише становится в лагере. Сыны пустыни один за другим оставляют верблюдов, с которыми делили скудный ужин, завертываются в свои длинные плащи, опускаются на землю и сливаются с песком. Огонек вспыхивает еще раз, теряет свой блеск и потухает. В лагере тоже наступила ночь.

Чтобы изобразить ее, ночь в пустыне, нужно бы обладать божественным даром поэзии. Кто может описать ее красоту даже и тогда, когда ему пришлось испытать ее, перечувствовать, насладиться ею наяву и в грезах? После дневного зноя она является кротким, вознаграждающим за все, примиряющим источником неизреченно отрадного и

высокого чувства, временем покоя и блаженства, к которому человек стремится, как к возлюбленной, после долгого ожидания. Араб называет звездную ночь пустыни «леилой», именем, которое он придает всему возвышенному и величественному. Леилой он называет свою дочь; «моя звездная ночь» говорит он своей возлюбленной, лаская ее; «Леила, о, Леила!», прибавляет он к своим песням, как заключительное созвучие. И действительно, что это за ночь, которая здесь, в пустыне, после всех испытаний и тревог дня, так пленяет и ум, и чувство! С невиданной чистотой и ясностью сверкают звезды на темном небесном куполе; свет ближайших из них отбрасывает слабые тени на светлом фоне. Жадно вдыхает человек чистый, свежий, освежающий и укрепляющий воздух; восхищенно переходит он взглядом от одного светила к другому. Звезды как будто все более и более опускаются к нему; душа разрывает узы, связывающие ее с прахом, и ведет беседу с другими мирами. Никакой звук, никакой шум, даже треск кузнечика не прерывает ее думы. Только тогда познается человеком величие и возвышенность пустыни; ее неизреченный мир сходит к нему в душу. Но в то же время и горделивое чувство наполняет его грудь; одинокий среди бесконечной пустыни, удаленный от всякой человеческой привязанности и помощи, предоставленный только своим силам, он чувствует, как в нем растет доверие к себе, мужество и надежда. Грезы неописанной прелести носятся перед открытыми глазами и, как живые, сменяют одна другую, даже и тогда, когда звезды начинают мерцать и дрожать, мысли уплывают и глаза смыкаются.

После физического и душевного укрепления, какое дает ночь пустыни, тяжесть следующего дня переносится легче, несмотря на усилия, необходимые, чтобы пить воду, которая портится с часу на час. Настоящий покой, ничем не отравляемое наслаждение приносит лишь остановка у какого-нибудь пустынного колодца. Сопровождаемое постоянным опасением недостатка самых необходимых жизненных припасов, путешествие по пустыне всегда беспокойно и торопливо и совершенно лишено удобств, придающих удовольствие поездке. Один день проходит, как другой; каждая ночь, по крайней мере, в благоприятное время года, походит на предыдущую. В оазисе, у источника, день становится праздником, вечер—временем беззаботного веселья, ночь—временем настоящего, укрепляющего покоя.

Для образования оазиса необходимое условие составляет углубление местности, в виде котловины или долины, так как без вырывающегося из-под земли ключа или, по крайней мере, без искуственного колодца, сколько-нибудь разнообразная растительная жизнь немыслима, и воду в пустыне можно отыскать только в горах или в глубоких низинах. Так как песчаное море во многих других отношениях составляет противоположность водного моря, то и острова его, противоположно островам водяной пустыни, не возвышаются над окружающей поверхностью, а углубляются в нее. Вода здесь или выступает наружу в виде источника, или находится на небольшой глубине под землею. Ее обилие и состав обусловливают характер оазиса. Только в немногих низинах течет чистая, прохладная вода. В большинстве же источников она—соленая, железистая или сернистая, часто теплая, и хотя, быть может, имеет целительную силу, но неудобна для питья и не способствует плодородию. Свежей зелени луга, впрочем, не производит ни одна из них. Вообще, только при особенно благоприятных обстоятельствах, вода выступает на земную поверхность; в большинстве случаев, она сочится

из расщелин скал или понемногу собирается в вырытых колодцах, так что ее надо, по крайней мере, по временам извлекать оттуда искусственно. Даже и там, где вода течет, она без помощи человека, собирающего и расчетливо распределяющего ее, обыкновенно после недолгого пути опять поглощается песком. Тем не менее, при всех этих условиях она вызывает жизнь, которая особенно освежительно и приятно действует в пустыне.

Около текущего источника, еще задолго до появления человека, овладевшего окружающим его местом, расположилась зеленеющая группа растений. Кто может сказать, откуда она взялась? Быть может, песчаный вихрь занес сюда семена, которые проросли у самого ключа, зазеленели, выросли, зацвели, сами принесли семена, и так распространились по всей долине. С уверенностью можно только сказать, что эта растительность не была насажена человеком, потому что мимозы, составляющие ее главную составную часть, можно видеть и в низинах, еще неснабженных колодцами, поодиночке, по десяти, по двадцати и даже небольшими рощами. Их одних достаточно, чтобы придать жизнь пустыне; они зеленеют, цветут и благоухают—и как свежо, как золотисто, как ароматно! В их приветливой тени отдыхает газель; с их вершин раздаются песни немногих пернатых певцов пустыни. Их сочные листья среди неподвижных известковых масс, черных гранитных конусов и ослепительного песка производят впечатление майской зелени; их цветы и тень дают настоящую отраду душе. В больших, обильных водою оазисах человек присоединил к ним пальмы, и этим придал новое очарование приюту пустыни. Пальма здесь все вмещает в себе: она—царица деревьев, она привязывает человека к небольшому клочку земли, наделяя его плодами, она—окруженное легендой, воспетое в песне растение, дающее пропитание дерево жизни. Чем был бы оазис без пальмы? Палаткой без кровли, домом без обитателей, фонтаном без воды, стихотворением без слов, песней без звуков или картиной без красок. Ее плоды питают кочевника или оседлого поселенца, превращаются в его руках в пшеницу или ячмень и удовлетворяют последнего его господином и властелином сборщика податей; ее стволы, ее кронье, ее узкие листья доставляют ему кровь, утварь, циновки, корзины и веревки. Только в песках пустыни можно оценить все достоинства пальмы, все ее значение; в песках пустыни она становится олицетворением арабской поэзии, которая так же, как и она, часто возникает из бесплодной почвы, с такой же силой всюду неизменно стремится ввысь и только там приносит свои сладкие плоды.

Мимозы и пальмы—характерные деревья для всех оазисов и потому встречаются и в таких, где число источников или колодцев позволяет разводить сады и обрабатывать поля. Здесь они ограничиваются ролью стражей против наступающего песка, составляя наружную кайму островов пустыни, между тем как середина этих последних предназначается для растений, более притязательных, более нуждающихся в воде. Вблизи ключей или у колодцев часто встречаются прелестные сады, в которых возделываются почти все виды плодов северной Африки. Здесь вьется виноградная лоза, горит апельсин в темной листве, гранаты открывают свои розовые уста, бананы раскидывают свои листья, похожие на метелку; здесь распускают по гряде свои усики дыни, а фиговый кактус, масличное дерево, иногда даже смоковница, абрикосовое и миндальное деревья довершают картину плодородия. Далее расстилаются поля, на которых сеется, по крайней мере, дурра, а в благоприятных случаях пшеница и даже рис.

В таких богатых оазисах человек основал постоянные поселения; между тем как в более скудных низменностях он может быть только временным, более или менее правильно появляющимся гостем. Деревня или городок оазиса в существенных чертах походит на поселения соседней плодородной страны: и в них можно найти и мечеть, и кофейныя; но люди здесь проникнуты иным духом, чем поселяне и горожане страны Нила или береговой полосы. Хотя и разноплеменные по происхождению, они усвоили одинаковые нравы и обычаи, благодаря влиянию пустыни. Их худощавые фигуры, резкие черты, блестящие глаза под густыми бровями позволяют сразу узнать в них детей пустыни. Их нравы еще характернее наружности. Они не притязательны,



Бедуины и их шатер.

трудолюбивы, подвижны и умеренны во всем, гостеприимны, откровенны, честны и верны в дружбе, но в то же время горды, раздражительны и вспыльчивы; подобно бедуинам, хотя и в меньшей степени, они склонны к грабежу и другим насилиям. Караван, вступающий в их область, радостно встречается ими, но путешественник, по их воззрениям, подлежит различным повинностям.

Другими местами отдыха для каравана, совершенно непохожими на оазисы, служат низины, в которых лишь кое-где попадается желанный колодез. Арабские кочевники, пользующиеся со своими стадами его водой, довольны, если колодез дает воду, годную для питья, в продолжение нескольких месяцев или только недель; останавливающиеся здесь караваны могут считать себя счастливыми, если он удовлетворяет их потребностям в течение нескольких дней. Обыкновенно такой коло-

дез представляет глубокую яму, вырытую в земле; в этой яме вода только сочится из стенок, и редко брызжет из жил, скрытых в глубине ее. Несколько пальм возвышается кругом колодца над редкими мимозами и кустами саликарий; несколько стебельков травы растет на чахлой почве.

Невыразимо бедны номады, разбивающие здесь свои палатки на столько времени, на сколько хватит корма для их небольших козьих стад; их «борьба за существование»—не что иное, как сплошная цепь труда, лишения и нужды. Длинный кусок темного сукна из козьей шерсти, средина которого лежит на перекладине, а оба конца прикреплены к земле, позади кусок той же ткани, а спереди циновка из пальмовых листьев, составляют их палатку—приданое жены, материал для которой она с восьми до шестнадцатилетнего возраста собирала, прятала и ткала. Все их домашнее хозяйство состоит из нескольких циновок, служащих постелями, плоского куска гранита и другого полукруглого камня для растирания хлебных зерен, глиняной плошки для поджаривания лепешек, двух широких горшков, нескольких кожаных мешков и мехов, топора и нескольких копий; стадо из двадцати коз считается уже богатым семейным достоянием. Но эти бедные люди храбры, добродушны, щедры, непритязательны, гостеприимны, честны, доверчивы, нравственны, стройны и красивы. Картины давно минувшей жизни восстают в воображении европейца, встречающегося с ним в первый раз; библейские фигуры являются живыми перед ним и говорят с ним тем языком, который ему дорог с детства. Тысячи лет прошли над кочевниками пустыни, как один день; и теперь еще они думают, говорят и поступают так же, как думали, говорили и поступали библейские патриархи. То же приветствие, какое произносил Авраам, встречает приходящего к ним чужеземца; те же слова, какие говорила Ревекка слуге этого патриарха, были сказаны мне, когда я, мучимый жгучей жаждой, спрыгнул у колодца Багиуды с верблюда и попросил пить у молодой, прекрасной, смуглой женщины. Она стояла передо мною, как тысячелетия тому назад стояла Ревекка, столь же полная жизни и неувядаемой юности—не та, о которой говорит Писание, но совершенно подобная ей.

При вступлении каравана, собираются все обитатели такого временного поселения. Старшина выступает из средины их и произносит дружественное приветствие; прочие встречают чужеземцев добрыми пожеланиями. Затем им предлагается самое ценное, самое желанное для них—свежая вода, предлагается все, что есть, дружелюбно и с достоинством, охотно, но без навязчивости. Жадно, большими глотками, пьют путники живительную влагу; неудержимо стремятся верблюды к водопоям, хотя и знают по опыту, что их сперва развьючат, разнуздают и заставят пастись, прежде чем позволят, после четырех или шестидневного лишения, утолить наконец свою жажду. Даже у самого колодца им не дают ни одной лишней капли; сперва им предоставляют то, что осталось в мехах, и только наполнив мехи свежей водой, их поят, соображаясь более с имеющимся запасом воды, чем с их потребностью в ней. Лишь у очень изобильных колодцев удовлетворяют их повидимому безмерную жажду и забавляются тем, как верблюды втягивают воду, не поднимая головы, и затем странными, некрасивыми прыжками, благодаря путам на ногах, спешат к не менее желанным пастбищам, чтобы поскорее ввести пищу в свой желудок, издающий звуки, точно наполненная водой бочка.

Между тем для путников и для местных жителей наступает настоящий праздник. Первые находят свежую воду, а иногда молоко и мясо, делающие желанный отдых еще более приятным; вторые радуются всякому перерыву своей однообразной жизни. Один из погонщиков верблюдов нашел в соседней палатке любимый музыкальный инструмент обитателей пустыни—тамбуру, или пятиструнную цитру, и мастерски аккомпанирует на ней своей простой песне. Эти звуки приманивают женское население, и стройные, красивые женщины и девушки теснятся вопросительно около чужеземцев, внимательно смотрят своими темными глазами на них и на их багаж и без жеманства осведомляются о том или о другом. Береги свое сердце, чужеземец; эти глаза могут разом зажечь его! Они еще прекраснее, чем глаза газели, и ниже их виднеются губы, которые поспорят с кораллами, а ослепительно белые зубы превосходят жемчуг, который ты, быть может, хотел бы подарить этим смуглым дочерям пустыни. И вдруг все отдается музыке и песням. Около играющего на цитре собираются группы танцующих; и жесткие, и мягкие руки одинаково бьют в такт звукам цитры, словам песни и размеренным движениям пляски. Появляются новые фигуры, а те, к которым глаз присмотрелся, исчезают; постоянно сменяющаяся толпа окружает чужеземцев, которые могут назваться благоразумными, если относятся к этому так же просто и добродушно, как и их хозяева. Все трудности путешествия по пустыне забыты, все желания удовлетворены, потому что вода льется в изобилии и составляет единственную потребность путешественника, прихотливого и требовательного в другом месте и в другое время.

Такой отдых действительно освежает душу и тело. Подкрепленный и ободренный караван продолжает свой путь, и если дни не приносят ничего худшего, чем солнечный жар и зной, жажда и утомление, без потери сил, то он достигает второго, третьего источника и, наконец, цели путешествия—первого поселения по ту сторону пустыни.

Но песчаное море так же изменчиво, как и море водное, окружающее землю. И на нем свирепствуют бури, сокрушающие его корабли, и по нем катятся волны, несущие гибель. Когда северный ветер, дующий по целым месяцам, вступает в борьбу с южными воздушными течениями или вполне отступает перед ними, путешественник видит, что песок внезапно оживляется, образует высокие и широкие столбы, с большею или меньшею быстротой крутящиеся по равнине. Смотря по освещению солнцем, они становятся то багрово-огненными, то бесцветными, то зловеще-темными; движущий их вихрь то разрушает, то увеличивает их в объеме, то разделяет их, то соединяет два или более столба в один песчаный смерч, поднимающийся до облаков. Если бы европеец вздумал выразить удивление при виде этого величественного зрелища, тревожные взгляды и слова его спутников заставили бы его умолкнуть. Горе каравану, которого застигнет такая буря: он может считать себя счастливым, если люди и животные останутся в живых! Даже, когда эти неотвратимые гонцы судьбы без вреда пронесутся мимо каравана, он все еще не может быть уверен, что опасность миновала: за такими песчаными смерчами обыкновенно следует самум, или ядовитый вихрь.

Этот ветер, бушующий в виде хамсина в Египте, в виде сирокко в Италии, в виде фена в Альпах, в виде ветра, приносящего оттепель, в северной Европе, не всегда превращается в ураган и в пустыне, но всегда опасен; нередко он веет едва заметно, и тем не менее заставляет

трепетать самые мужественные сердца. Правда, о нем рассказывается много небылиц, но справедливо, что при некоторых обстоятельствах этот ветер может быть весьма опасен для каждого каравана, что именно ему должны быть приписаны белеющие скелеты верблюдов и полузасыпанные песком, высохшие человеческие трупы, встречающиеся по всем дорогам пустыни. Не столько его сила, сколько его качество, его электрическое напряжение приносят страдание и гибель людям и вьючным животным, странствующим по песчаному морю.

Песчаную бурю предчувствует и предсказывает за один, а иногда и за несколько дней и туземец, и освоившийся с местностью чужестранец. Ей предшествуют некоторые несомненные признаки. Воздух становится тяжелым и удушливым; легкие сероватые или красноватые испарения туманят небо; в воздухе не замечается ни малейшего движения. Все живые существа видимо страдают от более и более усиливающейся духоты: люди жалуются и стонут, дикие животные становятся робкими, верблюды—беспокойными и упрямыми, теснятся друг к другу, стоят неподвижно или ложатся на землю. Солнце закатывается совершенно тускло. Заря не окаймляет неба, свет поглощается туманным покровом. Ночь не приносит ни освежения, ни укрепления, а скорее увеличивает духоту, бессилие и беспокойство; несмотря на усталость, сон бежит от глаз. Если люди и животные еще в состоянии двигаться, они не останавливаются, а, напротив, идут вперед с тревожной поспешностью, пока вожак может еще видеть небесные светила. Однако, испарения превращаются в сухой туман и закрывают звезды одну за другой, даже луну и солнце; последнее, в самом благоприятном случае, кажется вдвое меньше обыкновенного, представляясь бледным, с расплывающимися краями.

Ветер поднимается иногда около полуночи, но по большей части около полудня. Без часов времени определить нельзя: туман становится настолько густ, что совсем скрывает солнце, и в пустыне распространяется мутный сумрак, в котором все предметы исчезают на близком расстоянии. Тихо, чуть заметно начинает наконец колыхаться воздух. Ощущается не веяние, а какое-то дыхание. Однако, это дыхание совершенно раскаленное; оно пронизывает до костей, подобно холодному ветру, вызывает тупую головную боль, утомление и тоскливость. За первым дыханием следует более чувствительное веяние, столь же раскаленное и смертоносное, как и первое. Затем с ревом проносится несколько коротких порывов.

Теперь наступило время остановиться. Это показывают и верблюды, которых никакие удары кнута не могут понудить идти вперед. Полные тревоги, они ложатся, вытягивают шеи, прижимают их к песку и закрывают глаза. Погонщики поспешно развьючивают их, быстро складывают стену из поклажи, кладут все мехи один на другой, чтобы уменьшить поверхность, представляемую ветру, кладут на них сверху все имеющиеся в запасе циновки, закутываются, так же, как и все путники, возможно плотнее в свои плащи, увлажняют ту часть их, что приходится над головой, и ищут позади вьюков убежища и защиты. Все это делается с величайшей торопливостью, потому что песчаная буря не заставляет себя долго ждать.

За короткими порывами следуют более продолжительные; эти последние сливаются между собой, и через несколько минут буря уже ревет. Она бушует и гудит, свистит и воет в воздухе, свирепствует и

шумит в песке почвы, трещит и грохочет в лагере, где от нее лопаются доски ящиков. Удушливый жар возростает и становится невыносимым, отнимает влагу у тела, покрытого испариной, производит трещины на всех слизистых оболочках, из которых выступает кровь, превращает язык, жаждущий воды, в кусок свинца, учащает пульс и судорожно сжимает сердце; производит трещины на коже, в которые бушующий ветер бросает тонкий песок и этим причиняет новые мучения. Сыны пустыни молятся и восклицают, европеец стонет и жалуется.

Обыкновенно самый сильный разгар песчаной бури продолжается недолго—час, два или три, так же, как у нас гроза, которой она соответствует. Когда буря ослабевает,—пыль оседает и воздух очищается; в то же время появляется обратное течение воздуха с севера; караван опять выстраивается и выступает в путь. Если же самум продолжается полдня или целый день, с путешественником может случиться то же, что случилось с моим знакомым, французом Тибо. Проходя через северную Багиуду, он нашел последний колодез высохшим и должен был отправиться далее с опустелыми мехами, между тем как Нил отстоял от него еще на четыре дня пути. На него и на его гонимый ужасом караван, который всю не слишком нужную поклажу оставил у иссякшего колодца, налетел ядовитый вихрь. Несчастные путники остановились, надеясь на скорое прекращение бури; но напрасно ждали они этого среди смертельной тоски отчаяния. Один из слуг, Тибо, вскочил в бешенстве и завыл подобно буре; он шумел, бесновался и, наконец, в изнеможении бросился к ногам своего господина, захрипел и умер. Другой лежал, пораженный солнечным ударом, как труп, на своем ложе, когда буря наконец умолкла; третий, когда караван выступал и поспешно двинулся, чувствуя себя между жизнью и смертью, отстал и умер от жажды. Целая половина верблюдов пала. Тибо с оставшимися у него людьми и животными достиг Нила, но его черные как смоль волосы в течение двух дней совершенно побелели.

Благодаря таким бурям и приходится встречать, на пути караванов, трупы, похожие на мумии. Буря убивает и хоронит их, засыпая песком; последний так быстро извлекает из трупа влагу, что тот не гниет, а высыхает и превращается в мумию. Над нею один ветер набрасывает слой песку, другой обнажает ее, сдувая ее покров. Тогда мертвец выставляет руку, ногу или лицо на встречу путникам, и один из погонщиков верблюдов трогается этой немой просьбой: он подходит к нему, опять забрасывает его песком и, отправляясь дальше, произносит: «Спи, раб Божий, спи с миром!»

Подобные же бури вызывают в сознании оставшегося в живых видения миража. Покуда человек с полной, не ослабевшей энергией и с бодрым духом совершает свой путь в пустыне, он смотрит на воздушные отражения, как на одно из замечательнейших явлений природы, но не видит в них миража. В жаркое время года в пустыне, в полуденное время, от девяти часов утра до трех часов дня, ежедневно показывается «чортово море». На каждой бесплодной равнине, на известном расстоянии, впереди или около путников, образуется серая, похожая на озеро, или скорее на затопленную местность, поверхность, которая переливается и волнуется, сверкает и блестит, позволяет видеть все действительно существующие предметы, но поднимает их до высоты своего верхнего слоя и отражает вниз. Проходящие вдали верблюды или лошади представляются, подобно нарисованным амурам, порхаю-

щими в облаках; даже и тогда, когда можно различить их движения, кажется, что их ноги становятся на толстые слои пара. Расстояние, на котором лежит граница этого явления, обращенная к глазу, остается всегда одним и тем же, пока наблюдатель не изменит угла зрения; поэтому для всадника она бывает иною, чем для пешехода. Все это чудо основывается на известном законе, в силу которого луч света, попадая из одной среды в другую неравной плотности, преломляется, вследствие того, оно должно происходить, когда нижние слои воздуха неравномерно расширяются обратным отражением лучей от нагретого песка. Ни один араб не закрывает своего лица при виде воздушных изображений, как в этом уверяли своих доверчивых читателей некоторые, богатые воображением, путешественники; ни один араб не придает часто употребляемому им выражению «чортово море» какого-нибудь более глубокого смысла. Но когда, вследствие песчаной бури, тревога, лишения и утомление ослабят силы путника, и в это время покажется воздушное отражение, тогда оно может превратиться в мираж: болезненно возбужденное воображение представляет себе картины, как-раз совпадающие с самыми горячими желаниями минуты,—страстной жажды воды и покоя. Даже и для меня, сотни раз наблюдавшего воздушные отражения, одно из них превратилось однажды в мираж. Это случилось, когда я после двадцатичетырехчасовой мучительной жажды увидел перед собою сверкающее и переливающееся «чортово море». Тогда я поверил, что вижу в действительности священный Нил и суда с вздувающимися парусами, пальмовые леса и рощи, сады и загородные дома. Но там, где моему болезненно настроенному воображению показывался зеленеющий пальмовый лес, мой столько истомленный спутник видел парусные суда, и там, где мне казались сады, ему представлялись задумчивые леса. Все эти обманчивые образы исчезли, когда мы освежились случайно доставшейся нам водой, и перед нашими глазами осталось только серое, туманное озеро.

«Чортово море» расстилается перед каждым путешественником, который проходит через часть пустыни, прилегающую к странам, орошаемым Нилом, но не всякому удается видеть одну из самых оживленных картин, какую создает пустыня. На самом дальнем крае горизонта, быть может, приподнятые воздушным отражением и окутанные дымкой, появляются всадники, несущиеся на быстрых, как ветер, конях, с членами стройными, как у оленей; все более и более приближаются они к каравану и, наконец, с шумом подскакивают к нему, пуская полным ходом своих лошадей, которых бережно сдерживали до тех пор. Я всегда с удовольствием встречал этих худощавых людей, в так идущей к ним одежде, потому что видел в них и в их конях отпечаток однородности, налагаемой пустыней на всех ее детей. Бедуин всегда казался мне истинным сыном пустыни, а его конь—отражением ее и его самого. Бедуин так же суров и страшен, как день, так же дружелюбен и кроток, как ночь пустыни. Верный данному слову, непоколебимо покорный нравам и обычаям своего племени, полный достоинства в осанке, величавый в выражениях, не уступающий никому в способности выносить лишения и недостатки, увлекающийся более всякого другого мужественными подвигами, славой и честью, а также и радужными грезами сказок, в которые его богатый поэтический талант умеет вплетать такие чудные, роскошные картины, такие прелестные, душистые цветы,—он в то же время коварен и скрытен по отношению к врагу; бессильный раб своих привычек, он лишен достоинства в

своих требованиях, низок и вульгарен в просьбах, жаден в наслаждении, неудержим в жестокости; сегодня он является благородным, гостеприимным другом, завтра угрожающим, назойливым нищим, один раз—гордым разбойником, а другой—жалким вором; одним словом, он кажется чужеземцу столь же изменчивым, как пустыня. Его конь обладает такими же умными, огненными, выразительными глазами, такою же крепостью и гибкостью худощавых, почти слабых на вид членов, такою же выносливостью и умеренностью, таким же характером, как и он сам: оба они выросли в той же палатке, оба отдыхают и живут под одной и той же кровлей. Конь—не раб, а спутник, друг человека, товарищ игр его детей. Горделивый и мужественный, даже дикий в вольной пустыне,—в палатке он кроток, как ягненок, и именно потому кажется нераздельной частью своего господина и повелителя.

Во всех пустынях, которые, по крайней мере, по имени, находятся под властью египетского хедива, бедуин теперь далеко уже не играет той роли, как в прежние времена, или даже в настоящее время в Аравии и в странах северо-западной Африки. Между бедуинами и египетским правительством заключены договоры, обязывающие их пропускать караваны через их область без всякого притеснения. Поэтому разбойничьи нападения среди пустыни принадлежат к числу самых редких событий, и встреча с бедуинами возбуждает мало опасения уже потому, что сыны пустыни обыкновенно бывают собственниками нанятых верблюдов. В то же время настоящие хозяева пустыни, дорожащие старыми порядками, любят сохранять, по крайней мере, некоторое подобие власти, и поэтому перед началом путешествия по пустыне полезно просить провожатых у какого-нибудь из уважаемых начальников. Если есть такие провожатые, встреча путников с сынами пустыни происходит приблизительно следующим образом:

Из толпы всадников выезжает один из загорелых людей и обращается к вожаку или снарядителю каравана:

— Мир тебе, чужеземец!

— Да будет над тобою благость Божия. Его милость и милосердие, о, вождь!

— Куда идут твои люди?

— В Беллед-Аали, о, шейх!

— Вы идете с провожатыми?

— Мы идем с провожатыми его высочества хедива.

— И еще с чьими-нибудь?

— Еще шейхи Солиман, Могамед Хери Аллах, Ибн Сиди Ибрагим Аулад Аали дали нам провожатых и мир.

— Тогда да будьте вы благословенны!

— Посылающий благословение да пошлет милость тебе и твоему отцу, о, вождь!

— Не нуждаетесь ли вы в чем-нибудь? Мои домашние дадут все это вам. В Вади Гитере стоят наши шатры, и вы будете в них дорогими гостями, если захотите там отдохнуть. А если нет, то да пошлет вам Аллах счастливого пути!

— Он будет с нами, так как Он милосерд.

— Он будет вашим путеводителем на всех добрых путях.

— Аминь, о, вождь!

И бедуины уже ускакали; всадники и лошади снова точно сростаются; легкие копыта животных почти не касаются земли; белые бурнусы развеваются по ветру, и в душе оживают слова поэта:

> Beduin', du selbst auf deinem Rosse,
> Bist ein phantastisches Gedicht *).

Такие картины дает пустыня. Чем более освоиваешься с нею, тем сильнее запечатлеваются они, тем более выкупают утомление и трудности пути. Но все-таки только последние часы путешествия по пустыне дают высшее наслаждение. Эти часы наступают с появлением первой деревни в обработанной местности, осененной пальмами, при виде серебряной полосы священной реки. Животные и люди спешат, как будто желаемая действительность—только греза и может рассеяться в тумане. Но все яснее и резче выступает конечная цель путешествия; кажется, что никогда не приходилось видеть более свежих красок; думается, что нигде не может быть более зеленых деревьев и прохладной воды. Напрягая последние силы, спешат вперед верблюды, но все-таки слишком тихо, по мнению их всадников. На встречу последним несутся дружественные приветствия. Вот, наконец, и деревня на Ниле. Из всех хижин выходят мужчины и женщины, старцы и дети, теснясь около путников и радуясь их прибытию. Каждый наперерыв старается предложить свою помощь, освежающее подкрепление. Сперва приносится только-что почерпнутая в реке превосходная вода; затем доставляется все, что только можно найти для освежения тела и духа. Разбивается лагерь, и около него двигаются любопытные люди, мужчины и женщины, которым все нужно знать, девушки и юноши, которым хотелось бы плясать. Тамбура и тарабука—местные цитра и барабан—приглашают к танцам, и девушки начинают свои пляски, доставляющие удовольствие чужестранцам и туземцам. Даже скрип воротов, поднимающих воду из реки, который прежде тысячу раз вы проклинали, кажется теперь музыкальным. Вечер приносит новые наслаждения. Спокойно улегшись на упругой, свежей постели, европеец пьет, на-перебой с туземцем, местный нектар—пальмовое вино или меризу, и звуки цитр и барабанов, топот ног и всплески рук танцующих юношей и девушек в такт музыке дополняют отрадное пиршество. Наконец, надвигающаяся ночь вступает в свои права. Тамбура и тарабука умолкают; пляска прекращается. Путники один за другим, насытившись и даже пресытившись, отдаются полному покою. Только один из них, сын Хагиры, матери света, все еще не может уснуть. Перед потухающим лагерным костром звучит и дрожит простая мелодия его песни:

> O holde Nacht, du thust mir wehe.
> Denn länger wirst du. immer länger;
> Ob ich von dir auch Frieden flehe,
> Du machst das Herz mir bang und bänger.

---

*) Бедуин, на своем коне ты сам—фантастическая поэма.

* * *

O holde Nacht, wie lang, wie lange,
Dass meine Augen die nicht sahen,
Nach der ich einzig nur verlange;
O Nacht, lass sie mich bald umfahen!

* * *

O holde Nacht, du nahst dich wieder,
Vernimm, was ich dir anbefehle:
Giess deinen Frieden auf mich nieder,
Schirm die Gebiet'rin meiner Seele *).

Но и эта жалоба замирает, и только волны реки журчат и шепчут.

*) О, прелестная ночь! Ты наводишь на меня грусть, потому что становишься все длиннее и длиннее; хотя я прошу у тебя мира, но ты заставляешь все больше и больше тосковать мое сердце. О, прелестная ночь! Как долго, как долго мои глаза не видали моей желанной; о, ночь, дай мне обнять ее скорее! О, прелестная ночь! Ты приближаешься опять, выслушай то, что я тебе поручаю: излей твой мир на меня, охрани властительницу моей души.

Земля и люди между порогами Нила.

Египет и Нубия, непосредственно примыкающие друг к другу, соединенные общей для них рекою, существенно различаются между собой. По Египту божественный Нил протекает в величавом спокойствии, но Нубии он шумно несется с величайшей стремительностью: в Египте он далеко разливает свои благодатные воды, в Нубии он скован высокими, скалистыми берегами; в Египте он захватывает пустыню, в Нубии пустыня захватывает его самого. Египет—сад, который он создал тысячелетней работой, Нубия—пустыня, которую он никогда не мог победить. Правда, эта пустыня имеет оазисы, как и всякая другая, но они немногочисленны, и по своим размерам почти не имеют значения сравнительно с пустыней и бесплодной страной по обеим сторонам реки. Почти повсюду в длинной извилистой долине, которую мы называем Нубией, поднимаются темные скалистые массы из самого ложа реки или в незначительном расстоянии от берега; на обширных пространствах препятствуют они развитию всякой растительности, и только золотисто-желтый песок пустыни, на восточной и на западной стороне, служит им единственным убором и часто перекатывается через них к реке. Знойно блестит солнце на темно-голубом, почти всегда безоблачном небе, и в течение многих лет дождь ни разу не освежает иссохшей страны. В глубоко врезанной скалистой долине живительные волны оплодотворяющей реки напрасно ведут борьбу с неподатливыми каменными массами, о которые разбиваются они с шумом и грохотом, точно сердясь, что их щедрость встречает лишь неблагодарность, их доброжелательность—лишь упорное сопротивление. Место, где происходит эта борьба, есть область нильских порогов.

Немногие из путешественников, проезжающих по нижней долине Нила, знакомятся с порогами его среднего течения. Уже через первый, так называемый, катаракт, проходит лишь незначительное меньшинство, а через второй—едва ли один из ста путешественников. Вадигальфа, деревня, лежащая вблизи второй группы порогов, составляет обычную цель путешествующих по Нилу; далее к югу проникают только или с целью научных открытий, или по страсти к охоте, или в погоне за торговыми барышами. От Вадигальфы начинаются трудности путешествия по внутренней Африке: неудивительно, что от этой, осененной пальмами, деревни большинство возвращается обратно. Но тот, кто молод и силен, крепок волею и не изнежен, никогда не раскается, проникнув далее на юг. В долине Нила, бедной красотами пейзажа, область порогов составляет своеобразный мир. Величественные и привлекательные, суровые и веселые, бесконечно-пустынные и ярко-живые картины

сменяются между собой; но все эти картины, являющиеся путешественнику—пейзажами пустыни, и чтобы оценить их по достоинству, нужно прежде всего забыть то, к чему глаз уже привык. Кто не в состоянии понять пустыню, наслаждаться богатством ее красок, переносить ее зной и освежаться ее ночами, тому лучше и не вступать в нильскую долину. Но тот, кто проезжает по области нильских стремнин с открытыми глазами и впечатлительной душой—в особенности если он, плывя на утлом судне, вступает в борьбу с пенящимися и шумящими волнами—всю жизнь будет утешаться этими дорогими воспоминаниями: никогда не побледнеет перед его умственным взором поразительное зрелище, виденное им когда-то наяву, никогда не умолкнет в душе его возвышенная мелодия, которою река наполнила некогда его слух. По крайней мере так кажется мне, исколесившему скалистую долину Нубии по суше и по воде, боровшемуся, плывя на судне вверх и вниз по течению, с волнами реки, с лишениями и опасностями, видевшему нильские стремнины и с вершины крутых скал, и со спины верблюда.

Обыкновенно приходится слышать о трех катарактах Нила. Каждый из них состоит из ряда порогов, которые на протяжении около мили делают судоходство в высшей степени трудным и опасным. В первом катаракте заключается только один порог, достойный этого имени; во втором и в третьем их около тридцати, и каждый из них нубийский кормчий обозначает особым именем. Водопадов, которые делали бы судоходство совершенно невозможным, здесь не встречается; по крайней мере их нет на том пути, по какому, независимо от других проходящих судов, плавают суда, специально построенные и снаряженные для порогов.

Поднимаясь против течения священной реки, оставив за собой долину Египта, замечаешь внезапную перемену в ландшафте. Перед глазами поднимаются скалистые пороги Нубии; вместо однообразной местности, появляются крайне изменчивая. Правда, и пейзаж Египта дает много привлекательных и радующих душу картин; и он украшается в утренние и вечерние часы чудным блеском южного освещения, но в общем он однообразен, потому что везде встречается то же самое—останавливается ли взгляд на песчаниковых или известняковых скалах долины, или блуждает по реке и полям. Одна и та же картина повторяется сотни раз, почти не изменяясь: горы и плодородные равнины, береговые утесы и речные острова, мимозовые рощи, пальмовые группы и сикоморовые заросли, в сущности, имеют один и тот же характер. У скалистых масс первого катаракта, последней преграды, преодолеваемой рекой, в ее стремлении к морю, оканчивается Египет и начинается Нубия. Судно движется уже не посреди величавой и спокойной реки, а прокладывает себе путь между скалистыми массами и утесами, возвышающимися из волн.

Высоко, на круто ниспадающем выступе левого берега виднеется жалкое и в то же время пользующееся большим значением арабское сооружение, гробница шейха Музы, покровителя первого порога, далее изобилующий пальмами остров Элефантина, и тотчас же затем Ассуан. Скалистые массы, с поверхности которых тысячелетняя работа набрасывающихся на них волн не могла стереть надписей, начертанных во времена фараонов, заграждают русло и вынуждают судно к бесчисленным поворотам, прежде чем оно найдет наконец безопасную пристань в тихой бухте, в которую однако звучно доносится шум порогов.

Мы стоим на священной земле. Упомянутыми знаками священного письма древне-египетского народа говорят прошедшие тысячелетия понятным для нас языком. «Аб'ом» или местом слоновой кости, Элефантиной, назывался город на острове того же имени, оставшемся в том же виде, между тем как развалины города почти совершенно исчезли; «Сун» или Сиена было имя поселений на правом берегу, на месте которого лежит нынешний Ассуан.

Элефантина самая южная гавань древнего Египта, в которой выгружались товары, приходившие из внутренней Африки, в особенности и тогда уже высоко ценившаяся слоновая кость; гавань эта была главным городом южного нильского округа; Сун был только деревней, оби-



Нил в верхнем Египте.

таемой рабочими, но по своему значению не уступал Елефантине. Именно здесь, с древнейших времен египетского царства, «мат» или «эфиопский камень» Геродота, который ломали вблизи, подвозился к нильскому берегу и грузился на суда, доставлявшие его к месту назначения; от этого местечка дорогой камень получил имя «сиенита», которое он носит и до настоящего времени. Надписи, находящиеся на памятниках эпохи древнейших царских родов Египта, относящихся ко второму и третьему тысячелетию до нашего летоисчисления, много раз упоминают о местечке Сун, и другие многочисленные иероглифы, даже в лежащих поблизости каменоломнях, свидетельствуют о значении этой деревни, населенной рабочими. В пустыне, на пространстве около двух квадратных географических миль, к востоку от катаракта, простираются каменоломни, где добывались те громадные глыбы, которые, в виде исполинских круглых колонн и обелисков, карнизов и устоев хра-

мов, возбуждают наше изумление, и которыми прикрывались гробницы пирамид, так как можно было рассчитывать, что они вынесут громадные, нагроможденные на них тяжести. «Повсюду, говорит мой ученый друг Дюмихен, мы видим здесь, как работали человеческие руки, частью отделяя ценный камень от скалистых утесов, частью увековечивая изображениями и надписями то или другое событие; повсюду камень здесь превращен в памятник прошлого, и многочисленные надписи, нередко сделанные прямо на высочайших вершинах гор, священные надписи в честь божественной тройственности первой верхне-египетской области, бога катарактов Хнум-Ра и обеих его подруг Сати и Ануке, а также прославление некоторых великих подвигов египетских царей и высших слуг государства, покрывают на большое пространство скалистые стены. И эти надписи отчасти восходят до древнейших времен истории, и все-таки как они юны в сравнении с той работой, какую здесь, в неподдающиеся исчислению тысячелетия, египетский бог солнца Ра совершал над камнями. Повсюду, где представляются нашему взору нетронутые человеческой рукой скалы, они покрыты на поверхности темной и блестящей корою, точно эмалью, между тем как плоскости излома сиенита, которым мы почти с точностью можем приписать древность в четыре тысячи лет, а также и глыбы, лежащие в каменоломнях, еще и теперь выказывают, свойственное граниту, красное окрашивание с полной свежестью, т.-е. они еще слишком молоды, чтобы на них могла образоваться эта кора времени».

С каждой более значительной береговой возвышенности можно обозревать известную часть катаракта. Две пустыни подступают к Нилу и в нем протягивают друг другу руки через сотни небольших скалистых островов. Каждый из этих островов загораживает реку и заставляет ее задерживать свои волны; но с тем большею силою она прорывается между ними. Непрерывно наступая на обломки скалистой плотины, разрушенной ею несколько тысяч лет тому назад, она как будто хочет устранить и уничтожить их, и сердится на их все еще непобедимое упорство: так грозно звучит шум ее вод в ушах наблюдающего ее с высоты, составляя достойный аккомпанимент величественному зрелищу. Беспокойно, как и вечно несущиеся волны, блуждает взор по беспорядочно скученным массам скал; сотни отдельных картин охватывает он разом, и все-таки из них образуется одна величественная, цельная картина, в которой неподвижные, блестящие скалистые массы резко отделяются от белой пены кипящих вокруг волн, от обеих ограничивающих их золотисто-желтых пустынь и безоблачного, темноголубого неба. Особенной прелестью полна верхняя часть порогов. Цепь черных скал, естественная пограничная стена между Египтом и Нубией, тянется поперек Нила, расширяясь обширной дугой по правому и по левому берегу и образуя перед глазами зрителя замкнутую, обставленную скалистыми оплотами, котловину. Стены этой котловины состоят отчасти из цельных масс, отчасти же из лежащих одна на другой в беспорядке круглых, яйцеобразных и угловатых каменных глыб, как будто нагроможденных рукою гиганта. Там и сям отдельные части причудливой ограды выступают вперед и отступают назад; там и сям поднимаются они, как острова из прежнего озера, которое они окружали, прежде чем могучая река проложила здесь себе путь.

Среди развалин, предшествовавших человеку, лежит зеленый, поросший пальмами, остров Филы с величественным храмом. Я не знаю другого, более величавого пейзажа. Окруженный неподвижными тем-

ными скалами, около которых вечно шумят волны, наступающие на его твердыни, дружелюбно осененной зеленью плодовых пальм и благовонных мимоз, этот храм поражает каждого, как символ внутреннего мира среди шумной борьбы. Могучую боевую песнь поет ему река, а пальмы осыпают его знаками мира. Это такое место для чествования величавого божества, которому он был посвящен, что более достойного места и нельзя было бы найти. В подобном уединении, среди такой природы двух учеников, воспитываемых мудрейшими жрецами, должен был крепнуть и развиваться, обращаться к возвышенному и великому, познавать действительное значение тайных, полных высокого смысла, учений и созерцать скрытый образ Саиса.

В союзе трех божеств, Изиды, Озириса и Горуса, которым был посвящен храм в Филах, Изида стояла всех выше. «Изида, великая богиня, властительница неба, властительница всех богов и богинь, которой с ее сыном Горусом и братом Озирисом воздавалось поклонение в этом городе,—высокая, божественная мать, супруга Озириса, владычица Фил», гласят надписи в самом храме. Надписи различными письменами, какие были в употреблении в разные периоды египетской истории, рассказывают и о тех превращениях, какие храм претерпевал в течение веков, пока наконец вторгнувшиеся арабы не изгнали из его святилища христианских священников, заступивших место служителей Изиды.

В настоящее время большая часть Фил обращена в развалины. Вместо торжественных песнопений жрецов, теперь слышится только безыскуственная песня пустынного жаворонка; но волны реки звучат своими могучими мелодиями так же, как и тысячелетия тому назад. Остров опустел, но мир по-прежнему обитает в храме. Несмотря на все превращения, и остров, и храм все еще составляют драгоценное украшение первого порога.

Выше этого места Нил на далекое пространство свободен от скал, но уже не в силах оказывать своего благотворного влияния на берега. С тяжелыми усилиями пытается человек извлечь из реки ту благодать, какою она щедро наделяет другие места. Одно колесо за другим поднимает со скрипом оживляющую влагу на узкие полосы полей на берегу. Но по большей части пустыня с своими скалистыми стенами так плотно подступает к берегу, что не оставляет места ни для полей, ни для пальмовых лесов. На обширных пространствах можно видеть лишь искалеченные сорные растения, между которыми желтый, летучий песок подвигается все ниже и ниже, как будто желая доставить пустыне победу над божественным благодетелем плодородной земли.

На юг от Вадигальфы, самой южной пограничной деревни упомянутой области, течение реки опять стесняется скалистыми островами. Бесчисленные каменные массы, острые скалы и глыбы заставляют реку широко разливаться; хаос скал и воды, подобного которому нигде нельзя встретить на ней, смущает взор. При высоком уровне воды рев крутящихся и пробивающихся между скалами волн заглушает звук человеческого голоса: вода шумит и грохочет, гремит и шипит, как будто заставляя колебаться самые скалы. Выше этого непрерывного столпотворения, высоко поднявшиеся воды Нила представляются в виде широкого тихого озера, но приветливая, украшенная несколькими зеленеющими островами, картина заключена в тесных пределах. Еще выше течение реки опять разделяется бесчисленными утесистыми островами: здесь начинается «Батте эль Гадиар», или скалистая долина, в которой

лежат еще десять порогов, достойных упоминания. Это—самая пустынная местность Нубии и всей долины Нила. По большей части видишь здесь только небо и воду, скалы и песок. Круто, почти отвесно поднимаются из ложа реки утесистые стены берега, и между ними и бесчисленными островами Нил настолько сжат, что во время половодья поднимается от шести до девяти сажен выше своего низшего уровня. Береговые стены гладки, точно отполированы, и так блестят, а днем даже сверкают, как будто лишь за несколько дней перед тем поднялись из подземного огня. Благодетельная река с шумом несется между ними, не оставляя здесь своих следов; только на немногих местах она выказывает свойственную ей благодатную силу. Здесь в заливах, врезывающихся в материк, или позади мысов, отклоняющих могучее течение, она осаждает свой плодородный ил и даже доставляет ему семена. Тогда и в этой пустыне все прозябает и растет, зеленеет и цветет. На островах, где в скалистых расщелинах остается отложившийся ил, в бухтах, которых не касается течение, поднимаются ивы и одинокие мимозы, представители жизни в царстве смерти. Корень за корнем, побег за побегом пускала первая ива, укрепившаяся здесь, и вскоре одела обнаженную почву живительной зеленью. Во время низшего стояния воды постепенно разросшийся кустарник дает новые ветви; во время половодья Нила волны затопляют остров и лес. Выше и выше вздымается река, сильнее и могучее наступают волны,—ивы склоняются перед ними, но тем крепче хватаются за скалу. По целым месяцам вода почти совсем покрывает их, за исключением немногих веток, выступающих над шумящей и кипящей водной поверхностью; но корни их держатся крепко, и с новой жизненной бодростью поднимаются кусты, когда спадает вода. На таких местах суровой пустыни замечается и животная жизнь, подобная той, какую можно видеть в других местностях нильской долины. В ивовых зарослях приютились пары оживленных и крикливых нильских гусей; на скалах устроила себе жилище красивая трясогузка; с береговых стен звучит песня синего дрозда или черного пересмешника; около цветущих мимоз можно встретить здесь первую тропическую птицу—нарядную медососку; от времени до времени попадается толпа маленьких, изящных каменных курочек. Все названные и еще немногие другие животные образуют скудное население скалистой долины, и только во время перелета и здесь нередко собираются многочисленные стаи птиц, следующих по направлению реки, их большой дороги во внутреннюю Африку, и там и сям отдыхающих в долине. Но они спешат улететь оттуда, насколько возможно скорее, так как долина не могла бы прокормить их даже в течение нескольких дней; трудно даже понять, как они находят здесь свое дневное пропитание.

И все-таки это не единственные обитатели водной пустыни. Есть и люди, называющие ее своей родиной. На расстоянии нескольких миль одна от другой там встречаются жалкие соломенные хижины, в которых проводит скудную жизнь нубиец со своею семьей. Небольшая бухта, наполненная плодоносным илом между скалистыми стенами берега, быть может, просто приставший к нему нанос ила, образует бедное владение, обрабатываемое нубийцем. В первом случае он—богач в сравнении с бедняком, который должен довольствоваться лишь случайною грядой ила. С опасностью жизни достигает он вплавь до таких мест берега, куда нельзя проникнуть с прибрежных возвышенностей и где сбывающая вода отложила ил, и засевает освободившийся из воды слой бобами; несколько дней спустя, когда река спала еще ниже, он

повторяет свое посещение и посев, продолжая делать это до полного спада вод. На подобных полях, увеличивающихся вместе с убылью воды, можно видеть бобы во всех периодах роста; можно видеть даже, как невзыскательный земледелец одновременно занимается и посевом, и жатвой. При самых благоприятных обстоятельствах глубоко врезавшаяся, наполненная нильским илом, бухта доставляет возможность устройства водоподъемного колеса для орошения небольшого поля, и счастливый обладатель его имеет возможность держать корову, т. е. жить по меньшей мере сносно, хотя он все еще считается настолько бедным, что даже египетское правительство не решается обременять его податями. Но такие места—редкие оазисы в ужасной пустыне. Лоцман судна, поднимающегося вверх, приветствует каждый куст, каждое пальмовое дерево с заметной радостью, поле, засеянное бобами, быть может, цель долгого ожидания—с восторгом, а водоподъемное колесо—с признательным обращением к всемилостивому Богу. В этой скалистой долине он может познакомиться не только со страхом, но и со всеми лишениями горькой нужды и даже с опасностью голодной смерти, если не запасся провиантом на целый месяц. Идя по течению, судно с достаточным количеством гребцов быстро минует страну ужаса или, по крайней мере, безлюдья и скудости; но, плывя вверх на парусах, оно часто останавливается, точно привязанное, на целые часы и даже дни под защитою скалистой глыбы ниже порога,—и ожидающий благоприятного ветра, страдающий морскою болезнью от постоянного покачивания судна вверх и вниз, путник может пройти и проплыть несколько миль, не встречая ни людей, ни обработанной земли.

На южной границе скалистая долина почти непосредственно сливается с самой плодородной областью средней Нубии. Путник видит здесь охваченное двумя пустынями дно узкого озера, со многими большими островами по средине реки, которая наполнила озеро своим илом и из него же образовала острова. Здесь еще не выказывается все богатство экваториальных стран, но их признаки обозначаются уже в некоторых явлениях растительного и животного мира. Почти непрерывные пальмовые леса, в которых вызревают лучшие в мире финики, ограничивают со стороны пустыни этот привлекательный оазис, в котором работа земледельца вознаграждается богатой жатвой; терновник и различные мимозы, которых не видно было до тех пор, позволяют догадываться, что тропик уже остался позади. К названной выше медососке присоединяются и другие птицы внутренней Африки. На первом же поле, засеянном дурро, при более внимательном наблюдении можно с удовольствием заметить столь же ярко окрашенного, сколько и подвижного огненного зяблика, который здесь живет между стеблями и от времени до времени, подобно светящемуся огоньку, появляется на верху стебля и выполняет свою простую, свистящую, тянущуюся мелодию, возбуждая к такому же занятию подобных себе. В щелях глиняных хижин поселились другие члены его семейства; в садах около домов завели себе оседлость хохлатые голуби; на песчаных отмелях в реке зарыли свои плоские гнезда водорезы—ночные касатки особого вида, которые только с началом сумерек отправляются на охоту, но ловят рыбу, не опускаясь в воду, а летают у самой ее поверхности, бороздя волны глубоко опущенным клювом и хватая мелкую добычу, плавающую в верхних слоях.

Однако этот прелестный клочок земли заключен в тесных пределах. Уже ниже развалин Баркальского храма, пустынные и бесплод-

ные горы опять подступают к реке и оттесняют и плодородную землю, и скудную еще степь. Перед путником, поднимающимся вверх по реке, появляется последняя группа порогов. Область третьего порога не так бедна, как скалистая долина; хорошо обработанные, хотя и узкие полосы полей по обеим сторонам и плодородные островки по средине реки изглаживают впечатление безотрадной скудости, какое вызывает упомянутая долина. Скалистые берега представляют больше ущелий, и изобилуют, так называемыми, каменными морями—беспорядочно нагроможденными осыпями и валами из глыб и валунов, какие оставляют могучие реки, по большей части на высоте передних береговых гор, виднеются глыбы более пятидесяти кубических сажен в объеме, лежащие свободно на относительно небольших подставках; они качаются при сильном ветре и, при помощи рычагов, могли бы быть сдвинуты силою нескольких человек. Во многих местах каменные моря образованы так причудливо, что все эти конусы и пирамиды, валы и стены, хаотически венчающие береговые горы, кажутся построенными по прихоти исполинских гномов. Но еще более, чем эти речные постройки третьей группы порогов придают особый отпечаток старинные здания, воздвигнутые человеческой рукой. На всех удобных выступах береговых скал, в особенности на более значительных скалистых островах, поднимаются постройки с окружающими их стенами, башнями и зубцами, каких нигде более нельзя найти в Нильской долине. Это—твердыни прежних времен, замки бывших военачальников прибрежных обитателей, воздвигнутые для охраны жизни и имущества от враждебных нападений соседних племен. Примитивно сложенные, почти исключительно связанные нильским илом, неотесанные камни образуют фундаменты, а толстые, в настоящее время большею частью разрушенные или разрушающиеся стены из необожженных кирпичей составляют верхнюю часть описываемых замков и обращают на себя внимание не столько своею архитектурою, сколько смелостью исполнения. Так, из средины шумящей реки поднимается обнаженная, совершенно черная, блестящая скала, и на вершине ее виднеется крепость. Бурно шумят волны кругом подножия скалы, но она непоколебимо выдерживает их напор и бережно хранит вверенное ей убежище человека. На стороне, обращенной к нижней части течения, волны уже спокойнее; и здесь, благодаря оживляющей силе реки, появилось новое украшение. В тихой воде в течение веков отлагались слои плодородного ила, и из волн постепенно поднялся остров; человек овладел плодоносным островом, засадил его пальмами и разработал на нем поля; на скале и позади нее возникла приветливая картина обеспеченности и домовитости, приятно поражающая своим контрастом с окружающими ее пустынями—беспокойной водной и безжизненной скалистой.

На южной границе третьей группы порогов начинаются степи и леса тропических стран Африки, в которых скалы только местами подступают к многоводной реке и к ее большим притокам. Более, чем на сто географических миль, Абиад и Азрак—Белый и Голубой Нил, протекают по плодородной, почти плоской местности; затем опять встречается несколько порогов. Но они уже не принадлежат к той картине, какую я пытался набросать в самых грубых очертаниях: страною катарактов Нила может быть названа одна лишь Нубия.

Если остается еще установить, насколько отразилось на нубийце величие его родины или насколько он ей обязан тем, что представляет

собою, то нельзя отрицать, что нубиец настолько же отличается от своего соседа, современного египтянина, насколько его родина отличается от Египта. Он не имеет с египтянином ничего общего ни в наружности, ни в цвете кожи, ни в происхождении, ни в языке, ни в нравах, ни в обычаях, ни даже в верованиях, хотя оба в настоящее время исповедуют, «что нет Бога, кроме Бога и нет пророка Божия, кроме Магомета».

Современные египтяне представляют собою смесь древних египтян и арабских орд, выселившихся из Иемена и Геджаса и амальгамировавшихся с прежними обитателями нижней Нильской долины; нубийцы—потомки «диких блеммиев», с которыми фараоны древнего, Среднего и Нового царства, так же как и Птоломеи, правившие Египтом, вели продолжительные и далеко не всегда победоносные войны. Первые говорят языком, на котором были написаны «откровения» Магомета, вторые—распавшимся в настоящее время на различные ветви наречием эфиопского языка; первые пользуются весьма древней письменностью, последние никогда не имели письменности, исходившей из родного языка. Первые и теперь еще выказывают суровое достоинство древних египтян и сынов пустыни, от которых произошли, всю свою жизнь заботятся со страхом, свойственным всем восточным народам, о загробной жизни и своими воззрениями на нее руководятся в нравах и обычаях, а последние сохраняют беспечную жизнерадостность эфиопских народов и живут, как дети, изо дня в день, принимая все, что им полезно, без благодарности, все, что им тяжело,—с громкими жалобами, и, под влиянием минуты, легкомысленно забывая и то, и другое. Обоих давит с равною тяжестью иго чужеземного властителя, но египтянин несет его со стоном и ропотом, а нубиец—равнодушно и покорно: первый—раздраженный невольник, второй—добровольный слуга. Каждый египтянин ставит себя выше нубийца и, по своему происхождению, языку и нравам, считает себя благороднее его, хвастается своим образованием, хотя последнее может быть признано достоянием весьма немногих из его народа, и старается настолько же безусловно подавлять темнокожего нубийца, насколько сам без сопротивления подчиняется гнетущему его рабству. Нубиец вполне признает физическое превосходство египтянина и умственное образование выдающихся людей соседнего народа, и хотя тоже склонен подчинять своей власти менее одаренных или менее сильных обитателей внутренней Африки, но в то же время обращается по-братски с купленным негром и, повидимому, терпеливо переносит свое угнетение после тщетных попыток выйти победителем из борьбы с ним. Он и в настоящее время вполне первобытный человек, тогда как египтянин—печальное явление разложившегося и все более и более разлагающегося народа. Нубиец на самой скудной почве сохранил известную свободу, а египтянин на богатейшей земле превратился в невольника, который едва ли когда-нибудь отважится стряхнуть с себя цепи, хотя постоянно хвастливо распространяется о своем великом прошлом.

И тем не менее, нубийцы имели бы такое же, если не большее право, чем нынешние египтяне, рассказывать о подвигах своих отцов, прославлять их и стараться подражать им. Предки их дрались храбро не только с фараонами и с римлянами, но и с турками и арабами, властителями и подданными современного Египта, и должны были им подчиниться потому только, что у них не было страшного огне-

стрельного оружия. Во время моего первого путешествия по областям Нила еще были живы очевидцы этих битв, о которых я узнал из их уст, и мне хотелось бы с точностью передать их рассказы, чтобы по крайней мере в одном отношении отдать должное мужественному, неверно оцененному народу. События, о которых здесь идет речь, приходятся на первые годы третьего десятилетия нашего века.

После того, как Магомет-Али, столь же энергичный, сколь беспощадный и жестокий основатель правящей династии современного Египта, в марте 1811 года вероломно напал на приглашенных им вождей мамелюков и перерезал их, его владычество над областью нижнего Нила казалось обеспеченным. Но гордая военная каста, главы которой были истреблены с помощью позорной измены и низкого коварства, была подчинена еще не вполне. Горя желанием мести, мамелюки избрали новых вождей из своей среды и направились в Нубию, намереваясь сосредоточиться здесь, чтобы вступить в новую борьбу с вероломным врагом или по крайней мере угрожать ему. Магомет-Али понял опасность и не замедлил выступить ей на встречу. Его войско преследовало по пятам еще рассеянные шайки мамелюков. Последние, будучи слишком слабыми, чтобы отважиться на бой в открытом поле, бросились в укрепления, и там, сражаясь отчаянно, с полным презрением к смерти, пали все до последнего человека. Одновременно с ними и нубийцы были побеждены и обращены в рабство, так как они покорились победителям. Только храброе племя опытных в боях шейкиев выступило в 1820 г. против турецко-египетских войск у деревни Корти, при чем эти героически храбрые, нестройные толпы, вооруженные копьями, мечами и щитами, имели своими противниками избалованных победами, правильно обученных, вооруженных огнестрельным оружием солдат. По древнему обычаю, и женщины с детьми находились поблизости поля сражения, чтобы воспламенять мужей к битве громкими боевыми криками, поднимать над головами детей, показывая их сражающимся отцам, и, таким образом, возбуждать их к подвигам безумной храбрости. Действительно, нубийцы сражались достойно своих предков; они подступали к орудиям, извергавшим смерть и гибель в их ряды, они рубили своими длинными мечами эти мнимые чудовища, оставляя глубокие следы мечей на железных стволах, но египтяне победили: не храбрость, а превосходство оружия решило участь битвы. При резких, отчаянных криках женщин, темнокожие герои обратились в бегство. Но женщинами овладело дикое исступление: предпочитая славную смерть позорному рабству, они, прижимая детей к груди вместе с ними, бросались сотнями в реку, окрашенную кровью их мужей. Пустыни по обеим сторонам реки не давали беглецам возможности достигнуть безопасных мест, и им осталось только покориться и склонить головы, которые они до сих пор носили прямо и гордо, под ярмо победителей.

Древняя доблесть вспыхнула еще раз ярким пламенем. Один из вождей, прославляемый преданием, Мелик эль Нимр, «король-барс», собрал свой народ в Шееди, в южной Нубии, потому что бич жестокого победителя показался ему невыносимым. Измаил-паша, сын властителя Египта и предводитель его войск, относился к нему недоверчиво; прежде, чем Мелик Нимр окончил свои вооружения, он появился, воспользовавшись всеми находившимися на месте судами, перед Шееди и поставил Мелик-Нимру неисполнимые требования, чтобы понудить его к безусловной покорности. Мелик-Нимр увидел угрожавшую ему

гибель и решился действовать. В то время, как он притворился покорным, его горцы поспешно переходили от одной хижины к другой, раздувая повсюду в яркое пламя тлевшие под пеплом искры восстания. Хитрым обманом заманил он Измаила-пашу с безопасного судна в свое окруженное густой терновой изгородью, просторное и тем не менее соломенное королевское жилище, около которого были сложены громадные кучи соломы, представлявшие, по уверению «короля-барса», заготовленный корм для верблюдов, требуемый пашой.

Мелик-Нимр желает устроить своему господину и властителю великолепное празднество, какого Измаил еще никогда не видал; он просит у него позволения пригласить всех офицеров египетского войска и получает разрешение паши. Военачальники, штаб и офицеры соединяются за пиршеством, устроенным в королевском жилище. Перед колючей изгородью гремит тарабука, местный барабан, возбуждающий к танцам и к битве; молодежь, только-что смазавшая себя жиром, предается веселым пляскам. Бросаемые копья свистят в воздухе и с удивительной ловкостью отражаются плясуном противоположной стороны посредством маленького щита; длинные мечи двух витязей, кружащихся в военном танце, угрожают голове противника и не менее искусно отклоняются щитом и клинком. Измаил услаждается видом прекрасных темнокожих юношей, грациозными движениями их гибких членов, смелостью нападений, уверенностью защиты. Все более и более сгущается толпа перед залой пира, все в большем и большем количестве выступают пляшущие с мечами, все сильнее и необузданнее становятся их движения и, соразмерно с тем, все учащаются звуки барабана. Вдруг тарабука начинает выбивать другую мелодию, и сотни раз повторяется она во всех частях Шееди, так же, как и в соседних деревнях по сю и по ту сторону Нила. Пронзительный крик женских голосов на самых высоких нотах прорезывает воздух; женщины, обнаженные до бедр, с пылью и пеплом на смазанных жиром волосах, с факелами в руках стремятся отовсюду и бросают факелы на стены королевского дворца и на окружающие его соломенные кучи. Громадный сноп пламени взлетает к небу, и в огонь, из которого слышатся крики ужаса и боли, проклятия и жалобы, тысячами летят смертоносные копья военных плясунов. Ни Измаилу-паше и ни одному из участников пира не удалось избегнуть мучительной смерти.

Борцы за порабощенный народ как будто вырастают из земли. Каждый способный носить оружие обращается против жестоких врагов; женщины, забывая свой пол, выступают в рядах сражающихся, старцы и отроки, с силой и выносливостью мужчин, стремятся к той же цели. Шееди и Метамме в одну ночь освобождены от врагов; лишь немногие из египтян, размещенные по деревням, спасаются от кровопролития и приносят ужасную новость второму военачальнику, находящемуся в Кордофане.

Этот последний, Магомет Бей эль Дефтердар, еще и теперь называемый нубийцами «эль джелад»—палач, спешит со всеми своими силами в Шееди, во второй раз разбивает нубийцев и приносит в жертву своей ненасытной мести более половины тогдашних обитателей несчастной страны. «Королю-барсу» удается бежать в Абиссинию, но его подданные должны склониться перед чужеземным властителем, и дети их, говоря словами моего спутника, «выросли в крови своих отцов».

После этих несчастных дней нубийцы стали уже покорными рабами своих притеснителей.

Нубийцы, или барабра, как они себя называют—среднего роста, стройного и соразмерного сложения, с относительно небольшими, красивыми по форме, руками и ногами, по большей части с приятными чертами лица, миндалевидными глазами, длинными, прямыми или изогнутыми носами, несколько уширяющимися лишь у ноздрей, с узким ртом, мясистыми губами, крутым лбом и продолговатым подбородком, что, все вместе, сообщает им привлекательное выражение; волосы их тонки, слегка курчавы, но не шерстисты, и цвет кожи выказывает разнообразные оттенки—от цвета черного дерева до темнобурого. Они держатся прямо, ходят легкой походкой, как будто едва касаясь земли, и в движениях ловки и грациозны, выгодно отличаясь в этом отношении от негров стран верхнего Нила. Мужчины либо совсем выбривают волосы на голове, либо оставляют только пучок на темени, и покрывают голову плотно прилегающей белой шапочкой (такиэ), которую в праздничные дни они обертывают иногда куском белой ткани, в виде тюрбана. Большой кусок ткани, от девяти до тринадцати аршин длиною, служит для прикрытия верхней части тела; короткие панталоны и сандалии, а по праздникам белое или голубое одеяние в виде талара, составляют прочие части одежды; кинжал, который носится на левой руке, и копье во время пути служат оружием, а кожаные свертки, заключающие в себе амулеты и мешечки, которые на шнурках вешаются на шею, служат единственным украшением мужчины. Женщины заплетают волосы в сотни маленьких, тонких косичек и обильно смазывают их бараньим салом, коровьим или клещевинным маслом, распространяя на далекое расстояние невыносимый для нас запах, татуируют различные части лица и тела посредством индиго, губы часто окрашивают в голубой, а ладони всегда в красный цвет, шею украшают стеклянными бусами, янтарными ожерельями, мешечками с амулетами и т. п., лодыжки—оловянными, костяными или роговыми, а уши, ноздри и пальцы серебряными кольцами, нижнюю часть тела прикрывают передником, доходящим до ступней, обертывая его вокруг бедр, а на грудь и плечи накидывают такой же кусок материи, как и мужчины, драпируя его живописными складками. Мальчики до шестого или восьмого года ходят нагими, а девочки с четвертого года носят короткий фартук, состоящий из тонких ремешков, иногда с украшениями из бус и раковин.

Нубийцы, обитающие в речной долине, живут в четвероугольных домах, более или менее кубической формы, построенных из необожженных кирпичей, или в легких деревянных постройках, крытых соломой и представляющих обыкновенно одну жилую комнату с низкой дверью и отдушинами вместо окон; внутренность их представляет самое простое устройство. Возвышенная постель (аукареб), с натянутыми на ней плетенными ремнями, превосходно сделанные простые ящики, почти непроницаемые корзины, кожаные мехи, урны для хранения воды, пива из дурры и пальмового вина, ручные мельницы или камни для размалывания зернового хлеба, железные или глиняные плоские блюда для печенья хлеба, чашки из тыквы, топор, бурав, несколько мотыг и проч., составляют домашнюю утварь, циновки, занавеси, перегородки и доски для спанья—мебель, котлы, плоские плетеные тарелки и крышки к ним—посуду, встречающуюся впрочем не

во всякой хижине. Пища этих людей состоит преимущественно, а во многих местах исключительно, из растительных веществ, молока, масла и яиц. Более растертые, чем размолотые зерна перерабатываются в тесто, из которого печется плотный хлеб; последний употребляется в пищу без всяких приправ или с молоком, или же с густыми похлебками из различных растительных веществ, в благоприятных случаях, с примесью волокон мяса из высушенных на солнце тонких кусков его и кроме того с большим количеством острых пряностей. Более алчности, чем относительно кушаньев, выказывает нубиец, когда дело идет о напитках; всякий одуряющий напиток местного или иноземного происхождения всегда находит в нем истинного ценителя, чтобы не сказать, неумеренного потребителя.

Нравы обитателей долины среднего Нила обнаруживают в настоящее время странную смесь унаследованных и приобретенных обычаев. Без дальних слов легкомысленно отдается нубиец всему чужому и, повидимому, забывает все, искони свойственное ему. Можно сказать, что к последователям ислама он принадлежит более по имени, чем на деле; он далеко не строго придерживается постановлений своей веры и не выказывает нетерпимости к последователям других религий. До вступления в зрелый или преклонный возраст он редко исполняет веления Пророка и, во всяком случае, не так ревностно, как турки или арабы. Он обрезывает своих детей мужского пола, выдает замуж дочерей, обращается с женами, хоронит покойников, справляет праздники—по заветам ислама, но считает вполне достаточным для себя выполнение этих внешних предписаний своей религии. Пение и пляски, веселое препровождение времени, игры и попойки привлекают его более, чем учения и веления корана, благочестивые упражнения, основанные на толковании духовенства, подвиги покаяния или посты, столь свято соблюдаемые другими магометанами.

Тем не менее никто не назовет нубийцев бесхарактерными, слабодушными, несамостоятельными, недостойными доверия, одним словом, дурными людьми. В нижней Нубии, где жители ежегодно имеют дело с сотнями, по их мнению, богатых и щедрых чужеземцев, они, правда, становятся бесстыдными и несносными попрошайками; чужие страны, в которых необходимо бывать нубийцу, так как его бедная родина не в состоянии доставить ему пропитания, не способствуют облагорожению его; но вообще его по справедливости можно назвать честным и добродушным существом. Правда, в настоящее время в нем часто не замечается силы воли его отцов, но в нем нет недостатка в мужестве и храбрости; он кажется более кротким и добрым, чем египтянин, но оказывается на деле не менее достойным доверия и выносливым, чем последний, когда дело касается трудных или опасных предприятий. Его родина скудна и непроизводительна, и все-таки он привязан к ней всею душой и с трогательною любовью вспоминает о ней на чужбине; единственная его мечта, ради которой он работает, терпит лишения и делает сбережения,—вернуться в зрелом возрасте домой, чтобы там провести остаток своих дней; родина заставляет его вести непрерывную борьбу за существование и закаляет его физические и умственные силы; бушующая река, с которой он борется не менее упорно, чем со своей каменистой почвой, возбуждает и укрепляет в нем мужество и уверенность в себе, научая его хладнокровно взвешивать опасность. Благодаря таким приобретенным качествам, нубиец становится верным слугою, достой-

ным доверия путевым путником, подвижным джеллаби или купцом и в особенности предприимчивым, неустрашимым лоцманом.

Можно подумать, что родители-нубийцы правильно подготовляют сыновей с ранней юности ко всякого рода службе, какую впоследствии, придя в возраст, они должны будут нести. Но так же, как в Египте, в Нубии дети бедного человека почти не получают воспитания; самое большее, если их приучают к работе или, вернее сказать, пользуются ими по мере их сил. Как бы мальчик ни был мал, он должен нести известную службу, отправлять какую-либо должность; как бы ни слаба была девочка, она должна помогать матери во всех обязанностях, какие лежат на женщинах этой страны. Однако, между тем, как в Египте детям почти не доставляется удовольствия, в Нубии, по мере возможности, допускаются веселые детские игры. В Египте мальчик бывает слугою, а девочка—невольницей этого слуги, и они не знают радостей детства, а в Нубии даже почти взрослые люди остаются по характеру детьми. Поэтому первые кажутся нам неестественно серьезными, как их отцы, а последние—веселыми, как их матери. Одну общераспространенную любимую детскую игру знает каждый путешественник и с удовольствием наблюдает ее, так как в ней соединяются ловкость и грация движений, выдержка и смелость, более чем в какой-либо другой игре; я говорю об употребительной в целом свете игре, заключающейся в беганье и преследовании. По окончании работы мальчики и девочки собираются вместе. Первые оставляют водоподъемное колесо, двигаемое быками, которых они должны были гонять с раннего утра до солнечного заката, поле, где они помогали отцу, молодого верблюда, которого учили бегать рысью; последние—младшего брата или сестру, которых они скорее таскали, чем носили, хлебное тесто, за брожением которого должны были наблюдать, ручную мельницу, на которой упражняли свои молодые силы,—и все спешат к берегу реки. На мальчиках нет никакой одежды, на девочках надеты передники из мелких ремешков. Со смехом и болтовней несется вся эта толпа; точно темные муравьи, кишит она на золотисто-желтом песке, по темным скалам и в их промежутках. Пестро перемешанные между собою, становятся в ряд преследователи, которые должны ловит бегущего. Последний выступает на известное расстояние вперед, подает знак начала игры, и все следуют за ним по пятам. Как газель, мчится он по песчаной равнине к ближайшим скалам, и, как стая борзых собак, гонится за ним шумная гурьба; подобно дикой козе, взбирается он на скалу, куда не менее искусно устремляется вслед за ним проворная толпа его товарищей; напоминая собою испуганного бобра, кидается он в реку, чтобы спрятаться, ныряя в волнах, чтобы спастись,—но и в водной стихии преследуют его и мальчики, и девочки, шлепая по воде, как плывущие собаки, с криками, болтовней, смехом и визгом точно ныряющие, крякающие утки. Долго успех состязаний клонится то в ту, то в другую сторону, и нередко случается, что все переплывают через широкий Нил, прежде чем отважный беглец попадается в руки товарищей. Родители веселой толпой стоят в это время на берегу и радуются ловкости, мужеству и выносливости своего потомства; и европеец не может не признать, что ему нигде не приходилось видеть более жизнерадостных существ, чем эти стройные, красивые дети с темной, блестящей кожей.

Из мальчиков, играющих таким образом, выходят люди, которые отваживаются плавать на судах между порогами, итти в лодке на ве-

слах по несущимся вниз, подскакивающим, крутящимся и шумящим волнам, и даже итти на парусах навстречу им, люди, которые для плавания не всегда нуждаются в лодках, а смело пускаются в путь на жалких плотах, собранных из связанных стеблей дурры или на непроницаемых для воздуха, надутых кожаных мешках. Эти нубийские лоцманы и пловцы так ясно и твердо смотрят в лицо опасности, что, очевидно, волны реки не нашептали им никаких сказок или легенд. Они не знают ни русалок, ни других водяных существ, ни добрых, ни злых гениев, и их святые покровители, помощи которых они просят до плавания и во время его, отвращают только силы судьбы, а не злую волю коварных духов. Язык саги остался немым на порогах, хотя вся их область представляет наилучшее местообитание для сказочных существ, и плавающий по ней слишком часто может найти случай для веры в действительную силу враждебных человеку духов.

Пороги можно проезжать, спускаясь вниз по реке, при высоком и среднем, а поднимаясь вверх, при среднем и низком стоянии воды. В то время, когда уровень Нила всего ниже, каждое судно, спускающееся вниз, было бы разбито, а во время половодья даже самые большие паруса не могли бы поднять крупных судов вверх. При низком стоянии реки, чтобы поднять кверху барку средней величины, нужны сотни людей; во время половодья они не имели бы возможности поместиться на немногих незатопленных скалистых островах по обеим сторонам русла. Самая высокая вода наиболее пригодна для плавания вниз, а средний уровень, по той же причине, наиболее удобен для обратного направления, так как почти правильно дующие в это время северные ветры способствуют движению на парусах.

Суда, предназначенные исключительно для службы в области порогов, своей незначительной величиной, конструкцией, оснасткой и формой парусов существенно отличаются от других нильских судов. Остов первых содержит лишь немного кокор, и планки скрепляются вбитыми наискось, соединяющими узкие края их, гвоздями; парус у них не треугольный, а ромбоидальный, прикрепленный к двум реям таким образом, что при помощи нижней, смотря по надобности, можно или убрать паруса, или подставить ветру большую площадь. Конструкция и оснастка оказывается как нельзя более целесообразными. Незначительная величина и длина судна позволяют делать самые крутые повороты; скрепление планок придает корпусу судна упругость и гибкость, весьма полезные при частых толчках о камни; наконец, постановка парусов, которая может быть регулирована сообразно силе ветра или течения, дает возможность приблизительно равномерно преодолевать крайне изменчивое сопротивление. Тем не менее, в области порогов суда двигаются и вверх, и вниз не по одиночке, а по нескольку, чтобы оказывать друг другу взаимную и своевременную помощь.

Непосредственно после отплытия с места нагрузки или с ночной стоянки флотилия, идущая вверх по реке, представляет красивую, привлекательную картину. На всех фарватерах реки развеваются паруса, между темными скалами их виднеется до двадцати и более. Вначале суда находятся почти на равных расстояниях друг от друга; но вскоре течение и сила ветра нарушают первоначальный порядок. То или другое судно все более отстает, а некоторые оставляют главную часть флотилии позади себя, так что, уже по истечении часа, обра-

зуется значительный промежуток между передним и задним судном. Движение, даже при сильном и постоянном ветре, совершается гораздо медленнее, чем должно бы быть. Правда, волны разбиваются с шумом о нос судна, но последнее вынуждено бороться с таким сильным падением, что может подвигаться вперед лишь весьма тихо. Искусство заключается в том, чтобы судно делало как можно менее изгибов и все-таки избегало лежащих под водою скалистых глыб, так как каждый поворот вызывает необходимость изменять положение неуклюжих парусов, а каждый толчок в дно образует течь. Поэтому лоцман и матросы должны работать без перерыва. Но настоящая работа начинается для них лишь в виду одного из бесчисленных порогов, чрез которые нужно пробраться. Только отчасти развернутый парус теперь распускается вполне и подставляется под ветер; барка несется, как сильный пароход, через хаос скал и попадает в кружащийся водоворот. Все матросы стоят у выдвинутых весел и приготовленных канатов, чтобы тотчас пустить их в ход, если судно, как это вероятно и случится, будет схвачено водоворотом и начнет в нем кружиться. По приказанию лоцмана, весла на одной стороне опускаются в воду; с другой стороны длинными шестами упираются в скалы, чтобы не дать судну удариться о них; парус, управляемый самыми опытными матросами, поворачивается во все стороны, то уменьшаясь, то увеличиваясь. После одной, двух, шести, десяти напрасных попыток пройти через водоворот, наконец, добиваются того, что судно достигает нижнего конца его. Но здесь оно останавливается, точно привязанное: давление ветра и волн находится в равновесии между собой. Ветер усиливается, и судно подвигается на один или на несколько аршин вперед; давление на паруса ослабевает, и волны отбрасывают судно на прежнее место. Опять начинает оно борьбу с водоворотом, и опять должно уступать последнему. Теперь все дело в том, чтобы удержаться у счастливо достигнутой цели. Один из матросов берет канат в зубы, таща его собой, бросается в разъяренные волны и пытается добраться вплавь до выступающей из бушующей реки скалистой глыбы, лежащей выше судна. Волны отбрасывают, заливают его, но он повторяет свои попытки, пока не убедится, что его силы слишком слабы в сравнении с могучими силами реки, и тогда, по данному им знаку, его притягивают обратно на судно. Грозя разрушением, водоворот и волны опять начинают играть столь хрупким, в сравнении с их силой, судном; еще раз ветер, преодолевая их, подвигает судно вперед. Вдруг слышится тревожный треск; рулевой в ту же минуту срывается со своего места и, описывая в воздухе высокую дугу, летит в реку: судно наскочило на одну из скрытых под водою скал. Поспешно один из матросов хватается за руль, немедленно другой бросает борющемуся в волнах рулевому надутый воздухом, привязанный к веревке мех, а остальные, не теряя ни минуты, с молотком, долотом и паклей в руках, кидаются в трюм, чтобы тотчас же заделать неизбежно образовавшуюся пробоину. Стоящий у руля, насколько возможно, оберегает судно от новой беды; выкупавшийся рулевой поднимается из мутных волн, произнося скорее в виде стона, чем молитвы, «Эль гамди лиллаги»—благодарение Богу; прочие стучат молотками, законопачивают отверстие и останавливают приливающую воду; один жертвует даже своей рубашкой, чтобы плотнее заделать пробоину, вобравшую уже в себя весь запас пакли. И опять судно плывет по водовороту и волнам, раскачиваясь, издавая стоны и треск, как морской ко-

рабль в бурю. Опять подходит оно к порогу, и опять задерживается там ветром и волнами.

Два матроса одновременно спрыгивают в реку, напрягая все силы, борются с волнами, счастливо достигают намеченной скалы, обвязывают ее одним концом каната и дают знак другим, чтобы те подтянули судно. Это удается; привязанное к скалам, стоит судно среди сильнейшего прибоя валов, непрерывно поднимаясь вверх и опускаясь вниз так, что эти движение может вызвать морскую болезнь и действительно вызывает ее. Приближается другое судно и просит о помощи. При посредстве надутого меха ему бросают канат и таким образом избавляют его от потери времени и работы. Вскоре и оно становится, а затем и третье, и четвертое, у тех же скал, и все одновременно подпрыгивают вверх и вниз. Теперь соединенные судовые команды достаточно многочисленны и сильны, чтобы закончить переход. Вдвое большее число матросов, чем их находится на каждом судне, занимают на одном все нужные посты; прочие плывут, идут вброд и карабкаются, таща за собой канаты, к скалистому острову выше порога, и перетаскивают одно судно за другим через шумящие пороги, присоединяя свои силы к давлению ветра. Иногда достаточно и одного действия ветра на паруса, чтобы достигнуть цели; однако при таких благоприятных обстоятельствах и судно, и команда могут подвергнуться большой опасности, если ветер ослабеет. Часто судну приходится оставаться среди бушующих волн по целым часам и даже дням, в ожидании благоприятного ветра. В таких случаях можно видеть на каждом выступе скал прицепившееся к нему судно, причем другое ничем не может помочь ему.

Много раз приходилось мне устраиваться на ночь на одной из черных скал, потому что сильное движение судна, поднимаемого и бросаемого водоворотом, не давало спать. Трудно представить себе более страшный ночлег. Кажется, будто скала, на которой лежишь, колеблется от наступающих на нее волн; шум и рев, шипение и грохот, удары и гром валов заглушают всякий другой звук: приходится молча сидеть или лежать на своем ковре среди спутников. Точно проносящийся мимо туман, мелкий, похожий на пыль дождь обрызгивает, при каждом порыве ветра, скалистый остров. Живительный огонь лагерного костра бросает причудливый свет на камни, и темная, кипящая около всех выступающих углов и ребер, вода придает водоворотам, находящимся в тени, вид еще более ужасный, чем в действительности. Можно подумать, что открывается множество чудовищных зевов, чтобы поглотить несчастных странников. Но уверенность последних так же непоколебима, как та скала, на которой они устроили себе ночлег. Пусть могучая река шумит, волнуется, бушует и пенится, сколько хочет; на скале, сопротивляющейся ей целые тысячелетия, чувствуешь себя вполне спокойным. А если бы канат оборвался, и спасительное судно было выброшено на соседние скалы и там разбито? Тогда появилось бы другое, чтобы доставить потерпевших крушение на берег. Засыпаешь и спишь спокойно, несмотря на подобные мысли и непрерывающийся грохот: опасность придает мужество, а мужество придает уверенность, и для оглушенного уха шум волн под конец становится убаюкивающей песней. Но каково пробуждение на следующее утро! На востоке небо пылает ярко-красной зарей; старые скалистые великаны набрасывают на свои плечи пурпурную мантию и блестят в ярком свете, как будто сделанные из полированной стали. Свет и тени придают пустыне, на чер-

ных скалистых массах и в расщелинах, наполненных золотисто-желтым песком, чудную, невыразимо-величественную цветную одежду; тысячи водяных жемчужин блестят и сверкают в промежутках, и шумящая река поет свою могучую, всегда одинаковую и всегда разнообразную мелодию. Такое зрелище и такая музыка наполняет мужественное сердце чувством удовлетворения и восторга. В настоящем благоговении проходит утро для созерцателя; лишь перед полуднем поднимается ветер, правильно дующий к югу и могущий напрягать паруса. Вместе с ним опять начинается работа и опасность, забота и борьба, и так проходит день за днем, и порог за порогом остаются позади судов.

Путешествие вверх по реке исполнено тревог и требует много времени; плавание вниз представляет отчаянное предприятие, не имеющее себе равного: это—безумная скачка по волнам и порогам, водоворотам и стремнинам, водопадам и ущельям, игра, в которой жизнь ставится на карту.

Плавание вниз через область всех порогов предпринимается только на судах, построенных в Судане и предназначенных для нижнего течения. Из ста судов около десяти разбивается на пути; если не погибает соответственное число матросов, то это объясняется исключительно неподражаемым искусством плавания нубийских корабельщиков, которые не всегда тонут, даже и в том случае, когда волны бьют их о скалу, обыкновенно же ныряют в волнах, как утки, и под конец непременно достигают твердой земли.

Я постараюсь набросать с возможной точностью несколько картин плавания вниз по реке.

Шесть вновь построенных судов из тяжелго мимозового дерева, очень ценимого в Египте, стоят на южной границе третьей группы порогов, прикрепленные к берегу реки; команда их отдыхает на песке между черными глыбами скал, где она провела ночь. Еще раннее утро, и в лагере все тихо; одна река говорит в пустыне свою шумную речь. Рассвет пробуждает спящих; один за другим спускаются они к реке и совершают установленное законом омовение, в виде молитвенного приветствия утренней заре. После «предписанных» и «добавочных» молитв все подкрепляются скудным завтраком; затем и старый, и юный спешат к гробнице шейха или праведника, белый купол которой сверкает в темной долине между светло-зелеными мимозами, чтобы здесь, под предводительством самого старого лоцмана, заступающего место имама, принести особую молитву о счастливом плавании. По возвращении к судам, следуя древнему языческому обычаю, бросают в реку, в виде жертвенного дара, несколько фиников.

Теперь каждый лоцман приказывает своей команде становиться на места. «Отвяжите канат! Гребите, люди, гребите, гребите во имя Бога всемилостивого!» раздается его приказание. Затем он запевает, повторяя все тот же припев песни; один из гребцов подхватывает мелодию и поет одну строфу за другой; прочие аккомпанируют ему произносимыми в такт словами: «Помоги нам, помоги нам, о Магомет, помоги нам, Божий посланник и пророк!»

Медленно подвигается барка к средине реки; все скорее и скорее скользит она вниз по течению; через несколько минут, все ускоряя свой ход, она быстро несется между скалистыми островами выше порога. «О Саид, пошли нам радость!» молит лоцман, а матросы поют по-преж-

нему. Быстрее и быстрее опускаются весла в мутные волны; по темным, лишь накануне намазанным жиром, обнаженным до бедр, телам матросов струится пот; каждый мускул у них напряжен и находится в действии. Похвала и порицание, льстивые слова и брань, просьбы и угрозы, благословения и проклятия чередуются в устах лоцмана, смотря по тому, насколько судно подвигается согласно его желаниям. Удары весел, предназначаемые для удержания судна в известном направлении, благодаря величайшему напряжению сил, ускоряют и без того необычайно быстрый ход барки и нередко увеличивают опасность, вместо того, чтобы ее отклонять; поэтому лоцман считает себя в праве применять все средства, находящиеся в его распоряжении, для возбуждения энергии своих людей. «Налегайте на весла, работайте, работайте, сыны мои; покажите вашу силу, внуки и потомки богатырей; докажите ваше мужество, о храбрецы; прославьте Пророка, о, правоверные! О, мерыза! о, благоухающая девушка Донголы! о, сказки Каира—все будет ваше! Левый борт, говорю я, собаки, собачьи вы дети, внуки, правнуки и потомки собак! Вы, христиане, язычники, иудеи, кафры, огнепоклонники! Ах, вы мошенники, шельмы, воры, плуты—будете ли вы грести? Первое весло, правый борт—что за баба там сидит? Третье весло, левый борт—в воду слабосильных! Так, отлично, превосходно! Вы—здоровенные, ловкие, проворные молодцы; да благословит Бог вас, храбрецов, да пошлет радость вашим отцам, спасение и благословение вашим детям! Лучше, еще лучше, трусы вы, бескровные, несчастные—да накажет вас Алах в праведном гневе, ах, вы... помоги нам, помоги нам, о, Магомет!» Все это без перерыва слышится из уст кормчего, и все это говорится и выкрикивается грозно или жалобно, подкрепляясь соответственными движениями ног, рук и головы.

Барка подвигается к верхнему началу порога. Скалы по обеим сторонам как будто вращаются в водовороте; валы с грохотом заливают борт и палубу и заглушают команду. Хрупкое судно неудержимо несется на выступ скалы; страх, тревога, ужас изображаются на всех лицах,—но опасное место лежит уже позади кормы: отскакивающие от скалы волны отбросили находившееся в опасности судно; только два весла, точно стекло, разбились о камни. Их потеря препятствует правильному управлению баркой, и, уже не слушаясь руля, несется она к настоящему водовороту. Раздается общий крик, выражающий ужас и отчаяние; лоцман, упираясь в руль дрожащими коленями, подает знак: все бросаются плашмя на палубу и судорожно стараются удержаться на ней; раздается оглушительный треск, и всех окатывают шипящие, плещущие волны; с минуту вода как будто всем завладевает; затем барка буквально подпрыгивает: стремнина пройдена, и смертельная опасность миновала. «Эль гамди лиллаги!»—благодарение Богу! вырывается из каждой груди; некоторые спешат в трюм, чтобы отыскать и заделать образовавшуюся пробоину; другие вновь налегают на весла,—судно несется дальше.

За первой баркой через опасное место несется другая. С неудержимой, все ускоряющейся поспешностью работают гребцы; вдруг все падают на пол, и один из них, описывая в воздухе высокую дугу, летит в воду. Кажется, он погиб, погребен в бушующей глубине; однако нет: среди кружащегося и пенящегося водоворота бесподобный пловец, в то время, когда его товарищи беспомощно ломают руки, показывается из воды, и когда третья барка, следуя за второй, засевшей на скалистой

глыбе, проносится мимо и попадает в водоворот, пловец схватывается за одно из весел и ловко доплывает до борта,—он спасен. И четвертое судно стремится туда же; умоляющими жестами команда второго судна, потерпевшего крушение, просит о помощи. Красноречивым ответом служит указание на небо. Действительно, человеческая помощь в этом случае бессильна, так как никакое судно здесь не находится во власти человека; должна помочь сама река, если не хочет губить, и она помогает. Колебания вперед и назад погружающегося в волны и опять поднимающегося судна становятся сильнее и сильнее, и вдруг оно уже кружится и несется через водоворот и течение. Одни матросы гребут; другие вычерпывают воду, так же, как и две женщины, находящиеся на барке; третьи стучат молотками, заколачивают и конопатят в трюме. Наполовину наполненное водою, едва держащееся на поверхности, судно достигает берега и разгружается; но половина груза, состоящая из аравийской камеди, погибла; с жалобами, стоном, плачем и проклятиями, обращенными к женщинам, путешествующим с мужчинами, собственник этого товара, небогатый купец, рвет себе бороду. Виною всему женщины; могут ли женщины, погубившие первого человека в раю, принести спасение и благословение правоверным мусульманам? Горе вам, женщины, и всему вашему роду!

На следующий день барка исправляется, вновь проконопачивается и нагружается; затем она плывет, вместе с другими, к ближайшим порогам, проносится через них без дальнейших повреждений и достигает плодородной, свободной от скал долины средней Нубии, которая гостеприимно встречает и принимает всех плавающих по реке. Тяжелая забота, мучившая всех, тотчас же забывается: как дети, смеются и шутят темнокожие люди и с наслаждением глотают пальмовое вино и меризу. Слишком быстро для их желаний река проносит барку через счастливую страну.

Опять пустыня осыпает золотисто-желтыми песками береговые скалы; опять скалистые острова стесняют, разделяют, загораживают ложе Нила: суда вступают во вторую группу порогов. Один опасный водоворот за другим, одна страшная стремнина за другой, одно внушающее заботу ущелье за другим остаются позади, будучи счастливо пройдены; одни лишь последние и самые ужасные пороги отделяют пловцов от осененной пальмами деревни Вадигальфы и от безопасного нижнего течения, прерываемого скалами только в одном месте, ниже Филэ. Все суда становятся на якорь в спокойной бухте действительно страшных порогов Гаскола, Моеджаны, Абу-Сира и Гамбола; все отдыхают здесь до следующего утра, чтобы подкрепиться для работы, напряжения, тревог и забот следующего дня. На упругих постелях и европейцы находят для себя освежающий покой.

Ночь набрасывает свой покров на дикую местность. В скалистой долине грохочут низвергающиеся волны; в тихой бухте отражаются звезды; на берегу благоухают цветущие мимозы. Тогда к европейцам приближается старый лоцман, родившийся и поседевший между порогами. Его серебристо-белая борода обрамляет исполненное достоинства лицо; его широкая верхняя одежда напоминает мантию жреца. «Сыновья чужбины, мужи земли франков!—так начинает он свою речь.—Много тяжелого перенесли вы вместе с нами; но еще более тяжкое предстоит вам впереди. Я родился в этой стране; семьдесят лет солнце освещало мою голову; наконец, волоса мои побелели: я—старик, и вы могли

бы быть моими детьми. Послушайте предостерегающего вас голоса и откажитесь от вашего намерения сопровождать нас завтра. Вы не знаете опасности, на встречу которой идете, а я знаю ее. Если бы вы, подобно мне, видели те скалы, которые загораживают путь волнам; если бы вы так же, как я, слышали, как волны с гневом и шумом требуют себе прохода, как они заливают скалы и с ревом падают в глубину; если бы вы подумали, что единственно лишь милость Бога, которому мы поклоняемся, может вести наше жалкое судно—тогда вы послушались бы меня. Разве горе не разобьет сердце вашей матери, если милосердие Всемилостивого оставит нас? Вы не отказываетесь? Тогда милость Всемогущего да будет над всеми нами!»

Перед солнечным восходом берег оживляется. Пламеннее, чем прежде, произносят корабельщики свою утреннюю молитву. Суровые кормчие, хорошо знающие реку, молодые, крепкие и выносливые гребцы предлагают старику свои услуги. Заботливо выбирает он из их среды самых опытных кормчих, самых сильных гребцов; трех человек ставит он на руль, затем дает знак к отплытию. «Мужи и сыны этой страны, молитесь!» приказывает он. И все читают слова первой суры корана: «Хвала и честь Владыке мира, всемилосердому, царящему в день суда. Тебе мы служим, к Тебе прибегаем, чтобы Ты вел нас правым путем, путем тех, которые пользуются Твоими милостями, а не путем тех, которые прогневили Тебя, не путем заблуждающихся!» «Аминь, сыны мои, во имя милосердия Бога! Отвязывайте канат, беритесь за весла». И весла равномерным ударом падают в воду.

Запруженная река медленно несет барку к первому порогу; а когда он пройден, гонит ее, не давая ей возможности повиноваться ни рулю, ни веслам и заставляя трещать по всем швам; она гонит барку ко второму порогу, через вздымающиеся волны и кипящую пучину, через водовороты, ущелья и круто взвивающиеся проходы, через подводные камни, окатывая и заливая ее волнами, на расстоянии аршина от острых скал. С высоты стремнины измеряешь с ужасом глубину внизу, страшную по стремительности волн; прямо перед нижним выходом порога поднимается круглый утес, окруженный пенящимися волнами, точно голова гиганта, с развевающимися белыми кудрями. Подобно спущенной стреле, летит хрупкое, уже неподдающееся управлению судно навстречу исполинской голове. «Во имя всемилосердого Бога, гребите, гребите, мужи, о, вы, сильные, храбрые, смелые мужи, вы, дети реки», стонет лоцман; «левый борт, руль к левому борту; сколько есть сил!» Но и руль, и весла отказываются служить. Утес уже не угрожает теперь барке, но узкий проход направо от него, ведущий в настоящий хаос скал, принимает судно, и напрасно глаза всех ищут выхода из этого хаоса. Уже матросы оставляют весла и освобождаются от всякой одежды, чтобы, при возможном крушении судна, ничто не мешало им плыть; вдруг страшный треск обращает взоры всех назад: скалистая голова приняла на себя следующее, более длинное и менее поворотливое судно, и оно колеблется теперь на шипящих над камнем волнах. Это происшествие усиливает ужас. Все матросы смотрят на команду той барки, как на обреченную гибели, и готовятся прыгнуть в глубину. В это время на кружащемся в водовороте судне резко и отчетливо раздается старческий голос патриарха реки. «Разве вы обезумели, разве вы покинуты Богом, дети язычников! Работайте, работайте, юноши, мужи, храбрые люди, правоверные! В руке Всемо-

гущего всякая сила и крепость; да будет Ему слава,—на весла, на весла, сыны героев!» И он сам берется за руль и через несколько минут выводит заплутавшуюся барку с «пути заблудших» на «правый путь». Одно судно за другим появляется на открытом месте реки; но не все суда избегают гибели. Исполинская голова все еще удерживает на себе груз—и случается—до следующего половодья Нила; а то несчастное судно, на котором ехали женщины, уже на верхнем пороге разбилось вдребезги. Вместе с счастливо спасшейся командой матросы молятся так же, как и перед отплытием: «Хвала и слава Владыке мира!»

Перед осененной пальмами деревней Вадигальфой стоят рядом уцелевшие суда; на самом берегу, около потрескивающего огня, живописными группами лежат матросы. Приземистые сосуды, наполненные меризой, приглашают к угощению этим напитком; в других, подобных им сосудах кипит баранье мясо, под присмотром быстро собравшихся женщин и девушек, смазанных клещевинным маслом. Звуки цитры и удары барабана обозначают начало «фантазии», праздника, пира, попойки. Невыразимое блаженство испытывают пловцы; полное наслаждение выражается в их лицах и движениях. Наконец усталость, неизбежная после тяжелого и хлопотливого труда, заявляет свои права. Из ослабевших рук выскользает тарабука, из усталых пальцев—тамбура, и все еще недавно столь громкие голоса умолкают.

Тогда ночь начинает свою речь. Сверху доносится громкий шум порогов; в вершинах пальм, листьями которых играет ночной ветер, поднимается шопот; на плоском берегу с жалобным звуком разбиваются набегающие волны. И гром валов, и игра волн, и шум ветра, и шопот пальм слагаются в упоительную колыбельную песню, уносящую всех в светлое царство золотых снов.

Степи внутренней Африки и их животный мир.

Северная часть Африки—пустыня, должна быть пустыней и всегда ею будет. Сравнительно с обширным, раскаленным палящим солнцем пространством суши между Красным морем и Атлантическим океаном, воды, окружающие эту область, теряют свое значение. Красное море как бы не существует вовсе, Средиземное оказывается слишком малым, а влияние Атлантического океана ограничивается узкой береговой полосой. Над такой громадной, знойной площадью всякие облака должны рассеиваться, не орошая и не оплодотворяя жаждущую землю. Только гораздо далее на юг, ближе к экватору, там, где с одной стороны глубоко врезывается Атлантический океан, а, с другой, Индийский океан омывает берега Африки, где оба океана, если можно так выразиться, протягивают друг другу руки через материк, только там описанные условия изменяются: ежегодно, в известное время при громе и молнии, здесь выпадают такие обильные дожди, что пустыня исчезает и уступает место более оживленной степи. Год делится здесь на два существенно отличные один от другого периода—на живетворный и мертвенный, т.-е. на период дождя и на период засухи, тогда как в пустыне только перемена направления ветра дает знать об изменениях времен года.

Для уяснения характера степи я нахожу необходимым описать вкратце ее времена года. Каждая страна отражает господствующий в ней климат, и каждая область есть не что иное, как результат противодействующих сил ее времен года, и может быть понятна для нас только тогда, когда мы изучим эти последние и их влияние.

С прекращением дождей во внутренней Африке начинается убийственное время года или долгая ужасная зима, которая своим зноем производит такое же действие, какое оказывает северная зима своей стужей. Еще прежде, чем облачное до тех пор небо вполне очистится, некоторые зазеленевшие весною деревья сбрасывают свой лиственный покров, и вместе с падающими листьями странствующие птицы, которые выводились здесь во время весны, оставляют увядающую страну, для того, чтобы искать приюта в полях своего родного материка. Стебли хлебных растений желтеют еще до окончания дождей; более низкие злаки вянут и засыхают. Временно текущие воды иссякают; стоячие воды, образовавшиеся от дождей, высыхают, и живущие в них пресмыкающиеся и земноводные и даже рыбы вынуждены зарываться в сырой ил и здесь искать для себя зимнего убежища. Насекомые и растения кладут свои яички и семена в землю.

Чем более солнце видимо склоняется к северу, тем быстрее надвигается зима. Осень ограничивается несколькими днями. Она не вы-

зывает увядания и умирания листьев, вспыхивания их желтым и красным цветом, как у нас, но своими раскаленными ветрами оказывает на них такое разрушающее действие, что они засыхают, как скошенная трава под лучами солнца, и частью падают на землю еще зелеными, частью превращаются в пыль на своем черенке; деревья за немногими исключениями в самое короткое время принимают свой зимний вид. На обширных поверхностях, на которых несколько дней тому назад колыхалась от ветра покрывавшая их высокая трава, клубится пыль; в более или менее высохших речных ложах и озерах почва трескается глубокими расщелинами. Все привлекательное в природе исчезает, все угрюмое выступает с угрожающим видом: цветы и листья, птицы и бабочки увяли, улетели или умерли, а терновники и репейники остались; змеи, скорпионы и тарантулы справляют теперь свой праздник. Нестерпимый жар днем, невыносимая духота ночью составляют бедствие этого периода, и против них не существует никакого средства. Тот, кто сам не переживал этого времени, когда термометр в тени поднимается до 50° Цельсия, когда находишься в непрерывной испарине, не ощущая при этом ни малейшего освежения, так как пот постоянно испаряется от жару, между тем как одно облако пыли за другим поднимается к небу и сухая жажда давит как свинец,—тот, кто этого не испытал, не может представить себе подобных страданий; тот, кто сам не задыхался по ночам, ворочаясь на постели, между тем как духота лишает и отдыха, и сна, тот не может чувствовать мучений, одинаково угнетающих в это время и человека, и животных. Даже небо меняет свою ясную до тех пор синеву на мутные краски; упомянутые испарения иногда целую половину дня заслоняют солнце, нисколько однако не уменьшая зноя: напротив, когда горизонт окутан испарениями, духота как будто еще увеличивается. Без всякого облегчения тела и души следуют день за днем. Ни малейшее дуновение с севера не освежает лба; ни аромат цветов, ни пение птиц, ни волшебная картина с яркими цветами и темными тенями, какую часто можно видеть под ослепительным светом неба тропических стран, не освежает душу: все живое, яркое, поэтическое исчезло, погрузилось в сон, похожий на смерть, слишком ужасный, чтобы возбуждать поэтические чувства. Человек и животные вянут, как раньше увядали трава и листья, и подобно им гибнут многие люди и многие животные. Напрасно крепкий и мужественный человек стремится стряхнуть с себя тяжесть этих дней: самая сильная воля разрешается жалобами и вздохами. Всякая работа утомляет, всякий, самый легкий, покров, становится тяжелым, каждое движение обессиливает, каждая царапина превращается в злокачественную рану.

Но и такая зима должна уступить наконец свое место весне. Впрочем, и веяние весны здесь ужасно. Тот же ветер, который в пустыне становится самумом, проносится, как вестник весны. Он роется в трещинах почвы, чтобы еще больше извлечь оттуда пыли, поднимает последнюю густыми массами, обращает ее в густые облака и гонит их с шумом и воем по всей стране, бросая их и через оконные рамы лучших домов города, и через низкие двери туземных хижин, и прибавляет новые тягости к обычным мучениям. Наконец, он вполне торжествует и неограниченно пользуется своей властью, как будто хочет уничтожить все, что уцелело до тех пор; но в то же время он собирает уже на юге дождевые облака и гонит их к сожженной стране. Вскоре начинает казаться, что вместе с увеличением его силы уменьшается его де-

вящая духота, что его дыхание уже не всегда знойно, а иногда становится и освежительно. Это не заблуждение: близится появление весны, и на крыльях южной бури несутся облака. Еще немного, и они затемняют на юге небесный свод; еще несколько дней, и вспыхивающие молнии то и дело освещают темные тучи; еще несколько недель, и отдаленный гром дает весть об оживляющем дожде.

Озабоченно движутся, волнуются и струятся потоки, идущие с юга. Пока они еще светлы; но все более и более мутнеют, прибывают и по всем долинам распространяют оживляющую влагу во внутренность страны. Перелетные птицы уже появились опять, и число их увеличивается со дня на день. В странах верхнего Нила появился аист, чтобы опять вступить во владение старыми гнездами на конусообразных соломенных крышах туземцев. Вместе с ним появился и священный ибис, чтобы исполнить свою обязанность, совершаемую уже тысячелетия— возвестить и удостоверить, что старый бог Нила опять изольет источник своей милости и обилие своей благодати над подвластными ему землями.

Наконец, приближается первая гроза. Духота, более удручающая чем прежде, лежит над мертвой, сожженной страной. Жуткая тишина тревожит человека и животных. Замолкло всякое пение, не слышно почти ни одного птичьего голоса; птицы попрятались в самой густой листве вечно зеленых деревьев. И жизнь в стоянке номадов, в оседлой деревне, в городе повидимому угасла. Боязливо крадутся обыкновенно столь бойкие собаки к тихому, верному убежищу или прикрытию; все прочие домашние животные становятся беспокойны или непослушны; лошадей приходится привязывать, рогатый скот—загонять в огороженные места. В городе купец запирает свою лавку, ремесленник—свою мастерскую, чиновник—свою канцелярию: каждый ищет убежища у себя дома. И однако воздух еще не шелохнется, не слышно еще шопота в листьях немногих деревьев, на которых они уцелели. Но уже видно, как собирается и приближается гроза.

На юге нагромождается темная и в то же время пламенная стена, напоминающая огромное зарево над горящим городом или над лесом, объятым пламенем на пространстве целых миль. Огненно-красный, пурпурный, темно-красный и бурый, бледно-желтый, серый, темно-синий и черный цвета переливаются там, перемешиваются и разделяются, переходят в темные цвета и опять ярко выступают. Эта стена упирается в землю и высится к небу; она как будто стоит неподвижно и в то же время несется с быстротою бури, с минуты на минуту все более и более суживает горизонт, окутывая все видимое непроницаемым покровом. Свистящий и ревущий шум вырывается из нее; но там, где стоит наблюдатель, все еще тихо и безмолвно.

Но вот проносится вдруг короткий и сильный порыв ветра. Крепкие деревья гнутся перед ним, как гибкий тростник; стройные пальмы низко наклоняют свои вершины. За первым порывом все чаще и чаще следуют другие; ветер вырастает в бурю, буря превращается в ураган, свирепствующий теперь с беспримерной силой. Рев его так могуч, что говорящий не слышит своих слов—каждый звук заглушается и поглощается этим шумом. Ураган шумит и ревет, свистит и воет, трещит и гудит в воздухе, на земле, в вершинах деревьев, как будто все стихии вступили в бой между собою, как будто небо рушится и колеблются основания земли. Непреодолимо разит могучая буря вершины деревьев, обрывает с них уцелевшие листья, ломает стволы в обхват человека,

как хрупкое стекло, а самые вершины уносит дальше, перекатывая их, вертя и играя ими на ровных местах, как легким мячиком, пока не погрузит их в рыхлую землю или песок, повернув ветвями, как более широким основанием, вниз, а безжалостно расщепленным стволом вверх и оставив их на жертву беспощадным термитам. С жадностью пробирается ветер во все щели и трещины земли, поднимает оттуда пыль, песок и щебень, подбрасывает их до облаков, несет их с такой силой, что они отскакивают с треском от твердых предметов, обволакивает ими небо и землю и превращает день в мрачную ночь, так что встревоженному человеку, внутри своего жилища, наполненного пылью, приходится зажигать фонарь, чтобы опомниться или несколько успокоиться при тусклом свете огня.

Но и рев урагана заглушается в свою очередь. Трескучие удары грома грохочут сильнее урагана и не дают слышать его страшных завываний. Облака пыли все еще так густы, что молнии нельзя заметить; но вскоре примешивается еще новый треск к сочетанию всевозможных звуков и шумов, и затем противоестественная ночь постепенно уступает место яркому блеску. Кажется, как будто падает тяжелый град, а между тем это только дождевые капли, которые опускаются на землю, захватывая с собою клубы пыли и песку. Теперь уже видны и молнии. Они следуют одна за другою так быстро, что ослепленные глаза невольно смыкаются, и только беспрерывно грохочущий гром позволяет следить за грозою. Дождь превращается в ливень; вода шумными потоками низвергается с гор, в низинах собирается в озера, в долинах течет реками. Целые часы продолжается этот проливной дождь, но уже с началом его буря ослабевает, и свежий ветер действует ободряющим образом на людей, животных и растения. Постепенно молнии становятся не так ярки, гром затихает, ливень превращается в обыкновенный дождь, и струи его текут наконец только с легким журчанием; небо прочищается, облака расходятся и между ними пробиваются лучи солнца. С восторгом выходят обнаженные, как их создала природа, темнокожие юноши из своих домов и хижин, чтобы погрузиться в весенние воды; не менее счастливые, поднимаются из илистого дна вновь образовавшихся потоков пресмыкающиеся, земноводные и рыбы; уже в первую ночь после дождя раздаются тысячи звонких голосов маленькой лягушки, которой совсем не было слышно до тех пор, потому что она, так же как крокодилы, черепахи и рыбы высохших озер, искала для себя зимнего пристанища в глубине земли и была вызвана к жизни первым весенним дождем.

Повсюду с силой проявляет себя проснувшаяся жизнь. Жадно впитывает жаждущая земля ниспосланную ей влагу; через несколько дней небо опять открывает свои шлюзы и оживляет благодетельной влагой все еще дремлющие зародыши. Вторая гроза раскрывает листовые почки всех деревьев, меняющих листья, и выманивает из земли быстро растущие травы; третий ливень раскрывает цветы и одевает всю местность сочною зеленью. С таким же волшебством, с каким она появилась, действует и властвует весна. То, для чего у нас нужен целый месяц, завершает здесь свой круговорот в течение недели; то, что в умеренных поясах развивается лишь медленно, распускается тут по дням и по часам.

Но через несколько недель весна уже опять миновала; теперь вступило в свои права почти ничем не отличающееся от нее лето, а за ним так же быстро наступит короткая осень. По настоящему, здесь

можно говорить только об одном времени года, вмещающем в себе весну, лето и осень. И опять приближается губительная зима и кладет преграду непрерывному проростанию, росту и развитию, какое допускают другие тропические страны, благодаря большему обилию воды у них. Но количество выпадающего здесь дождя достаточно, чтобы оживить мертвую пустыню, и повсюду, где она властвует, покрыть землю более или менее пышным растительным ковром или, другими словами, создать степь на месте пустыни.

Я употребляю слово «степь» для обозначения тех пространств внутренней Африки, которые арабы называют «хала», что значит — «места, производящие свежие, зеленые растения». Хала так же мало походит на южно-русскую и средне-азиатскую степь, как и на североамериканские прерии и южно-американские пампы или льяносы, но в то же время она достаточно сходна с первыми во многих отношениях, чтобы оправдывать употребление известного термина вместо неизвестного. Степь простирается через всю внутреннюю Африку, от пустыни до «карру» *), от восточного берега до западного, огибая все находящиеся там горные хребты, заключая в себе первобытные леса, встречающиеся как на горных хребтах, так и в более углубленных и богатых водою низменностях, и обнимая все страны в центре Африки; она начинается за несколько сот шагов позади последних городских зданий, непосредственно примыкает к последним домам деревень, вмещает в себе поля оседлого населения и питает стада кочевников. Там, где на юге оканчивается пустыня, где прекращается лес, где горы переходят в равнины, там появляется и она; там, где лес истреблен огнем, она прежде всего овладевает пожарищем; там, где человек оставил деревню, она вторгается в ее пределы, чтобы через несколько лет уничтожить все до последних следов; там, где земледелец покинул поля, она в течение года опять накладывает на них свою печать.

Негостеприимной и однообразной кажется степь тому, кто вступает в нее в первый раз. Обширная, почти необозримая равнина раскрывается перед путешественником; только в виде исключения поднимаются в ней там и сям отдельные горные вершины; еще реже соединяются они в горные хребты. Чаще вдоль слегка углубленных долин волнообразно тянутся низменные холмы; иногда сплетаются они в причудливые, разбегающиеся в виде сети, гряды возвышенностей, заключающих в себе углубленные котловины; в этих котловинах, в период дождей, образуются лужи, пруды и озера, а в течение зимы илистое дно их покрывается тысячами трещин. В самых глубоких и удлиненных низинах места этих стоячих вод занимает «хор» или дождевая река, т.-е. водное ложе, которое лишь во время весны наполняется водою, иногда только частью, а иногда, при особенно благоприятных обстоятельствах, до самых краев; тогда она не течет, а шумит и грохочет, двигаясь степью в низине, но не всегда впадает в настоящую реку. За исключениями лишь подобных водяных потоков и водоемов, земля покрыта всюду сравнительно богатою растительностью. Травы различного рода, начиная от низких ползучих растеньиц, до злаков, вышиною в человеческий рост, образуют главный состав степных растений; деревья и кусты, в особенности различные мимозы, баобабы, пальмы, терновники сплачиваются местами, преимущественно на берегах упомянутых вод, в рощи или перелески; но вообще они рассеяны так скудно

*) Карру—южно-африканская степь.

между обширными пространствами, однообразно покрытыми травою, что только в немногих местах соединяются в небольшие и негустые рощи. Но эти деревья нигде не выказывают того пышного роста, как в настоящих речных долинах, имеющих возможность сохранять в себе благодать весны; по большей части они уродливы, низки, с редкими кронами, и только в виде исключения на эти кроны поднимается какое-нибудь вьющееся растение. Все они страдают от беспощадности длинной, знойной зимы, которая едва дает им возможность поддерживать собственное существование и не позволяет развиваться на них чужеядным растениям. Между тем травы в короткую, но обильную влагою весну разростаются роскошно, цветут и обсеменяются, пользуясь всеми условиями для привольного роста. Но именно они главным образом и придают степи печать однообразия; даже и при невысоком росте, они выравнивают ее рельеф и действуют особенно утомительно однообразием своего цвета. Человек не может что-либо изменить в этой вечной одинаковости: его поля, расположенные среди этого травянистого леса, так похожи на него, что хлеба и травы нельзя отличить друг от друга, а круглые хижины с конусообразными крышами, стоящие на тонких подпорках и покрытые степною травой, по крайней мере во время засухи, так мало выделяются на окружающих равнинах, что надо подойти очень близко, чтобы заметить их. Только времена года изменяют эту однообразную картину, впрочем, мало нарушая его однотонность.

Негостеприимна и встреча, какую степь готовит путнику. Степь приходится проезжать, сидя на высоком верблюде. Иногда дичь поманит охотника и заставит его углубиться в травяной лес. Тогда оказывается, что между травами, столь гладкими на вид, произрастают растения еще более страшные, чем иглы мимоз. По земле распространяется «тарба», семянные коробочки которой столь остры, что прорезывают подошвы легких ботфортов; над нею поднимается «эссек», колючки которого впиваются в платье так, что их почти нельзя оттуда извлечь. Еще выше выростает «асканит»—самое страшное из трех названных растений, потому что его тонкие иглы отламываются при малейшем прикосновении, проникают через платье, вонзаются в кожу и производят гнойные прыщи, хотя и небольшие, но, вследствие своего чрезвычайного множества, весьма несносные. Эти три растения не дают возможности долго пробыть в траве или углубиться в нее, становясь источником мучения для человека и животных. Зная их свойства, без труда понимаешь, почему каждый туземец носит с собой, как необходимое орудие, маленькие щипчики; у туземцев так же, как и у обезьян, самая дружеская услуга, какую только можно оказать, заключается в вытаскивании из кожи тонких, почти незаметных, но чрезвычайно острых игл. И большинство прочих растений степи, в особенности деревья и кусты, покрыты более или менее острыми шипами и иглами; это хорошо известно каждому, кто в Африке когда-либо пытался пройти сквозь чащу.

Еще более неприятные стороны степи обнаруживаются ночью. Иногда приходится ехать несколько дней, прежде чем достигнешь деревни, и поэтому необходимо бывает останавливаться и ночевать на открытом воздухе. Пригодное для этой цели песчаное, свободное от беспокоющих растений место около дороги наконец найдено, животные развьючены и привязаны, устроена простая постель, т.-е. на земле разостлан ковер, и разведен сильный огонь для защиты от хищных зве-

рей. Солнце заходит, и через несколько минут на равнину опускается ночь; огонь освещает лагерь и ближайшую окрестность. Здесь, как и в самом лагере, вскоре проявляются жизнь и движение. Привлеченное светом пламени, сюда все бежит и ползет в одиночку, парами, десятками, сотнями. Сперва появляются исполинские пауки, которые со своими восьмью ногами занимают почти такое же пространство, какое может покрыть рука с раздвинутыми пальцами; вслед за ними, а иногда и одновременно, показываются и скорпионы. И те, и другие бегут с отвратительной торопливостью на огонь по коврам и одеялам, между тарелками, приготовленными для дорожного ужина, пока жар огня не отпугнет их, затем вновь возвращаются, привлекаемые пламенем, при чем грозная толпа их все увеличивается. Эти пауки, вследствие своего опасного или, во всяком случае, весьма болезненного укушения, внушают такой же страх, как и скорпионы; так же, как скорпионы всегда готовы ужалить, и они всегда готовы укусить. Сидящие около огня с досадой хватаются за орудие, крайне необходимое в путешествиях, а именно за каменные щипцы, насаженные на длинную ручку, зажимают в них сколько возможно непрошенных гостей и без пощады бросают их в потрескивающее пламя. Благодаря соединенным усилиям всех спутников, через короткое время, большая часть этих адских исчадий находит свою гибель в огне; приток их становится слабее, а с прибывающими вновь справляются по возможности таким же образом. Все начинают дышать свободнее, но, к сожалению, слишком рано! Новые неприятные гости приближаются к огню—это ядовитые змеи, которые так же, как и названные паукообразные, привлекаются блеском пламени. Естествоиспытатель признает в них, по крайней мере, в самом многочисленном, встречающемся здесь виде, животных в высшей степени достойных внимания: именно это — песочно-желтая рогатая ехидна, знаменитая или прославленная цераста древних, «фи», изображенная на многих египетских памятниках, та самая ядовитая змея, зубы которой послужили орудием смерти Клеопатры; но утомленный путник готов послать их в преисподнюю. Весь лагерь в переполохе, как скоро это имя произносится одним из путешественников; каждый еще быстрее и тревожнее прежнего схватывает щипцы и, завидя змею, осторожно приближается к ней, обхватывает ее голову, крепко зажимает щипцы, чтобы она не ускользнула, бросает ее в средину пылающего огня и со злорадством следит за ее гибелью. Во многих местах степи эти змеи могут довести путешественника до отчаяния. Благодаря их чешуе, похожей на песок, даже своими отдельными пятнышками, и привычке днем или, по крайней мере, во время отдыха зарываться в песок до самых коротких рожков, служащих им щупальцами, этих змей при дневном свете почти невозможно заметить; но как скоро наступает ночь и вспыхивает лагерный огонь, они уже тут, и вьются у огня с высунутыми языками. Иногда они появляются в ужасающем количестве и не дают спать утомленному путешественнику до самой полуночи: кажется, все змеи, покоившиеся на пространстве, освещенном пламенем костра, или заползающие в это пространство во время своих ночных передвижений, ползут теперь на огонь. И когда уставший, засыпающий путник выпускает щипцы из рук и ложится спать, он все-таки не знает, сколько их приползет еще ночью, и не редко узнает утром, когда снимают ковер, что это так и случилось, что одна или несколько змей спрятались в складках ковра и при встряхивании последнего, зарываются в песок. Именно в степи я пришел к убеждению, ко-

торого никто в то время еще не высказывал, что, за немногими исключениями, все ядовитые змеи, по крайней мере, все ехидны—ночные животные.

Названные животные не обнимают еще собою всего животного населения степи. Одно из них, принадлежащее к самым мелким, правда, не возбуждает опасения за жизнь, но наносит много вреда имуществу людей, живущих в степи или временно находящихся в ней. Это животное—термит, насекомое, похожее на нашего муравья. Несмотря на свою незначительную величину, оно причиняет более вреда, чем прожорливая саранча, появление которой в настоящее время считается несчастием, приносящим более чувствительный ущерб, чем опустошение полей стадом слонов. Термиты принадлежат к вездесущим и непрерывно вредящим животным. Все, что производит растительное царство, уничтожается их острыми челюстями, так же, как и все, что создает искусство и промышленность человека из доступных им материалов. Высоко над травянистым лесом степи поднимаются их конусообразные земляные постройки; их ходы и соединительные пути идут по земле и вверх по деревьям. Ночью или в сумерках они начинают и заканчивают свою истребительную работу. Прежде всего они покрывают материал, на который нападают, земляной корой, задерживающей свет, и затем принимаются за работу, цель и назначение которой всегда заключается в разрушении. Все, лежащие или висящие на земляных стенах, предметы в особенности подвержены этой опасности. Беспечный путешественник, утомленный невыносимой духотой, кладет свое платье около себя на землю, служащую ему постелью, и на следующее утро находит его источенным наподобие решета и совершенно негодным к употреблению. Естествоиспытатель, не освоившийся еще с этой страной, прячет свои собранные с большим трудом сокровища в ящик, но забывает поставить его на камни и т. п. предметы, и через несколько дней видит себя лишенным всех своих коллекций. Охотник вешает свое ружье на глиняную стену и замечает, с досадою, что разрушители насекомыя в короткое время покрыли и ложе, и стволы сквозными ходами и даже прогрызли на ложе глубокие борозды. Дерево, которое изберут для себя термиты, погибло; стропила дома, в котором они поселятся, обречены на уничтожение. От земли до верхних ветвей дерева протачивают они свои разрушительные ходы, проедают ствол, сучья и ветви и оставляют их на жертву первой буре, которая вдребезги разбивает омертвелое и неустойчивое дерево, похожее теперь на сухие пчелиные соты. Они поднимаются вверх по стенам или по сваям жилищ, пробуравливают того, что оно обрушивается; в утрамбованном полу домов прорывают вают все деревянные части их и в короткое время доводят строение до они тысячи извилистых ходов и посредством их неожиданно появляются миллионами, уничтожая все, что только попадется. Проявляя себя таким образом, они становятся жесточайшей язвой внутренней Африки, в особенности ее степей.

Если бы эти степи не представляли вместе с тем и других явлений, если бы они не были одной из богатейших областей, одним из более населенных местообитаний животного мира Африки, то естествоиспытатель так же охотно избегал бы их, как и путешествующий с торговыми целями, который знакомится только с отталкивающими, а не с привлекательными сторонами африканской степи.

Но тот, кто дольше остается в степи и тщательнее ее изучает, вполне примиряется с нею. Она обильна и оживлена, далеко не так

бедна, как пустыня, и, по своему богатству, скорее подходит к первобытному лесу: в ней живет разнообразный и многочисленный животный мир и ее населяют по преимуществу те животные, которые мы считаем характерными для Африки. Некоторых из них мы представим здесь в беглом очерке.

К замечательнейшим степным животным я причисляю рыб, которые живут в тамошних реках и озерах, только временно наполняющихся водой. Уже Аристотель рассказывает о рыбах, зарывающихся при высыхании воды в ил, а Сенека старается набросить сомнение на эти указания, советуя, в виде насмешки, отправляться на рыбную ловлю не с удочкой, а с мотыкой и лопатой. Но Аристотель сообщает о фактах, стоящих выше всяких насмешек.

Живущий в степных стоячих и текущих водах внутренней Африки рыбоящер, похожий с виду на угря, бывает длиною до полутора аршина, с длинным, переходящим в хвост спинным плавником, двумя узкими, поставленными далеко напереди, грудными плавниками и двумя длинными, стоящими далеко позади, брюшными плавниками; важнейший признак его заключается в том, что, кроме жабр, он снабжен для дыхания легочными мешками. Это замечательное создание, занимающее среднее место между земноводными и рыбами, даже и при высоком стоянии воды держится более в иле и охотно прячется в норы, которые само вырывает себе. Если вода угрожает значительным понижением, животное глубоко зарывается в ил, туго свертывается и образует тогда, вероятно, благодаря частому вращению, замкнутую со всех сторон, покрытую внутри собственной слизью, герметическую капсулю, в которой оно остается без движения в течение всей зимы. Осторожно откопав такую капсулю и столь же тщательно уложив ее, можно перевозить рыбу на далекие расстояния, без всякого вреда для нее и в любое время вызвать к жизни, опустив вместе с оболочкой в тепловатую воду. При первом действии оживляющей стихии она остается спокойной, повидимому, еще не просыпаясь; но уже по прошествии часа она становится бодрее, а через несколько дней в ней уже пробуждается стремление отыскивать себе добычу. В течение нескольких месяцев в ее действиях незаметно никакой перемены; но с наступлением времени, когда в Африке она приготовляется к зимнему сну, она пробует и в своем новом помещении сделать то же самое, по крайней мере, становится очень беспокойной и выделяет поразительное количество слизи. Если ей дадут возможность, она зарывается в ил, а если нет—она вскоре преодолевает свое стремление ко сну и живет по-прежнему в чистой воде.

Подобно ей зимуют и сомы, и подобно им обоим зарываются в ил все живущие в степи земноводные, даже некоторые пресмыкающиеся, в особенности водяные черепахи и крокодилы, переживая в зимней спячке губительное время года. Напротив, все наземные пресмыкающиеся чувствуют себя всего живее во время знойной зимы и в то время немало содействуют оживлению пустынной степи, в которой они водятся в поразительном множестве. На ряду с ехидной, о которой я упоминал выше, в степи живет и другая ядовитая змея—аспид, одно из опаснейших пресмыкающихся, какое только существует. Это змея, пользующаяся еще большей известностью, чем рогатая ехидна,—та самая, которую Моисей заставил повиноваться себе перед фараоном,—та самая, какую древние египетские цари носили на голове, сделанную из золота в виде диадемы, чтобы символически изобразить свою несокру-

шимую силу. Этой змеей они пользовались как орудием правосудия для преступников и орудием мести для врагов; об этой змее древние писатели оставили нам ужасные и не совсем баснословные сказания. Появляющийся днем, в противоположность другим ядовитым змеям, имеющий весьма безобидный вид, если его не раздражают, весьма подвижный, задорный и бойкий аспид соединяет в себе все опасные свойства ядовитой змеи. Почти незаметный благодаря своему цвету, похожему на цвет пожелтевшей травы, он скользит с ужасающей быстротой по травяному лесу; сознавая силу своего страшного оружия, он готовится к нападению, как скоро в ком-либо предполагает врага. Становясь в оборонительное положение, он поднимает одну пятую или одну шестую часть своего тела, расширяет шейные позвонки, образуя из них нечто вроде щита, пред которым движется маленькая голова, с живыми, почти искрящимися глазами, пристально устремляет последние на противника и, таким образом, приготовляется к молниеносному, почти безусловно смертельному укушению; ужасный и вместе с тем красивый вид, какой он представляет в это время, наполняет и человека, и животное страхом и очарованием. Обыкновенно утверждают, что он может наносить вред даже и без укушения, выплевывая или выпрыскивая яд на своего противника; действительно, его весьма развитые железы выделяют ужасную, ядовитую жидкость в таком значительном количестве, что она выступает большими каплями у отверстия его ядоносного снаряда. Не удивительно, что и туземцы и жители Востока боятся его гораздо более, чем ленивой рогатой ехидны, посещающей их ночью на привалах; понятно, что они, опасаясь аспида, без разбора стреляют даже в самую безвредную змею, когда завидят ее; понятно также, что каждый шорох в траве или в листве возбуждает некоторый страх или по крайней мере напряженное внимание. Подобный шорох однако слышится в степи постоянно, так как другие змеи, начиная от громадной, весьмааршинной иероглифической змеи до маленьких, безвредных ужей, встречаются не менее часто, чем аспид, и кроме того там замечается повсюду бесчисленное множество ящериц всевозможных видов. Тот, кто боится змей, благодаря ящерицам, может примириться с классом пресмыкающихся: во всей степи нет более привлекательных созданий, чем эти проворные и красиво окрашенные существа. Они шмыгают по земле, быстро взбегают на ветки кустов и деревьев, выглядывают с термитовых куч и с кровель жилищ и прокладывают себе ходы даже глубоко в песке. Некоторые виды могут состязаться с колибри великолепием и блеском своих красок; другие прельщают глаз быстротою и изяществом своих движений; третьи привлекают к себе причудливостью своего строения. Даже после того, как солнце, особенно живительно действующее на них, исчезнет с горизонта, и большая часть этих подвижных созданий удалится на покой, они все еще занимают наблюдателя: с наступлением ночи, гекко, которые днем сидели спокойно на древесных ветвях или на стропилах домов, приступают к своей работе, кричат громко и звучно, как показывает их имя, и, без видимого страха перед человеком, охотятся за своей добычей. По старинному предрассудку их считали крайне ядовитыми животными; и неразумные люди до сих пор еще разделяют этот предрассудок. Гекко—ночные животные, и по строению своего тела несколько отличаются от их сродников, ведущих дневную жизнь; различие заключается в том, что передние суставы пальцев их передних и задних ног обладают подушкообразными расширениями, снабженными снизу плот-

но примыкающими одна к другой пластинками, действующими, как присоски и необыкновенно облегчающими лазание. В этих пластинчатых подушках предполагали прежде железки, выделяющие яд, хотя такое предположение совершенно бессмысленно. В действительности, гекко столь же безвредные, сколько и привлекательные животные, приобретающие в самое короткое время расположение каждого беспристрастного наблюдателя. Будучи домашними животными, в лучшем смысле этого слова, так как они ревностно и успешно занимаются истреблением всевозможных неприятных насекомых, они оживляют ночью всякое жилище, сделанное из глины или из соломы, лазят головой вниз или вверх, по стенам и потолку с величайшей уверенностью, благодаря устройству своих ног, весело играют и гоняются друг за другом, развлекают своим звучным криком, доставляя только удовольствие и принося только пользу. Какой же благоразумный человек, ознакомившись с ними, не почувствует к ним расположения?

Но как бы то ни было, они все-таки принадлежат к пресмыкающимся, т.-е. существам, на которых лежит печать человеческого проклятия, и не могут итти в сравнение с жизнерадостным птичьим миром. Поэтому-то можно сказать, что только птицы радостно приветствуются путешествующим в степи и примиряют его с животными, которых мы до сих пор рассматривали.

Из самого плотного леса травы звучит громкий отклик дрофы, из зарослей на берегу рек раздается крик цесарок, похожий на трубный звук или громкий крик франколинов; с деревьев раздается воркованье голубей, крик и стук дятла, полнозвучный призыв бородача, пение различных ткачей и некоторых певцов из породы дроздов; на высоких древесных стволах и на других возвышениях, с которых можно издали высматривать добычу, сидят крачуны, певчие ястребы, сивоворонки, дронго и пчелояды; в густой траве либо бегает, либо порхает над нею секретарь, которого туземцы называют вещей птицей; высоко в воздухе реют ласточки, а еще выше кружат орлы и коршуны. Нет такого пространства, которое было бы необитаемо, нет самого незначительного места, которое не было бы населено. Когда в Европе зима вступает в свои права, в африканскую степь прилетает еще множество наших птиц, а именно—пустельги и коршуны, сорокопуты, перепела, аисты и др.; степь в это время всем им служит гостеприимным приютом.

Действительно, характерными птицами могут назваться немногие из живущих в степи; ни одна из них не носит степного отпечатка в такой мере, чтобы ее прямо можно было назвать птицей степи, как это можно сделать для птиц пустыни. Тем не менее, внимательный наблюдатель замечает, что и степные птицы, в известной мере, отражают на себе свою родину. Вглядываясь в секретаря, хищную птицу, похожую на журавля, в ястреба, с обильными, мягкими крупными перьями, летающего медленно и лениво, в перепелятника, в цесарку и франколина, в желтоватого козодоя, в дрофу и, наконец, в страуса, мы убеждаемся, что все они принадлежат степи, что там—их настоящая родина. Степь нисколько не богаче красками, чем пустыня, но она дает больше прикрытия, и поэтому должна рисовать и раскрашивать свободнее последней. Впрочем и она по преимуществу наделяет только двумя цветами—соломенно-желтым с различными оттенками и, трудно поддающимся определению, голубовато-серым; и тот, и другой, не исключая однако иных более темных и ярких окрасок, выступают в оперении и

хищных птиц, и птиц куриной породы. Большая свобода в окраске и узорах перьев выступает, что мне кажется особенно достойным внимания у таких птиц, природа которых, по преимуществу, принадлежит степи.

Если бы мы ради характеристики области попытались описать подробнее некоторых из степных птиц, то выбор был бы затруднителен, так как нет ни одной из них, о которой не стоило бы поговорить. Однако пределы отведенного мне времени не позволяют этого сделать, и я должен ограничить себя, избрав одну птицу верхних слоев воздуха, одну наземную и одну ночную, чтобы в изображении их дать очерк общей картины степи.

Тот, кому случалось пробыть в степи долгое время, не мог не заметить большой хищной птицы, полет которой, вследствие красиво очерченных длинных и острых крыльев и поразительно короткого хвоста, отличается от полета всех других пернатых хищников и превосходит все, что называется этим именем. Эта птица, величиною с орла, высоко поднимается от земли, парит, плавает в воздухе, носится, кувыркается, подскакивает, опрокидывается, то распуская крылья и с минуту оставаясь неподвижно в этом положении, то с силой ударяя ими, то поднимая их над телом, то вращая их, то выворачивая, то прижимая к себе, точно желая упасть на землю, то опять с силой напрягая их, так что через несколько минут она может очутиться на измеримой высоте. Когда она приближается к земле, ярко выделяются резко различающиеся между собою цвета бархатно-черной головы, такой же шеи, груди и брюшка, серебристо-белой нижней стороны крыльев и светло-каштанового хвоста; когда она опрокидывается, выступает яркая, похожая на цвет хвоста, окраска спины и широкая, светлая полоса на крыльях; когда она приближается еще более, можно рассмотреть и кораллово-красный клюв, и того же цвета лапы и когти. Если спросить у кочевника, присмотревшегося к животному миру степи, об этой поразительной и причудливой хищной птице, то из его уст услышим многозначительное, необыкновенно образное сказание: «Милость Всевышнего богато одарила ее прежде всего высокою мудростью. Она—врач между небесными птицами, она знает болезни, посещающие божьи создания, и знает травы и коренья, которые их излечивают. Ты можешь видеть, как она приносит коренья из отдаленных стран; но напрасно будешь ты стараться угадать, куда призывают ее лечить больных. Действие ее средств неотразимо: пользование ими дает жизнь, пренебрежение ими ведет к смерти; они походят на геджаб, писанный рукой посланника Божия, на завет Магомета, смиренно прославляемого нами. Бедному перед лицом Бога, сыну Адама не запрещено ими пользоваться. Смотри, где этот орел основывает свой дом, берегись нанести вред его яйцам. Жди, пока перья его детей могут быть исторгнуты



Секретарь и аспид.

без пролития крови; затем пойди к дому орла и вырви перо у одного из его детей. Тотчас же ты увидишь, что отец полетит к востоку, туда, куда ты обращаешься во время молитвы. Но жди терпеливо, пока он не вернется. Он появится с корнем в когтях; испугай его, чтобы он выронил корень; возьми его без страха: он исходит от Господа, в руках которого всякая жизнь, и свободен от волшебства; тогда пойди и лечи твоих больных: они все выздоровеют,—так назначено им от всемилостивого Бога».

Птица, вызвавшая такие цветы поэзии, это фигляр, орел-скоморох, истребляющий змей; абиссинцы называют его «небесной обезьяной»; корни, отыскиваемые им по словам сказания,—змеи, которых он хватает. Весьма редко его можно видеть в покое; обыкновенно он летает описанным выше образом, пока какая-нибудь замеченная им змея не заставит его с шумом спуститься вниз и вступить с ней в борьбу. Как у всех хищных птиц, истребляющих змей, ноги у него покрыты броней из толстых роговых пластинок и перья очень крепки; достаточно защищенный от ядовитых зубов, он не отступает перед самыми опасными змеями и таким образом является настоящим благодетелем степей. Но не его полезная деятельность, а исключительно его замечательный полет доставил ему славу среди всех народов его родины.

Прямою противоположностью описанной птицы должен казаться страус, прикованный к земле. И он является героем арабского эпоса, но последний не возвеличивает его, а скорее принижает, рассказывая, что он из суетной гордости хотел взлететь на солнце, был безжалостно обожжен им и упал на землю в своем настоящем виде. Для нас, напротив, его жизнь представляет тем более благородный материал, что и о ней до сих пор еще господствуют совершенно неверные понятия.

Появляясь в наиболее обильных растительностью низменностях африканских пустынь, страус встречается достаточно часто только в богатой кормом степи. Здесь почти ежедневно приходится наталкиваться на его следы, хотя собственно его самого редко удается увидеть. Он достаточно высок, чтобы свободно видеть поверх травяного леса, дальнозорок и боязлив, поэтому по большей части скрывается незаметно от приближающегося человека. Если удается наблюдать его издали, то легко убедиться, что он за исключением времени спаривания ведет весьма спокойную жизнь. Ранним утром и по вечерам, собираясь в стаи, страусы пасутся на траве; около полудня все они лежат на земле, отдыхая и переваривая пищу, а иногда ходят на водопой или купаются, случается, даже и в море; позднее они забавляются причудливыми плясками, бестолково прыгая в кругу и помахивая при этом крыльями, точно пытаясь лететь; с солнечным закатом они отправляются на покой, не оставляя однако заботы о своей безопасности. Если им угрожает опасный враг, они бросаются в поспешное бегство и скоро оставляют врага далеко позади себя; если к ним подкрался более слабый хищник, они забивают его своими необыкновенно крепкими ногами. Так протекает их жизнь почти без тревог, в том случае, если они не терпят недостатка в пище. Последняя нужна для них в весьма значительном количестве. Их прожорливость удивительна, так же, как и способность их желудка поглощать и переваривать массами все, что ни попадется, не испытывая ни малейшего вреда. Все, что может дать растение, от корней до плода, поступает в этот желудок, вошедший в пословицу; то же самое можно сказать и о мелких животных, как позвоночных, так и беспозвоночных. Но растениями и животными страус еще далеко не довольствуется. Он глотает все, что можно проглотить,—

камни до фунта весом, а в неволе—обломки черепиц, паклю, тряпки, ножи, ключи и связки ключей, осколки стекла и черепки, свинцовые пули, раковины и мн. др.; он может сделаться самоубийцей, пожирая негашеную известь. В желудке одного страуса, умершего в неволе, нашли самые разнообразные предметы, общий вес которых доходил до 10 фунтов. Прожорливая птица глотает в курятнике утят или цыплят, точно устриц, отбивает цемент у стен, чтобы наполнить им свой желудок, вообще не щадит ничего, что можно проглотить и что не прибито достаточно крепко. Потребляемому им количеству пищи, которое, впрочем, до известной степени пропорционально его величине и подвижности, соответствует и его жажда; поэтому его местопребывание связано столько же с питательными растениями, сколько и с водами или по крайней мере с источниками. Когда те и другие иссякают, он бывает вынужден предпринимать далекие переселения, и в этих случаях проходит нередко обширные пространства.

С наступлением весны, в страусе пробуждается стремление к спариванию, и вследствие того в его обычном образе жизни происходят замечательные перемены. Стаи разбиваются на мелкие группы, и взрослые самцы начинают продолжительные бои за обладание самками. В высшей степени возбужденные, что видно по их покрасневшим шеям и ногам, два соперника становятся друг против друга, машут крыльями, обнаруживая все великолепие своих белых перьев; в то же время они двигают шеей неподдающимся описанию образом, наклоняя и поворачивая ее то вперед, то в бок, испускают низкие и хриплые звуки, напоминающие и глухой барабанный бой, и львиный рев, пристально смотрят друг на друга, приседают и в этом положении размахивают шеями и крыльями быстрее и непрерывнее прежнего; опять приподнимаются, бегут друг к другу; наконец, пытаются на скором бегу нанести противнику сильный удар ногою и, если нападение удается, стараются острыми когтями поранить его, проводя длинные и глубокие борозды по его телу и ногам. Победитель в борьбе обращается не лучше и с завоеванными им самками, относясь к ним чрезвычайно повелительно и наделяя их сильнейшими ударами. Залучает ли самец только одну или несколько самок, в настоящее время еще не вполне удостоверено; но можно признать с достаточной определенностью, что часто несколько самок кладут яйца в одно и то же гнездо. Наблюдения указывают также, что не самка высиживает яйца, а по преимуществу самец, и он же водит и воспитывает вылупливающихся через восемь недель птенцов. В том и другом занятии самка, без сомнения, помогает ему, но главное участие во всем принадлежит самцу, и в уходе за детенышами он выказывает бо́льшую заботливость, чем самка. Страусовые цыплята, достигающие при выходе из яйца величины домашних куриц среднего роста, являются на свет в странном перистом покрове, который напоминает скорее жесткую шерсть млекопитающего, чем пушистое оперение недавно родившихся птиц. Так как они уже с первого дня своей жизни обнаруживают прожорливость своей породы, то растут быстро, меняют через два или через три месяца свои перья, чтобы затем облечься в одежду, похожую на оперение самок, но не ранее как через три года окончательно выростают и становятся способными к размножению.

Такова, в кратких словах, жизненная история исполинской степной птицы; все сообщения, противоречащие нашему описанию, могут считаться баснями.

Ночная птица, о которой я могу еще сказать несколько слов, называется козодоем, род которой в Европе представлен одним видом; в степи она выступает в нескольких и отчасти оригинально украшенных видах. С появлением первой звезды на вечернем небе эти добродушнейшие из всех ночных птиц начинают свою оживленную деятельность. Днем только случайно можно увидеть какую-либо из них, и тогда никак нельзя себе представить, что именно эти птицы могут в высшей степени оживлять степь. Как только наступает ночь—непременно увидишь хоть одну из них. Привлекаемые лагерным огнем, так же, как скорпионы и ехидны, эти легкие летуны появляются вблизи ночлега, носятся в разных направлениях около огня и лагеря, садятся поблизости его и издают несколько колен своего мурлыкающего, похожего на мяукание кошки, ночного пения, исчезают в туманной тьме, чтобы через несколько минут появиться опять, повторяя то же до самого утра. Особенно привлекателен один вид этого семейства, который у степных обитателей зовется четырехкрылыми птицами. Их украшение состоит в выростающем между крыльями пере, длиною до трех четвертей аршина, лишенном опушки до самого конца, но здесь снабженного широкой бородкой, значительно выдающейся над крыльями. Когда летает этот козодой, он походит на призрак. Кажется, что за одной птицей постоянно гоняются две мелкие птички, что она может разделиться на две или на три птицы, или что она действительно летит на четырех крыльях. И эта птица не лишена прелести, свойственной всей ее группе и вскоре ее встречаешь с таким же удовольствием, как и прочие виды ее семейства, которые помогают веселее коротать столь неприветливые степные ночи.

Класс степных млекопитающих так же богат и видами, и формами. Растительное изобилие степи прокармливает не только стада антилоп, которые справедливо должны считаться характерными для нее животными, но и диких буйволов и кабанов, зебр и диких ослов, зерафов, которых мы привыкли называть жирафами, и многочисленных грызунов, знакомых нам только в общих чертах.

Против такого громадного населения, питающегося растениями, выступают многие виды хищников, живущие в степи, что вероятно выгодно для этой последней: без такого противовеса жвачные и грызуны быть может размножились бы до такой степени, что всего степного растительного богатства не достало бы для их прокормления. Однообразие африканской степи и ее хотя и незначительное само по себе, но относительно достаточное обилие стоячих и текущих вод не позволяет антилопам скучиваться в такой степени, как это замечается в южно-африканской степи (карру); зато этих стройных, быстроглазых жвачных можно встретить повсюду поодиночке, мелкими группами и более значительными стадами, и зимой их можно найти приблизительно на тех же местах, как и летом. Дикие лошади и дикие ослы, напротив, держатся только на сухих возвышенностях; зерафы обитают исключительно в редких, а носороги в самых густых лесах; слоны избегают обширных открытых пространств, а злобные буйволы, повидимому, неразрывно связаны с сырыми низменностями. Лев сопровождает их с таким же постоянством, как и домашние стада того же семейства, между тем как хитрый леопард, так же, как и проворный, неутомимый на бегу гепард, следуют за более мелкими антилопами; шакалы и степные волки охотятся по преимуществу за зайцами, а лисицы, дикие

кошки и вонючки предпочитают преследование маленьких грызунов и живущих на земле птиц.

Пытаясь выбрать некоторых из числа живущих в степи млекопитающих, для более подробного описания, я должен противиться искушению избрать льва или гепарда, гиену или барсука, зебру или дикую лошадь, жирафа или дикого буйвола, слона или носорога, потому что другие кажутся мне еще характернее для описываемой области. К ним я причисляю, на первом месте, муравьеда и броненосца, как представителей отряда неполнозубых в Старом Свете, отряда наиболее многочисленного в западной половине нашей планеты, такого отряда, время расцвета которого лежит за несколько тысячелетий позади нас. Оба названные животные, по крайней мере, в северной Африке связаны со степью: только там многочисленные населения муравьев и термитов доставляют им достаточную пищу. Подобно всем муравьедам, они днем лежат, свернувшись почти в клубок, и спят в глубоких, выкопанных ими норах, наружные отверстия которых можно встретить и среди обширных травянистых полян, и между редкими деревьями и кустами. Только при наступлении ночи они просыпаются и выходят тяжелой побежкой, раскачиваясь и подпрыгивая, пользуясь преимущественно сильными задними ногами и только опираясь на лопатообразные передние ноги и на тяжелый хвост; они идут отыскивать себе пищу, состоящую из мелких животных всякого рода, но преимущественно из червей и куколок муравьев и термитов. С низко опущенным, непрерывно движущимся носом и постоянно обнюхивая, они бегут дальше и дальше, следуют за удачно найденным ходом муравьев или термитов до самой кучи, открывают здесь без труда проход для своей вытянутой морды, всовывают ее в вырытую ямку, ощупывают языком открывающиеся туда ходы насекомых, выдвигают свой нитеобразный, клейкий язык насколько возможно глубоко в один из главных ходов, выжидают, пока его кругом облепят муравьи или термиты, а затем втягивают его вместе с насекомыми в узкий рот, и проглатывают их. Этот способ питания и самая пища, состоящая из столь мелких составных частей, производит жалкое впечатление; тем не менее, их язык служит для них таким же удобным орудием, как и их сильные, лопатообразные передние ноги, и они, дурно ли, хорошо ли, поддерживают свое существование. Впрочем, они вовсе не так беспомощны, как может показаться с первого взгляда. Слабого броненосца, лучше чем его ноги, защищает броня, противостоящая даже сабельным ударам; муравьед, напротив, умеет очень успешно пользоваться своими когтями и способен наносить своим крепким хвостом такие сильные боковые удары, что легко может отбиться от противника, не слишком превосходящего его своею силою или ловкостью. Если же к нему приближается противник, которого он боится и которого он замечает во-время, то он поспешно зарывается в землю и бросает при этом позади себя песок и пыль в таком количестве и с таким проворством, что окружает себя непроницаемым, почти ослепляющим покровом и успевает укрыться в безопасной глубине, раньше чем неприятель перейдет в наступление. Он становится жертвою только человека и его далеко достигающих орудий; охотник прокалывает его во время сна длинным копьем и без промаха умерщвляет его внутри норы, если входное отверстие прямо и не слишком длинно. Таким образом, относительно этих допотопных животных человек играет роль судьбы, предназначившей их, рано или поздно, к исключению из списка живых.

Среди хищных животных степи особый, свойственный ей, вид собак издавна всего более привлекал к себе внимание. Занимая промежуточное место между собаками и гиенами, как по форме, так до известной степени и по окраске своей шкуры, собака-гиена или дикая собака уже по наружному виду представляет одно из наиболее достойных внимания явлений этой области, а по своему образу жизни и характеру возбуждает больший интерес, чем все другие хищные животные степи. За исключением некоторых обезьян, я не знаю ни одного зверя, который был бы или по крайней мере казался бы настолько исполненным собственного достоинства, гордости и жажды деятельности, как эта собака. Для нее нет недостижимой цели; от ее нападений не может считать себя застрахованным ни одно млекопитающее. Многочисленными стаями пробегают эти собаки по обширной степи, отыскивая себе добычу. Они производят опустошительные набеги на овечьи стада оседлых и кочевых пастухов, безотвязно преследуют по пятам самых быстроногих антилоп, дерзко бросаются на человека, бесстрашно разгоняют, даже одним своим шумным приближением, хищных животных той местности, в которую вторгаются. Стая этих собак устремляется за самой сильной и храброй антилопой с тявканьем, воем, визгом и какими-то резкими, радостными звуками. Антилопа бежит настолько быстро, насколько ей позволяют силы, но кровожадные собаки ее преследуют, не дают ей свертывать в сторону, все более и более приближаются к ней и, наконец, вынуждают ее остановиться. Сознавая свою силу и способность к сопротивлению, антилопа ловко и энергично пускает в дело свои острые рога; пронзенная, пораженная на-смерть, падает то та, другая собака; однако, остальные все-таки вцепляются антилопе в шею и в бока и громко завывают, когда она с хрипением испускает дух. Не смущаясь присутствием людей, эти собаки нападают и на домашних животных, разрывают мелких с кровожадностью куницы и ранят крупных, которых не могут одолеть; выпускаемых против них домашних собак они выжидают без страха, вступают в борьбу с ними и, наконец, бросают их бездыханными на землю. Если бы они были приучены, обучены и выдрессированы в течение нескольких поколений, они могли бы сделаться лучшими в мире охотничьими собаками, но они не подчиняются ничьей власти. Они привыкают к своему воспитателю, выказывают даже преданность ему, но делают все это по-своему. Когда их зовут, они поднимаются со своего места, весело подпрыгивают, борются от удовольствия между собой, бросаются к приближающемуся господину, скачут на него, стараются выказать бесконечную радость самыми резвыми движениями и под конец не умеют ее выразить иначе, как кусая своего хозяина. Неудержимая резвость и необузданное стремление кусаться характеризует почти каждое их действие. Будучи раздражительнее всякого другого зверя, они бросаются со всех ног, вздрагивают каждым нервом, как только что-либо новое привлечет к себе их внимание. Их живость принимает оттенок какой-то преувеличенной веселости и через минуту превращается в дикость и кровожадность. Тогда они кусают все, что им попадется на пути, кусают без всякой причины, ради удовольствия, быть может, без всякой злобы. Это—самые странные создания из всех, встречающихся в африканской степи.

В тех частях степи, какие я в особенности имею в виду, а именно в пределах Кордофана, Сеннаара и Таки, жизнь названных и всех прочих встречающихся там животных, помимо влияний обоих времен года,

далеко не испытывает тех нарушений ее, как на юге Африки и в степях средней Азии.

Правда, для тех, которые не переселяются или в течение месяцев не находятся в омертвелом состоянии, настают лишения, даже весьма чувствительная нужда, но не настоящий голод и не мучительная жажда, вследствие которых в них развивалось бы отчаянное стремление оставить оскуделую родину и бежать без оглядки на поиски более счастливых мест. И животные северо-африканских степей странствуют и совершают длинные переходы, но они не бегут так беспорядочно, как те, что обитают в других степях и оставляют их сотнями тысяч, когда их гонит грозящая им гибель. О таких громадных стадах антилоп, какие собираются на юге Африки, в северной части этого материка, как мы уже заметили, никогда не приходится слышать. Все млекопитающие и птицы собираются в большие скопища, когда наступает зима, и распадаются на маленькие группы при наступлении весны; все перелетные птицы прилетают и улетают приблизительно в одно и то же время: это совершается правильно и искони привычным образом, а не беспорядочно и не бесцельно. Однако, существует известная стихийная сила, оказывающая свое влияние на жизнь животных и в этих степях: это—огонь.

Когда темные облака на юге и блистающие в них молнии возвестят приближение весны, и в те дни, когда южный ветер бушует в степи, туземец - кочевник ежегодно бросает горящую головню в волнующийся травянистый лес. Быстро и неудержимо охватывается он пламенем. Огонь распространяется на обширные пространства; чад и дым предшествуют ему; темно-красное облако оповещает ночью об его истребительной и в то же время благодетельной работе. Нередко пламя добирается до первобытного леса; языки его взбегают по высохшим вьющимся растениям до древесных вершин и пожирают еще уцелевшие листья или обугливают наружную кору стволов; иногда, хотя и реже, охватывает оно оседлые деревни и бросает свои зажигающие стрелы на соломенные хижины, которые с быстротою мысли становятся его жертвами.

Хотя степной пожар, несмотря на обилие и воспламеняемость горючего материала, не может быть опасен едущему верхом или принимающему против него меры человеку, так же, как и быстрым на бегу млекопитающим, но он приводит в величайшее возбуждение весь животный мир степи. Огонь заставляет уходить все живое, укрывающееся в высокой траве, и обращает иногда в самое поспешное бегство, быстроте которого содействует не столько постоянное разростание пламени, сколько страх. Антилопы, дикие лошади и страусы несутся по равнине быстрее ветра; гепард и леопард следуют за ними, даже среди них, не думая теперь о добыче; собака-гиена забывает свою кровожадность; лев исполнен теперь таким же страхом, как и все прочие млекопитающие; только те, что обитают в норах, быстро скрываются в свое безопасное убежище и дают огненному морю пронестись над ними, не коснувшись их. Но все ползающие и, вообще, связанные с земною поверхностью существа жестоко страдают от него. Немногие змеи и, быть может, только быстрые ящерицы могут ускользнуть от охватывающего их огня; скорпионы, тарантулы и тысяченожки всегда настигаются им или так же, как и перепуганные летучие насекомые падают жертвами врагов, привлекаемых огнем и умеющих бороться с ним. Как только в степи покажется облако дыма, поднимающееся к

небу и все более и более разростающееся, враги насекомых и пресмыкающихся, в особенности орлы-скоморохи, певчие ястребы, коршуны пустельги и аисты, пчелояды и касатки спешат со всех сторон на охоту за перепуганными и бегущими от огня ящерицами, змеями, скорпионами, пауками, жуками и саранчей. Перед линией огня шагают беззаботно секретари и аисты, над нею порхают, пролетая через облака дыма, легкокрылые соколы, пчелояды и касатки—и тем и другим достается богатая добыча. Их охота продолжается, покуда горит степь, а пожар находит себе пищу, покуда буря гонит его дальше, когда стихнет ветер, угаснет и пламя.

Так кочевник степи очищает свое пастбище от дурной травы и вредных животных; этим путем приготовляет он его к новой растительности. Оплодотворяющий пепел остается на земле; оживляющие дожди смешивают его с плодородною землею, и новая зелень поднимается из нее после первой грозы. Тогда все распуганные огнем животные опять оказываются на привычных местах и наслаждаются теперь, после лишений окончившейся зимы и ужаса последних дней, радостями бытия.

Девственный лес внутренней Африки и его животный мир.

Как ни богата африканская степь и сама по себе и, в особенности, при сравнении ее с пустыней, но полной роскоши тропической растительности она нигде не выказывает. Правда, оживляющее действие воды проявляет себя в ней повсюду; однако, оно продолжается слишком короткое время для того, чтобы быть прочным. С прекращением дождей заканчивается работа производительной силы, и то, что было сделано ею, разрушают зной и засуха. Поэтому в степи могут развиваться только такие растения, жизнь которых может завершиться в течение нескольких недель; многолетние же растения не достигают там своего полного развития. Только в низменностях, орошаемых неиссякаемыми потоками и пользующихся достаточной влагой, при совместном содействии солнечного света и воды, тепла и влажности, возникает и поддерживается волшебная растительная роскошь тропических стран. Здесь растут леса, которые по величественности и красоте, по размерам и богатству почти не уступают лесам самых счастливых стран более низких широт, леса, которые могут назваться девственными в настоящем смысле этого слова, так как они развиваются и исчезают, дряхлеют и вновь вырастают без содействия человека, так как они никому не принадлежат, кроме самих себя и дают возможность существования чрезвычайно богатой животной жизни.

Весенние бури приносят с юга дождевые облака в страны Африки, лежащие к северу от экватора; поэтому леса не сразу представляются глазам путешественника, приближающегося к ним с севера, в том роскошном виде, какого более и более достигают, чем далее он подвигается к югу. Чем ближе к экватору, чем ослепительнее блестят молнии, чем громче и непрерывнее грохочет гром, чем шумнее льются дождевые потоки—тем роскошнее разрастаются растения, тем разнообразнее животные виды; чем раньше начинается период дождя, чем дольше он продолжается, тем более волшебное действие он производит. В точном соответствии с возрастанием влажности, распространяется и густеет, поднимается и крепнет лес. Подвигаясь от берегов рек, растительность завладевает и внутреннею частью страны, заполняя все пространства от низменности до самых высоких вершин. Деревья, являющиеся в других местах карликами, становятся здесь великанами; знакомые виды дают пропитание еще неизвестным паразитным растениям, и между ними пробивается на свет еще до сих пор невиданный растительный мир. И здесь, по крайней мере, в северном поясе лесов, зной и засуха зимы проявляют себя с такою силой, что временно лишают

деревья лиственной красы и большую часть из них вынуждают к полному покою в течение нескольких недель. Но тем громче раздается пробуждающий зов весны по всему дремлющему лесу, тем могущественнее после такого зимнего покоя просыпается жизнь, вызываемая первыми дождями оплодотворяющего времени года.

Я избираю весну тех стран, чтобы изобразить их девственные леса, насколько это в моих силах. Предвестник и носитель дождевых облаков—южный ветер еще борется с охлаждающими воздушными течениями севера, когда лес уже начинает выказывать все великолепие, в котором он должен выступить; но в него надо проникнуть по одной из его артерий, по реке, для того, чтобы узнать всю полноту его жизни. Вытекающий из гор Абиссинии, Азрак или Голубой Нил может служить таким водным путем. С ним связаны самые яркие картины, какие мне дали мои долгие путешествия, и на нем я могу быть лучшим путеводителем, чем на многих других реках. Но я далеко не уверен, могу ли быть таким путеводителем в лесу, как бы мне того хотелось. Девственный лес, это—мир, полный сияния, блеска и сказочного великолепия—волшебное царство, богатств которого еще ни один человек не мог узнать вполне и тем менее овладеть ими, это—сокровищница, содержащая в себе бесконечно более, чем можно предположить,—рай, в котором творение как будто ежедневно возобновляется,—очарованный круг, который перед каждым вступающим в него развертывает величественные и нежные, задумчивые и веселые, сияющие светом и полные тьмою картины,—состоящее из тысячи одинаково-ценных подробностей, бесконечно-разнообразное и все-таки единое, не поддающееся никакому описанию целое.

Небольшая, легкая, употребляемая для путешествия лодка, какую можно было найти в Хартуме, главном городе восточного Судана, лежащем при слиянии обоих истоков Нила, несет нас по волнам высоко вздымающегося Азрака. Сады последних домов города исчезли, и степь подступает к самому берегу реки. Кое-где виднеется деревня или одинокая хижина, привлекательно расположенная среди мимоз, часто прикрытая зеленью вьющихся растений, спускающихся с этих деревьев; но по большей части не замечается ничего другого, кроме волнующегося моря травы и немногих поднимающихся над ним деревьев и кустов степи. Однако, уже после недолгого пути лес начинает завладевать берегом и протягивает над ним свои покрытые колючками или иглами ветви. Тогда наше движение становится медленнее. Противный ветер не дает идти на парусах, лес мешает грести. С помощью багра лодочники подвигают шлюпку мало-по-малу вверх по реке, и только когда один из них заметит прогалину в частой изгороди береговой полосы, которая может послужить точкой опоры, он с веревкою, прикрепленною к лодке, в зубах, поручая свое грешное тело Музе, покровителю всех лодочников, и моля его о защите от крокодилов, бросается в реку, плывет вверх до намеченного им места, обвивает веревку около одного из стволов и предоставляет своим товарищам довести туда лодку. Так работают эти люди от раннего утра до позднего вечера, и когда день наконец проходит, путешественники подвинулись на одну, самое большее на две географические мили. Однообразно проходит день за днем; но тот, кто научился видеть и слышать, не страдает от скуки. Естествоиспытателю и каждому разумному наблюдателю всякий день дает что-либо новое, а коллекционеру-собирателю—материал, богатый во всех отношениях.

От времени до времени замечаются следы человека. Идя по этим следам от берега по узкой, сжатой с обеих сторон кустами, дорожке, можно достигнуть жилищ одного замечательного народа. Здесь живут гассании. Там, где лесные деревья растут не так плотно и не образуют тройного и четверного свода, а состоят из высоких тенистых мимоз, кигелий и тамариндов, эти люди строят красивые хижины, похожие на палатки, отличающиеся от всех прочих жилищ, употребительных в Судане. «Гассании» значит—потомки Гассана, а Гассан значит—прекрасный, и действительно, племя не даром носит это название. Гассании бесспорно красивейшие люди, какие живут в областях нижнего и среднего течения реки; в особенности женщины превосходят почти всех других суданцев красивым строением тела, правильностью черт лица и светлым цветом кожи. Мужчины и женщины этого племени сохранили самые необыкновенные нравы, которые у других людей, с достаточным основанием, называются безнравственностью. Поэтому гассании пользуются столько же хорошей, сколько и худой славой; с ними столько же ищут сближения, сколько и чуждаются их; их столько же прославляют, сколько и осмеивают; столько же возвеличивают, сколько и презирают. Беспристрастного чужеземца, стремящегося к изучению нравов и обычаев, они заинтересовывают в высшей степени, если не своей красотой, то общительностью, приятною даже и человеку, трудно поддающемуся ей. Последняя выступает еще заметнее, чем сознание своего достоинства, обусловливающееся красотою. Эти люди хотят и должны нравиться; сохранение своей красоты составляет для них высшее стремление и ценится дороже всего, что они могут приобрести. Чтобы избежать загара, от которого может потемнеть их светлая кожа, они селятся в тени леса, довольствуются немногими козами, составляющими, вместе с собаками, единственных животных, которых можно держать в лесу, и отказываются от богатства, какое многочисленные стада рогатого скота и верблюдов доставляют их сородичам, кочующим в степи. Чтобы не нанести ущерба своей красоте, они преимущественно перед другими народами стараются приобретать невольников, которые освобождали бы их от всякой тяжелой работы. Для украшения лица и щек женщины, еще в детском возрасте, мужественно переносят страдания, какие наносят им матери, прорезывая ножом в щеках три глубокие параллельные, вертикальные раны, из которых образуются выпуклые рубцы,—или накалывая им иглой кожу на лбу, на висках и на подбородке, отчего при втирании индиго получаются украшения голубого цвета. Чтобы не испортить своих ослепительно белых, блестящих зубов, они употребляют только тепловатые кушанья; чтобы поддержать как можно дольше свою прическу, состоящую из нескольких сот искусно сплетенных, смазанных аравийской камедью и жиром, тонких косичек, они не употребляют никаких изголовьев, кроме узкой, полулунной деревянной подставки, на которую кладут голову во время сна. Чтобы удовлетворить своему эстетическому чувству, а также быть может и для того, чтобы каждый, кто посещает их поселения, мог их видеть и ими любоваться, гассании придумали особенную архитектуру для своих хижин.

Последние, пожалуй, всего более походят на наши рыночные лавочки. Их пол, состоящий из плотно сложенных, перевязанных между собою сучьев, толщиною в большой палец, утвержден на подпорках, возвышающихся приблизительно на полтора аршина над землею, затрудняющих всем ползающим животным доступ в жилище и в то же

время предохраняющих от сырости почвы; стены состоят из циновок; покатая крыша, открытая на север, сделана из непромокаемой ткани, вытканной из козьей шерсти. Чисто выплетенные из черенков пальмовых листьев, циновки покрывают пол; красиво выделанные плетенья, нанизанные раковины, водонепроницаемые плетеные корзины, глиняная посуда и сосуды для питья, состоящие из одной половины бутылочной тыквы, пестрые, также плетеные блюда, вместе с крышками, и т. п. вещи украшают стены. Каждая отдельная часть утвари сделана красиво и содержится опрятно; порядок и чистота всей хижины подкупают глаз тем более, что и то, и другое редко встречается в тех местах.

В такой хижине женщина этого племени сидит или дремлет целый день. Разукрашенная возможно лучше, с волосами и кожей, натертыми душистой мазью, обернув верхнюю часть тела длинною, легкою, прозрачною тканью и обвив нижнюю половину его, в виде юбки, в более плотную ткань,—обутая в тщательно сделанные сандалии, украсив шею и грудь цепочками и амулетами, руки—запястьями из янтаря—с серебряным, а иногда и золотым кольцом в одной ноздре—она сидит там, укрываясь в тени и наслаждаясь сознанием своей красоты. Ее маленькая рука занята изготовлением какого-нибудь плетенья, какой-нибудь утвари или платья, или держит только зубную щетку—размочаленный на обоих концах, весьма пригодный для этой цели корень. Все работы по домашнему хозяйству возложены на невольницу; весь труд, нужный для присмотра за небольшим стадом и пользование им, берет на себя услужливый, всегда снисходительный супруг. До мелочей разработанные странные брачные условия, обычные в этом племени и твердо противостоящие всем запрещениям и преследованиям правителей страны, дают жене неслыханные права. Она—властительница в неограниченном смысле этого слова, властвуя и над своим мужем, по крайней мере, в период своей красоты; только когда она увянет и состареется, ей приходится познать непрочность всякого земного величия. До этой же поры она делает все, что ей вздумается, не зная никаких огорчений. Покуда деревья вокруг ее хижины не бросят более густой тени, она не оставляет своего жилища, но зато приветствует каждого, в особенности чужеземца, обращающегося к ней, и оказывает ему, ради поддержания чести племени, почти беспредельное гостеприимство с содействием или без содействия супруга. Жизнь для нее начинается только тогда, когда день склоняется к вечеру. Еще прежде чем закатится солнце, селение оживляется. Подруги посещают друг друга; к ним присоединяются и другие женщины; барабан и цитра привлекают остальных; стройные, подвижные, гибкие фигуры готовятся к веселой пляске. Нежные руки погружают сосуды для питья в округлую урну, наполненную меризой или пивом из дурры, чтобы развеселить также и мужские сердца. Собираются все, от мала до велика, и тем радостнее празднуют вечерний праздник, что его украшает присутствие чужеземных посетителей. Гостеприимство чрезвычайно развито у всех суданцев, но ни у одного племени не достигает таких пределов, как у гассаниев.

На протяжении пути приходится несколько раз встречать поселения этих туземных номадов, так же, как и деревни других суданцев; наконец после поездки, длящейся почти целый месяц, мы достигаем области, составляющей цель путешествия. По обоим берегам реки не-

прерывный лес мешает любознательному глазу обозреть окрестности. В этих местах еще нет человеческих поселений, ни полей, ни деревень, ни временно обитаемых стоянок; в этих лесах еще не раздавался стук топора, потому что человек еще не пользовался ими: в них живут, пока еще никем не тревожимые, исключительно лишь животные этих дебрей. Непроницаемые ограды замыкают их со стороны реки и препятствуют всякой попытке пробраться внутрь чащи. Все оттенки зеленого цвета украшают очаровательную картину этих лесов, которая кажется то родной, то совершенно чуждой: фон картины образуют светло-зеленые мимозы, и на нем отчетливо выделяются серебристо-блестящая листва пальм, темнозеленые вершины тамариндов, яркозеленые кусты терновника; листья бесконечно-разнообразных форм волнуются и дрожат, движимые дыханием ветра, показывая то одну, то другую сторону удовлетворенному и ослепленному глазу, напрасно пытающемуся разобраться в этом смешении листьев, выделить в этом целом отдельные части его. В таком виде берега выступают на целые мили протяжения, одинаково густо покрытые лесом, все с той же величественной каймой, везде лишенной просвета, везде непроницаемой.

Наконец, открывается тропинка, а иногда широкая дорога, ведущая повидимому во внутренность леса. Но было бы напрасно искать на ней отпечатка следов человека: не он проложил ее, а лесные звери. Стадо слонов прошло через чащу, чтобы с безводной высоты берега добраться до реки. Следуя друг за другом длинной вереницей, могучие животные беспрепятственно проложили себе дорогу через тысячекратно переплетшийся подлесок и обошли только самые крепкие и высокие деревья. Заграждавшие их путь сучья и стволы, толщиною в ногу человека, были сломаны ими, лишены ветвей и листьев, объедены, а несъедобные части брошены в сторону; кустарники, разросшиеся по земле, вырваны с корнем и точно так же объедены и брошены: высокая и низкая трава смята и притоптана. То, что было пощажено передними, стало жертвою следовавших за ними, и таким образом возникла торная, по большей части уходящая в глубь леса, дорога. Другие звери постарались сделать ее еще более торною и поддержать в таком состоянии. По этой дороге, в ночное время, поднимающийся из волн реки гиппопотам проникает в лес, чтобы пастись там; ею пользуется носорог, направляясь из лесу на водопой; по ней проходит свирепый буйвол в долину и возвращается на возвышенность; по ней лев пересекает свою область; на ней можно встретить и его, и леопарда, и других лесных хищников. Попробуем вступить на нее и проникнуть по ней в лес.

Через несколько шагов он уже величественно окружает нас со всех сторон. Но и здесь было бы напрасно стараться распознать отдельные массы стволов, сучьев, ветвей, побегов и листьев. Стеною смыкается лес по обеим сторонам такой дороги. Непрерывно поднимаются плотно сплетшиеся между собой, непроницаемые даже для глаза, повсюду покрывающие землю кустарники; теснимые ими, пробиваются среди них всевозможные травы и образуют второй, нижний подлесок; непосредственно над ними протягивают во все стороны ветви своих вершин высокие кустарники и невысокие деревья; над ними распростирают свои вершины другие, более высокие деревья, над которыми высятся, в свою очередь, великаны леса. Везде большая часть кустарников подлеска плотно покрыта колючками; поднимающиеся над ними мимозы вооружены длинными, жесткими и острыми шипами; даже

травы снабжены осыпанными кругом тонкими иглами, семянными коробочками, так что каждая попытка свернуть с дороги встречает тысячи препятствий. Убитая птица, если она при падении повиснет на одной из ближайших кустов, потеряна для стрелка, потому, что тот не в состоянии добраться до куста; дичь, спрятавшаяся на глазах охотника в кусте, спасена, потому что охотник не может уже более ее увидать. Так, четырехаршинный крокодил, которого мы однажды вспугнули в лесу, в кусте, случайно росшем в стороне от других, сумел так укрыться от наших глаз, что мы не видали больше ни одного изгиба его чешуи и не могли по нем сделать ни одного выстрела.

Напрасно стараешься справиться с наплывом впечатлений, отделить одну картину от другой и рассмотреть каждую их них, проследить одно дерево от земли до вершины, отличить листья одного от листьев другого. С реки еще было возможно выделить некоторые из ярко-зеленых тамариндов от окружающих их разнообразных мимоз, распознать роскошную кигелию, издали напоминающую наш вяз, полюбоваться возвышающейся над остальным лесом вершиною пальмы; но в средине леса все отдельные части сливаются в одну неподдающуюся расчленению, общую картину. Все чувства одинаково затрогиваются ею. Из того же лиственного свода, приковывающего к себе зрение, истекают бальзамические ароматы некоторых цветущих мимоз, раздается смешение самых разнообразных звуков и тонов, от ворчанья обезьян и крика попугаев до многоголосого пения птиц и звучного жужжания насекомых, кружащихся около цветущих деревьев; осязание дает некоторые, хотя и не всегда приятные ощущения, благодаря бесчисленным колючкам, и вкус находит для себя, правда, не всегда удовлетворяющие его плоды.

Наконец, проникая далее в лес, мы находим отдельную определенную картину. Над бесчисленными растениями, покрывающими зеленью его громадное подножие, поднимается дерево, могучее во всем своем строении, исполинское даже в самых тонких ветвях; точно великан, пробивается оно между ними, добиваясь простора для своего ствола и вершины. Это—слон, толстокожее между деревьями, адансония, табальдия туземцев или, как мы его называем, боабаб. С удивлением останавливаешься, разглядывая его; глазу необходимо сперва освоиться с его видом, прежде чем он может охватить все подробности целого. Представьте себе дерево, ствол которого в обхвате, на высоте человеческого роста, может достигать 17 сажен, нижние сучья превосходят толщиною стволы наших самых больших деревьев, ветви равняются толстым сучьям и самые молодые отпрыски бывают не тоньше большого пальца; представьте себе, что этот мощный растительный великан возвышается почти на 20 сажен и его нижние ветви вытягиваются почти на 10 сажен, тогда вы получите понятие о том впечатлении, какое он производит на зрителя. Между всеми деревьями девственных лесов этой страны, адансония раньше других теряет свои листья и дольше всех остается в состоянии зимнего покоя; в это время ее обнаженные сучья и ветви кажутся вытянутыми во все стороны, и с большей части ветвей, на длинных, гибких черенках, свешиваются плоды, по величине похожие на дыни и содержащие между семенами мучнистую, кисловатую мязгу. Это зрелище навсегда запечатлевается в памяти. Когда же после первых весенних дождей распускаются большие, разделенные на пять лопастей, листья и завершают чудо, представляе-

мое этой древесной вершиной, когда между листьями раскрываются сидящие на длинных черенках почки цветов, величиною с розу, несравненное исполинское дерево превращается, как бы волшебством, в громадный розовый куст неописанного великолепия, и удивление охватывает душу до самой глубины ее, даже у человека самого спокойного характера.

С боабабом не может сравниться никакое другое из деревьев леса: на-ряду с ним даже пальма-дулеб, поднимающая свою верхушку над всеми окружающими вершинами, уже не кажется красивой и величественной. Между тем это одно из великолепнейших деревьев внутренней Африки и одна из прекраснейших пальм в свете: ее ствол представляет собою колонну, изящнее которой не придумал бы ни один художник, ее вершина—капитель, чрезвычайно подходящая к такой колонне. Поднимающийся вертикально, утолщенный у земли ствол становится все тоньше и тоньше, на половине своей высоты он опять начинает утолщаться, вновь утончается и опять разбухает под самой вершиной; эта последняя состоит из широких веероввидных листьев, величиною в два квадратных аршина, черенки которых все находятся на одинаковом расстоянии от центра и поэтому придают вершине чрезвычайно характерный вид. Под ними выступают кисти плодов, которые достигают объема детской головы и еще более увеличивают красоту этой вершины, служащей украшением не только ствола, но и целого леса.

Сказка прилепляется ко всему исполинскому, живет им и близ него становится осязательной и понятной. Такая мысль невольно приходит на ум, когда, как это часто бывает, видишь адансонию обвитой и переплетенной одним из вьющихся растений, в изобилии украшающих эти леса. Вьющееся растение всегда казалось мне эмблемой арабской сказки. Точно так же, как это растение повидимому не нуждается в питающей его почве и все-таки исходит из нее, заимствуя однако свою главную пищу из воздуха, так же, как оно извилисто перебегает с дерева на дерево, прикрепляясь к каждому из них и все-таки стремясь дальше, пока наконец не распустится на какой-нибудь вершине, лишенной цветов, и не украсит ее яркими и душистыми цветами,—и сказка, исходя из действительности, скрывает это происхождение, поднимается все выше и выше, ища себе опоры, до самого неба и оттуда ниспосылает свою поэзию на весь мир, пока найдется сердце, способное загореться от нее. Говоря о вьющемся растении, я разумею не какой-либо один растительный вид, но понимаю под этим выражением все растения, которые здесь—плотными спиралями обвивают ствол, там—обхватывают обнаженную вершину, в одном месте связывают несколько деревьев, в другом одно из них покрывают зеленью и гирляндами, здесь перекидывают мосты с одной ветви на другую, там—помогают загораживать дорогу и выступают еще в сотне различных форм, постоянно извиваясь и цепляясь за деревья. Их прелесть, то очарование, которое они производят на жителя севера, можно только испытывать, но невозможно описать; так же, как нельзя распознать начала и конца вьющегося растения, нельзя найти и выражений для удовлетворительного описания. Вьющееся растение повсюду перед глазами, и в то же время оно ускользает от наблюдения; с удивлением следишь за линией его изгибов, не имея возможности угадать, откуда они являются и куда они уходят; восхищаешься видом его цветов, не будучи

в состоянии добраться до них. Вьющиеся растения именно и придают лесу отпечаток девственного характера.

И они не только распускают свои собственные цветы, но умеют украситься и чужими. На их изгибах особенно охотно отдыхают некоторые красивые лесные птицы и кажутся живыми цветами, своей прелестью и привлекательностью далеко превосходящими настоящие цветы. Иногда случается, что перед глазом, следящим за изгибами растения, мелькнет отблеск, который можно сравнить с игрою солнечного луча на гладкой отражающей поверхности, и заставит взглянуть туда, откуда он исходит. Этот отблеск, в действительности, не что иное, как отражение солнечного луча на атласистых перьях блестящего скворца, отбрасываемое то кверху, то книзу при каждом движении великолепной птицы. Восхищаясь чудной красотой этой птицы, хочешь ее изучить, запомнить каждое ее движение, но внимание постоянно отвлекается все новыми и новыми явлениями.

Здесь одна картина непрерывно сменяется другой. Там, где, за минуту перед тем, виднелся блестящий скворец, тотчас же появляется не менее блестящая и сверкающая золотая кукушка, не уступающая колибри красотою перьев медососка, пара прелестных пчелоядов, выказывающая такое же яркое оперение сивоворонка, райская мухоловка, длинные средние хвостовые перья которой так удивительно украшают эту маленькую птичку, хохлачка, развертывающая при каждом взмахе крыльев их темно-пурпурные перья, сорокопут, затмевающий цвет этих крыльев своей ярко-красной грудью, оригинальная птица-носорог, золотой ткач, древесный удод с металлическим блеском перьев, красивый дятел, лиственно-зеленый голубь, множество попугаев и других пернатых обитателей леса. Лес представляет любимое местопребывание птиц, дает многим сотням и тысячам видов убежище и пропитание, и поэтому постоянно являет их наблюдателю несравненно чаще, чем всех других, укрываемых им, животных. Птицы населяют и оживляют все части, все ветки леса, и землю, и высочайшие вершины, и непроницаемые кустарники, и безлистные ветви боабабов. Между травами и другими растениями, густо покрывающими почву, франколины и цесарки прокладывают свои извилистые, истоптанные постоянной ходьбой тропинки; под листвой над корнями кустарников приютились маленькие голуби, а в раскидистых частях их вершин—разнообразные красивые птицы, в особенности медососки и особый вид нарядных зябликов. В самых густо переплетшихся, повидимому непроницаемых верхушках кустов посвистывают, напоминая звук пущенной стрелы, семейства мышиных птиц, которые, ползая и изгибаясь, пользуясь каждой пустотой, пробираясь через каждое отверстие, проникают вовнутрь чащи и умеют даже находить там добычу. По стволам, поднимающимся над кустарниками, свешиваются и лазают, исследуя каждую трещину коры, древесные удоды, синицы и дятлы; на нижних ветвях второго слоя вершин сидят, выжидая летающую добычу, прелестные пчелоядры и сивоворонки, райские мухоловки и дронго; по более толстым ветвям третьего слоя пробираются вприпрыжку хохлачки, с достоинством прохаживаются мелкие цапли, спят, прильнув к стволу, филины и совы; в частой зелени самых высоких деревьев копошатся попугаи и бородачи; на верхних ветвях сидят орлы, соколы и коршуны. Куда ни бросишь взгляд, всюду видны птицы.

В соответствии с таким повсеместным распространением птиц, в ушах непрерывно раздаются самые разнообразные птичьи голоса. Птицы кричат и радостно, и тревожно, свистят, чирикают, стрекочут, воркуют, трещат, каркают и поют со всех сторон, сверху и снизу, и в полдень, и в утренние, и в вечерние часы. Сотни различных голосов звучат одновременно, перебивая друг друга, часто соединяются в какой-то грандиозный концерт, но часто превращаются и в ошеломляющее смешение звуков, в котором напрасно стараешься разобрать те или другие голоса и, только после долгого упражнения, выучиваешься различать отдельные звуки. За исключением дроздов, огнеглазок, древесных соловьев и дронго, нет настоящих певчих птиц, но многие птицы своим криком, чириканьем и другими громкими звуками производят впечатление симпатичных и добродушных болтунов; общая музыка первобытного леса не может и в отдаленной степени сравниться с прелестью и благозвучием весеннего пения наших лесов, но зато она отличается оригинальностью и своеобразностью отдельных голосов. Дикие голуби воркуют, подвывают и хохочут с вершин и из плотных кустарников; франколины и цесарки громко вторят им; попугаи резко вскрикивают, вороны каркают, крикливые бананоеды стараются подражать странному ворчанью некоторых мартышек, между тем как хохлачки издают звуки, похожие на голос чревовещателя; бородачи свистят громко или сообща поднимают такое звучное, смешанное и в то же время характерное пение, что его можно причислить к самым оригинальным звукам леса; блестящие скворцы поют, бесконечно повторяя немногие хриплые, то каркающие, то визгливые, то скрипучие звуки, на какие только они способны, сливая их между собою; великолепный крикливый орлан, который водится около всех лесных рек и озер, поддерживает репутацию самой крикливой птицы своей породы. Высоко на вершине дерева сидит «абу-ток» (издающий звук «ток») туземцев — маленькая птица-носорог, громко выкрикивающая свой характерный звук в глухом лесу и каждый раз сопровождающая его низким наклонением головы, отягченной несообразно большим клювом. В ее негибкой гортани только и заключается один этот звук, и им она принуждена объяснять свою любовь привлекающей ее самке — столь же внятно, как и соловей своей чарующей песней. Возвышенное чувство, переполняющее ее грудь, ищет исхода. Быстрее и быстрее следуют отдельные призывы, скорее и скорее — связанные с ними поклоны, до тех пор, пока тяжелая голова, требуя отдыха, не в силах уже сопровождать звуки, и тогда происходит перерыв своеобразной любовной песни, которая через несколько минут начинается вновь и выполняется таким же образом. Из непроницаемой чащи раздается голос лесного ибиса, наполняя трепетом душу наблюдателя. Песня этой птицы одна из самых жалобных; она звучит, точно плач ребенка, которого поджаривают на медленном огне и который среди мучений громко вскрикивает; протяжные и жалобные звуки перемежаются с резкими криками, пронзительные взвизгивания — с замирающими стонами. Из выше лежащих частей леса, оттуда, где уже не встречается открытых мест, гремят далеко слышные, богатые металлическими тонами, похожие на звук трубы, крики венценосного журавля, оживляющего ими свои изящные бойкие пляски в честь самки; отклик этих звуков повторяется лесом и голосами птиц, так что крик журавля дает толчок к новым, одновременным крикам значительного числа других птиц. По этому поводу,

почти каждая одаренная голосом птица пробует свое пение, и поток самых разнообразных звуков покрывает некоторое время отдельные голоса. Но не только различные виды пернатых обитателей леса сообща принимают участие в концерте, но и различные полы одного вида соединяются, чтобы исполнить приходящиеся на их долю партии. Подобно бородачам, в одно и то же время, кричат абиссинские дрозды, крикливые бананоеды, франколины и цесарки, и их голоса резко выделяются в общем смешении звуков. У некоторых видов, а именно у сорокопутов, это делается иначе: у них самец и самка каждой пары исполняют свои особые мелодии. Самец одного вида, с которым я ознакомился там—пурпурный сорокопут, исполняет короткое колено, напоминающее заглушенный свист нашей иволги; другой вид—певчий сорокопут издает три чистые, как колокольчик, свирельные тона, представляющие терцию, основной тон и октаву; непосредственно за ними следует ответ самки—у обоих видов неприятное, трудно поддающееся описанию карканье, но верное и попадающее в такт, как будто эти птицы обучались у музыкантов. Иногда случается, что самка начинает и выкрикивает от четырех до шести раз, пока получит ответ; тогда начинает самец, и потом оба чередуются с обычной правильностью. В этом общем участии обоих полов я убедился на опыте, убивая отдельно то самца, то самку; тогда слышалось лишь пение оставшегося в живых. К сожалению, в этих, на первое время привлекательных звуках недостает богатства и разнообразия, так же, как и во всем этом смешении голосов нет благозвучия и согласия птичьих песен наших родных лесов. Но все-таки музыка девственного леса величественна и сильна, когда в весеннее время звучат вместе сотни и тысячи различных голосов, миллионы насекомых жужжат около цветущих деревьев, образуя громкий, звучный гул, бесчисленные ящерицы и змеи шелестят в сухой листве, и вдруг резкий, жалобно звучащий с высоты, орлиный крик, или трубный звук венценосных журавлей и цесарок на время покроет все другие голоса, а затем, около самого уха, раздается прелестная песенка огнеглазки и снова послышится крикун, дающий тон, и крик его повторится тысячью гортаней.

Когда освоишься в лесу больше, чем этого можно было ожидать в начале, он дает возможность видеть много привлекательного в семейной жизни животных и конечно прежде всего птиц. Еще царствует весна, а, вместе с нею, и любовь во всех сердцах. Птицы поют и воркуют, строят свои гнезда и высиживают яйца. Уже с лодки можно заметить гнезда некоторых видов.

На достаточной высоте, на отвесном месте береговой стены, вырыли пчелоядны свои узкие, но глубокие норки, расширяющиеся внутри в виде хлебной печи. Все поселение скучивается на нескольких квадратных аршинах, хотя здесь соединяются, по меньшей мере, тридцать, а обыкновенно от восьмидесяти до ста пар; круглый вход, от одного до двух дюймов в диаметре, одной норки удален не более как на шесть дюймов от входа в другую норку. Почти непонятно, каким образом каждая пара может отличить вход в свою норку от других; тем не менее ловкие, легкокрылые птицы, даже прилетая издалека, без колебания или размышления попадают туда, куда нужно: их необыкновенно острое зрение, дающее им возможность на ста шагах расстояния видеть пролетающую муху, никогда не обманывает их. Их живые, возбужденные хлопоты, перед тем как они выбирают себе место для гнезда,

представляют необыкновенно приятное зрелище. Все окрестные деревья или кусты украшены по крайней мере одной парой этих красивых общительных птиц; на каждой удобной ветке сидит соединившаяся пара, и каждый из супругов принимает нежное участие во всем, что касается другого. Перед гнездами происходит то же, что и перед ульем: одни птицы влетают, другие вылетают; множество их порхает постоянно у входов в норки. Только с наступлением ночи, которая всех заставляет укрыться в норы, наступают тишина и спокойствие.

На других местах берега, где высокие деревья склоняются к воде или по крайней мере омываются ею во время половодья, поселились ткачи. И они выводятся всегда обществами, но строят свободно висящие гнезда, прикрепленные к наружным концам веток и искусно сплетенные из стеблей или растительных волокон. Никакая лакомая мартышка, никакой другой враг, похититель яиц, даже змея, не может приблизиться к этим гнездам, не подвергаясь опасности свалиться в воду. По меньшей мере три, а обыкновенно от сорока до шестидесяти птиц выводятся на одном и том же дереве, которому их гнезда придают весьма оригинальный вид и даже налагают известный отпечаток на весь пейзаж. Противоположно другим птицам, гнезда строят не самки, а самцы; последние работают с таким необузданным рвением, какое можно проявлять только тогда, когда к удовлетворению потребности присоединяется удовольствие. С откушенным стебельком или сорванным волокном в клюве, они прилетают, прицепляются в висячем положении, ухватившись ногами за ветку или за самое гнездо, удерживаются на весу постоянным, легким колебанием крыльев и, с непрерывными песнями, вплетают в гнездо принесенные материалы. Когда оно закончено даже и внутри, они тотчас же начинают строить второе, третье, иногда разоряют уже готовое, чтобы удовлетворить своей строительной страсти, и продолжают так до тех пор, пока самке не потребуется их помощь для воспитания птенцов. Такая усиленная работа оживляет все поселение, и золотисто-желтые, подвижные, сидящие и висящие в различных положениях птицы придают еще более украшения дереву, и без того убранному гнездами.

На мимозах, которые, именно во время общей выводки птиц, стоят без листьев, буйволевые ткачи сооружают свои постройки, несколько походящие по величине на жилища наших скворцов. Их гнезда находятся в самых густых верхних ветвях упомянутых колючих мимоз, состоят снаружи исключительно из колючих веток, придающих им щетинистый вид, иногда бывают длиною более полутора аршина, а шириною и высотою только вдвое менее, и содержат внутри достаточно просторные углубления для гнезд, к которым ведут соответствующие величине этих птиц, нередко извилистые ходы, недоступные для других животных. Также и на этих деревьях и около этих гнезд замечается постоянное и шумное движение.

Внутри самого леса, при внимательном наблюдении, повсюду можно встретить гнезда, как ни трудно иногда распознать их. У маленьких вьюрков — скатанные ветром, но внутри мягко и тепло выстланные перьями; другие птицы выбирают материалы, сходные по своей окраске с тем, что их окружает, до полного обмана глаз; третьи совсем не вьют гнезд, а кладут свои яйца землистого цвета, без всякой подстилки, прямо на землю. Все дупла в деревьях теперь заняты; дятлы, бородачи и попугаи стараются постоянно пробивать новые углубления

или расширять старые для своих гнезд, а птицы-носороги, напротив, заделывают слишком широкие входы. Именно последние особенно отличаются своим способом высиживания, и поэтому должны быть упомянуты на первом месте.

После того как самец птицы-носорога усердным ухаживаньем привязал к себе самку, он ищет вместе с нею удобного дупла, чтобы там высидеть детей. Найдя такое дупло, он тщательно расширяет его своим огромным клювом до необходимой величины. Тогда самка принимается класть яйца, и оба супруга, самка изнутри, а самец снаружи заделывают дупло, оставляя лишь такую щель, в которую самка может просунуть свой клюв. Отделенная от внешнего мира, в настоящем карантине, самка выводит детей, и на обязанности самца лежит прокармливать не только замуравленную супругу, но и вылупляющихся впоследствии из яиц, быстро растущих и требующих очень много пищи птенцов, пока они не будут способны летать. Тогда мать открывает вход изнутри, и вся семья, отъевшаяся и вполне оперившаяся, выступает в свет, чтобы избавить от дальнейших забот супруга и отца, который, от постоянных трудов и хлопот по поддержанию такого многочисленного семейства, отощал как скелет.

Такую же преданность своим обязанностям мужа и отца выказывает и так называемая теневая птица, величиною с ворона и похожая с виду на аиста, ведущая бесшумную, ночную жизнь в лесу. Ее громадные гнезда принадлежат к самым замечательным сооружениям этого рода; они помещаются обыкновенно на незначительной высоте над землею, около ствола или на крепких сучьях нижней части вершины, обладающих достаточной прочностью. Они превосходят объемом и весом самые большие гнезда хищных птиц, имеют иногда поперечник от двух с четвертью аршин, при такой же высоте, и состоят из довольно толстых обломков сучьев и ветвей, скрепленных глиной и образующих настоящие стены. Если не удастся заметить случайно, как птица входит или выходит, никак нельзя подумать, что эти сооружения полы внутри, и скорее можно принять их за гнезда больших хищных птиц, тем более, что нередко орлы и филины пользуются их крышами для выводки своих детей. Если же познакомиться ближе с их настоящими строителями и точнее исследовать самые гнезда, то оказывается, что внутри они содержат три, совершенно отдельные, соединенные только узкими ходами на-подобие дверей, помещения, которые, при дальнейшем наблюдении, можно принять за прихожую, гостиную или столовую и детскую. Последняя, находящаяся позади всех, расположена несколько выше обоих передних отделений, чтобы случайно проникшая в нее вода могла вытекать оттуда; впрочем, вся постройка сделана так крепко, что даже сильные, продолжительные ливни редко причиняют ей вред. В помещении, где выводятся дети, лежат на мягкой подстилке из осоки и других растительных материалов от трех до пяти белых яиц, которые высиживает самка; тем временем самец в среднем помещении накопляет всевозможные припасы — пойманных рыб, лягушек, ящериц и другие лакомые куски—в достаточном количестве, так что самке остается лишь выбирать между готовыми запасами и достаточно сделать только один шаг, чтобы насытиться. В переднем помещении стоит или сидит самец, если он не занят отыскиванием добычи, охраняя и развлекая сидящую на яйцах подругу, пока и то, и другое станет ненужным для подростающих птенцов.

Дружеское сожительство этой птицы с орлом или филином— не единственный пример мирного соседства птиц различных видов, несходных по нравам и обычаям. На широких горизонтальных, веерообразных листьях величественной пальмы-дулеб помещается гнездо столько же быстрого, сколько и хищного малого сансана и рядом гнездо голубя, и так близко. что хищной птице стоило бы только протянуть лапу, чтобы схватить одного из детей соседа. Но она этого не делает, потому что привыкла хватать птиц только на-лету; дети голубя вырастают невредимо в ближайшем соседстве с потомством хищной птицы, и соседи нередко сидят рядом—каждая пара около своего гнезда.

Другая пальма доставила мне случай наблюдать птиц, способ выводки которых показался мне в высшей степени поразительным и занимательным. Около пальмы летали с оживленным криком маленькие касатки, родственники с нашей черной касаткой, и заставили меня обратить внимание на это дерево. При ближайшем исследовании я увидал, что они часто исчезают в пальмовых листьях, и наконец заметил в желобке листовых черенков светлые точки, которые я признал за гнезда. Я влез на дерево. притянул к себе один из листьев и нашел в углу между черенком и листом гнездо, существенную часть которого составляла хлопчатая бумага и которое было склеено слюною, как это делают касатки. Но самое углубление гнезда показалось мне настолько плоским. что я невольно удивлялся, как могли в нем держаться оба яичка, когда большой лист раскачивается от малейшего ветра, не говоря уже о бурях, достигающих в этих краях необыкновенной силы. Осторожно прикоснулся я к двум яичкам, чтобы их вынуть, и заметил с удивлением, что они были приклеены к гнезду. И когда я исследовал ближе вылупившихся маленьких. еще совершенно беспомощных птенцов, я увидал с возрастающим изумлением, что и они для предохранения от падения таким же образом прикреплены к гнезду.

Между тем как птицы попадаются всюду, и своей красотой, подвижностью и хлопотливостью, а также своим пением или, по крайней мере, криком, постоянно привлекают к себе внимание опытного наблюдателя, нельзя сказать того же о других обитателях леса. За исключением многочисленных ящериц и змей или местами часто встречающихся насекомых, другие животные, в особенности млекопитающие, их замечаются сравнительно редко. Стаи мартышек конечно нельзя не заметить, потому что своею живостью и суетливостью они бросаются в глаза даже самому незоркому человеку, и нельзя не слышать издаваемых ими ворчливых звуков; но мимо других животных можно пройти в нескольких шагах, даже не догадываясь о их близости. Значительно большая часть всех млекопитающих девственного леса обнаруживают жизнь и движение только после солнечного заката и до наступления дня возвращаются в свои логовища; но даже и те, деятельность которых совпадает с утренними и вечерними часами и не останавливается при солнечном свете, дают наблюдать себя не так легко, как это можно бы предположить: густота леса помогает им укрываться от постороннего глаза. «Неужели вы не заметили леопарда?— спросил у меня европеец, с которым мы однажды охотились в девственном лесу.—Он несколько минут тому назад бросился отъ меня и набежал на вас. Я не мог стрелять, потому что мое ружье было еще не заряжено, но вы должны быяи его видеть». Между тем я вовсе не заме-

тил крупного хищника—так густ был подлесок. Кроме того и другое обстоятельство мешает наблюдателю заметить животное—одинаковость цвета млекопитающего с тем, что его окружает. Сероватая полуобезьяна, которая, скорчившись, спит на ветке, покрытой лишайниками, кажется сучком или наростом дерева, и формы животного выступают лишь тогда, когда искусившийся охотник вынимает свой бинокль и при его помощи пристально рассматривает этот сучок; летучая мышь, висящая высоко в вершине другого дерева, походит на пожелтевший лист; даже пестрая шкура леопарда может быть воспроизведена в лесу сухими листьями и цветущими молочаями с такою верностью, что я сам однажды, с заряженным ружьем в руках, должен был подойти на пятнадцать шагов к кусту, куда скрылся леопард, прежде чем мог отличить животное от его обстановки. То же самое можно бы сказать и о живущих в лесу антилопах и о всех других млекопитающих. Все они сами хорошо это знают. Не везде в лесу, а местами довольно часто попадается особая, мелкая порода антилоп; это—одна из привлекательнейших жвачных животных, весьма изящного строения, не превосходящее величиною новорожденного теленка козули; она бывает голубовато-серого цвета, как некоторые лисицы, живет парами в самом глухом подлеске, выбирает для временного или постоянного местопребывания разветвляющийся до земли, богатый листвою куст и выступает оттуда по узеньким тропинкам, которые по различным направлениям уходят в чащу. Я часто стрелял этих животных; но в начале и я, так же, как и все другие путешественники и охотники, знакомящиеся с этой антилопой, никак не мог ее увидать, вероятно потому, что она, когда я ее выпугивал, как стрела мелькала передо мной. «Смотри, господин, там перед тобой в ближайшем кусте стоит козлик: он стоит там внизу, между двумя густыми ветками; разве ты не видишь?», шептали мне сопровождавшие меня туземцы. Я напрягал зрение, буквально пронизывал взглядом указанный куст, и ничего не видал, кроме ветвей и листьев, потому что тонкие ножки козлика казались ветками, а его голова и тело—покрытым зеленью сучком. Но охотничий глаз наконец освоивается и в девственном лесу. Ознакомившись до известной степени с нравом и обычаями грациозной антилопы, приучаешься отыскивать ее так же легко, как и самый зоркий туземец. Тонкий слух животного сообщил ему о приближении человека гораздо ранее, чем тот мог заметить какой бы то ни было след близости антилопы. Испуганная шумом тяжелых человеческих шагов, она вскакивает с своего ложа, делает несколько шагов вперед и высовывается в просвет, откуда она может видеть, что делается кругом. Неподвижно, как отлитое из меди изваяние, не шевеля ни одним из навостренных ушей, даже не поворачивая глаз, она стоит, слушает и смотрит; поднятая нога застывает в воздухе, ни одним движением не выдает она своего присутствия. Теперь время для охотника быстро вскинуть ружье, прицелиться и выстрелить: еще минута, и лукавая дичь одним прыжком очутится в соседнем кустарнике и будет прикрыта им или припадет к земле и ускользнет так незаметно, что ни один лист не шелохнется, ни одна травка не пошевелится.

Так девственный лес показывает свои разнообразные отдельные картины глазу наблюдателя. Кто способен смотреть и умеет искать, видит и находит в каждой части леса и во всякое время столько достойного внимания, что не успевает усвоить себе всего. Но не во всяком месте и не во всякое время можно наблюдать одно и то же. Здесь, где

весна ограничивается неделями, а лето или осень—днями, и долгая зима, как и в степи, почти тотчас же за прекращением дождей вступает в свои права—полнота, богатство и сила растительной и животной жизни сосредоточиваются в непродолжительном промежутке времени. Как только птицы окончили выводку птенцов, они начинают улетать и переселяться; как скоро известная часть леса покинута млекопитающими, они переходят в другую. Соответственно с этим, на том же месте, в различное время года, приходится встречать различных животных или видеть существенно иные картины животной жизни. Так, например, река оживляется по мере того, как пустеет лес.

Во время половодья можно заметить лишь немногих животных, живущих на воде или в воде. Все острова лежат глубоко под водою; берега также затоплены на далекое протяжение, и наводнение вытеснило живущих там птиц. И если крокодил высунет из воды свою голову или чешуи своей спины, то заметить его можно лишь в незначительном расстоянии от лодки. Строго говоря, только попадающиеся местами гиппопотамы и летающие над водою или ныряющие в ней птицы служат доказательством того, что в реке и над нею также обитают высшие позвоночные. Но когда, после прекращения дождей, уровень реки понижается, и все острова, песчаные мели и береговые заросли выступают из воды, вид реки изменяется и относительно животного мира. Теперь гиппопотамы удаляются в самые глубокие места реки, собираются там, образуют стаи различной, иногда довольно значительной численности, и становятся весьма заметны, так как каждое вдыхание заставляет их подниматься на поверхность и выдает себя раздающимся на далекое расстояние фырканьем. Они выходят и днем на одинокие острова или песчаные отмели, лежат здесь и потягиваются на солнце, а поэтому видны путешественнику уже за версту или еще далее. Крокодилы с жадностью пользуются теперь тем, чего они были лишены во время половодья,—возможностью по целым часам греться на полуденном солнце; с этою целью они выползают поздним утром на песчаные острова, тяжело и шумно шлепаются на песок, широко разевают зубастые пасти и спят по десяти, по двадцати, по тридцати на одной отмели в самых различных направлениях—рядом, иногда и один на другом, до самого вечера. Теперь песчаные отмели, а также оба берега реки и ее большие острова покрыты стаями птиц, которые своей массой производят подавляющее впечатление. В описываемое время большинство местных береговых и водяных птиц уже вывели детей и теперь находятся со своими птенцами на реке для того, чтобы здесь при обильной, добываемой без труда, пище окончить линяние. В это же время присоединяются к ним и птицы, прилетевшие с севера, которые здесь зимуют; последние живут и в первобытном лесу, но там далеко не так заметны, как на реке, береговые заросли и острова которой покрыты теперь самыми крупными, легко бросающимися в глаза перелетными птицами. Здесь может случиться, что находящееся в их распоряжении пространство окажется слишком тесным и несомненное обилие пищи—недостаточным. Вследствие того, каждое местечко здесь занято, даже переполнено; везде, где можно найти пищу, являются тысячи соискателей, даже каждое место для ночлега берется с бою. Три дня я плыл при попутном ветре в удобной лодке вверх по Белому Нилу, и во время этого далекого и продолжительного путешествия оба берега реки являлись мне непрерывно украшенными пестрыми и оживленными стаями самых разнообразных бегающих и плавающих птиц.

Такое зрелище можно встретить и среди девственных лесов Голубого Нила. Здесь обширные песчаные отмели находятся в полном владении серых и малых журавлей; эти отмели служат прилетающим на зиму чужеземцам только местом для отдыха, линяния и ночлега; отсюда они для отыскания корма, каждое утро улетают в степь, с тем, чтобы возвратиться на реку перед полуднем, утолить свою жажду, купаться, чистить перья и проводить ночь в постоянной тревоге от нападений крокодилов. Около полудня к серым и малым журавлям почти всегда присоединяется несколько венценосных журавлей, которые неизменно приводят всю стаю в величайшее волнение, будучи, если не более искусными, то более усердными плясунами; прибыв на место, они не пропускают случая показать свое искусство и вызвать других журавлей к состязанию. На тех же мелях встречаются часто клювачи, птицы, похожие на аистов, с белыми, розоватыми перьями, с ярко-розовыми крыльями; они занимают наружные края острова или близлежащие мели, ярко выделяясь своим почти огненным оперением среди светло-серых журавлей. По краю берега гордо шагают великолепные исполинские и сенегальские аисты; с достоинством расхаживают взад и вперед некрасивые, но оригинальные марабу, стоят многочисленными группами сверкающие своими перьями аисты-разини, ходят в воде исполинские и серебристые цапли, добывая себе рыбу, стоят и лежат, плавают и ныряют, пасутся на траве и гуляют, гогочут и крякают тысячи шпорцевых и нильских гусей, уток-вдовушек, змеиных аистов, ибисов, больших куликов, береговых и водяных бегающих птиц и мн. др., составляющих необыкновенно пеструю стаю и, пожалуй, еще более украшающих реку, чем клювачи. Кроме названных птиц, которые постоянно то прилетают, то улетают, над поверхностью воды носятся еще крачки и чайки, береговые ласточки и пчелоядь и высоко в воздухе кружат великолепные орланы.

Некоторые виды этого во всех отношениях богатого пернатого населения реки должны выжидать самого низкого спада воды, чтобы приступить к выведению птенцов, потому что при половодии им не найти таких мест, какие им нужны для гнезд. К этим видам относится красиво и ярко окрашенная, умная бегающая птица, хорошо известная древним, как прислужница крокодила (Trochilus Геродота), о которой и Геродот, и Плиний рассказывают, что она живет в тесной дружбе с крокодилом. Рассказ древних вовсе не басня, как можно бы подумать: фактически проверенный мною, он оказывается вполне справедливым. Крокодиловый сторож, изображение которого часто встречается на древне-египетских памятниках и в иероглифической азбуке означает букву У, живет также в Египте и Нубии, но в настоящее время только в Судане оказывает те услуги крокодилу, благодаря которым он вошел в славу у древних народов. Услуги эти он оказывает не одному только крокодилу, но и всем животным, умеющим пользоваться его деятельностью. Внимательный и любопытный, подвижной и крикливый, одаренный громким голосом, он точно создан для предостережения всех менее осмотрительных существ. От его наблюдательности не ускользает ни приближающееся хищное животное, ни внушающий подозрение человек; его внимательность привлекается каждым парусным или гребным судном, и он никогда не забудет выразить свою тревогу громким криком. Таким образом о каждом необыкновенном событии он оповещает всех животных, разделяющих его местопребывание, понуждает их исследовать с своей стороны, действительно ли возникает опасность.



Крокодилы.

и во многих случаях дает им возможность спастись бегством. В этом заключается его обязанность сторожа. Дружеские отношения его с крокодилом едва ли можно назвать взаимными: ожидать дружелюбных чувств от крокодила значило бы требовать от него невозможного. Не на дружелюбные к себе чувства крокодила рассчитывает сторож, так бесстрашно служа отдыхающему на отмелях пресмыкающемуся, а потому что смолоду хорошо знает и верно изучил все его свойства. Без всякого стеснения расхаживает он по спине покоящегося чудовища, беззаботно приближается к разинутой пасти, чтобы взглянуть, не присосалась ли там пиявка или не застрял ли между зубов кусок пищи, и прямо вытаскивает оттуда то или другое. Крокодил спокойно подчиняется этому, зная из опыта, что ему не обойтись без помощи внимательной, проворной и ловкой маленькой плутовки. Мне пришлось видеть однажды, как сторож крокодила закусывал рыбой вместе с крикливым орлом, который поймал эту рыбу и принес ее на песчаную отмель. Когда орел, крепко державший добычу обеими лапами или даже стоявший на ней, отрывал от нее куски своим клювом, маленький нахлебник держался в почтительном отдалении от стола знатного вельможи; но когда тот поднял голову, чтобы набить себе зоб, птичка быстро подбежала, схватила кусок, уже оторванный орлом, и торопливо вернулась на прежнее место, чтобы там проглотить свою добычу. Не менее, чем эта сознательная смелость, поразителен тот способ, каким сторож крокодила укрывает свои яйца от непрошенного взгляда. Долго и напрасно искал я гнезд этой птицы. О наступлении для нее времени высиживания яиц я узнал из вскрытия убитых мною особей; в том, что они должны были выводиться на песчаных отмелях, для меня не могло быть сомнения, в виду их образа жизни. Однако, напрасно исследовал я самым тщательным образом их любимые места: гнезда их мне нигде не попадались. Наконец я заметил хитрую чету; один из супругов сидел на земле, между тем как другой хлопотал около него; я приложил подзорную трубу к глазу и, не упуская из виду сидящей птицы, прямо пошел на нее. Когда я близко к ней подошел, она поднялась, поспешно набросала песку на какое-то место и убежала оттуда, вместе с другими, со своим обыкновенным криком, без всяких признаков какого-либо особого возбуждения. Я не дался в обман, и, не теряя места из глаз, прямо направился к нему. Но и тогда я никак не мог найти гнезда, и только когда заметил маленькую неровность в песке и порылся в ней, мне попались два яйца, по цвету и окраске до полного обмана схожие с песком. Если бы я дал матери больше времени, то, вероятно, не нашел бы и этой незначительной неровности.

Еще более богатая, во всяком случае, более разнообразная животная жизнь, чем на самой реке, царит в это время на берегах и на поверхности озер в средине леса, наполняемых стекающими туда весенними ливнями, или разливами реки. Окруженные со всех сторон лесом, нередко так плотно, что добраться к ним невозможно или возможно лишь с величайшим трудом, окаймленные обширными зарослями тростника и осоки и в настоящее еще время дающие приют папирусу и лотосу, дождевые озера или «фулаты», как их называют туземцы, представляют превосходные убежища и места выводки для самых разнообразных птиц и зверей. Их безопасное местоположение привлекает даже гиппопотама, который отыскивает эти водоемы, чтобы там производить на свет, выкармливать и воспитывать своих детенышей, не заботясь о их пропитании и не опасаясь грозных врагов. Плотные берега

вые заросли этих озер и их заливы, переходящие в болота, приманивают к себе кабанов и диких буйволов; спокойные воды служат для водопоя всем антилопам. На их зеркальной поверхности собираются тысячи пеликанов, чтобы перед тем, как сесть на ночлег на соседние высокие деревья, еще половить рыбы: на этой поверхности, где в течение всего дня ныряют змеешейки и аисты, плавают все водящиеся здесь виды гусей и уток, находят себе зимнее местопребывание, прибывающие с севера водяные птицы; бухты и мелкие береговые места позволяют цаплям добывать без труда богатую добычу; зеленые окраины озер дают бесчисленным мелким пташкам, а также водяным и другим птицам желательные для них пристанища. Поэтому не удивительно, что по временам подобные озера положительно кишат пернатыми гостями; понятно также, что такое богатство добычи в свою очередь привлекает сюда всевозможных врагов этих птиц. Более мелких преследуют соколы и совы; крупных—орлы и филины, млекопитающих—лисицы и шакалы, леопарды и львы. Случается иногда, что прилетающая из степи туча прожорливой саранчи нападает на свежий лес около озера и в течение нескольких дней совершенно объедает его зелень. Тогда громадное скопище птиц увеличивается еще более. Из близких и далеких мест появляются соколы и совы, вороны, сивоворонки, франколины и цесарки, аисты и ибисы, нырки и утки, чтобы досыта наесться саранчой. Каждая птица, которая питается насекомыми, в это время кормится исключительно налетевшими неприятными гостями. Сотни пустельги и красных соколов, которые именно в это время находятся там в своих зимних убежищах, собираются над лесом, низвергаются на тучи саранчи, хватают ее и быстро пожирают, не прерывая своего полета; вороны, сивоворонки, птицы-носороги, ибисы и аисты хватают ее на ветвях и при этом стряхивают вниз целые сотни, достающиеся на жертву дожидающимся внизу товарищам—цесаркам и уткам; коршуны и певчие ястребы летают вокруг деревьев, на которых поедающие зелень насекомые начинают уже занимать место бывших здесь прежде листьев; даже серьезные марабу и сенегальские аисты не пренебрегают этой мелкой, но являющейся во множестве добычей. Все это движение оживляет и без того никогда не кажущееся пустынным дождевое озеро и заставляет его служить больше, чем когда-нибудь, сборным пунктом самых разнородных животных.

На одном из таких дождевых озер, представляющих для натуралиста-коллектора настоящую сокровищницу девственного леса, мы много дней охотились, наблюдали, собирали коллекции, дивясь величественности растительного и животного миров, дразнили бегемотов, проявляли нашу неприязнь к крокодилам, одним словом, в высшей мере наслаждались удовольствиями охоты и научного наблюдения, забывая при этом все остальное—даже время. Но когда солнце начало склоняться, и к разнообразной зеленой окраске листьев леса стало примешиваться золото заката, когда затих крик попугаев и до нас доносилось только меланхолическое пение дрозда, когда орлан на другом берегу утомленно втянул свою белую голову между плечами, когда затихла воркотня мартышек, ночлег которых находился на ближайшей вершине высокой мимозы, когда наступила наконец ночь, прозрачная и ласковая, свежая и мягкая, звучная и душистая, как всегда в это время,—в нашей душе поблекли все цвета и краски, померк блеск воспринятых нами картин. Неудержимо понеслись наши мысли к дорогой родине, и тоска по ней глубоко охватила наши сердца: на ро-

дине в этот день праздновали канун Рождества. Мы приготовили пунш и наполнили наши трубки самым дорогим табаком; наш проводник, албанец, запел свои мягкие, звучные песни; ночь убаюкивала наши сердца и наши чувства. Но стаканы остались неопорожненными, «облака дыма не уносили с собою облаков грусти»; песни не пробуждали в нас отклика, и ночь напрасно ласкала нас. Она должна была принести нам рождественский подарок, и действительно принесла его!

Ночь в девственном лесу всегда величественна—вспыхивает ли небо яркими молниями и по лесу раскатывается гром, шумит ли буря, или на темном небесном своде блестят далекие звезды и ни один листок, ни одна травка не шелохнется. Через несколько минут после солнечного заката ночь уже окутывает лес. То, что ясно выступало днем, теперь скрывается темнотою; то, что при солнечном свете представлялось в обыкновенных размерах, принимает теперь исполинские формы. Знакомые деревья превращаются в призраки; кусты, походящие на изгородь, становятся темными стенами. Тысячеголосый шум постепенно умолкает, и на несколько минут наступает глубокая тишина. Потом опять начинается движение, и река, и лес оживляются. Сотни цикад начинают звенеть, напоминая звук маленьких, не вполне согласно подобранных колокольчиков, доносящийся с далекого расстояния; тысячи проснувшихся жуков, из которых иные достигают необыкновенной величины, кружатся около цветущих деревьев и издают звучное жужжание—настоящий аккомпанемент к пению цикад. К этому концерту присоединяются лягушки, издающие звук поразительно громкий, принимая во внимание их незначительную величину, и их голоса, похожие на медленные удары по китайскому гонгу, далеко разносятся по лесу. Большая сова приветствует ночь глухим, завывающим криком; небольшая неясыть отвечает ей резким хохотом; козодой тянет одно и то же колено своей мурлыкающей хриплой песни. С реки звучит жалобный призыв ночной птицы из семейства чаек—ножеклюва, который, носясь над самой поверхностью воды, уже начал бороздить ее волны; на песчаных островах и мелях слышится громкий, визгливый крик авдотки и музыкальная жалобная певучая трель ржанки; над чащей тростника и осоки ближнего дождевого озера каркает ночная цапля. В плотных кустарниках или на вершинах деревьев светятся сотни светляков; по реке плывет один из исполинских крокодилов, который, еще перед солнечным закатом, сошел с противолежащей отмели и охладил свою раскаленную чешую в теплых волнах; он плывет, оставляя полосы, отливающие серебром при лунном свете и вспыхивающие блестками при свете звезд. Над самыми высокими вершинами деревьев носятся беззвучным полетом ярко окрашенные филины и совы; вдоль берега летают длиннохвостые козодои; между вершинами деревьев носятся своим извилистым полетом летучие мыши; с одного берега на другой тянут, иногда целыми стаями, летучие собаки или другие, питающиеся плодами, рукокрылые. Настает время, когда и прочие лесные млекопитающие оживляются и подают голоса. Шакал начинает свои то жалобные, то веселые мелодии, и тянет их выразительно и непрерывно; десяток других животных его вида тотчас же откликаются, состязаясь с ним в пении; некоторые гиены как будто только и ждали этих запевал, чтобы вступить в их хор многочисленными голосами, и воют, и хохочут, и рыдают; леопард издает звук, похожий на хрюканье; лев рыкает; даже находящийся в реке гиппопотам присоединяет свой жалкий, ворчливый голос.



Африканские слоны.

Такими голосами проявляется ночь в первобытном лесу; так она занимала мое зрение и мой слух и в мою там бытность. Начали жуки и цикады, совы и козодои; затем загремели по лесу резкие, сильные, гулкие звуки, точно трубы, на которых пробуют свое искусство неопытные музыканты. Мгновенно замолкли песни нашего албанца, болтовня наших слуг и лодочников, и все стали прислушиваться так же, как и мы. Опять раздался шум и грохот с противоположного берега. «El fiuhl, el fiuhl», воскликнули туземцы; «слоны, слоны!», радостно отозвались и мы. В первый раз нам удалось увидеть и услышать гигантских толстокожих, по тропинкам которых мы почти всегда ходили, следы которых замечали так часто. С другого берега спокойно спускались к воде громадные, достаточно ясно видные в сумеречном свете ночи, фигуры, чтобы утолить свою жажду и выкупаться в реке. Слоны один за другим погружали гибкий хобот в воду, наполняли его и затем опоражнивали в широкий рот или поливали себе плечи и спину; потом один за другим они вошли в реку, чтобы освежиться в ее волнах. И точно их крик, похожий на звук трубы, служил сигналом—в лесу опять раздался гул. Раньше чем прежде, подал свой громовой голос царь пустыни; второй и третий лев отозвались на его приветствие. С ужасом закричали сонные обезьяны; тревожно откликнулись антилопы. Около самой нашей лодки поднял свою неуклюжую голову гиппопотам и заворчал, как будто хотел состязаться с громовым рыканием льва; леопард также попробовал отозваться; шакалы затянули ту же меняющуюся песню, полосатые гиены завыли, пятнистые гиены подняли свой адский, потрясающий до мозга костей, хохот, и, не заботясь о смятении, вызванном царем леса, лягушки продолжали свой однообразный крик, а цикады—свои жалобные трели.

Это было «Осанна в вышних!», воспеваемое девственным лесом.

Обезьяны.

Шейх Кемаль ель-Дин Демири, ученый араб, умерший в Дамаске в 1405 году нашего летосчисления, рассказывает в написанной им книге «Гейат ель-Гейван», или «Жизнь животных», основываясь на изречении Пророка, следующую удивительную историю:

«Задолго до того, как Магомет, пророк и посланник всемилосердого Бога, зажег светоч веры, даже ранее, чем жил и учил Иеса или Иисус из Назарета, в городе Айле, на Красном море, обитало многочисленное население иудейской веры. Но оно состояло из людей грешных и неправедных перед Богом, потому что постоянно нарушало день, посвященный всемилостивому Богу, — субботу. Тщетно предостерегали благочестивые и мудрые мужи грешных обитателей безбожного города: те по-прежнему нарушали завет Всевышнего. Тогда мудрые мужи оставили город нечестия, отрясли прах от своих ног и решились в другом месте служить Эллоиму. Однако, тоска по родине и стремление к своим близким заставили их, по прошествии трех дней, вернуться в Айлу. Здесь представилось им чудесное зрелище. Городские ворота были заперты, но на зубчатых стенах никого не было, так что пришельцы могли беспрепятственно подняться на стены города. Но и улицы, и площади несчастного города были безлюдны. Там, где прежде было оживленное движение, где купцы, священники и чиновники, ремесленники и рыбаки двигались пестрой толпой, теперь кучами сидели, бегали и лазали исполинские павианы, и с чердаков и окон, с балконов и крыш, где некогда виднелись черноокие женщины, выглядывали на улицу самки павианов. И все громадные обезьяны и красивые самки их были печальны и смущены, горестно смотрели на возвратившихся путников, с умоляющим видом теснились к ним и жалобно стонали. Удивленно и задумчиво взирали благочестивые странники на необыкновенное чудо, пока одному из них не пришла в голову безотрадная мысль, что павианы и самки их, быть может, были их прежние, превращенные теперь в животных, родственники мудрых мужей. Чтобы убедиться в том, мудрый муж пошел тотчас же к своему дому. В дверях его также сидел павиан, но при виде праведника он печально и со стыдом опустил глаза. «Скажи мне, именем всемилостивого Аллаха, о, павиан, — спросил мудрец у обезьяны,—не зять ли ты мой, Ибрагим?» И с горестью ответил павиан: «эва, эва»—да, это я. Тогда у благочестивого человека исчезло всякое сомнение, и он познал с огорченным сердцем, что свершилось тяжкое наказание Божие, что нечестивые нарушители субботы из людей превращены в обезьян».

Шейх Кемаль ель-Дин не позволяет себе сомневаться в этом чуде, но, как мыслящий человек, не может обойтись без замечания, что павианы, быть может, существовали еще ранее евреев.

Как ни прекрасно задумана и рассказана эта история, мы присоединяемся к последнему мнению тем охотнее, что обезьяны, с кото-

рыми имели дело благочестивые ревнители Аллы,—наши старые и хорошие знакомые. Именно, в Аравии живут гамадрилы или серебристые павианы; превосходное изображение их мы уже находим на древних египетских памятниках, и их головной убор казался древним египтянам столь поразительным, что они избрали его для себя образцом и придали его своим сфинксам, так же, как и в нынешнее время ему подражают, в своих головных украшениях, темнокожие красавицы восточного Судана. Названный павиан играет значительную роль в древне-египетской мифологии, как мы это узнаем, между прочим, из сочинения толкователя иероглифов Гораполлона. По его словам, эту обезьяну держали в храмах и бальзамировали после смерти. Она считалась изобретателем письменности, и потому была посвящена источнику всякого знания, Тоту или Меркурию. Как близкий родственник египетских жрецов, она при торжественном вступлении в священное место всякий раз подвергалась испытанию, состоявшему в том, что верховный жрец давал ей в руки доску для письма, чернила и перо и заставлял ее писать, чтобы узнать, достойна она быть принятой или нет? Про эту обезьяну говорили, что она находится в таинственных отношениях к луне, так как последняя оказывает на нее какое-то необыкновенное влияние; ей приписывали также способность разделять время с такой точностью, что Трисмегист, следуя ей, устроил водяные часы, которые делили день и ночь на двенадцать равных частей. Таким образом, мы обязаны этой обезьяне не только письменностью, но и нашим разделением времени.

Достойно замечания, что древние египтяне родство между собою и обезьянами считали вероятным, но не признавали возможным видеть в обезьянах своих предков. Воззрение на подобную родственную связь между человеком и обезьяной мы находим впервые у индусов. Между ними с давнего времени и до наших дней господствует верование, что, по крайней мере, некоторые княжеские роды происходят от обезьян, которые в Индии считаются священными и даже, в некотором смысле, признаются божеством—и что души умерших князей возвращаются в тело тех же обезьян. Одна из правящих фамилий даже видимо гордится этим происхождением.

Воззрения, подобные тем, каких держатся индусы, в новейшее время появились и среди нас, и «обезьяний вопрос», как я коротко, но вероятно понятно для каждого, назову его, наделал много шума. Научные разъяснения его, для большинства почти не имеющие значения, возбудили искреннее негодование, и в то же время разделили серьезных ученых на два лагеря, заставив их вступить в горячие состязания за и против утвердительного решения вопроса *).

---

*) Такое разногласие в науке по вопросу о родстве человека с обезьянами, бывшее в те времена, когда Брэм писал эту книгу, в настоящее время, можно сказать, не существует,—родство это можно считать доказанным. Кроме данных внешнего и внутреннего строения, доказательством служит близкое сходство в химическом составе и в свойствах крови человека и человекообразных обезьян, обнаруженное целым рядом исследований, заболевание обезьян человеческими болезнями, возможность пересадки различных органов от обезьяи человеку и пр. Кроме того и палеонтологическими находками установлено сходство ископаемых предков человека (неандертальский человек, питекантроп и др.) с *ископаемыми* обезьянами. Современные четверорукие, даже человекообразные обезьяны (шимпанзе, орангутан, горилла и гиббон), по современным воззрениям, не являются непосредственными предками, но произошли от ископаемых форм, которые дали начало и предкам человека.

Как бы то ни было, обезьяны, видимо представляющие собою наиболее близкие нам существа животного мира, вполне достойны нашего внимания: исследования их самих и их жизни, сравнения их с нами и с нашими действиями может способствовать не только изучению названных животных, но и человека.

К сказанному мы прибавим еще следующее:

„Дать в коротких и сжатых словах общую картину жизни, каковою я должен ограничиться, столь разнообразных животных, весьма трудно. Они обитают в количестве почти четырехсот, во всяком случае, значительно более трехсот видов, во всех частях света, за единственным исключением Австралии, в особенности, в странах между тропиками. В Америке область их распространения простирается от 28° ю. ш. до Антильского моря; в Африке от 35° ю. ш. она простирается до Гибралтарского пролива, в Азии—от Зондских до Японских островов; в Европе она ограничивается скалами Гибралтара, где с неизвестной эпохи, оберегаемая, со времени занятия Гибралтара англичанами, живет стая, числом около двадцати штук, особого вида мартышек. Обезьяны живут в лесах и скалистых горах, при чем поднимаются иногда до восьми с половиною тысяч футов высоты. И там, и здесь, за исключением немногих видов, они остаются целый год и отдают дань смене времен года тем, что в лесу, в виду созревающих плодов, предпринимают более или менее обширные переселения, а в горах, при наступлении теплого времени, поднимаются выше, с началом же холодного, спускаются ниже; хотя они и встречаются в странах, знакомых со снегом, но столько же любят тепло, сколько обильную и разнообразную пищу. Там, где они живут постоянно или поселяются на более продолжительное время, всегда должно быть что-либо такое, что они могли бы кусать или грызть,—иначе они удаляются оттуда. Леса поблизости человеческих поселений кажутся им настоящим раем; деревьев с запрещенными плодами для них не существует. Поля маиса и сахарного тростника, плантации овощей, бананов, пизангов и тыквенных растений они считают наследственными и лично принадлежащими им владениями; местности, в которых суеверие жителей охраняет их, они также находят весьма приятными для обитания.

Все обезьяны, за исключением быть может только человекообразных, живут стаями, иногда весьма многочисленными, каждая из которых находится под предводительством старого самца. Достоинство предводителя достигается очевидными для всех качествами—самыми сильными зубами. Между тем как у млекопитающих, у которых главенство принадлежит сочлену женского пола, все принадлежащие к стае следуют за ним добровольно, вожак обезьян, как неограниченный властелин, требует безусловного повиновения себе. Нежелающий подчиняться ему вынуждается к исполнению своих обязанностей укусами, щипками и ударами. Вожак обезьян требует рабской покорности не только от всех прочих самцов, но и от самок своей стаи, вовсе не выказывая рыцарской вежливости по отношению к слабому полу. Его дисциплина строга и воля непреклонна. Ни один юный самец не может осмелиться выказать благосклонность другому самцу. Он властвует неограниченно над своим гаремом, и род его умножается, как песок морской. Если стая сделается слишком многочисленной, от нее под предводительством возмужавшего самца отделяется группа, чтобы образовать отдельную общину. До того времени старого самца столько же почитают, сколько и боятся. И старые, опытные самки, и молодые, и

даже подростки, стараются угодить ему, стремятся непрерывно оказать ему высшую любезность, на какую способна обезьяна, серьезно и заботливо очищая его волосистую одежду от всех посторонних существ и предметов. Со своей стороны он принимает эти услуги с важностью паши, позволяющего любимой невольнице щекотать себе пятки. Уважение, какого он сумел добиться, сообщает уверенность и достоинство его осанке; борьба, какую он тем не менее должен вести постоянно, придает ему мужество и сознание своего достоинства, а необходимость поддерживать свою власть порождает в нем осторожность, хитрость и скрытность. Хотя этими качествами он пользуется прежде всего для собственного блага, но от них выигрывает и община, и его безграничное господство получает еще более оправдания и поддержки. Под его управлением и руководством стая, какие бы сильные бури ни бушевали внутри ее, с внешней стороны ведет обеспеченную и привольную жизнь.

Все обезьяны, за исключением немногих ночных, проявляют свою деятельность днем и отдыхают ночью. Довольно поздно после восхода солнца они пробуждаются от сна. Первое занятие их заключается в том, чтобы обогреться и почиститься. Если ночь была холодна и неприятна, они стараются улучшить свое неудобное положение, собираясь в кучи, даже свертываясь в клубки; но к утру им все-таки холодно, и каждая из них прежде всего думает о том, как бы поскорее обогреться. Как скоро ночная роса обсохнет, они оставляют места своего ночлега, медленно влезают на самые высокие древесные вершины или выступы скал, освещенные солнцем, и с удовольствием поворачиваются, постепенно подставляя солнечным лучам все части своего тела. Когда шкура их высохнет и достаточно прогреется, у них пробуждается желание видеть себя чистыми, и каждый отдается этому занятию с величайшей заботой и старанием или требует и получает от другого эту полезную услугу с такою же охотой, с какою сам готов оказать ее.

После того, как волосяной покров вычищен, даже в случае надобности—расчесан, у всех является потребность завтракать. Удовлетворить ей нетрудно, потому что обезьяна ест все съедобное, и стол для нее доставляется и растительным, и животным царством. Леса и горные местности предлагают ей плоды, лиственные и цветочные почки, птичьи гнезда с яйцами или молодыми птенцами, улиток и насекомых, сады—зелень и овощи, поля—хлеб и плоды бобовых растений. Там можно сорвать зреющий колос, в другом месте—сочный плод, на вершине дерева опустошить птичье гнездо, на земле поискать чего-либо под камнем, в человеческом поселении—расхитить сад или ограбить поле, и повсюду что-нибудь захватить с собой. Каждая обезьяна, если позволяет время, портит и уничтожает вдесятеро более, чем поедает, и вследствие того приносит весьма чувствительный вред сельским хозяевам, садоводам и огородникам. В начале хищнической экспедиции каждая из них старается обеспечить себя на всякий случай и пожирает почти без разбора все, что удается захватить, и насколько возможно набивает защечные мешки, если они у нее есть. Удовлетворив первой, самой настоятельной потребности, обезьяна начинает выбирать и браковать без всякой меры, тщательно рассматривая и обнюхивая всякий сорванный овощ, каждый обломанный колос, прежде чем его съесть, а в большинстве случаев беспечно бросает то и другое, чтобы схватиться за другой корм и поступить с ним так же, как и с первым. «Мы сеем, а обезьяны пожинают», вполне справедливо жаловались мне обитатели восточного Судана. От таких воров не защищают ни изгороди, ни стены, ни замки,

ни запоры: они перелезают через одни и отпирают другие; то, что не поедается ими, они уносят с собой. Весело и в то же время досадно смотреть на них; как всегда, и здесь у них соединяются смелость и лукавство, задорность и хитрость, жадность и осторожность, дерзость и робость. Свойственная им ловкость и умелость обнаруживается тем ярче, чем опаснее предприятие. Они бегают, лазят, прыгают, в крайнем случае — плавают, чтоб устранить препятствие, но всегда и во всех случаях ни на минуту не теряют из виду своей безопасности. Их вожак идет всегда впереди, подзывает, манит, предостерегает, указывает на опасность, бранит и наказывает, смотря по обстоятельствам; стая послушно следует за ним, не вполне однако доверяясь ему. В случае опас-



Гульманы

ности каждый сочлен стаи прежде всего думает о собственном спасении и лишь после того возвращается к вожаку; только матери, носящие с собой детей на груди или на спине, составляют исключение, заботясь, повидимому, об их участи больше, чем о своей собственной.

Во время экспедиций, не представляющих риска, часто делаются привалы, и детям позволяется играть между собою; при более угрожающих условиях, только после окончания экспедиции наступает более или менее продолжительное время отдыха, при чем стая для лучшего пищеварения спит после еды. В послеполуденные часы она еще раз производит грабеж, и перед солнечным закатом отправляется в привычные, по возможности защищенные от хищных животных места ночлега, чтобы там, — правда, только после продолжительных ссор, ворчанья и визга, — насладиться заслуженным покоем.

Помимо времени переселений, совершающихся иногда в виду необходимости или ожидаемых удобств, описанный порядок дня почти не подвергается изменениям. Размножение, вызывающее у других животных значительные перемены в образе жизни, на обезьян не произво-

дит существенного влияния, так как оно у них не связано с определенным временем, и самки их всюду таскают с собой детенышей. Последние, у большинства видов рождающиеся только по одному, появляются на свет уже достаточно развитыми и с открытыми глазами, но с нашей точки зрения они—крайне безобразные и, несмотря на относительно подвинувшееся развитие, достаточно беспомощные создания. Безобразными они кажутся нам потому, что их морщинистые лица с оживленными глазами имеют старческое выражение, а скудный волосяной покров придает еще более некрасивый вид их передним конечностям; беспомощными мы их находим потому, что они этими конечностями не могут делать ничего другого, как только хвататься за грудь матери. Они висят на ней, охватив руками ее шею, а ногами обвив спину, по целым неделям, повидимому, двигая только головой, и этим дают возможность матери, без большого отягощения, предаваться обычным занятиям, ходить по самым головокружительным тропинкам и делать самые смелые прыжки. Только по истечении продолжительного времени, редко ранее месяца, детеныши пробуют совершать некоторые движения, но принимаются за это так неловко, что возбуждают скорее сострадание, чем смех. К этим малышам, быть может, именно вследствие их беспомощности, матери относятся с такой нежностью, что известное выражение «обезьянья любовь» оказывается вполне справедливым. Каждая мать постоянно возится со своим детищем. Она то лижет его, то чистит ему шерсть, то прижимает к груди, то берет на руки, точно желая полюбоваться им, то качает, как будто убаюкивая. Если она замечает, что на нее смотрят, она отворачивается, точно не желая, чтобы другие видели ее любимца. Когда последний становится старше и подвижнее, он получает иногда позволение оставить грудь матери и поиграть со своими ровесниками, но все-таки держится в строгости и, если не слушается, тотчас же наказывается ударами и щипками. Заботливость матери касается и того, что он ест. Как она ни жадна сама, она делит со своим детенышем каждый кусок, не даст ему вредить себе слишком торопливой или чрезмерной едой и в таких случаях поступает с материнским благоразумием. Но останавливать или наказывать его приходится редко: детеныш обезьяны так послушен, что мог бы служить примером многим из наших детей. Истинно трогательно относится мать к видимым страданиям своего детеныша и выказывает настоящее отчаяние в случае его смерти. По целым часам и дням таскает она с собою маленький труп, отказывается от пищи, безучастно сидит на одном месте и часто тоскует до того, что умирает. Такая глубина чувства не доступна детенышу обезьяны, в случае, если он теряет мать; к тому же он и тогда пользуется лучшим уходом, чем другие животные. Первый член стаи, все равно—мужского или женского пола, берет на себя заботу о нем, удовлетворяя свойственной всем обезьянам потребности оказывать материнские попечения, и с большим усердием ласкает его, но из-за корма, к сожалению, часто впадает в разногласие с лучшей частью своего «я» и допускает своего приемыша, если тот сам не сумеет позаботиться о себе, голодать и даже погибнуть от голода.

Говорить о свойствах обезьян вообще—трудно, даже невозможно, потому что эти свойства так же различны, как и сами животные. Правда, у них можно найти некоторые общие черты, но, по большей части, характерные особенности их значительно различаются между собой. Способность, едва заметная у одного вида, ясно выражена у другого; черту, заметно выступающую у этого, мы напрасно стали бы искать у того

вида. Но подвергая сравнительному рассмотрению различные свойства, роды и виды этих животных, мы находим поразительное, неожиданное для нас возрастание всех качеств и способностей. Подобное сравнение весьма поучительно.

Наименее развитыми представляются нам *игрунковые* обезьяны—маленькие, с виду похожие на белок, красивые, добродушные животные, живущие в южной и средней Америке. Зубы их по числу такие же, как у человека; но у них только на больших пальцах плоские ногти, на всех же других пальцах ног и рук узкие, длинные когти; вследствие того, их руки и ноги, по крайней мере первые, походят на лапы. Их способности соответствуют этим внешним признакам. Обезьянство, если можно так сказать, в них не дошло еще до своего полного выражения. И формой, и окраской, и движениями, и внешностью, и всем своим существом, даже голосом, они напоминают грызунов. Они редко сидят прямо, как другие обезьяны, в лучшем случае—так, как белки; по большей части они стоят на четвереньках, вытянув тело, даже не лазят, легко и свободно обхватывая ветки руками и ногами, как другие члены их порядка, а цепляются когтями, карабкаются, всползают, хотя довольно скоро и ловко, именно, как грызуны. От всех выше стоящих обезьян они отличаются своим голосом—свистом, держащимся на высоких тонах и напоминающим то чириканье птиц, то писк мышей или крыс, но всего более—звуки, издаваемые морской свинкой. Они держат себя как настоящие грызуны, обнаруживая такую же подвижность, трезвость, боязливость и такое же любопытство и непостоянство, какое выказывают белки. Их головка остается в одном положении не долее мгновения, и темные глазки направляются то на один, то на другой предмет, всегда торопливо и не слишком осмысленно, хотя игрунковые обезьяны, повидимому, не глупы. Все действия их не выказывают большей обдуманности. Как будто лишенные воли, следуют они внушениям минуты, забывают то, что сейчас только занимало их, чуть привлекает их новый предмет, и обнаруживают одинаковое непостоянство как в выражениях удовольствия, так и неудовольствия. Хорошо настроенные в известную минуту, повидимому, вполне довольные своей судьбой, быть может осчастливленные ласками, расточаемыми им дружеской рукой, через секунду они уже оскаливают зубы на того, кто за ними ходит, становятся боязливы, как будто дело идет об их жизни, огрызаются и пытаются укусить. Раздражительные, как обезьяны и грызуны, они лишены индивидуальности, какую обнаруживают высшие обезьяны; поступки их всегда одинаковы, как будто бессознательны, и всегда мелочны. Они обладают всеми свойствами труса—жалобным голосом, неохотой подчиняться неизбежному, боязливым отношением ко всем событиям, болезненным стремлением видеть недоверие к себе в действиях всякого другого животного, наклонностью хвастать, избегнув предполагаемой или действительной опасности, слабостью желания и исполнения. Именно потому, что они всего менее походят на обезьян, женщины отдают им предпочтение, а мужчины презирают их.

На более высокой ступени по сравнению с игрунковыми стоят, также живущие в Америке, *плосконосые* обезьяны или обезьяны Нового Света, хотя и в них еще не вполне обнаруживается настоящая обезьяна. У них с обеих сторон каждой челюсти одним коренным зубом более, чем у других обезьян и у человека; всего у них не тридцать два, а тридцать шесть зубов; на всех пальцах рук и ног находятся уже плоские ногти; тело кажется тем более худощавым, что конечности весьма

длинны; хвост у многих цепкий. Особенно характерна односторонность их развития. Будучи, подобно игрунковым обезьянам, исключительно древесными животными, они кажутся нам неловкими, даже неуклюжими, вне древесных ветвей. Походка их на земле нетвердая и колеблющаяся, в большей степени, чем у всех других видов, обладающих цепким хвостом, но и в лазании они не выдерживают никакого сравнения с обезьянами Старого Света. В самом деле, увеличение числа орудий движения вовсе не содействует усилению и разнообразию двигательной способности, а напротив, ведет к односторонности. Мы видим это у цепкохвостых обезьян. Цепкий хвост служит для них не пятой, а первой рукой: он употребляется и для подвешивания, и для укрепления тела, для приближения и захватывания различных предметов, заменяет лестницу, гамак и т. д., но он не делает движений более быстрыми и свободными, а, напротив, обеспечивая их большую уверенность, в [illegible] степени замедляет их. Благодаря постоянному, почти исключительному применению хвоста, обладатель его нимало не рискует потерять равновесие и полететь с безопасной высоты вниз, где ему угрожают всевозможные опасности, но в то же время он не может совершать и свободных, смелых движений. Он, так сказать, медленно предпосылает свой цепкий хвост каждому шагу, сперва укрепляясь им, нередко даже впереди себя, и только тогда освобождает руки и ноги, которыми держался за ветку. Таким образом, он скорее привязывает себя к веткам, чем лазит по ним, и вследствие этого никогда не отваживается на какой-нибудь далекий, сомнительный по своей удаче, прыжок. Неизменное обеспечение своей дорогой особы заставляет нас считать эту обезьяну не столько осторожной, сколько вялой. Замечательно, что и другие свойства обезьян Нового Света находятся в соответствии с описанными качествами. Голос их не так однообразен, как голос игрунковых, но все-таки неприятен и скучен. Он проходит все ступени от [illegible] до рева, но всегда сохраняет выражение чего-то жалостного, заунывного, и животное, испуская эти крики, держит себя так, что вполне подтверждает такое впечатление. После холодной, росистой ночи солнце озаряет теплыми, золотистыми лучами деревья девственного леса, и миллионы гортаней тысячами голосов посылают ему приветствия и ликования; тогда и обезьяны-ревуны стараются внести в хор свою долю признательности. Но как?! Вскарабкавшись на сухие верхние ветви исполинского дерева, высоко поднимающего свою вершину над другими, каждая из них крепко уцепилась своим гибким хвостом и спокойно греется на солнце. Ощущение удовольствия побуждает выразить его голосом. Одна из них, отличающаяся особенно высоким, пронзительным голосом и поэтому признаваемая запевалой, [illegible] на своих товарищей и начинает; последние так же неподвижно и бессмысленно смотрят на нее, подхватывают, и по всему лесу раздаются раздирающие звуки, похожие то на хрюканье, то на завывание, то на ворчание, то на хрипение, как будто все лесные животные вступили между собой в смертельную борьбу. Удивительный концерт начинается несколькими ревущими звуками; они усиливаются и ускоряются, по мере того, как возрастает у певца возбуждение и передается другим членам его общества; затем звуки превращаются в завывание и [illegible]ются так же, как начались. Если взглянуть на этих длиннобородых, в высшей степени серьезных певцов, то невозможно удержаться от смеха; смешанные крики их, неподдающиеся описанию, вскоре так же

надоедают, как их однообразные движения, похожие более на ползанье, чем на лазанье. Во всем, что делает один, другой бессмысленно подражает ему; но что бы он ни делал, все выходит у него чрезвычайно вялым. То же самое или по крайней мере с незначительными отличиями замечаем мы у всех цепкохвостых обезьян, и лишь немного отступают от них, в смысле свободы и самостоятельности, некоторые особенно выдающиеся члены того семейства, напр., капуцины. Вообще они так же мало подвижны в умственном, как и в физическом отношении, но по большей части очень кротки, добродушны и доверчивы, хотя в то же время угрюмы и жалки на вид, а некоторые упрямы, злы и



Оранг-утанг.

лукавы. Стоя выше игрунковых, обезьяны Нового Света далеко отстали от обезьян Старого Света. Едва ли к ним относятся слишком несправедливо, когда говорят, что они обладают всеми дурными свойствами своих родственников Старого Света, не имея их хороших сторон. Добродушие и кротость замечаются не у всех видов и далеко не уравновешивают общего их недостатка, предприимчивости, смелости и веселости, живости и решительности, предусмотрительности и находчивости,—качеств, дающих столь высокое положение обезьянам Старого Света; их вечная тоскливость и жалобное завывание уменьшают в наших глазах те свойства, какие могли бы доставить им друзей среди нас.

Подобно обезьянам Нового Света, обезьяны, живущие в Старом Свете, распадаются на две группы, которые можно признать с моей

ствами, хотя зубы представителей той и другой в существенных чертах сходны между собою. Первых мы называем собакоголовыми обезьянами, вторых человекообразными. К обезьянам первой группы может быть в особенности применено сказанное мною в начале. В числе их оказываются и красивые, и безобразные, привлекательные и отталкивающие, веселые и угрюмые, добродушные и злобные обезьяны. Действительно, уродливых фигур между ними не встречается: даже безобразным видам или кажущимся нам такими, нельзя отказать в известной соразмерности строения, и между ними встречаются существа весьма оригинальной наружности. Главнейшие признаки их заключаются в более или менее выдающихся мордах, напоминающих собачьи, относительно-коротких руках, всегда имеющемся, хотя у некоторых превратившемся в короткий отросток, хвосте, в более или менее развитых седалищных мозолях и в защечных мешках, встречающихся по крайней мере у большинства видов. Зубы у них всегда бывают в числе тридцати двух. Они живут во всех трех частях Старого Света и особенно многочисленны в Африке.

По своим свойствам и особенностям, они выше игрунковых и плосконосых обезьян. Они по большей части искусны в ходьбе, хотя некоторые, довольно забавным для нас образом, скорее прыгают, чем бегают, могут без труда стоять на одних ногах, выпрямляться во весь рост, и в этом положении передвигаться более или менее легко; они отлично лазят, хотя некоторые могут показывать свое искусство только на деревьях, а другие лишь на скалах, и по большей части превосходно плавают. Обезьяны, живущие на деревьях, при лазании, если можно так выразиться, почти летают: их ловкость при перемещении по ветвям превосходит всякие ожидания. Прыжки от двенадцати до пятнадцати аршин не представляются невозможными для них; на такое же расстояние они спрыгивают с верхних веток на нижние, силою удара заставляют ветку наклоняться, и в ту минуту, когда она готова возвратиться назад, дают себе сильный толчок, оттягивают хвост и задние ноги, управляя ими, как рулем, и летят, как стрела, по воздуху. Древесный сук, даже усаженный самыми опасными шипами, служит для них торной дорогой, а вьющееся растение—тропинкой или лестницей, смотря по тому, что для них удобнее. Они лазят передом и задом, по нижней и по верхней стороне ветви, схватывают во время прыжка или падения тонкую ветку одной рукой, остаются на весу во всяком положении столько времени, сколько хотят, затем спокойно поднимаются на сук и свободно лезут дальше, как будто находятся на гладком полу. Если рука не ухватит намеченной ветки, последняя схватывается, с неменьшей уверенностью, ногою; если сучок подломится под их тяжестью, они хватаются при падении за второй, за третий сук, а если сломаются все, спрыгивают, на какой бы высоте ни находились, на землю, чтобы, по ближайшему удобному стволу, по первому попавшемуся на глаза вьющемуся растению, опять взобраться на вершину дерева. В сравнении с лазанием их родственников в Новом Свете, их лазание кажется вполне свободным, не боящимся никакого препятствия, движением. Первых можно назвать жалкими ремесленниками, а последних—законченными художниками; первые кажутся невольниками, прикрепленными к деревьям, вторые—властителями ветвей.

Насколько совершеннее их движения, настолько же развитее и их голосовые средства. Среди собакоголовых обезьян не слышно уже

ни писка, ни свиста, ни жалобного завывания, а весьма разнообразные, смотря по тому, что они хотят выразить, подходящие к обстоятельствам, даже понятные для нас, звуки. Удовольствие или неудовольствие, желание или удовлетворение, любовь или ненависть, покорность или гнев, радость или страдание, доверие или недоверие, расположение или отвращение, нежность или грубость, уступчивость или упрямство, в особенности же возбужденное состояние, вроде боязни, страха и ужаса, находят у них достаточное выражение, как ни ограничены их голосовые средства.

На одном уровне с этими качествами оказываются и качества умственные. С полным правом можно сказать, что рука, впервые получающая у них свое настоящее значение, дает им заметные преимущества перед другими животными, и позволяет видеть в их действиях отчасти даже более того, что они в действительности представляют:



Мартышки.

так, наприм., она дает им возможность делать то, что совершенно недоступно собаке и другим животным, хотя бы те причислялись к самым умным млекопитающим. Собакоголовым обезьянам нельзя отказать в высокой степени сообразительности. Их превосходная память отчетливо сохраняет самые разнообразные впечатления, а способность рассуждения и понимания превращает эти впечатления в опыт, которым в соответствующих случаях они отлично умеют пользоваться. Во всем, что они делают, они поступают несомненно с полным сознанием, сообразуясь с обстоятельствами, не повинуясь слепо извне действующей силе; они вполне самостоятельно, свободно и разнообразно, искусно и хитро замечают свои выгоды и пользуются всяким вспомогательным средством, какое только для них доступно. Они различают причину и следствие, стараясь достигнуть или избегнуть последнего, смотря по тому, нужно оно или не нужно для них; они не только различают, что им приносит пользу или вред, но знают также, поступают ли они хорошо или дурно как с своей точки зрения, так и с точки зрения высшего для них существа. Не слепой случай, а сознание выгоды упра-

вляет и руководит их действиями, заставляет подчиняться мнению более способного, понуждает действовать сообща, учит принимать общее участие в радости и горести каждого из них, делить с ним счастие и несчастие, обеспеченность и опасность, благосостояние и нужду, другими словами—образовывать союз, основанный на взаимности, вынуждает прибегать к средствам, которые не получены ими от природы, а должны быть приобретены, наконец, дает им в руки оружие, которым природа не наделила их. Правда, страсти всякого рода часто берут у них верх над рассудительностью, но именно эти страсти свидетельствуют о живости их ощущений или, что то же самое, о подвижности их ума. Они впечатлительны, как дети, раздражительны, как слабохарактерные люди, и в высшей степени чувствительны ко всякого рода обращению с ними—к выказываемой им любви и к выражаемой им ненависти, к поощряемой похвале и к оскорбительному порицанию, к удовлетворяющей их лести, к болезненно действующей насмешке, к ласкам и наказаниям. Тем не менее, обращаться с ними не так легко, и их труднее чему-нибудь выучить, чем напр., собаку или другое умное домашнее животное; они в высшей степени своенравны и обладают почти таким же сознанием своего достоинства, как и человек. Они выучиваются без труда, но лишь тогда, когда хотят, а не тогда, когда их заставляют; сознание своего достоинства заставляет их противиться всякому подчинению, если оно не обещает им видимой пользы. При этом они вполне сознают, что по обстоятельствам должны быть наказаны, уже вперед выражают неприятность ожидаемого наказания соответствующими звуками, но все-таки отказываются делать то, чего от них требуют, и в то же время охотно, с живыми выражениями своего согласия, исполняют то, что им доставляет удовольствие. Тот, кто сомневается в их самосознании, должен посмотреть только, как они обращаются с другим животным. Они видят в нем, если их не пугает его сила и свирепость, всегда только игрушку, все равно—дразнят ли они его или шутят с ним, или же ласкают его.

Несколько примеров, которые я могу привести сам или за верность которых могу поручиться, послужат подтверждением всего сказанного выше.

Когда я путешествовал в стране богосов, то, при первой же поездке в горы, встретился с многочисленной стаей того вида павианов, о которых упоминает шейх Кемаль ель-Дин Демири в своем рассказе. Они расположились живописной группой на верхнем выступе скалистого утеса, просушивая свою развевающуюся шерсть на солнечных лучах; когда я их приветствовал ружейными пулями, они отступили в правильном порядке и исчезли. Продолжая свой путь в узкой и извилистой скалистой долине Мензы, значительно позже я опять встретился с ними, и именно в самой долине, которую они собирались перейти, чтобы укрыться от неприятных тревог в скалах другой стороны ее. Значительная часть стаи уже совершила переход, но большая часть еще только приступала к нему. Наши собаки, храбрые, стройные борзые, привыкшие с успехом преследовать гиен и других хищников, бросились на павианов, казались похожими скорее на хищных животных, чем на обезьян, и заставили их поспешно попятиться вправо и влево по скалистым утесам. Но бежали только самки; самцы, напротив, кинулись на встречу собакам, окружили их, сердито хлопали руками о землю, широко разевали пасти и так яростно и злобно глядели на сво-

их врагов, что всегда мужественные, закаленные в боях собаки с величайшим смущением бросились назад и боязливо искали у нас защиты. Прежде чем нам удалось ободрить собак, в положении обезьян произошло существенное изменение, и когда собаки снова бросились на них, почти вся стая находилась уже в безопасности. Отставший полугодовой детеныш громко закричал, увидев бегущих на него собак, но все-таки успел взобраться на скалистую глыбу и искал спасения на ней. Наши собаки окружили его по всем правилам, загородив дорогу к бегству, и возбудили в нас надежду его поймать, но случилось иначе. Горделиво, с достоинством, без малейшей торопливости, не обращая на нас никакого внимания, старый самец оставил безопасную скалу, направился к осажденному детенышу, подошел к собакам, видимо нисколько их не боясь и удерживая их на почтительном расстоянии своими взглядами, жестами и угрожающими звуками, не торопясь, влез на скалу, прижал детеныша к груди и, прежде чем мы могли подоспеть к этому месту, отправился с ним в обратный путь; видимо смущенные собаки не решились ему воспрепятствовать в этом. Во время совершения этого самоотверженного, геройского подвига родоначальника—в густом кустарнике на скале, куда скрылись обезьяны, раздавались звуки, каких я до сих пор никогда не слыхал от павианов. Старый и малый, самцы и самки ревели, кричали, завывали, лаяли на-перерыв, точно боролись с леопардами или другими опасными хищными животными. Как я узнал потом, это был военный клич обезьян: очевидно, они имели целью напугать им нас и собак, а быть может, также ободрить предприимчивого старого витязя, который на их глазах подвергал себя такой очевидной опасности.

Через несколько дней мне пришлось узнать, что эти уверенные в себе животные не боятся и человека. При возвращении из страны богосов мы опять натолкнулись на большую, быть может, ту же самую стаю павианов и открыли по ним из долины довольно сильный огонь из семи двухстволок. Наши выстрелы произвели на них неописуемое действие. Боевой крик, какой я слышал раньше, раздался против нас, и, точно по команде военачальника, все павианы приготовились к битве. Между тем как кричащие самки поспешно убегали с детенышами и, перебираясь за гребень скалы, скрывались от действия нашего оружия, старые самцы, с яростью, сверкающими глазами, хлопая руками по земле, скорее с лаем, чем с ревом, поднялись на выступающие камни и зубцы скал, в течение нескольких минут, непрерывно испуская рев, завывание и другие крики, оглядели то, что было внизу, и начали потом так старательно и ловко скатывать на нас камни, что мы тотчас же поняли опасность нашего положения и должны были бежать. Если бы мы не имели возможности взобраться на противоположные утесы узкой долины и таким образом обезопасить себя от бомбардирования обезьян, мы были бы буквально перебиты ими. Умные животные действовали при этой защите не только по известному плану, но и в строгом согласии между собой, стремясь к одной общей цели и вместе напрягая силы для ее достижения. Один из членов нашего общества видел, как одна обезьяна втащила камень на дерево, чтобы с большей силой сбросить его вниз; я видел сам, как две из них общими усилиями катили тяжелый камень.

К таким средствам защиты, кроме высоко стоящей обезьяны, не прибегает ни одно животное, и ни у каких других животных самец не

подвергнет себя опасности, чтобы спасти беспомощного детеныша своего вида. Подобных черт нельзя не признавать, и их следует оценивать по достоинству; они говорят за себя несравненно громче и убедительнее остроумных предположений разных лиц, отрицающих у животных разум и самостоятельность действий.

С какой точностью собакоголовые распознают причину и следствие и делают различие между ними, может заметить каждый беспристрастный наблюдатель. Они открывают двери и окна, выдвижные ящики, сундуки и шкатулки, развязывают узлы и устраняют другие препятствия, если хоть один раз видели, как это делается; они придумывают и свои средства для достижения той же цели. Бабуин, за которым я ухаживал и которого держал у себя, взял однажды котенка с намерением сделать из него предмет своей заботы и ласки, но был оцарапан испуганным питомцем; тогда он внимательно осмотрел его лапы, надавил их так, что выступили когти, оглядел их сверху, снизу и с боков, и затем обгрыз их, чтобы на будущее время избавиться от царапин. Того же павиана мой брат и я пугали несколько раз, рассыпая перед ним на полу щепотку пороха и воспламеняя его кусочком зажженного трута. Внезапный пороховой взрыв приводил нашего павиана в такой испуг, что он всякий раз громко вскрикивал и отпрыгивал так далеко, как только позволяла ему веревка, которой он был привязан. Напуганный таким образом несколько раз, он придумал способ предупреждения взрывов: колотил рукой по тлеющему труту до тех пор, пока не загашал в нем искры, а самый порох съедал. Иногда же он сам причинял себе страх. Как все обезьяны, он боялся пресмыкающихся, в особенности змей, в чрезмерной, забавной для нас степени. Мы подшучивали над ним, положив живую или мертвую змею, или же ее чучело, в широкую жестяную коробку и давая ему ее закрытою. Он хорошо был знаком и с коробкой, и с ее содержимым, но решительно был неспособен сдержать свое любопытство, и открывал ее всякий раз для того, чтобы тотчас же с криком убежать от нее.

Эта обезьяна, не довольствуясь разыскиванием действительно существующих причин, в тех случаях, когда подвергалась каким-либо неприятностям, искала еще других, мнимых причин. Вина за эти неприятности должна была непременно падать или на какую-нибудь вещь, или на какое-нибудь лицо. Поэтому ее гнев обращался на первого, кто попадался ей. Если ее наказывали, она сердилась не на своего воспитателя и хозяина, а исключительно на того, кто присутствовал при наказании: он должен был быть причиной позорного наказания, которое доставалось от хозяина, всегда доброго к ней. Она высказывала именно такую подозрительность, какая в подобных же случаях свойственна неумным людям.

Крайне чувствительный ко всякой действительной или предполагаемой несправедливости, и не менее того ко всякой шутке или насмешке, описываемый бабуин не мог, однако, упустить случая подразнить, посердить и даже помучить других животных. Наша старая, угрюмая такса, покойно лежа на солнце, предавалась полуденному сну. Бабуин увидал это, осторожно подкрался к ней, взглянул с лукавым блеском маленьких глаз на собаку, чтобы убедиться, действительно ли она спит, внезапно схватил ее за хвост и, сильно дернув его, возвратил ее из мира сновидений к действительности. Рассерженная собака пыталась отомстить за нанесенную ей обиду и бросилась на

нарушителя ее спокойствия. Но тот, одним прыжком отскочив от нападавшей на него собаки, избег угрожавшего ему наказания; в следующую минуту он опять ухватил ее за хвост, вновь вызвав гнев собаки, и видимо наслаждался бессилием сердитого противника, пока тот, обезопасив свой хвост, т.-е. поджав его, вне себя от гнева и волнения, будучи даже не в силах лаять, задыхаясь и хрипя, пустился в бегство, оставив поле сражения за своим злым неприятелем. Если бы павиан обладал способностью смеяться, то сходство между его поведением и поступками злорадного человека было бы полное. Побежденная такса была осыпана всевозможными насмешками; он же напротив ко всякой шутке относился со злобой, приходил в ярость, когда над ним смеялся кто-либо, по его мнению, не имеющий на это права, и, конечно, не упускал случая к мести, даже если этот случай представлялся не ранее нескольких недель. Но и то сказать: он был обезьяна и сознавал себя ею; собаку же считал за низшее существо, для которого самолюбие столько смешно и достойно наказания, сколько простительно обезьяне.

Собакоголовые обезьяны каждому внимательному наблюдателю ежедневно представляют доказательства чувства собственного достоинства или, правильнее сказать, высокого мнения о себе. Наш бабуин любил, как все обезьяны, приемных детей и в особенности мартышку, которая жила в одной клетке с ним, и вне ее оставалась на его попечении: она всегда была около него, спала в его объятиях и рабски подчинялась ему. Такое повиновение он считал вполне естественным и требовал уже безусловной покорности, когда дело касалось обеда. Добродушная и послушная мартышка, без сопротивления, позволяла своей приемной матери (наш павиан был женского пола) выбирать себе все хорошие куски, а последняя давала ей только самое необходимое; когда приемышу удалось что-нибудь сохранить или спрятать в защечные мешки, его воспитательница просто открывала ему рот и пользовалась содержимым мешков.

Как ни велико высокомерие у собакоголовых обезьян, как ни чрезмерно их высокое мнение о себе, но они вполне сознают, сделав что-либо дурное, что совершили проступок, заслуживающий наказания. Шомбургк доказывает это весьма поучительным примером. В зоологическом отделении ботанического сада в Аделаиде жил в клетке старый павиан, вместе с двумя молодыми представителями его вида, которые без сомнения находились у него в полном подчинении. Раздраженный по какому-то случаю, однажды он напал неожиданно на своего сторожа и, прокусив ему артерию ручного сочленения, нанес весьма опасную рану. Шомбургк приговорил его за это к смерти и поручил другому сторожу застрелить его. Обезьяны привыкли к огнестрельному оружию, которое часто употреблялось в саду для умерщвления вредных животных, и хотя знали его действие, но нисколько не тревожились даже и тогда, когда выстрел раздавался в непосредственной близости от них. И теперь, на другой день после злодеяния, совершенного старым павианом, обе молодые обезьяны, при появлении сторожа, которому поручена была казнь над их товарищем, спокойно сидели у корыта с кормом. Напротив, осужденный преступник с величайшей поспешностью убежал в отделение клетки, где он спал, и оставался там, как ни старались его вызвать оттуда. Его пытались приманить, предлагая ему корм: он смотрел, чего прежде никогда не делал, как оба подчиненные ему товарища съедали лакомое кушанье, и не отваживался принять

участие в трапезе. Только, когда угрожавший гибелью сторож удалился, преследуемый осторожно подкрался, быстро схватил несколько кусков и боязливо скрылся в своем убежище. Наконец, удалось выманить его во второй раз и заградить вход в безопасное для него место. Когда он увидел, что сторож с смертоносным оружием вновь приближается к клетке, он понял, что гибель его неминуема. Как безумный бросился он к двери своей спальни, всеми силами пытаясь отворить ее; убедясь, что это невозможно, он стал метаться по клетке, оглядывая все углы и отверстия, в надежде укрыться в них, и под конец, не видя возможности к бегству, дрожа всем телом, в отчаянии бросился на землю и покорился судьбе, которая настигла его через минуту после того.

Нельзя не признать, что ни одно млекопитающее, принадлежащее к другим отрядам, даже находящееся в течение тысячелетий в близком общении с человеком, хорошо обученная и строго воспитанная собака не поступает так, как только-что описанная обезьяна, и не выказывает такого духовного развития. И тем не менее еще целая пропасть лежит между павианами и человекообразными обезьянами, которые, как я уже говорил, значительно возвышаются над средним уровнем своего отряда.

Под именем человекообразных обезьян мы разумеем тех, которые своим общим видом всего более походят на человека, существенно отличаясь от него, однако, сильно выдающимися клыками, относительно длинными руками и короткими ногами, строением кисти и волосяным покровом. Они обитают в экваториальных странах Азии и Африки, причем в первой богаче видами, чем в последней, и распадаются на три семейства, из которых одно свойственно исключительно Африке. Каждое из этих семейств обнимает лишь немногие виды.

Человекообразные обезьяны, вследствие своего строения, также должны жить на деревьях; но они не привязаны к деревьям, подобно мартышкам и макакам. Впрочем, движения их, и на деревьях, и на земле, значительно отличаются от движений других обезьян. При влезании на дерево, в особенности с гладким, лишенным ветвей стволом, они принимают такое же положение, как человек, поднимающийся на дерево, но, благодаря своим длинным рукам и коротким ногам, управляются с этим делом гораздо скорее, чем самый искусный в лазании человек; добравшись до ветвей, они могут посрамить любого акробата разнообразием и уверенностью движений. Далеко вытянутыми руками хватаются они за сук и, в то же время, обхватывают ногами другой, параллельный первому, лежащий несколько ниже; по нем они пробегают, пользуясь верхним, как перилами, с такою быстротой, что догоняющий их человек должен напрягать все свои силы, если не хочет отстать от них, между тем как они не выказывают ни малейшего усилия. Достигнув вершины сука, они хватаются за доступный для них сук соседнего дерева и продолжают свой путь с такой же скоростью, но без всякой торопливости. Когда они хотят влезть на дерево, для них достаточно первой ветки, не ломающейся под их тяжестью, чтобы, ухватившись за нее, подняться вверх с величайшей легкостью — безразлично, ухватят ли они ветку сперва одной рукой или одновременно обеими; спускаясь вниз, они висят, держась на обеих руках, и ищут опоры ногами. Иногда в таком висячем положении они раскачиваются в течение нескольких минут для собственного удовольствия; часто они

бегают по нижней стороне сука, обхватив его руками и ногами, одним словом, могут держаться в любом положении и выполнять на деревьях движения всякого рода. Почти недосягаемое мастерство в лазании выказывают гиббоны, человекообразные обезьяны с такими несоразмерно длинными руками, что, будучи раскинуты, они оказываются вдвое длиннее тела обезьяны в стоячем положении. С невероятною скоростью и уверенностью они влезают на вершину дерева или стебель бамбука, приводят его или какую-либо ветвь в колебание и, отскакивая от нее, несутся с такою легкостью через пространство от двенадцати до восемнадцати аршин, что прыжок их походит на полет спущенной стрелы или несущейся с высоты птицы. Даже во время такого прыжка гиббоны могут изменять направление и останавливаться, хватаясь за первую попавшуюся ветку, цепляясь за нее, раскачиваясь и наконец поднимаясь по ней, чтобы отдохнуть на мгновение или вновь начать прежнюю игру. Нередко они проносятся таким образом по воздуху три, четыре, пять раз один за другим и почти заставляют забывать, что и для них существуют законы тяготения. Насколько они искусны в лазании, настолько же неуклюжи в ходьбе. Другие человекообразные обезьяны могут без особого затруднения пройти более или менее значительное пространство в вертикальном положении, т.е. на одних ногах, и только на бегу пользуются всеми четырьмя конечностями, опираясь о тыльную сторону пальцев, а сзади — на наружные края ступней, и тяжело перекидывая тело вперед между руками, служащими им опорой. Гиббоны, напротив, только в крайнем случае прибегают к этому способу передвижения, и тогда не столько бегут, сколько подпрыгивают; обыкновенно они двигаются небольшими шагами, вытягиваясь во весь рост и поддерживая равновесие с помощью более или менее вытянутых рук, насколько возможно оставляя большие пальцы ног и ковыляя самым жалким образом. Поэтому их способность движения можно назвать односторонней: их искусство лазания, которым они превосходят других обезьян, не уравновешивает их беспомощности при ходьбе на земле.

Голосовые средства человекообразных обезьян в высшей степени замечательны. Самым громким голосом обладают наиболее подвижные и проворные виды этой группы, но голоса более развитых, хотя и менее ловких человекообразных обезьян отличаются большим разнообразием. Могу смело сказать, что ни у одного млекопитающего, за исключением, конечно, человека, я не слыхал голоса, который бы казался мне полнее и благозвучнее, чем голос гиббона, наблюдавшегося мною в неволе. Сперва я был приведен в удивление, а затем и в восхищение замечательно чистыми, законченными тонами глубокого грудного звука, значительной силы и довольно приятного тембра. У одного вида их призывный звук, который мне хочется назвать скорее пением, чем криком, начинается с основного тона E и, пробегая хроматическую гамму, поднимается и опускается полутонами на целую октаву, заканчиваясь резким звуком, в котором, по-видимому, соединяется вся энергия животного. Основной тон слышится все время и предшествует каждой последующей ноте, которая, при восходящей гамме, всегда следует медленнее, а при нисходящей — все быстрее и быстрее за предшествующей, не утрачивая, однако, верности даже и при такой быстроте исполнения. Некоторые виды этого семейства издают менее чистые тоны, но испускаемые ими звуки всегда так громки, что на свободе их можно ясно

различить на расстоянии полуторы версты. То же соотношение между двигательною способностью и голосовыми средствами замечается и у других человекообразных обезьян. Медленно передвигающейся, меланхолический оранг-утанг, сколько мне известно, испускает только один сильный и низкий гортанный звук; напротив, веселый, подвижной шимпанзе умеет немногим звукам, которыми он располагает, придать такое разнообразие тона и такую ясность выражения, что невольно хочется приписать ему способность речи. Правда, он говорит не словами, но звуками, даже слогами, и определенное значение их становится несомненным для наблюдателя, имеющего с ним дело более долгое время. Другие человекообразные обезьяны, принадлежащие к той же группе, уступают в этом отношении.

Кто хочет узнать, до какой высоты могут подниматься умственные способности обезьяны, должен избрать для наблюдения шимпанзе или одного из ближайших его родственников и провести с ним продолжительное время в тесном общении, как сделал это я; тогда он с удивлением, даже с некоторым ужасом, увидит, насколько может уменьшаться расстояние, отделяющее человека от животного. И другие человекообразные обезьяны—в умственном отношении высоко одаренные создания, и они стоят выше всех прочих обезьян; но ни у гиббона, ни у оранг-утанга умственные способности не выказываются так ясно, не бывают так заметны, как у шимпанзе. С гориллой и шимпанзе нельзя обходиться, как с животными: с ними надо обращаться, как с людьми, чтобы узнать и оценить их умственные способности. По своему разуму они стоят лишь немногим ниже грубого, невоспитанного, необразованного человека. Они—звери, и останутся ими, но их поступки настолько человечны, что заставляют забывать их звериную природу.

Я целыми годами подряд воспитывал шимпанзе, наблюдал их близко и постоянно с возможным беспристрастием, находился с ними в самом тесном общении, принимал их в мою семью, делал их товарищами игр моих детей, сажал их с собою за стол, учил их, правильно воспитывал, ухаживал за ними во время болезни и не оставлял их в предсмертные часы. Поэтому я могу думать, что изучил их не менее кого бы то ни было другого и имею право высказать о них верное суждение. Я и выбираю шимпанзе, чтобы показать на нем, какой высоты могут достигать умственные способности животного.

Шимпанзе — не только одно из самых умных животных: он рассудителен и остроумен. В каждом действии его видна сознательность и обдуманность. Он часто подражает, но всегда с пониманием и соображением; он позволяет себя учить и выучивается. Он сознает себя, свою обстановку и свое положение. В сношениях с человеком он подчиняется высшей умственной силе; в обращении с животными он выказывает такое же сознание своего достоинства, как и человек. То, что у других обезьян в этом отношении обозначается только слегка, у него обнаруживается вполне ясно. Он считает себя лучшим и высшим существом в сравнении с другими животными, даже другими обезьянами; он верно оценивает человека, смотря по его значению, и относится к детям иначе, чем к взрослым: последних он уважает, первых же считает почти равными себе товарищами. Он выказывает участие к животным, с которыми не может входить ни в дружеские, ни в какие-либо иные отношения, а также и к предметам, не находящимся в связи с его естественными потребностями. На самом деле, он не только любопытен, но

и любознателен, в настоящем смысле слова; предмет, возбудивший его внимание, приобретает ценность в его глазах, если он сумеет понять его употребление. Он может составлять заключения, от одного вывода переходит к другому, целесообразно пользоваться опытом при новых условиях; он хитер, даже лукав, обнаруживает проблески остроумия и позволяет себе шутки, дает замечать свои капризы и настроения, чувствует себя весело в одном и скучает в другом обществе, допускает со стороны других шутки, кажущиеся ему приличными, и отвергает неприличные; он своенравен, но не строптив, добродушен, но не лишен самостоятельности. Свои чувства он выражает так же, как и человек. В веселом настроении у него является довольная улыбка, в мрачном—лицо его собирается в складки, которые и сами по себе достаточно красноречивы, но он еще прибавляет к ним жалобные звуки; испытывая оскорбление, он выказывает жесты отчаяния, причем все лицо его искривляется: он визжит, бросается на спину, колотит по земле руками и ногами и рвет на себе волосы. На доброжелательный призыв он отвечает звуками, выражающими удовольствие, на сердитый—звуками, выражающими огорчение. Он подвижен и деятелен от утра до позднего вечера, всегда старается находить для себя занятия и придумывает их даже тогда, когда исчерпаны все его обычные упражнения, действия; тогда он просто хлопает себя руками по ногам, или стучит по доскам, видимо радуясь издаваемому ими шуму. В комнате он пользуется с величайшим вниманием всем, что ему попадается на глаза: открывает выдвижные ящики и вынимает их содержимое, присматривает за огнем, открывая и закрывая дверцу печки, правильно отпирает и запирает замки ключом, становится перед зеркалом и забавляется отражением своих жестов и гримас, употребляет в дело метлу и тряпку для вытирания пыли, завертывается в одеяло и платье, и т. п.

Его наблюдательность всего лучше видна из того, что он почти всегда составляет правильные суждения о людях. Он не только распознает своих друзей от других людей, но так зорко отличает хороших людей от дурных, что сторож одного шимпанзе был убежден в полной негодности того человека, которого тот чуждался. Один лицемер, умевший очень искусно притворяться и обманувший меня и других, для шимпанзе с самого начала был предметом отвращения, как будто он с первого взгляда понял этого рыжего плута. Всего приятнее шимпанзе, если на него обращают внимание, если он чувствует себя в кругу семьи. Здесь он держит себя так, как будто находится между равными себе. Он в точности знает нравы и обычаи дома, тотчас же замечает, следят за ним или нет, и в первом случае делает то, что ему велено, а в последнем то, что ему нравится. Весело, легко и с настоящим рвением, противоположно другим обезьянам, выучивается он тому, чему его учат, напр., сидеть прямо за столом, есть ложкой, ножом и вилкой, пить из стакана или чашки, размешивать сахар в чашке, слегка подталкивать соседа, прося, что ему нужно, пользоваться салфеткой и т. д.; так же легко привыкает он к одежде, одеялу и кровати; без особого труда усваивает он понимание человеческого языка, значительно превосходя в этом случае хорошо дрессированную собаку, потому что схватывает не только тон, но и значение слов, и известные поручения исполняет так же правильно, как и приказания. Крайне чувствительный ко всякой ласке и даже к похвале, столь же чувствительный к недружелюбному обращению или к порицанию, он способен к самой жи-

вой благодарности, и выказывает ее без всякой выучки, хлопая по рукам и обнимая того, кто ее заслуживает. Особенным, видимым расположением его пользуются дети. Не будучи сам по себе ни коварным, ни злым, он обращается с детьми, пока они его не дразнят, всегда чрезвычайно дружелюбно, а когда они еще малы и беспомощны —с истинно трогательною нежностью; в отношениях же с подобными себе, другими обезьянами и другими животными, он нередко бывает груб и необщителен. Обращаю внимание на эту характерную черту, которую я наблюдал у всех шимпанзе, находившихся на моем попечении, как на доказательство того, что шимпанзе и в самом маленьком ребенке признает и ценит человека.

Больная, тяжело страдающая человекообразная обезьяна производит весьма трогательное впечатление. Жалобно, умоляюще, чисто по-человечески глядит она в лицо тому, кто за ней ходит, принимает всякую помощь с теплой благодарностью и вскоре признает во враче своего благодетеля, протягивает ему руку или высовывает язык, как скоро этого требуют от нее, делает это после нескольких посещений врача уже сама, охотно принимает лекарство, соглашается и на хирургические операции, одним словом—держит себя так, как больной терпеливый человек.

Шимпанзе, который всего долее оставался на моем попечении, и которого я, с помощью толкового, очень любившего животных сторожа, воспитал всего тщательнее, заболел воспалением легких, осложнившимся вскоре нагноением лимфатических желез. Обнаружилась необходимость хирургического лечения этой болезни. Два врача, близкие и мне, и шимпанзе, признали нужным вскрыть опухоль на шее, тем более, что обезьяна сама считала ее источником своих страданий и все прикладывала к ней руку исследовавшего врача. Но как сделать необходимый разрез на опасном месте без вреда для животного? Наркотизирующие средства были отвергнуты, в виду болезни легких, а попытка придержать шимпанзе с помощью нескольких сильных людей не удалась, вследствие его крайнего возбуждения и оказанного им энергического сопротивления. Но что оказалось недоступным силе, было достигнуто увещанием. Успокоенная добродушным обращением и ласками сторожа, обезьяна позволила произвести еще раз исследование гнойной опухоли и даже не моргнула глазом, когда к ней приблизили и употребили в дело нож, не издав ни одной жалобы во время болезненной операции и при последующем опорожнении вскрытой опухоли. После операции исчезло мучившее ее затруднение дыхания; заметное выражение облегчения показалось на лице больного; он с благодарностью протянул руку обоим врачам и с радостью обнял своего сторожа, не будучи понуждаем ни к одному из этих действий.

К сожалению, устранение этого страдания не могло спасти жизни животного. Рана на шее зажила, но легочное воспаление продолжалось и привело к роковому концу. Шимпанзе умер в полном сознании, кротко и спокойно, как умирает человек.

Все это—такие черты, которые не поддаются ложному толкованию или искажению. Если принять во внимание, что они обнаруживаются у человекообразных обезьян еще не достигших взрослого состояния и находящихся в детском возрасте, то несомненно, что этим животным должно быть отведено весьма высокое место. В самом деле, положение, высказанное каким-то малосведущим натуралистом и бессмысленно повторяемое сотнями других, будто обезьяна с возрастом глупеет, есть не что иное, как грубая ложь, опровергаемая беспри-

страстным наблюдением любой обезьяны от ее юности до старости. Если бы мы даже ничего не знали о взрослых человекообразных обезьянах, кроме двух фактов, что они воздвигают постройки, скорее достойные названия хижин, чем гнезд, только для того, чтобы провести в них одну ночь, и пользуются дуплистыми деревьями, как барабанами, колотя по ним для своего удовольствия, то и этого было бы достаточно, чтоб вывести те же заключения, к каким приводят нас дети обезьян этой группы, находившиеся на наших руках, или, другими словами, чтобы признать в них самых способных и высоко стоящих животных, всего более приближающихся к человеку.

А обезьяний вопрос? Хотя я и мог бы предположить, что уже ответил на него выше, но не хочу упускать случая еще раз высказаться по этому предмету.

Каждый из нас не может не признавать, что человек не есть представитель какого-либо *особого* царства природы, а только член животного царства; поэтому каждый беспристрастный человек должен видеть в обезьянах наиболее сходные с ним существа. Сравнивая их между собою и с человеком, нельзя не притти к непреложному убеждению—все равно, будет ли оно нас возмущать или нет—что различие между игрунковыми и человекообразными обезьянами гораздо более того, какое оказывается между этими последними и человеком. Следовательно, с зоологической точки зрения, человека и обезьяну нельзя даже относить к различным отрядам первого класса животного царства. Правда, это делали и делают еще до настоящего времени, прилагая к человеку обозначение «двуруких», а к обезьянам—«четвероруких», но при этом совершенно упускается из виду важнейший признак, определяющий положение млекопитающего,—его зубы. Зубы же людей и обезьян имеют такое существенное сходство в своем строении, что помещение тех и других в одну группу становится неизбежным. Кроме того, обозначение «двурукие» и «четверорукие» и само по себе не имеет основания; люди и обезьяны значительно различаются между собою, но не строением своих рук и ног; обезьяны—столько же двурукие, сколько и мы. Если при определении положения человека и обезьяны мы будем пользоваться обыкновенно применяемыми законами, то увидим себя вынужденными соединить их в один и тот же отряд.

Однако, хотя совпадение признаков одного отряда у высших животных вполне неоспоримо, но при более близком сравнении человека и обезьяны выступают различия, совершенно не допускающие такого тесного слияния обеих групп, какое некоторые позволяют себе в новейшее время. Соразмерность строения, относительная короткость рук, ширина и внутренняя подвижность кистей рук, длина большого пальца, развитые мышцы, длина и толщина ног, плоская ступня, обнаженная кожа и незначительное развитие клыков составляют внешние признаки человека, за которыми нельзя не признавать должного значения и которые дают основание провести между ним и обезьяной такие границы, какие разделяют различные семейства. Если при этом оценить по достоинству различные качества человека, сравнить его движения, его членораздельную речь и умственные способности с соответственными сторонами обезьян, то тем более явится оснований для проведения указанных границ.

Вообще, мы можем без опасения отвести обезьянам то место, какое беспристрастное исследование указывает для них в ряду живых существ. Мы должны признать в них животных, наиболее сходных с

нами или всего ближе стоящих к нам с зоологической точки зрения; но во всех дальнейших правах мы должны отказать им. Многими свойствами человека наделены и они; однако, от настоящей «человечности» их все-таки отделяет громадное расстояние. В их теле и духе заключается значительная часть человека, но не весь человек.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие.	Стр.
Тундра и ее животный мир	7
Путешествие по Сибири	22
Остяки-язычники	38
Лес, дичь и охота в Сибири	
Птичьи горы в Лапландии	91
Азиатская степь и жизнь ее животных	110
Степные кочевники и их стада	130
Общественная и семейная жизнь киргизов	148
Охотничьи поездки по Дунаю	165
Переселение млекопитающих	180
Любовь и брак у птиц	198
Караваны и путешествия в пустыне	214
Земля и люди между порогами Нила	240
Степи внутренней Африки и их животный мир	262
Девственный лес внутренней Африки и его девственный мир	281
Обезьяны	303


СИЛА
РСФСР